

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят первый год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd;
G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 313, декабрь 2023

© 2023 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Владимир Гржонко</i> – Дом. Главы из романа	5
<i>Александр Немировский</i> – Стихи	59
<i>Ольга Кручинина</i> – Тучи из кирпича. Стихи	67
<i>Марина Эскина</i> – Среди чудовищного бедствия. Стихи	70
О лауреатах Премии имени Марка Алданова. 2023	74
<i>Андрей Белозёров</i> – Вот пойду и застрелюсь эпохально	75
<i>С. Грэй</i> – Стихи	127
<i>Геннадий Кацов</i> – «...горе течет от ума». Стихи	131
<i>Каринэ Арутюнова</i> – Патараг	137
<i>Владимир Гандельсман</i> – Дифирамб. Стихотворение	146
<i>Михаил Ордовский-Танаевский</i> – 4.5.0. Рассказ.....	151
<i>Константин Шакарян</i> – Год 2022-й. Стихи	164
<i>Мария Перцова</i> – По направлению к другу. Стихи	169
<i>Марина Кантор</i> – Стихи	173
<i>Семен Пинхасов</i> – «Что такое хорошо...» Рассказ	175
<i>Владимир Торчилин</i> – Слушая музыку. Рассказ	178
<i>Татьяна Пушкарёва</i> – Ахейские ветры. Стихи	184
<i>Вера Зубарева</i> – Тяжелые сны. Стихи	186
<i>Виктор Санчук</i> – Стихи	190

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Светлана Шелухина</i> – Переписка Г.П. Федотова и М.А. Зенкевича. 1912–1927 годы	192
Письма Георгия Федотова и Михаила Зенкевича (Публ. – <i>С. Шелухина</i>)	221
<i>Алла Ранская</i> – «Неисказенный лик души». Интервью с М.Н. Толстым	239
<i>Н.В. Крандиевская-Толстая</i> – Избранные стихи (Публ. – <i>М.Н. Толстой</i>)	245

КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ

<i>Сергей Бычков</i> – Жизнь и труды Георгия Федотова. Часть 3	256
<i>Максим Макаров</i> – «Русский холм». <i>La Favière. 1920–1960</i>	315
<i>Марк Уральский</i> – Илья Троицкий – корреспондент газет «Сегодня» и «Заграничные отклики»	354

ОЧЕРКИ. ЭССЕ

<i>Сергей Манукян</i> – Очерки подлых времен. Очерк 3	377
---	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Ирина Муравьева – Про Люду Штерн (1935–2023) 391

БИБЛИОГРАФИЯ

Евгений Киперман – Александр Кабанов. The Age of Vengeance /
Время возмездия. Сборник стихов; *Александр Карпенко* – Борис
Фабрикант. Ты меня обними. Сборник стихов; *Лилия Газизова* –
Андрей Грицман. Далее – везде. Сборник прозы и эссе 396

*Поздравляем с 75-летием
наших новожурналистов-юбиляров –*

*Владимир Гандельсман,
наш верный проводник в пучине современной русской
поэзии, бессменный редактор отдела “Поэзия НЖ”*

*Марк Уральский,
многолетний автор журнала, бескорыстный член жюри
Литературной премии имени Марка Алданова*

*Друзья!
ЖЕЛАЕМ ВАМ
НОВЫХ КНИГ – СПЯРЫХ ДРУЗЕЙ!*

*Всегда ваш –
“Новый Журнал”*

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Гржонко

Дом*

Часть первая. БЫТИЕ

Я родился и вырос в необычном доме, в значительной степени определившем мой характер, а, значит, и судьбу. Дом этот был построен задолго до революции в центре большого города, но стоял как бы сам по себе, словно одинокий утес. История, как грозное штормовое море, билась об него в безуспешных попытках расщепить крепкие стены волнами, горькими, как слюна отчаявшегося человека.

Впрочем, этот четырехэтажный Дом был и вправду необычным: большой вытянутый прямоугольник с внутренним двором, в который выходили и балконы, и двери квартир. Двор, выложенный плиткой, хранил в своей утробе неугомонное эхо, которое всякий раз, когда кто-то из жильцов закрывал свою входную дверь, долго носилось по двору. В центре находился круглый фонтан с мраморной фигуркой козлоногого Пана.

Совсем маленьким я однажды чуть было не утонул в этом фонтане. Тогда он казался мне огромным как море. А фигура Пана с трещиной, идущей от левого уха к правой руке, в которой он держал флейту, была страшной и притягательной одновременно.

Еще в детстве я обратил внимание на удивительную особенность нашего дома: окна всех квартир выходили только во двор, а обращенные к улице глубокие оконные проемы, давным-давно заложённые кирпичом, использовались жильцами как стенные шкафы. Когда я подрос, то узнал от старожилков, что когда-то Дом был самым обычным, но в революцию в городе стало беспокойно, часто стреляли, особенно по ночам, и пули легко могли залететь в окна. Тогда и днем-то на улицах было нехорошо. В ту пору многие из населявших дом «приличных людей» уехали в неизвестном направлении, но небольшая кучка жильцов всё же осталась. И вот один за другим стали они закладывать окна сначала подручными материалами, а чуть позднее и кирпичом. И дело было не только в шальных пулях. Всем невольно хотелось отгородиться от окружавшего Дом безумия.

Во многом им очень повезло. Во дворе, благо он был расположен

* Главы из неопубликованного романа

так, что в нем всегда было много солнца, живший при Доме дворник высадил картошку, свеклу, морковку; ботва шла на корм для кроликов. Еще до всех беспорядков на первом этаже Дома работал зоомагазин; потом хозяин, живший тут же, убежал, а вот кролики остались. Еще у них был ягненок, которого в первые же дни безвластия умудрился где-то раздобыть один из жильцов.

Кролики плодились быстро и давали всем пропитание, а также шкурки, из которых жильцы под руководством оказавшимся мастером на все руки дворника научились шить хоть и неуклюжую, но вполне годную зимнюю одежду. Ее круглыми путями обменивали на соль, муку и всякие необходимые в быту предметы. А вот к ягненку все привязались, особенно дети, и, конечно же, ни у кого не поднималась рука его зарезать. Ягненок подрос и свободно бегал по двору, веселя жильцов. В общем, жизнь налаживалась. К тому же, по какой-то прихоти случая, в Доме до поры до времени работал водопровод и даже подавалось электричество.

А чтобы к ним не нагрянули бандиты или чекисты – что, в принципе, одно и то же, – жильцы заложили и все входы в Дом, оставив лишь один тайный лаз через подвал. К счастью, времена были такими, что этот дом со слепыми окнами никого не интересовал и был предоставлен самому себе. И его обитатели незаметно для себя начали называть друг друга «жителями», а не «жильцами». Ведь Дом был для них не просто жильем, а настоящим островком тишины и благополучия, в то время как за его стенами грохотали страшные бури. А дворовой фонтан с Паном стал чем-то вроде клуба: возле него проходили собрания жильцов, да и просто здесь было уютней, чем в полутемных квартирах.

Но ничто не может продолжаться вечно. Однажды в Дом явился гость. Он сошел с неба. Ну, то есть, конечно, это только так говорилось. На самом деле он спустился во двор с крыши по веревке. Визит этот оказался коротким. Черноглазый и черноволосый, гость был высоким и крепким, к тому же при оружии. Тяжелая деревянная кобура звонко хлопала его по бедру при каждом шаге, а по-собачьи прибежавшее на шум эхо вторило этим хлопкам, и собравшиеся во дворе жильцы вздрагивали, не понимая, чего теперь ждать. И только позднее, когда всё закончилось, некоторые из них вспомнили, как смотрела на гостя Дуня – совсем молоденькая бедовая прислуга из девятой квартиры. Она раскраснелась, шумно дышала, и в глазах ее горел странный огонь.

Потом, прижатая к стенке, бедовая Дуня призналась, что она познакомилась с гостем на ближайшей барахолке, где пыталась продать кое-что из оставшихся после хозяев вещичек, и рассказала ему, где живет. И не просто рассказала ему про Дом, но и пригласила к себе в гости. Даже после всего случившегося она уважительно называла его Семеном Ивановичем.

– Та-ак, – протянул гость, оглядывая двор, – а неплохо устроились! По документам, понимаешь, дом давно пустует, а тут – целая коммуна, оказывается.

И, хитро подмигнув, продолжил скороговоркой:

– *Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия...* Побеждающему, заметьте! Это Откровение Иоанна Богослова – самое настоящее большевистское Писание, если вдуматься... Потому как можно считать, что Апокалипсис – вот он, уже наступил, господа и мадамы! Ну и кто тут у вас главный?

Так уж получилось, что главным был жилец квартиры номер четырнадцать, адвокат Лев Моисеевич Абрамсон, – тот самый, кто принес ягненка. Когда он выступил вперед, гость удивленно вскинул брови.

– Ты что, из евреев? – спросил он. – Звать как?

Лев Моисеевич назвал себя, и у них с гостем начался разговор.

– Спасаетесь? – скривив губы, спросил гость. – Что молчишь, я и сам вижу! Тебе говорю: *покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.*

Гость хитро прищурился и фальшиво запел: «Но мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей!» И, тут же оборвав себя, заметил, что церкви точно уничтожили, а вот тюрьмы... тюрьмы еще пригодятся!

Потом презрительно улыбнулся Льву Моисеевичу и похлопал по маузеру:

– Ибо сказано: *и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим...*

Как будто дуло своего маузера, гость навел указательный палец на стоящих группкой жильцов. Те дрогнули и попятились. Цитирующий из Апокалипсиса большевик не понравился им даже больше, чем шаستاющие по улицам пьяные матросы.

– Ну, показывай, Моисеич, что тут у вас в хозяйстве имеется.

Лев Моисеевич хотел было взять гостя под руку, но тут же опомнился и повел его к центру двора, где у фонтана располагался сарайчик с кроликами. Остальные жильцы двинулись было за ними, но были остановлены повелительным взглядом гостя и наблюдали за всем происходящим издали. Они видели, как гость что-то говорил Льву Моисеевичу, как размахивал руками и даже грозил пальцем. И как Лев Моисеевич возражал ему, то прижимая руки к груди, то поднимая их к небу, как будто прося гостя уйти тем же путем, каким тот пришел. Осмелевшее эхо добросовестно доносило жильцам то уверенный бас гостя, то растерянный тенорок Льва Моисеевича.

Разговор этот длился долго, и когда Лев Моисеевич оглядывался

на жильцов, они видели, что ему очень страшно. Но видели они и выражение упрямства на его побледневшем лице. И тут, привлеченный шумом, откуда-то выскочил ягненок. Увидев Льва Моисеевича, он радостно заблеял и подбежал к нему.

Громогласно рассмеялся гость и крикнул, что так и должно быть, и возляжет тогда лев с ягнёнком.

– Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить!

И грянули подряд два выстрела... Испугавшееся эхо вскрикнуло и забилось куда-то в угол двора. Как будто бы на экране синематографа видели остолбеневшие жильцы, как, согнувшись пополам, падает на землю Лев Моисеевич. И царапает землю длинными белыми пальцами, будто пытается поймать дергающиеся копытца упавшего рядом с ним ягненка...

Убитого ягненка гость забрал с собой, а Льва Моисеевича, говорят, похоронили где-то здесь, во дворе.

Больше во двор никто не навещался, и жильцы потихоньку начали забывать и гостя, и унесенного им ягненка, и, что ж поделаешь, даже самого Льва Моисеевича. Появилась у них новая старшая по Дому – Матрена Сысоевна Зуева, и все стали жить дальше. Тем более что революция закончилась, но настали другие, не менее опасные времена, и нужно было как-то выживать. А жилищку Дуню пришлось простить, потому что все понимали, что позвала она страшного гостя не со зла, а по глупости, пытаясь среди творящегося вокруг кошмара построить свое простое женское счастье...

Но именно с этого времени и началось в Доме твориться странное.

В квартире номер шестьдесят три с некоторых пор проживал некий Арон Плох с многочисленным семейством. Впрочем, сам он уверял, что фамилия его была Блох или, если по-немецки, Блок. Но во время «большого гевалта», как он называл революцию, всё перепуталось. Поэтому не было ничего удивительного в том, что выдававшая ему документ девица в красной косынке то ли не разобравшись, то ли решив поиздеваться над несчастным евреем, окинула его веселым революционным взглядом и написала на серой оберточной бумажке «Плох». И плюхнула печать. А с печатью это таки уже был документ. Пришлось смириться. И теперь он Плох, хотя, видит бог, ничем он не хуже всех остальных. Ну, может, чуточку умнее некоторых...

В Дом Арон Плох попал сразу после *большого гевалта*. По мнению Арона, с ними случилось чудо, вернее, целых два чуда. Первое, что им удалось спастись в непрекращающихся погромах и не потерять никого из большого семейства, даже новорожденного Сёму, с чьим внуком Сашей я потом дружил. А второе чудо – так это то, что им посчастливилось найти приют не где-нибудь, а в таком удивительном Доме.

Именно в квартире Арона Плоха однажды ночью случилось

страшное. В чем там было дело, никто толком не знал. Но наутро Аронова жена Хая-Лия выбежала во двор белая как стена с криками: «Он ушел! Ушел!» Чуть успокоившись, она рассказала соседям, что ее несчастный муж совсем рехнулся. Из путаных объяснений Хаи-Лии выяснилось, что Арон почему-то навсегда замуровался в кладовке, оставив только небольшое оконце, через которое следовало подавать ему еду и питье и забирать полный ночной горшок.

– Что теперь делать? – беспреестанно восклицала Хая-Лия, будя недовольное дворовое эхо. – Что нам теперь делать? Он всё время кричит: «Меня теперь больше нет! Я ушел в пустыню!»

И, криво улыбаясь, добавляла:

– Как вам это понравится? Он собирается идти через эту пустыню целых сорок лет. В своей собственной кладовке...

Заинтересованные и сочувствующие жильцы небольшими группами приходили в квартиру номер шестьдесят три и пытались беседовать с Ароном через замурованную дверь. Из услышанного они делали совсем уж фантастические выводы. Одни говорили, что Арон испугался явившихся грабителей, которые пытали и его, и жену, и даже детей, после чего, слегка помутившись в рассудке, он заперся в кладовке вместе с чудом сохранившимися от прежней жизни бриллиантами.

Другие же, соглашаясь с тем, что Арон слегка не в себе, считали дело куда более запутанным. Потому что, по словам той же Хаи-Лии, никаких жутких грабителей не было вовсе, равно как и бриллиантов, а несчастному Арому просто что-то привиделось. От таких слов сама Хая-Лия то бледнела, то краснела – и только качала головой. Это наблюдение подтолкнуло некоторых из наиболее прозорливых жильцов к предположению о существовании таинственного любовника, с которым Арон якобы застукал свою жену. Тем более что Хая-Лия была хоть уже и не очень молодой, но всё еще довольно хорошенькой, и многие из соседей-мужчин на нее откровенно заглядывались.

Но третьи, послушав невнятные объяснения Хаи-Лии и еще более невнятные крики самого Арона, полностью отвергали мысль о наличии любовника и склонялись к мнению, что виновата во всем эта проклятая жизнь, способная свести с ума и не такого слабого человека, как Арон Плох.

Прошло несколько лет, и все, включая несчастную Хаю-Лию и ее детей, привыкли к тому, что в доме живет затворник. Хая-Лия устроилась на работу, старшие дети, окончившие обучение, тоже стали зарабатывать, да и младшие подрастали. В общем, всё как-то утряслось.

И тут вдруг обнаружилось, что у Арона открылся пророческий дар. Так, например, он с точностью предсказал жене выигрышные номера недавно выпущенных облигаций государственного займа. Жаль только, что никто не удосужился эти номера проверить. Потом Арон Плох сообщил, что послезавтра мальчишка из шестой квартиры

выпадет со второго этажа во двор, но, слава богу, останется жив, только сломает себе ногу. А перелом при этом будет открытым. И пусть не послезавтра, но через три дня Хая-Лия вместе с другими жильцами стояла около несчастного мальчишки, что-то шепча побелевшими губами.

В Ароново пророчество, конечно же, никто не поверил. Тем более что к тому моменту за Хай-Лией и ее супругом прочно закрепилась слава людей не от мира сего.

Жизнь Дома кое-как налаживалась – настолько, что даже огороды во дворе утратили свое значение, хотя за ними по-прежнему ухаживал одряхлевший дворник. Жильцы начали подумывать о том, чтобы разобрать кирпич своих стенных шкафов и впустить в квартиры свет с улицы. В Доме было много споров по этому поводу. Как-никак, жильцы успели накрепко привыкнуть к своей обособленности, и когда наиболее прогрессивные из них говорили, что пора, наконец, прорубить окно в мир и перестать жить в потемках, как Арон, то они встречали отпор более осторожных. Эти последние утверждали, что им хватает света, идущего со двора, да и вообще, незачем привлекать к себе ненужное внимание. Ну а поскольку долгая жизнь вместе сплотила жильцов, никто не решался идти против общего решения.

Не успели жильцы всерьез перессориться, как начались такие времена, по сравнению с которыми времена послереволюционного безвластия казались на умиление спокойными. Но всё это происходило снаружи. Сам же Дом со всеми его обитателями жил совершенно никем не замечаемый и не тревожимый. Это было тем более странно, что они по-прежнему пользовались всеми благами цивилизации – такими, как вода и электричество. Объяснить это не могли даже самые просвещенные жильцы вроде доктора Матвея Рувимовича Газенпуда из шестнадцатой квартиры или Остапа Петровича Матвиенко из двадцать третьей, бывшего присяжного поверенного, а ныне заведующего каким-то малозначительным складом.

Разумеется, особенно откровенных разговоров об этой странности никто не вел – боялись. Но всё же, встречаясь порой во дворе, двое-трое жильцов не могли удержаться, чтобы не перекинуться словом по поводу собственной неуязвимости, в то время как по городу еженощно ездили страшные черные машины, метко прозванные в народе «воронками».

И снова мнения расходились. Кто-то считал, что поскольку Дом оказался бесхозным, то и адресов его жильцов нет нигде, даже у «тех». Но этим наивным людям объясняли, что многие жильцы ходят на работу и, значит, в Особом отделе точно знают место их проживания. Да и что стоило бы «тем» приехать за кем-то на работу? Ну не стали же жильцы Дома невидимыми?

– Нет, – авторитетно заявлял Остап Петрович, и Матвей Рувимович не мог с ним не согласиться, – просто завалились наши дела в какой-то дальний угол. Бардак – он везде бардак...

Вскоре кто-то из жилищек заметил, что у вроде бы безмужней Хай-Лии начал расти живот. На расспросы смущающаяся Хая-Лия была вынуждена объяснить, что остается верной мужу... По ее словам получалось, что оконца в отгораживающей Арона от внешнего мира стене и приспособленного для передачи туда пищи, а обратно – ночных горшков, оказалось достаточно и для любви...

Возможно, эта история так и осталась бы предметом для шуток, если бы не помянутый выше Матвей Рувимович Газенпуд. Будучи врачом и вообще добрым человеком, Матвей Рувимович особенно внимательно относился к беременным женщинам. Однажды он случайно столкнулся у фонтана с Хай-Лией и взял ее под руку, собираясь выразить сочувствие. И в этот момент откуда-то из-под большого живота Хай-Лии прямо в фонтан выпал конверт. И поплыл. Хая-Лия вскрикнула.

Матвей Рувимович тут же конверт выловил и, просто желая убедиться, что письмо не промокло, заглянул внутрь. Первое, что его поразило, были четыре крупные, коряво выведенные буквы. Даже в их Доме в таком порядке эти буквы произносили только про себя и только шепотом... Коротко говоря, это был донос, написанный Ароном Плохом. В самом письме не было бы ничего удивительного: будучи человеком неглупым и опытным, Матвей Рувимович понимал, что пишет кое-кто из жильцов доносы, не может не писать. Удивительное было то, что донос этот Арон написал на самого себя.

Поразмыслив несколько дней и ни с кем не делаясь, Матвей Рувимович отправился в шестьдесят третью квартиру, подгадав так, чтобы никого из многочисленного семейства не было дома. Кладовка, в которой заперся Арон, находилась в конце длинного полутемного коридора. Матвей Рувимович нашел ее по густому неприятному запаху и, подойдя поближе, невольно представил себе, как же тут у Арона и Хай-Лии могла происходить любовь. Из кладовки доносились не то стоны, не то пение. Стараясь не обращать внимания на запах, Матвей Рувимович принес из кухни табурет и уселся перед кладовкой.

– Арон? – не зная с чего начать, произнес он, обращаясь к отверстию в стене.

– А? – послышалось из кладовки. – Хая, ты вернулась? Что случилось?

Дальнейший разговор с Ароном получился настолько сбивчивым и нелепым, что Матвей Рувимович потом долго ругал себя за то, что полез не в своё дело. Хотя ничего такого, что могло бы поразить Матвея Рувимовича – врача да и просто нормального образованного человека, – Арон ему не сказал. Впрочем, Матвей Рувимович знал,

что самые глубокие истины порой бывают просты и, на поверхностный взгляд, даже примитивны. Поэтому он мучительно пытался добраться до смысла услышанного.

– Вот увидишь, – заявил Матвею Рувимовичу Арон, – нужно только продержаться еще немного, а там всё и кончится. И мы таки придем в Ханаан.

На прямой вопрос о том, зачем он пишет сам на себя доносы, Арон противно захихикал.

– А как иначе я узнаю, что живой? Что все мы живые? Давным-давно один умный человек, хоть и не еврей, сказал: «Мыслю – следовательно, существую!» Но он забыл сообщить, что необходимо и еще кое-что – чтобы о твоём существовании знали другие. Иначе всё теряет смысл. Тогда возникает вопрос: «А есть ли мы на самом деле?» Ты, конечно, скажешь, что вот, этот Арон Плох совсем сошел с ума. Да я иногда и сам думаю, что есть немного. Доносы – это еще что? Ты спроси мою Хаю-Лию, она тебе и не такое расскажет.

Понимашь, дело в том, что я всё время что-нибудь вижу. Но всегда ужасное... Будто бы держу на руках своего сына Сёму, пусть он будет здоров и счастлив сто двадцать лет, и вдруг вижу, как я, своими руками, бью его головой о стену – и только мозги в стороны... Вот так вот беру за ноги, размахиваюсь – и о стену... Это кошмар, я совсем не хочу этого делать, а всё равно вижу так ясно, словно и вправду убиваю своего сына. Прямо избивение младенцев какое-то! Но и это еще не всё...

Дальше Арон начал говорить о таких вещах, что бедный Матвей Рувимович не помнил, как выбрался во двор и долго стоял перед фонтаном, смачивая лицо холодной водой. Потому как поверить, что весь их Дом, а, главное, он сам, доктор-венеролог Матвей Рувимович Газенпуд, на самом-то деле существует только потому, что Арон Плох пишет доносы, было бы просто смешно, чтобы не сказать больше. Или, может быть, наоборот: именно доносы и есть свидетельство существования не только его, Матвея Рувимовича, но и вон, например, Матрены Сысоевны, которая сейчас перегнулась через перила балкона и выбивает свой старый, пахнувший кошками ковер...

Матвей Рувимович покачал головой и вдруг почувствовал, как будто вместе с липким запахом Аронова жилища впитал в себя какое-то психическое заболевание. Будучи медиком, он прекрасно понимал, что, в отличие от венерических, психические болезни совершенно не заразны. Но сейчас этот известный даже студенту-первокурснику факт показался ему далеко не очевидным. Поверить в заразность делирия было проще, чем допустить, что никакого Дома нет и никогда не было. И что только поддерживаемая Ароном Плохом через доносы связь с действительностью позволяет им всем оставаться живыми. Причем живыми они стали именно с момента переезда в Дом. А до того никого из них и вовсе не существовало!

Но ведь Матвей Рувимович прекрасно помнил свое прошлое! Помнил, как в детстве ходил в гимназию. Помнил, как уже в университете познакомился с очаровательной девицей. Помнил, как не смог устоять перед ее соблазнительными формами...

Впоследствии именно это знакомство подтолкнуло его к выбору медицинской профессии венеролога. А теперь получалось, что, вопреки очевидному, ничего этого не было. Хотя не менее очевидным был и тот невероятный факт, что Дом жил вопреки всем законам того сурового времени. Ведь, например, для устройства на работу даже вахтером требовалось заполнить многостраничные анкеты, а для покупки билета на поезд, чтобы съездить в соседний город к сестре, – предъявить заверенное подтверждение о прописке от управдома. Кроме того, гражданам нужно было иметь кучу всяческих документов, свидетельств и справок. И эти бумажки пригвозждали всех и каждого к суровой действительности крепче и надежней любых гвоздей.

Жильцы Дома ходили на работу, женились и разводились, рожали детей – и вообще вели себя как самые обычные люди. Но все-таки у каждого из них не могло не зародиться ощущения, что, когда-то отгородившись от внешней жизни, Дом с заложными кирпичом окнами действительно исчез для посторонних. По мнению тронувшегося умом Арона, это означало, что, оборвав все нити с действительностью, Дом вскоре перестанет существовать и внутри себя: ему нечем будет подпитывать свою жизненную силу. И тогда перестанут существовать все жильцы, включая даже и Матрену Сысоевну, ставшую, как известно, старшей по Дому после смерти Льва Моисеевича.

Арон, по его словам, это понял и сначала ушел из Дома в собственную реальность, а уже там открылось ему многое, в том числе и путь, следуя которому только и можно сохранить существующее положение дел. А так как писать доносы на других казалось Арону делом безнравственным, он начал писать их на самого себя, таким образом привязывая Дом к реальности.

Но самым ужасным было даже не это. Стараясь осмыслить встречу с психически больным Ароном и оглядываясь вокруг, Матвей Рувимович вдруг понял, что безумие это не просто заразно, но еще и соблазнительно... Ему почти невозможно было противиться, как когда-то – той самой полузабытой девице, в каком-то смысле определившей его судьбу.

Всё это было очень опасно. И даже тот факт, что Арон писал доносы исключительно на себя самого, ситуации не менял. Но искус сумасшествия оказался настолько непреодолимым, что однажды на дежурстве Матвей Рувимович, всегда очень осторожный в отношениях с сотрудниками, недолго думая, завел в свой смотровой кабинет медсестру Тонечку. Во время короткого делового соития Тонечка смешно попискивала и преданно смотрела на него честными комсо-

мольскими глазами. И хотя она сама же чуть ли не полгода добивалась от него взаимности, Матвей Рувимович твердо знал: едва оправив сбившуюся юбку, Тонечка побежит докладывать о случившемся по начальству. Но, как и опасался Матвей Рувимович, ничего за этим не последовало. Его даже к главврачу не вызвали!

Тогда Матвей Рувимович, представив себе многозначительную ухмылку Арона Плоха, решился на отчаянный шаг. Он пошел на прием к своему коллеге, психиатру Агафонову. Агафонов – маленький, толстенный, в криво сидящем на лысой голове белом докторском колпаке, внимательно выслушал сбивчивый рассказ Матвея Рувимовича, что-то черкнул в бумагах и, быстро выскочив из-за стола, закрыл кабинет на ключ.

– Ага, – сказал Агафонов, – значит, пишет этот Плох на себя донос. Ну и пусть пишет! Сейчас, коллега, все пишут. Донос на себя – это даже остроумно. Ведь всё равно донесут, а так, по крайней мере, хоть грамотно. А что до его теории, то одна теория стоит другой, это уж кому что нравится.

И, склонившись к уху Матвея Рувимовича и кося глазами, прошептал:

– *Мы живем, под собою не чуя страны...* Разве не знаете?

Ничем не помог ему Агафонов. Матвей Рувимович понял: как и в тот, первый раз, с девицей, болезнь нужно было лечить. Пока она не перешла в хроническую форму.

Тем более что стал замечать Матвей Рувимович то, на что раньше не обращал внимания. Например, если долго стоять посреди двора, можно было увидеть, как слегка покачивается Дом, как истаивают в легкой дымке его вроде бы надежные стены, как уходят в небытие целые куски балконов...

Разумеется, здравый смысл подсказывал, что всё это – его разгулявшееся воображение, что это просто нагретый летним солнцем воздух, поднимаясь от земли, шлет ему мороки. Но избавиться от ощущения нереальности бытия Матвей Рувимович уже не мог. Ему начало казаться, что и сам он, как кусочек сахара, начинает растворяться в сладком кипятке безумия.

В тот вечер, улегшись спать, Матвей Рувимович долго ворочался, тревожа жену, потом встал, зажег у себя в кабинете свет и, бормоча, что все-таки действовать нужно кардинально, присел к столу и написал на листке из блокнота: «Сим сообщаю, что врач-венеролог районной больницы номер семь Матвей Рувимович Газенпуд – английский шпион и диверсант...»

Трудно сказать, что произошло бы дальше, но ничего произойти так и не успело, потому что на следующее утро началась война. И заложённые окна опять оказались очень уместными. Захиревшие огорды вновь стали в Доме жизненно важным промыслом, и даже

каким-то чудом удалось жильцам возобновить поголовье кроликов. А Дом так и стоял, никем не замечаемый, как будто заговоренный.

И снова гость пришел с неба. Вернее, гостя. Дело в том, что во время одного из налетов прямо во двор упала небольшая авиабомба. Попала она точно в центр фонтана, пробила плитку, да так и застряла вертикально, прислонившись оперением-стабилизатором к мраморной фигурке Пана.

Дядя Гоша Крутихин из двадцать седьмой квартиры, который рассказывал мне об этом, был тогда совсем мальцом. Он говорил, что случилось это ранним летним утром, и никогда после не слышал он во дворе такой удивительной вибрирующей тишины. Как так получилось, что он оказался во дворе один, да еще сразу после налета, дядя Гоша объяснить не мог, но точно помнил, что подошел к гостю совсем близко и слушал, как что-то потрескивает у него внутри. И еще он заметил, что мраморный Пан треснул, и дяде Гоше стало его жалко, хотя до этого он, как все дети в доме, этого Пана побаивался и по детской наивности называл его Бабаем.

Дядя Гоша тогда даже не заметил, как вокруг фонтана собрались прятавшиеся в подвале во время налета жильцы. Они заморожено смотрели на бомбу, кое-кто качал головой. Четырехлетний дядя Гоша подумал, что им тоже, наверно, жалко покалеченного Бабая.

– Надо же, – сказал, наконец, жилец из тридцатой квартиры Иероним Петрович Бох, – не разорвалась...

И хотя сказал он это шепотом, та вибрирующая тишина сразу оборвалась. Жильцы, тоже шепотом, словно боясь спугнуть прилетевшего гостя, разом заговорили. И эхо, словно понимая опасность, не откликалось на их приглушенные голоса.

Мнения жильцов сразу же разделились. Одни утверждали, что о госте следует немедленно сообщить в военную комендатуру или еще куда. Раз уж так получилось, говорили они, всё равно придется немедленно всем съехать, а там уж будь что будет. Ну не жить же в буквальном смысле на бомбе! Но тогда, возражали другие, к ним в дом придут посторонние, много посторонних, и еще неизвестно, как всё будет дальше. И с ними, жильцами, и с самим Домом.

Постепенно жильцы начали горячиться, повышать голос и даже как будто забыли, что гость – вот он, перед ними. И обрадованное эхо, как котенок бумажкой, заиграло их голосами то в одном, то в другом конце двора. Маленькому дяде Гоше казалось, что лучше всего оставить всё как есть – и пусть снова наступит так удивившая его тишина.

Тогда вперед вышел Олег Петрович из восьмой квартиры, который успел повоевать сапером на той еще, прошлой войне. И хотя вернулся он слегка контуженным, в Доме его уважали. Олег Петрович подошел поближе к прилетевшему гостю и, как показалось дяде

Гоше, долго его обнюхивал. А обнюхав, заявил, что ничего не получится: с похожими штуками он уже встречался и точно знает, что разминировать бомбу невозможно никак. Так что тут либо оставить всё как есть, либо съезжать. Сообщать же куда-то бессмысленно, всё равно толку не будет. Разгонят всех, да и взорвут прямо на месте. А это значит, что и Дому конец.

Задумались тогда жильцы. Всерьез задумались. Даже те, кто предлагал немедленно выехать. Потому что Дом стал для всех чем-то куда большим, чем просто жильем. Опять-таки, огороды, кролики... как их бросишь? Да и, честно говоря, идти им было некуда. Ведь война кругом. Поколебались, поколебались, а потом единогласно решили, что нужно жить дальше – с гостем в фонтане. Ну что уж тут поделаешь? С этим веским аргументом спорить было никак невозможно.

Хотя несколько человек собрали было впопыхах свои пожитки и кинулись вон из Дома. Да только ненадолго. Глупо было искать себе прибежище непонятно где, когда остальные спокойно продолжали жить в своих квартирах. Тем более что бомба всё не взрывалась и не взрывалась... В общем, малодушные вернулись, стараясь не встречаться глазами с теми, кто остался.

Так или иначе, все стали жить, стараясь делать вид, что ничего не случилось. Только, говорил дядя Гоша, привычная жизнь всё же стала понемногу меняться.

Сначала эти изменения, вроде бы, совсем не были связаны с торчащим посреди фонтана гостем. Но только чаще вспыхивали скандалы в квартире тридцать семь, где и без того было не всё благополучно, а молодой жилец квартиры пятьдесят три Михаил Найман был однажды пойман за до сей поры немыслимым в Доме делом – кражей кролика. Правда, призванный к ответу, Миша утверждал, что просто на время забрал кролика к себе, чтобы не было так одиноко. И даже назвал его Левой. Мише сразу поверили, потому что никто не станет называть кролика по имени, если собирается пустить его на обед. Сам кролик Лева смотрел на всех недоуменно и смешно шевелил губами, словно старался угадать, в какую сторону клонится его судьба.

А из седьмой квартиры, где жил горький пьяница Осипенко, то и дело доносились звуки патефона. Причем слушал Осипенко не пластинки популярного тогда Утесова, как можно было бы ожидать. Нет, вместе с запахом перегара и прочих нечистот из-за двери неслись то тревожные, то убаюкивающие звуки григоровской «Песни Сольвейг».

Да еще – и это заметили все жильцы – стали они относиться друг к другу уже не как раньше, а по-другому... с опаской, что ли. А чего опасались, и сами не могли бы сказать. Как будто прилетевший к ним гость нашептывал им друг о друге гадости, поверить в которые было невозможно, но и не верить не получалось.

С другой стороны, постоянное присутствие неразоровавшейся

бомбы многократно усиливало в жильцах все чувства, причем настолько, что многие просто стыдились в этом признаться даже самим себе. У немолодой уже – лет, наверное, под пятьдесят – жилищки Фирузы Махмудовны из двенадцатой квартиры вдруг вспыхнул отчаянный и безнадежный роман с тоже немолодым и женатым Сидоренкой из тридцать второй. Взрослый сын дворника Серега, которого не призвали в армию по инвалидности, объелся сырой капустой и чуть не умер. Жилец из сорок восьмой квартиры, худой и нелепый бухгалтер Кюхлин стал писать отвратительные стихи, а живший в полуподвале истопник Данилыч вдруг решительно бросил пить.

Наверняка появились и другие тщательно скрываемые жильцами изменения, о которых теперь уж никто рассказать не может. Было ли это связано с прилетевшей бомбой? Теперь это трудно проверить. Детишки, по словам дяди Гоши, быстро привыкли к гостю и воспринимали его просто как часть своего Бабая. Тем более что вода из фонтана отчего-то не ушла, и внешне всё оставалось по-прежнему.

Но, конечно же, долго так продолжаться не могло. Снова, как и в первый раз, гость пришел вооруженным. Причем был он не один, а с двумя солдатами и перепуганным штатским. Любопытное эхо, дивясь их странному, никогда не слыханному в Доме говору, подкрадывалось к пришельцам то с одной, то с другой стороны. Чуть позже выяснилось, что ночью, обойдя город стороной, фронт отодвинулся дальше на восток. И вот теперь специальные немецкие команды подыскивали место для комендатуры, госпиталя и прочих оккупационных нужд.

Офицер-квартирмейстер был в хорошем настроении. Дом ему сразу понравился. Даже заложенные внешние окна показались вполне уместными в военное время. И сопровождавшие его солдаты были очень довольны: им понравилась не вовремя сунувшаяся во двор Дуня, которую они тут же стали хватать за разные щедро выступающие места.

Неторопливо двигаясь по двору и улыбаясь, немец через переводчика-штатского, в котором жильцы признали одного из работников горкома, приказал всем жильцам убираться к чертовой матери.

Тут перед ним, как черт из табакерки, появился Матвей Рувимович. В глазах его переливался странный нездешний свет.

– А ну вон отсюда! – рявкнул он на языке, столь похожем на немецкий, что пришелец сразу всё понял.

– О-о, какой приятный сюрприз, – улыбаясь, сказал он. – Мне нравятся евреи. Особенно такие храбрые. Но мертвые – еще больше...

Немец отстегнул застежку кобуры и вынул пистолет. Выскочившие было во двор жильцы шарахнулись обратно. Матвей Рувимович побледнел как стена, но не двинулся с места.

– Наконец-то, – промелькнуло у него в голове. – Лечить болезнь следует самым кардинальным образом, вплоть до...

Но додумать эту мысль Матвей Рувимович не успел, потому что

вдруг увидел, как изменился в лице немец, а солдаты отпустили Дуню и замерли.

– О-о, – отчетливо произнес квартирмейстер и, словно прося тишины, поднял кверху указательный палец. С перекошенным лицом он оглядел двор и неловко, задом, стал отступать, не спуская глаз с чего-то за спиной Матвея Рувимовича...

По словам дяди Гоши, штатский потом рассказывал: отойдя на безопасное расстояние, немец выругался и сказал своим солдатам, мол, пусть эти сумасшедшие русские, равно как и евреи, и дальше живут на бомбе. Больше немцы в Доме не появлялись.

Но история с бомбой на этом не закончилась. Как-то ночью, пробираясь от любовницы домой, немолодой Сидоренко застал у фонтана ту самую бедовую Дуню из девятой квартиры. Она стояла на коленях и молилась. Еще после того, как первый гость с маузером, Семен Иванович, убил Льва Моисеевича, Дуня говорила, что это Промысел Божий, и что Дом их – Дом избранных. И еще всякое такое, что неверующим жильцам казалось полной чепухой и глупостью, а верующим – совершеннейшим богохульством. Но все единогласно сходились на том, что всё это – опять-таки результат неудавшейся личной Дуниной жизни.

Так вот, посреди ночи Дуня стояла перед неразорвавшейся бомбой на коленях, да еще и прикладывалась к ней губами. Немолодой Сидоренко замер от ужаса, потому что сапер Олег Петрович всех категорически предупредил: если бомбу не трогать, то взрыватель, возможно, никогда и не сработает. Но вот если тронуть...

В полуобморочном состоянии Сидоренко прокрался к себе в квартиру. Примостившись рядом с посапывавшей во сне теплой женой, он вдруг понял, что рассказать про сумасшедшую Дуню никому не сможет, потому что – как он объяснит жене, да и всем остальным, свою ночную прогулку у фонтана? И в то же время было понятно, что бедовая Дуня подвергала весь Дом страшной опасности.

В отчаянии бедолага Сидоренко решил было Дуню убить, хотя и знал, что никогда не справится с такой задачей. Это настолько сводило его с ума, что он даже перестал посещать Фирузу Махмудовну. Невыносимо было видеть Дуню, целующую страшного пришельца. А то, что Дуня делает это каждую ночь, не вызвало никаких сомнений. Но когда доведенный до полного отчаяния Сидоренко собрался было признаться жене во всем, бомба вдруг пропала.

Дядя Гоша рассказывал мне, что хорошо помнит: выбежал он тем утром во двор и даже не сразу сообразил, что с Бабаем что-то не так. И только когда во дворе появились взрослые, обнаружилось, что пришелец бесследно исчез. Козлоногий Пан остался, трещина на нем – вот она, плитка на дне фонтана, разбитая носом бомбы, тоже на месте. А самой бомбы нет – как будто и не было никогда!

Поскольку никто из жильцов, кроме окончательно спятившей Дуни, не верил в божественную сущность бомбы, все они обратились за разъяснениями к бывшему саперу Олегу Петровичу. Но тот только пожимал плечами и говорил, что быть такого не может, что бомба от любого толчка должна была взорваться. Однако против очевидного возражать не стал, а только тихо себе под нос выругался, снова пожал плечами и ушел.

Долго гудел Дом, строя самые разные – порой невероятные – предположения. Говорили, что страшный пришелец куда-то не делся, а просто провалился в якобы находящиеся под двором огромные многоэтажные подвалы. Хотя это была откровенная ерунда, потому что никакой дыры, в которую могла бы провалиться бомба, в фонтане не было. Да и про подвалы, скорее всего, врал дворников сын Серега. Тот самый, что до полусмерти объелся капустой.

Еще говорили, что бомбу обезвредил и куда-то унес сам Олег Петрович, а молчит об этом из скромности. Да и вообще, человек он, как известно, больной, контуженный, что с него взять. Но и это предположение не выдерживало никакой критики. Даже если представить, что каким-то чудом не сработал взрыватель, то весу-то в этой бомбе было пудов десять, никак не меньше. Так спрашивается, как же Олег Петрович, человек немолодой и совсем не богатырского здоровья, мог ее унести?

Дуня же твердила, что это была не просто бомба. Ее послали сюда для того, чтобы спасти от гибели Дом и саму Дуню, а потом забрали туда, откуда она и пришла, то есть на небеса. Над Дуней, конечно, все посмеялись, но никакого другого правдоподобного объяснения исчезновению бомбы так и не нашли.

Поспорили-поспорили жильцы, да и позабыли об этом странном происшествии. Тем более что спустя некоторое время война закончилась, и жизнь снова стала налаживаться. Чему, впрочем, по-прежнему способствовало наличие огорода и сарая с кроликами. К моменту, когда я подрос, кое-кто из старых жильцов говорил, что всё это ерунда, что на самом деле и не было никакой бомбы. А другие утверждали, что бомба была, но ее обезвредили и увезли приехавшие в тот же день саперы. Свидетельства же дяди Гоши советовали не принимать в расчет, потому что было ему в ту пору лет всего-ничего.

С окончанием войны началась новая жизнь. По крайней мере, для некоторых. Потому что в Доме появилась Великая Блудница. Кое-кто из образованных жильцов в шутку назвал ее «блудницей вавилонской», хотя карликовый пудель, с которым она регулярно гуляла во дворе, пусть и отличался мерзким характером и привычкой лаять без остановки, но никак не мог считаться семиглавым зверем.

Великая Блудница, а вернее, Светлана Ивановна Струченкова, появилась не сама по себе, а была приведена в Дом одним из жильцов,

имени которого не сохранилось, потому что вскоре он куда-то завербовался и исчез, оставив жилплощадь на попечение Великой Блудницы. По слухам – возможно, весьма преувеличенным, – Светлана Ивановна в первую же брачную ночь умудрилась соблазнить дружка жениха, а, кроме того, еще пару-тройку приглашенных гостей, пока немного перебравший за свадебным столом жених безмятежно спал в супружеской кровати.

Великая Блудница благодетельствовала всех подряд: только-только начавших бриться юнцов и седых, давно махнувших на себя рукой стариков, солидных ответственных работников с прекрасной репутацией и беспутных пьяниц без всякой репутации, высоких и низких, худых и толстых, интеллигентов и простых работяг.

Что скрывать? Конечно, бывали в Доме интрижки и раньше, люди есть люди. Но чтобы в таких масштабах?! Дом гудел и совершенно не знал, что предпринять.

Сегодня Великую Блудницу, наверное, назвали бы нимфоманкой, страдающей истерией поведения; а тогда, по незнанию, соседи употребляли куда менее научные, но более сочные выражения. Хотя на самом деле Великая Блудница не попадала ни под одно из этих определений. Ну не будем же мы всерьез считать порочной птичку, какнувшую нам на голову?

Великая Блудница никакой блудницей не была, ибо легкость и естественность, с которой она отдавалась, и, самое главное, ощущения, переживаемые при этом мужчинами, относились совершенно к другой категории бытия. Она не грешила, а подавала напиток одинокому, бредущему по пустыне страннику. По крайней мере, так утверждали те, кому выпало это счастье. Впрочем, многие из них были людьми безнадежно женатыми, поэтому относиться к такому утверждению следует с изрядной долей скепсиса.

При этом Светлана Ивановна даже не была красива. Более того, была она уже, что называется, не первой свежести. Разве что грудь у нее была непомерно большой и на вид даже крепкой.

Но, так или иначе, Блудница проживала в Доме, выгуливала свою собачку и служила темой бесконечных сплетен, а также поводом для слез и скандалов. Но ни одна из обманутых женщин отчего-то ни разу не пробовала разобраться с самой Великой Блудницей. Видимо, жены неверных мужей чувствовали в ней иную силу, выступать против которой они просто не решались. Кроме того, ни одна из оскорбленных жен никогда не могла обнаружить во взгляде Великой Блудницы ни торжества победительницы, ни презрения к побежденной. При встречах она только невозмутимо улыбалась.

Так продолжалось довольно долго. Уже почти всё взрослое мужское население Дома, разговаривая с женами, виновато опускало глаза. И неотрывно и жадно следило за прогуливающей свою собачку

Великой Блудницей. Ибо не было еще ни одного мужчины, который провел бы хоть минуту наедине с нею, не желавшего повторить эти невероятные ощущения, невзирая на семейные, а равно и всякие прочие обязательства.

Но, как ни странно, у Великой Блудницы были свои особые принципы. Однажды напоив мужчину своим телом, она никогда больше не позволяла ему прикоснуться к себе. Если верить сплетням, исключение не было сделано даже для сгинувшего в неизвестном направлении мужа. И в этом, по словам обманутых, но не последовательных жен, проявлялась ее, Великой Блудницы, особая развращенность.

Но однажды летним вечером случилось то, чего не могли ожидать ни отчаявшиеся жены, ни их вконец запутавшиеся мужья, ни сама Великая Блудница. Когда она, как обычно, выгуливала во дворе у фонтана своего пуделька, дорогу ей преградила жиличка из восьмой квартиры, внучка сапера Олега Петровича, Лилька по прозвищу Оторва.

Лилька считалась самой беспутной в Доме особой. При этом ее, в отличие от той же Дуни, никто не жалел, да и никаких поводов жалеть себя она не давала.

Потому что росла Лилька недолюбленной: в их простом семействе как-то не принято было любить друг друга. Еще больше Лилька озлобилась, когда, войдя в возраст, сообразила, что все ее мужики либо погибли на фронте, либо были расхвачаны теми, кто постарше и попривлекальней. Оставались только пьяненькие, ни на что не способные инвалиды, околавившиеся в пивной, где Лилька работала буфетчицей. И как-то так постепенно получилось, что остервенилась она до глубокой бабьей свирепости. Настолько остервенилась, что снились ей всё время страшные сны, в которых Лилька большим ножом рубила здоровым мужикам руки и ноги, превращая их в тех самых инвалидов из пивной, а потом сама же страстно целовала их в пьяные мокрые губы.

Прилившая к ней маска грязной оторвы сначала ужасно ранила Лильку, но потом неожиданно начала нравиться. И то, как шарахались от нее остальные жилички, нравилось, и настороженное отношение поддатых мужиков в пивной, даже не пытавшихся ее облапать... И вообще оказалось, что опуститься на самое дно жизни не так уж и плохо, потому что там падать уж некуда, да и терять тоже нечего. И потому можно уже ничего не бояться. Лилька и не боялась...

Не стоит и говорить, что слава за Лилькой закрепилась самая печальная. Шептались жилички, что, дескать, по своей стервозности и от отчаяния спит Лилька с самыми грязными и опустившимися из инвалидов, а тех, которые по возрасту или болезни уже потеряли мужскую силу, убажывает образом, о котором приличным людям и говорить-то стыдно.

Все эти приличные люди, включая собственного Лилькиного

отца, очень удивились бы, если бы узнали, что на самом-то деле никогда и ни с кем она не была, а уж о тех непристойностях, о которых шептались жилички, и вовсе не догадывалась. Хотя матерные выражения, с ними связанные, не только знала, но и щедро их использовала... В общем, девственна была Лилька. Девственна и, несмотря на окружавшую ее со всех сторон грязь, совершенно невинна. И это в свои-то неполные двадцать!

Вот эта самая Лилька и встала в тот вечер перед Великой Блудницей, картинно оперев одну руку в бок, а другой облокотившись на бортик фонтана, отчего ее жилистое тело с неестественно выпяченным мальчишеским бедром казалось совсем уж комичным.

– Ну чё, ты тут, что ли, самая шалавая? – громко и презрительно спросила Лилька. И послушное эхо тут же понесло ее голос по двору. Пудель Великой Блудницы, обычно веселый и нахальный, вздрогнул и попятился, прячась за хозяйку. А вот сама Великая Блудница совсем не испугалась. Смерив взглядом смешную и грозную Лилькину фигурку, она кивнула ей дружески и примирительно.

Но Лилька мириться не собиралась. Она посмотрела на выглядывавших с балкона жиличек, еще не понимавших, как им относиться к разгоравшемуся скандалу, и победно ухмыльнулась.

– Ты думаешь, сучка, ты всех мужиков к себе под юбку забрала? Да мы и не таких видали! Не только у тебя там медом намазано!

Лилька замолчала, ожидая реакции Великой Блудницы, но та только улыбалась. Это немного смутило привыкшую к обычному ходу дворовых склок Лильку. Но она тут же взяла себя в руки.

– Великая Блудница! Да обычная ты блядь! Вот я, если хочешь... Все мужики мои будут! Да! Вот, смотри!

Трудно сказать, что стукнуло Лильке в голову, возможно, ее сбила с толку по-прежнему невозмутимая улыбка Великой Блудницы. Но только вдруг Лилька изменилась в лице: из наглого и презрительного оно отчего-то стало детским и растерянным. Дворовая хулиганка исчезла, уступив место наивной девчонке.

Сама не понимая, что делает, Лилька гордо выпрямилась и, дернув за бретельки своего простенького сарафанчика так, что большущая белая пуговица с громким бульком утонула в фонтане, сбросила его к своим ногам. Оставшись в нелепом и, в общем-то, ненужном ей лифчике и длинных линиях трусах до колен, Лилька решительно потнула головой, скривилась и стащила с себя и лифчик, и трусы.

На балконе хором охнули жилички. Вертевшееся под ногами эхо тут же убежало в конец двора и вернулось к Лильке с легким порывом ветерка. От холода ее обнаженное тело пошло мурашками, но, несмотря на это, неожиданно оказалось куда более женственным, чем можно было подумать, – с высокой маленькой грудью и пусть и худыми, но стройными бедрами.

– Ну что, – пытаюсь себя взбодрить, сказала Лилька, – я вот сейчас прям так пройду по всему двору, туда и обратно. А ты так сможешь?

Великая Блудница неопределенно покачала головой, и Лилька, истолковав этот жест по-своему, высоко подняла голову и шагнула вперед. Зрителей на балконах прибавилось, но остолбеневшие жены и матери даже не подумали загонять мужей и сыновей обратно в квартиры.

Был тот самый час, когда солнце стояло низко, рисуя на асфальте длинные удивленные тени застывшего в фонтане Пана и тех не менее остолбеневших жильцов, которые успели выскочить во двор. Голая Лилька гордо шла по двору, с каждым шагом, прямо на глазах у смотрящих на нее, становясь всё красивее.

И тогда в глубокой вибрирующей тишине жилыцы и жилички вдруг услышали гулкие – то высокие, то глухие – рваные звуки и, оторвав взгляд от Лильки, посмотрели в ту сторону, откуда они раздавались. То, что они увидели, удивило их, пожалуй, даже больше, чем вид обнаженной Оторвы. Стоя у фонтана и прикрывая скривившееся лицо руками, плакала навзрыд Великая Блудница. А у ее ног тревожно постукивал пуделек.

Тогда присутствующая тут же Дуня вдруг всхлипнула, а потом сразу заплакала в голос. И вслед за ней, сами того не ожидая, потекли, поплыли в горько-сладких слезах все женщины, и даже окончательно сбитые с толку мужчины почувствовали предательское жжение в глазах и спазмы в горле...

Никто бы не мог толком объяснить, о чем они плакали, но было в этом общем плаче намешано многое: случившееся и не случившееся, темное и светлое, постыдное и возвышенное.

Как утверждает легенда, Лилька сделала круг по двору, неторопливо оделась и исчезла. Великая Блудница чуть ли не в тот же день выехала из Дома вместе со своим пудельком. А вот Лилька осталась. И в Доме снова установился относительный покой.

Когда я подросток, то регулярно здоровался во дворе с почтенной Лилией Васильевной, заведующей расположенной через дорогу от Дома столовой, где всегда на удивление добротной и вкусно кормили. И сколько ни старался, никак не мог обнаружить в ней той Лильки-Оторвы, изгнавшей из Дома саму Великую Блудницу.

Удивительно, но рассказывающие мне об этом примечательном событии пожилые тетки как будто даже жалели Великую Блудницу и, чего уж греха таить, скучали по тем лихим временам. Ведь тогда были живы их легкомысленные мужья, которых тетки люто ревновали и даже, бывало, били по раскаявшимся мордасам. Но ведь за скандалом всегда следовало сладкое примирение. И провинившиеся мужья изо всех сил старались загладить свою вину. А вот к Лильке тетки почему-то относились сдержанно и говорили, что Оторва – она

оторва и есть, что тогда, что теперь. И в столовке своей уж наверняка себя не обижает, крадет, что плохо лежит.

Но как же так, спрашивал я, ведь это же та самая Лилька, которая изгнала Великую Блудницу и тем самым вернула им мужей, а Дому – покой? Тетки качали потяжелевшими головами: чего ж теперь-то вспоминать о прошлом? То ли было оно, то прошлое, то ли не было его, поди разбери...

Примечательно, что все эти давние истории, как днище старого корабля ракушками, густо обросли вымыслами и случайно попавшими в них поздними дополнениями. Но я передаю их в том виде, в каком услышал, только немного домысливая и скрашивая совсем уж неприглядные моменты, коих, понятно, в истории Дома, как и вообще в истории человечества, было предостаточно.

А в самом начале пятидесятых в Доме появился некий Карен Рафаилович. Он казался типичным порождением своего времени – времени защитных френчей и яловых – или хромовых, смотря по чину, – сапог.

Теперь уж трудно сказать, кем в действительности был Карен Рафаилович. Наверное, просто мелким жуликом, каких что тогда, что теперь хватает в нижних и средних этажах власти. Но по сохранившимся неточным данным служил он, вроде бы, старшим цириком, то есть начальником караула в городской тюрьме.

В отличие от многих, Карен Рафаилович обладал пылким воображением и, главное, нешуточными амбициями. Поэтому, поселившись в Доме в квартире номер девятнадцать и немного оглядевшись, однажды вечером он остановил у фонтана Матрену Сысоевну.

– Скажите, – подчеркнуто официальным тоном обратился к ней Карен Рафаилович, – ведь это вы старшая по дому?

– Ну, – настороженно ответила ему Матрена Сысоевна.

Тут следует объяснить, что, несмотря на некоторую кондовость, Матрена Сысоевна была человеком незаурядным и по-житейски мудрым. Она появилась в Доме во время революции и после смерти Льва Моисеевича стала старшей не просто так, а благодаря своим удивительным поступкам. Например, по некоторым сведениям, именно она спасла Дом от страшного сыпного тифа, который, в отличие от бандитов и чекистов, проник-таки в Дом и начал выкашивать жильцов.

Где Матрена Сысоевна достала лекарство или вакцину и, главное, откуда в разграбленном опустевшем городе, где не было самого необходимого, могли взяться лекарства, – не знал никто. Хотя говорили разное. По одной версии, Матрена Сысоевна, тогда еще довольно молодая особа, за эти лекарства отдалась самому главному городскому чекисту.

По другой же версии, Матрена Сысоевна, несмотря на молодость, собрала и возглавила страшную женскую банду. Банда эта якобы состояла частью из оставшихся не у дел девиц из местного

публичного дома, а частью из выкинутых на обочину жизни учениц Института благородных девиц, закрытого после революции. И вот эта самая банда грабила аптеки и склады, не брезгуя, впрочем, и визитами к зажиточным гражданам.

Но наиболее любопытной мне кажется третья, довольно романтическая версия. Согласно этой версии Матрена Сысоевна была искренне предана делу большевиков, какое-то время работала в подполье и даже чуть было не погибла, когда стреляла из браунинга в двух белых офицеров, предложивших ей, молодой девчонке, банку консервов из своего пайка.

Больше всего она была предана великому вождю мирового пролетариата – и даже испытывала к нему понятные в ее возрасте нежные чувства. По непроверенным слухам, повесила тогда Матрена Сысоевна в своей комнате портрет кумира – и не то молилась на него о светлом будущем, не то в нескромных мыслях рисовала себе другие образы. Хотя и знала, что вождь давно и безнадежно женат.

И вот, рискуя жизнью, где пешком, где попутными поездами, добралась она до Москвы. И там, спекулируя своим простым крестьянским происхождением, оказалась в самом Кремле. Будучи, как я уже упомянул, молодой и наивной, она хотела встретиться с предметом своего обожания и рассказать ему о Доме, о том, как жильцы построили в нем самый настоящий коммунизм – и вот теперь отчаянно нуждаются в помощи. Она искренне верила, что вождю очень понравится их Дом, и им не только помогут, но и построят такие же Дома по всей стране.

Но в Кремле она вождя не застала. Оказывается, он уехал в Замоскворечье, на какой-то завод. Матрена Сысоевна не стала дожидаться вождя, а с присущей ей энергией отправилась в Замоскворечье. Там она нашла-таки его, пьющего чаек с сахарком вприкуску в каком-то заводском закутке, и рассказала про Дом и про нужды его жильцов. И даже приложила длинный список всего необходимого для дальнейшего существования Дома Настоящего Коммунизма, как она его называла.

По словам тех, кто рассказывал мне эту историю, обожаемый вождь оказался совсем не таким, каким он виделся Матрене Сысоевне в ее ночных бдениях. И именно: был он низеньким, рябым, с редкой бородкой и суетливым взглядом мародера.

Чайку он Матрене Сысоевне не предложил, но выслушал, тем не менее, внимательно. Выслушав же, долго смеялся. А отсмеявшись, сначала записал на подвернувшейся бумажке имя и фамилию Матрены Сысоевны, а также точный адрес Дома, приговаривая, что Феликсу Эдмундовичу будет архиинтересно услышать об этом коммунизме, построенном в одном отдельно взятом доме. А потом велел своему бугаю-охраннику гнать ее вшаей, причем употребил при этом слова, которых Матрена Сысоевна никак не ожидала услышать от вождя мирового пролетариата.

В этот момент в Матрене Сысоевне что-то сломалось – трагически и навсегда. Светлый образ, горевший в ее душе, погас. Сама не своя она выскочила на улицу, где к тому моменту уже толпились собранные на митинг рабочие. Вскоре перед ними появился и напившийся чайку вождь. Он сразу же заговорил о необходимости бороться за правое дело, невзирая ни на какие препятствия и трудности. И, главное, убивать врагов революции, мешавших построению коммунизма, безо всякой жалости и прочих интеллигентских сопливыхостей, которыми пытаются забить головы рабочих господа меньшевики и подобная им контрреволюционная мразь.

Несмотря на картавость, вождь трудового народа говорил так проникновенно и был так убедителен, что Матрена Сысоевна хоть и не сразу, но сообразила, что именно он и есть тот самый враг, мешавший построению коммунизма в ее Доме, которого нужно убивать без пощады и жалости. Он, а вовсе не белые офицеры, которых она когда-то застрелила! Тогда, выхватив из-за пазухи тот самый припасенный на всякий случай браунинг, Матрена Сысоевна сделала два выстрела и, пользуясь возникшей суматохой, скрылась.

Когда выяснилось, что вождя она не убила, а вместо нее была схвачена и казнена другая девушка, Матрена Сысоевна очень огорчилась. И тут снова появляются две версии, что и неудивительно, принимаемая во внимание затейливость людских судеб вообще – и в то беспокойное время, в частности. Приверженцы одной версии утверждали, что, вроде бы, спасла Матрена Сысоевна Дом вовсе не лекарствами, а просто тем, что выкрала ту бумажку, на которой вождь записал их адрес для передачи товарищу Феликсу Эдмундовичу. Зато другие были абсолютно уверены, что сразу после неудавшегося покушения отчаявшаяся Матрена Сысоевна просто ограбила кремлевскую аптеку, в которой и оказались жизненно необходимые жильцам Дома лекарства и вакцины.

Вполне возможно, что все эти истории придуманы от начала и до конца, но, так или иначе, безусловная правда состоит в том, что была Матрена Сысоевна женщиной серьезной и обстоятельной. И браунинг у нее действительно имелся. А утратив любовь к вождю, она перенесла ее на Дом и стала относиться к нему преданно и заботливо, как к живому существу. Тем более что так и осталась навек одинокой, если не считать кошек, к которым Матрена Сысоевна питала неожиданные для такого сурового человека нежные чувства.

– Ну, – повторила Матрена Сысоевна, глядя на Карена Рафаиловича, – что у тебя?

– Вопрос, – твердо ответил Карен Рафаилович.

К сожалению, не поняла тогда Матрена Сысоевна, что скрывает за взглядом этих пронзительных кавказских глаз.

– Позвольте спросить, уважаемая, а кто вас выбирал на эту замечательную должность?

Матрена Сысоевна и тут не насторожилась, хотя должна была бы.

– Дык, кто там выбирал? Просто как-то так само получилось, после смерти Моисеича. Да и давно это было. Тридцать пять лет прошло.

– Во-от, – удовлетворенно протянул Карен Рафаилович и знакомым жестом разгладил усы. – Никто не выбирал. А времена-то изменились. Да еще как изменились! Теперь всё должно быть по-другому. Мы просто обязаны провести выборы главного по Дому.

Но и тогда ничего не заподозрила Матрена Сысоевна. Много лет она добровольно и совершенно бескорыстно заботилась о Доме. Например, чтобы Дом, который, вроде бы, не числился на балансе у городских служб, но, в то же время, не был бесхозным, получал от города и газ, и воду, и электричество. Да и вообще Матрена Сысоевна решала множество мелких проблем – от вывоза мусора до проведения общих собраний жильцов. И никто никогда не зарился на ее место – не потому, что была Матрена Сысоевна человеком в Доме весьма уважаемым, а просто кому охота взваливать на свои плечи все эти хлопоты?

И тут появился человек, который собирался отодвинуть ее и самому занять это место.

– Ну что ж, – пожав плечами, решила Матрена Сысоевна, – я не против, давай проведем общее собрание.

Она вдруг подумала, что здорово устала за все эти годы и, наверное, неплохо было бы переложить все заботы на широкие мужские плечи, а самой заняться чем-нибудь таким... бабским. Да вот хотя бы вязанием! Она давно собиралась попросить соседку Галю из восемнадцатой квартиры научить ее этому затейливому и кропотливому делу.

И собрание жильцов было-таки проведено! Как и повелось, у фонтана собралось почти всё взрослое население Дома. Карен Рафаилович оказался отменным оратором, ничуть не хуже недобитого Матреной Сысоевной вождя пролетариата. А может, даже и лучше. Чуткое эхо сразу признало в нем нового хозяина и подобострастно понесло его речь по двору.

– Нельзя не признать, что за прошедший период, – весомо заявил Карен Рафаилович, – администрацией Дома была проделана определенная работа.

Тут Карен Рафаилович сделал паузу и знаками показал собравшимся, что следует похлопать.

– Но, – дождавшись вялых аплодисментов и тут же прервав их взмахом руки, сурово заявил Карен Рафаилович, – следует отметить, что эта же администрация непростительно долго откладывала решение важнейших вопросов. А именно, легализации Дома, постановки на учет и прописки всех жильцов, а также выделения средств для создания в Доме товарищеского суда и кассы взаимопомощи.

Ах, если бы это собрание происходило хотя бы лет пятнадцать

назад! Когда еще были живы самые первые жильцы, помнящие, как Дом стал тем, чем он стал. Но кроме самой Матрены Сысоевны, неунывающей Дуни да еще пары-тройки стариков, почти никого из старожилков не осталось в живых. А те жильцы, которых Матрена Сысоевна считала новыми, послушно кивали головами, соглашаясь, что жить без прописки уж очень неудобно, да и вообще пора уже Дому-призраку превратиться в нормальное жильё.

Про Дом-призрак выкрикнул постаревший, но еще бодрый врач-венеролог Матвей Рувимович Газенпуд. После случая с немцем он здорово изменился, стал беспокоен, заводил с жильцами странные и неподобающие его положению разговоры и даже регулярно посещал психиатра. Об этом жильцам по секрету сообщила работающая в психиатрии нянечкой Марья Петровна из сороковой квартиры. Матвея Рувимовича начали сторониться как чумного, но не позвать его на общее собрание не могли, тем более что его тотчас же поддерживали две молодые мамыши, недавно поселившиеся в квартирах тринадцатой и тридцатой семь.

– Детей в садик не устроить, – торопливо и пронзительно верещала одна из них. – С поликлиникой вон тоже проблемы...

– А еще в очередь на жильё не ставят, – влез в дискуссию совсем новый жилец Владлен Алексеевич из тридцатой четвертой. – Дом-то старый, того и гляди на снос пойдет. А нам куда деваться?

Остальные жильцы неопределенно качали головами, но в целом соглашались, что пора что-то менять. И общим решением выбрали Карена Рафаиловича старшим по Дому. Привыкшей за долгие годы подчиняться законам демократического централизма Матрене Сысоевне ничего не оставалось, как передать ему все дела.

В последующие дни Дом просыпался от громкой музыки, несущейся со двора. Там, у фонтана, распорядился Карен Рафаилович. А Матрена Сысоевна не сразу поняла размер трагедии. Поначалу она была даже довольна тем, что энергичный и относительно молодой Карен Рафаилович возьмется за наведение порядка, на которое ей уже не хватало сил. Сама же она одолжила-таки у соседки Гали спицы, немного шерстяных ниток и журнал «Работница», где на последней странице были напечатаны инструкции по вязанию для начинающих.

Во двор Матрена Сысоевна теперь выходила редко. Помимо прочего, была она попросту обижена на неблагоприятных жильцов. Так уж, видно, устроен этот мир, который она по молодости и глупости энергично пыталась переделать, да только никакого толку из этого не вышло.

Но с некоторых пор поздними вечерами к Матрене Сысоевне прокрадывалась то одна, то другая соседка, чтобы сообщить новости о кипучей деятельности неугомонного Карена Рафаиловича.

Например, отобрав у жильцов паспорта, Карен Рафаилович так и

не отнес их на пропуск – и вообще никаких обещанных мероприятий, кроме ежедневных митингов, на которых собирал деньги в организованную им кассу взаимопомощи, не проводил. Причем касса бесконтрольно находилась в руках у самого Карена Рафаиловича.

Или вот появились в Доме какие-то новые жильцы – человек пять-шесть здоровенных молодых парней, выполнявших все приказы Карена Рафаиловича. Например, они уже побили Ваську из четвертой квартиры за отказ вносить деньги на взаимопомощь, и теперь их все боятся. Кроме того, Карен Рафаилович велел составить списки жильцов Дома, включая стариков и младенцев, с тем, якобы, чтобы установить полный контроль, также и график уборок общественных мест.

Слушая это новости, Матрена Сысоевна только качала головой и, грешным делом, немного злорадствовала, вспоминая, как легко и бездумно предали ее эти люди. Хотя, прекрасно зная цену сплетням, не до конца верила всем этим ужасам.

Но однажды поздно вечером у нее на пороге возник сам новый глава Дома и, жестко глядя прямо в глаза, потребовал, чтобы прямо сейчас, сию минуту Матрена Сысоевна явилась на собрание жильцов в связи с чрезвычайными событиями.

На собрании, к удивлению Матрены Сысоевны, присутствовали почти все жильцы Дома.

«Надо же, – уважительно подумала она про Карена Рафаиловича, – мне приходилось просто силком тащить их на собрания, а тут все в сборе, да еще ночью...»

Карен Рафаилович взобрался на бортик фонтана так, чтобы на него падал свет единственного дворового фонаря, сделал значительное и скорбное лицо и плачущим голосом сообщил собравшимся, что скончался гений всех времен и родной отец прогрессивного человечества...

На этом месте Карен Рафаилович сделал большую паузу и закашлялся.

Предательское эхо в ужасе шарахнулось в сторону и затихло в толпе жильцов.

– Это тяжелое для всех нас время, – продолжал в полной тишине Карен Рафаилович. – Если бы солнце погасло, мы бы не так горевали – ведь оно светит не только хорошим, но и плохим людям, ну а он, как известно, светил только хорошим... В общем, предлагаю объявить в Доме траур и чрезвычайную ситуацию.

Ошеломленные жильцы безропотно проголосовали и за то, и за другое. А Карен Рафаилович продолжил.

– Наш Дом, – сказал он, – не просто какой-нибудь дом, и вы все это хорошо знаете. Наш Дом – это почти отдельное государство. И теперь, когда непонятно, как всё сложится после смерти великого вождя, мы должны быть особенно бдительными. Поэтому, в связи с чрезвычайной ситуацией, я – временно, конечно, – оставляю у себя все

ваши паспорта, а также – опять же временно – ввожу единовластие и назначаю себя полным правителем Дома до отдельного распоряжения.

– Эй, да что же это делается? – раздался чей-то голос, и трое незнакомых Матрене Сысоевне парней с откровенно бандитскими рожами, вскочив на бортик фонтана, стали вглядываться в толпу. Жильцы притихли.

– Теперь, – удовлетворенно оглядев собрание, продолжил Карен Рафаилович, – я думаю, все вы понимаете, что государство не может существовать без правительств – оно у нас уже есть; без армии – с ней кое-кто из вас уже познакомился – и без системы наказаний. Поэтому для особо непонятливых в одном из подвалов мы оперативно организовали камеру временного содержания.

Еще раз оглядев собравшихся, Карен Рафаилович заявил, что всё вышеперечисленное требует материальных средств, и поэтому, кроме взносов в кассу взаимопомощи, с жильцов будут ежемесячно взиматься по двести рублей с квартиры с одним кормильцем и по триста с квартиры с двумя работающими...

Когда я думаю о том времени, то невольно удивляюсь пассивности, если не сказать трусости, жильцов, которых могли запугать несколько бандитов. Но подросший к тому времени дядя Гоша вспоминал, что привыкшим ко всяческому произволу людям казалось тогда совершенно естественным почувствовать на себе тяжелую, но надежную руку беззакония, принявшего личину закона.

Более того, многим жильцам казалось даже, что, получив своего внутреннего диктатора, они странным образом противостояли произволу внешнему, который, как они ни старались, всё же капля по капле проникал в Дом. Это вроде как с атмосферным давлением, которое раздавило бы человека в лепешку, кабы не его внутреннее кровяное давление.

В этом месте неоднократно рассказывавший мне эту историю дядя Гоша обычно звонко хлопал себя ладонью по ляжке и кричал, что опять забыл принять таблетку от этого самого кровяного давления, что б его! Потому как если оно уж слишком высокое, то тут как раз обратное дело – изнутри может человека разорвать. Затем дядя Гоша крепко материл своего лечащего врача и убегал.

Матрена Сысоевна вернулась домой с собрания со смешанными чувствами. С одной стороны, так им, дуракам, и надо. С другой, Дом, ее любимый Дом превращается в грязную тюрьму. Матрена Сысоевна вдруг вспомнила камеру, в которой сидела давным-давно, после убийства белых офицеров, и что с ней там делала скучающая охрана из молодых казаков. Чтобы отвлечься, она снова принялась за вязание, но была слишком взволнована и потому решила просто полистать любимый журнал «Работница». Там ей на глаза попала занятная статья об одной удивительной штуке – петле Мёбиуса. Оказывается, свернутая

особым образом бумажная полоска имеет только одну сторону. А вторая как бы исчезает. Если бы статья была напечатана не в «Работнице», Матрена Сысоевна посчитала бы ее пустой глупостью. «Работнице» же она доверяла. Но и поверить в эту мудреную петлю было трудно.

Тогда Матрена Сысоевна не поленилась отрезать ножницами кусочек бумаги и склеить его согласно прилагаемой в журнале инструкции. Проведя тронутым артритом пальцем по получившемуся колечку, она убедилась, что у него, действительно, имеется только одна сторона. Тогда, чтобы удостовериться окончательно, Матрена Сысоевна нарисовала на петле смоченным слюной химическим карандашом неровную линию. И снова неведомым образом оказывалось, что имелась у этой хитрой петли только одна сторона. Хотя если взять бумажку двумя пальцами, то сторон получалось две. А отпустишь – опять одна...

Матрена Сысоевна долго вертела в руках злополучную петельку. Почему-то пришло ей в голову, что вот так и Добро со Злом, вроде как по разные стороны, но бывает, что хитро свернутые, как эта бумажка, становятся они одним целым. И сколько ни веди пальцем, никакого перехода не заметишь. Снова вспомнила Матрена Сысоевна и тех двух офицеров, убитых ею в полной уверенности в своей правоте, и недоубитого когда-то любимого картоваго вождя...

– Вот оно как, – сказала сама себе Матрена Сысоевна, – сплошная петля этого самого... Тьфу, и не выговоришь-то!

И снова двумя пальцами, словно врага за горло, она сжала несчастную полоску.

– Теперь уж никуда не денешься! Врешь, две у тебя стороны. Две! И, скомкав бумагу, решительно встала.

Два громких сухих хлопка, прозвучавших поздней ночью, слышали почти все жильцы. Но мало ли что это могло быть. А вот про то, куда делся Карен Рафаилович, говорили разное. Многие предполагали, что просто сбежал он с собранными с перепуганных жильцов деньгами. Тем более что и те недавно поселившиеся неприятные молодые люди поутру тоже исчезли, как будто их и не было никогда. И только битый ими Васька из четвертой квартиры долго еще, подвыпив, хорохорился, что, дескать, поймает этих амбалов и отправит в те края, куда Макар телят не гонял...

Разумеется, такая версия исчезновения Карена Рафаиловича была самой правдоподобной. Хотя всё тот же Васька клялся и божился, что будто бы видел той ночью, как эти самые амбалы, хныча от страха, тащили мимо его дверей что-то тяжелое. А за ними, якобы, шла Матрена Сысоевна. Но Ваське, конечно же, никто не поверил. И только внимательный глаз бывшего сапера Олега Петровича отметил, что перестала Матрена Сысоевна выбивать свой знаменитый пропахший кошками ковер.

Впрочем, это легко можно было объяснить тем, что Матрена Сысоевна постарела. И хотя после исчезновения Карена Рафаиловича и после долгих уговоров вернулась к своим обязанностям, выбивать ковер ей, похоже, стало просто не по силам.

Мой отец поселился в Доме, вернувшись с войны, – и тут же женился на маме. Из-за заложённых кирпичом окон на улицу маме Дом не особенно понравился. Она хотела, чтобы у нас в квартире было светло, особенно по утрам. Но она смирилась – и даже считала стальные шкафы в оконных проемах удобным новшеством. Тем более что с обычными шкафами в ту послевоенную пору было непросто. А вот папе, наоборот, наша квартира пришлась по вкусу. Он был фотографом и ценил вечно царящую у нас полутьму за возможность проявлять пленки и печатать фотокарточки прямо в квартире.

В детстве я любил залезать в один из стальных шкафов и, раздвинув висящие на плечиках и пахнущие мамой платья, прижиматься к дальней стенке, представляя, как там, за тонкой кирпичной кладкой, чуть слышно дышит улица. Мне ужасно хотелось как-нибудь провертеть в кирпиче маленькую дырочку и наблюдать за той, внешней жизнью, которая и не подозревала о моем существовании...

И был еще один гость. Этот гость точно явился не с небес. Хотя откуда он взялся, никто толком сказать не мог. Тем более что война окончилась лет двадцать назад.

Это был безногий инвалид-колясочник. Вернее, никакой коляски у него не было, а имелась сколоченная из старого ящика тележка с подшипниками вместо колес. Каким таинственным образом он проник во двор Дома, было совершенно непонятно, но однажды утром его обнаружили рядом с фонтаном, откуда он черпал широкими грязными ладонями воду и, больше проливая ее на замасленную гимнастерку, чем донося до рта, пытался напиться. Ко всему прочему, лицо его было так страшно изуродовано, что я, тогда еще совсем маленький мальчик, боялся даже смотреть в его сторону.

Обнаружившие его жильцы забеспокоились. Прогнать инвалида, тем более такого, ни у кого не поднималась рука. Не говоря уже о том, чтобы заявить о нем в милицию. Всем без исключения было известно, как там, в милиции, поступают с никому не нужными инвалидами войны.

С другой стороны, оставить его жить во дворе тоже нельзя было – это означало взять на себя ответственность. Кроме того, был он пьян, грязен и, возможно, болен чем-нибудь заразным. Да и вообще, где спрашивается, он должен был жить? Не в холодном же оставшемся от кроликов сарае! А кормить его кто будет? А лечить?

В конце концов не растерявшая надежд Дуня расплакалась и объявила, что готова взять инвалида к себе. Прокормит как-нибудь.

Пусть только кто-нибудь из мужчин хорошенько его отмоев. Ведь ей, девушке, заниматься этим просто неприлично... Говорилось это прямо во дворе, у фонтана, в присутствии самого инвалида, в окружении всех жильцов Дома. Жильцы-мужчины задумались. С одной стороны, проблема решалась сама собой: пусть себе живет у Дуни, что с нее, одинокой, взять. Но, с другой стороны, отмывать этого типа у себя дома или даже в бане никому не хотелось.

И тут инвалид открыл рот и прервал дискуссию, стихийно развернувшуюся над его головой:

– *Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия...* – вдруг хрипло произнес он и громко рассмеялся. Постаревшее и притихшее было эхо вдруг проснулось и ответило ему каркающим смехом.

– Ибо сказано: *«И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим!»* Ну, где тут ваш ягненок? – добавил он и обвел всех присутствующих красными глазами с застывшими в уголках сгустками гноя.

Во весь голос ахнула тогда постаревшая, но всё еще бедовая Дуня. Как же так?! Мог ли это быть он, тот самый? Семен Иванович? И тут же поняла – мог, мог, вполне мог. Он это!

– Семен Иванович, – пролепетала она. – Да вы, никак, вернулись...

– *Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои,* – наставительно произнес инвалид. И добавил не к месту. – Что ж делать, в раю-то – пусто! А тебя я знаю, Нюрка ты!

– Запомняли вы, Семен Иванович, Дуня я, – пролепетала счастливая Дуня и зарделась совсем как тогда, в молодости.

К тому времени, когда я подрост и уже учился в шестом или седьмом классе, инвалид вполне прижился у помолодевшей Дуни. Жильцы, зажимавшие носы при первом его появлении, теперь запросто с ним здоровались и уважительно называли Семеном Ивановичем. Квартира Дуни находилась на первом этаже, и вот он-то, Семен Иванович, презрев все сложившиеся в Доме традиции, молотком выбил в заложённом окне, в самом низу, пару кирпичей. Щель, которая снаружи, особенно, когда в квартире не зажигали света, выглядела зловеще, была с секретом.

Потому что стоило кому-то подойти к щели вплотную и бросить на подоконник сорок копеек, как из темноты на мгновение возникла рука с узкой, обернутой серебряной бумажкой, пластинкой жевательной резинки. Восхитительно вкусной и пахучей настоящей американской жвачкой. Так и осталось неизвестным, откуда брал в то время Семен Иванович эту продукцию, но почти в любое время суток зимой и летом дежурил он у своей щели, и не было случая, чтобы в

обмен на протянутые монетки перед тобой не очутилась восхитительная серебряная полоска.

Пробитая Семеном Ивановичем щель сыграла решающую роль в судьбе Дома. Не сразу, конечно, но постепенно – то в одной квартире, то в другой – слышался стук молотков, разбивающих кирпич. И я хорошо помню, как однажды приглашенный мамой каменщик торжественно разобрал ту самую стенку, к которой я так любил приникать в раннем детстве, и когда пыль осела, за ней обнаружилась старая, заросшая паутиной и полусгнившая оконная рама без стекол.

А потом Семен Иванович пропал. Так же неожиданно, как и появился. Растерянная Дуня долго еще носилась по двору и рассказывала, как оставила его на минуточку, чтобы сбежать на угол в магазин, и как, вернувшись, обнаружила, что всё-всё на месте, даже старая коляска на подшипниках, которую Семен Иванович категорически отказывался менять. И дверь в квартиру, по уверению Дуни, была закрыта. А вот самого Семёна Ивановича не было. Исчез Семен Иванович. И Дуня снова уверяла соседей, что взят он был туда, откуда пришел. И снова пожимали плечами жильцы, да только не особенно вдумывались – и своих дел хватало...

А еще позже, когда я совсем вырос и уехал жить в другой город, рассказывали мне, что явился в Дом новый гость. Жильцы, уже, в основном, сменившиеся, ничего толком о Доме не знающие и знать не желающие, никакого объяснения этому явлению дать не могли, да и не старались. Не было у них для этого ни желания, ни времени.

Случилось это, как всегда, ранним утром.

– Вах, – сказал увидевший его первым новый жилец из бывшей квартиры Льва Моисеевича, кавказец Гусейнов, – шашлык сам в гости пришел!

И действительно, из фонтана пил воду маленький смешной ягненок. И было совсем непонятно, откуда он мог взяться посреди большого современного города, в котором даже диких голубей не водилось, а только бездомные собаки. Да и тех уничтожали. А вот ягненок пришел. Дуня с причитаниями кинулась было к нему, но ягненок отпрынул, бебекнул и, быстро перебирая сухими ножками, отбежал к другому краю фонтана.

– Он это, он! – шептала Дуня. – Вернулся...

Поскольку найти хозяев ягненка не было совершенно никакой возможности, вечером того же дня Гусейнов принес из дома переносной мангал, потом быстро и аккуратно ягненка зарезал и, действительно, устроил во дворе шашлыки для всех желающих. Приглашенная к столу Дуня жевала сочное мясо и плакала то ли от бессилия, то ли из-за боли от неудачно пригнанных зубных протезов.

И еще один гость появился, когда я приехал на неделю навестить родителей и потому сам видел, как во дворе Дома, у фонтана, стоял

участковый милиционер. В руках у него был какой-то круглый предмет, который я не мог разглядеть из-за окружавших участкового, но державшихся на почтительном расстоянии жильцов, среди которых была совсем уже одряхлевшая, почти ничего не видевшая и плохо слышавшая Дуня. Неяркое утреннее солнце било ей в глаза, звездочками отражаясь в хрусталиках катаракт, и от этого казалось, что Дунины глаза светятся, как в молодые годы. Мне на миг почудилось, что мешающие ей видеть катаракты на самом-то деле словно направленные внутрь экраны показывают Дуне какую-то другую жизнь. То ли так и не прожитую ею, то ли, наоборот, прожитую – и оттого еще более прекрасную...

Когда я подошел поближе, то понял, почему любопытные жильцы сохраняли дистанцию: в руках у милиционера был пожелтевший человеческий череп с прилипшей к нему глиной. И если бы не отчетливо видное круглое отверстие в его лбу, то при некотором напряжении воображения участковый мог сойти за мятежного датского принца в момент произнесения знаменитого монолога.

– Раскопали тут на мою голову, когда трубы меняли, – вместо шекспировского текста лениво говорил участковый «Гамлет», не глядя на окруживших его жильцов и стараясь вытряхнуть из пустых глазниц глину. – Захоронению-то лет тридцать, не меньше. А может, и все семьдесят?

Он опустил череп и закатил глаза, подсчитывая что-то в уме.

– Ну да, точно. Кто давно тут живет? Есть такие?

Жильцы замаялись, а потом младший сын Сереги, а значит, дворников внук, который пошел по стопам деда и тоже стал дворником, легонько подтолкнул вперед Дуню.

– А? – спросила Дуня, и доверчиво протянула руку к черепу. – Чего это?

– Слышь, бабка, кто бы это мог быть? Незаконное захоронение тут, понимаешь? Теперь вот мне нужно протокол составлять. Может, вспомнишь, кого тут могли похоронить? – участковый оглядел Дуню и со смешком добавил. – Да не сейчас, а давно еще, когда ты молодая была!

У Дуни задрожали истончавшие за долгие годы губы и скривились не то в скорбную мину, не то в улыбку. Но ничего Дуня не сказала участковому, только, по старческой немощи, затрясла головой. Участковый подождал-подождал, потом чертыхнулся, обернул череп газеткой и ушел со двора, так и оставив раскопанной давнюю могилу. Постепенно разошлись и жильцы, лениво рассуждая о том, кем бы мог быть покойник, и нет ли у них во дворе еще каких захоронений.

Я остался наедине с Дуней и услышал, что бормочет она неожиданное: *«Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер на круги свои...»* Впрочем, может, мне и показалось.

После многих передряг и житейских трагедий жильцы наконец-то зажили самой обычной жизнью. Дом перешел на баланс города, и выходящие на теперь относительно спокойную улицу окна его снова безмятежно засветились, как когда-то в давние дореволюционные времена. И вода в фонтане плескалась, как прежде. Только вот совсем одряхлевшего Пана так никто и не удосужился починить, просто кое-как замазали его трещину серым алебастром. Да еще эхо тоже постарело и уже не носилось по двору, как молодой щенок, а предпочитало лежать у фонтана, неторопливо грызя всякую попадавшуюся ему мелочь вроде дверных хлопков или вскриков носящейся вокруг малышни.

Случилось это ранним летом, ясным солнечным утром. До оставившихся у фонтана поболтать перед уходом на работу жильцов откуда-то из недр Дома донесся страшный нечеловеческий вопль. И всполошившееся эхо, вспомнив старые добрые времена, грозно рыкнуло в ответ. Жильцы замерли. И тогда снова раздался крик, но уже значительно ближе. Еще вопль, и еще, и, наконец, во двор выскочило существо настолько вонючее и заросшее волосами, что наиболее продвинутые жильцы, уже читавшие проникающие в печать статьи о снежном человеке, дрогнули и подались назад.

– А-а! – закричало существо и добавило вполне человеческим голосом: – Всё, больше я ждать не могу! Сорок лет! Хватит!

Ах, если бы во дворе в тот момент мог оказаться Матвей Рувимович Газенпуд! Уж он-то наверняка узнал бы в этом запущенном существе позабытого всеми Арона Плоха. Но, увы, давно уже умер славный Матвей Рувимович, так ничего и не постигнув, не разобравшись в сложном переплетении причин и следствий. А может быть, и хорошо, что не дожил он до этого последнего явления. Потому что Матвей Рувимович и сам не мог сказать, чего ему хотелось больше: чтобы оказался Арон Плох просто психически больным человеком или, наоборот, подлинным пророком.

Сам же Арон, судя по его речам и поведению, считал себя уже не пророком, а самым настоящим Мессией.

– Всё, – снова во весь голос закричал он, вращая слезящимися от яркого света глазами, – я пришел! Я пришел, и лев уже возлежит рядом с агнцем, и встанут из могил праведники в ряд со мной! И вы сейчас в этом убедитесь!

Следом за ним во двор, прихрамывая и опираясь на палочку, вышла его жена Хая-Лия. По ее когда-то красивому, а теперь морщинистому лицу было видно, что она поражена поведением мужа не меньше соседей. А за ней выскочил тоже живущий в Доме их сын Семен – тот самый новорожденный, которого семье чудом удалось спасти во время большого гевалта, то есть революции. Теперь Семену было уже слегка за шестьдесят.

– Папа! – ошеломленно закричал он вслед Арону. – Папа, что ты делаешь?

Не слушая сына, с удивительной для его возраста прытью Арон побежал к месту, где, как он помнил по рассказам старожиллов, был погребен несчастный, забытый всеми первый старший по Дому Лев Моисеевич. А добежав, остановился как вкопанный. Могила, из которой он рассчитывал поднять невинно убиенного праведника, была пуста.

– Но... – онемевшими губами пролепетал Арон. – Это что же такое получается? Он уже приходил? Хорошенькое дело! Значит, я опоздал?!

Опомнившийся Семен догнал и увел обмякшего, словно из него выпустили воздух, старика обратно домой. Но на пороге Арон вырвался из заботливых рук сына и, обернувшись, захохотал весело и беззаботно, как ребенок. И мгновенно помолодевшее эхо радостно ответило ему, понимая, что уж теперь-то, наконец, всё закончилось. И значит, всё начинается сначала.

Часть вторая. БОХ

Пожалуй, самым удивительным жильцом в Доме был Иероним Петрович Бох из квартиры тридцать восемь. Рассказывали, что появился он в Доме тихо и незаметно. Трудно сказать, когда именно, – то ли одновременно с семейством Плохов, то ли чуть позже. А может, и чуть раньше. Да и вообще, если бы не необычные имя с фамилией, совершенно не подходящие человеку с широкими казахскими скулами и узкими черными, с набрякшими веками, глазами, на нового жильца никто бы и внимания не обратил.

Если верить слухам, был Иероним Петрович подкидышем и жив остался благодаря кухарке сиротского дома, которая нашла его на улице новорожденным, сморщенным и красным, с еще не отрезанной пуповиной. Спеленатый в какую-то грязную тряпку младенец посмотрел на развернувшую его кухарку со значением и даже нехорошо, по-взрослому, ей подмигнул. По крайней мере, кухарка клялась и божилась, что всё было именно так.

– Пряма кошмар какой-то, – доверительно говорила она подругам. – Конец света, а не младенец, прости Господи!

Подруги, одна из которых числилась прачкой в том же сиротском доме, а другая служила прислугой у господ по соседству, хихикали и одобрительно кивали головами в том смысле, что ежели у новорожденного взгляд как у взрослого мужика, то времена действительно клонятся к концу. И желали взглянуть на необычного подкидыша. Но, к их разочарованию и досаде кухарки, взгляд у младенца оказался таким, каким ему и положено быть у новорожденного. Тем не менее, подруги охали, сладко жмурились и клялись никому о таком чуде не рассказывать.

Благотворивший сиротскому дому богатый владелец городских боен Петр Петрович Балясинов, до которого дошли слухи о необычном найденныше, тоже пришел взглянуть на него и над бабьими глупостями посмеялся. Младенец как младенец, только уж больно нехорош собой.

Незадолго до этого Петр Петрович вернулся из Европы, где по мере сил восполнял досадный недостаток культуры. Однажды водили его, еще не проспавшегося после ночной попойки с веселыми фройлян, в какое-то заведение – что-то вроде музея. И там показывали страшные – не приведи, Господи, такому присниться! – неприличные картинки.

Сам Петр Петрович, человек богобоязненный, и гривенника бы за них не дал, но ему сказали, что стоили эти картинки самых бешеных денег. А намалевавший их художник оказался чуть ли не всемирной знаменитостью. И фамилия у него была занятная. Оттого она Петру Петровичу и запомнилась. Правда, из-за регулярных ночных увеселений запомнилась не совсем точно.

И вот, находясь в хорошем настроении и приглядевшись к младенцу, напомнившему ему те самые картинки, приказал Петр Петрович написать в свидетельстве о рождении подкидыша «Бох, Иероним», а поскольку он не знал, как того художника звали по батюшке, отчество велел дать свое. Пушай, не жалко! И от щедрот подарил сиротам пятьсот рублей.

Так и вырос Иероним Петрович без отца и без матери в сиротском доме. И, наверное, пошел бы по дурной дорожке, потому что, будто бы, склонности имел самые странные, чтобы не сказать отвратительные. Подробно об этом ничего не было известно. А только известно было, что категорически отказывался Иероним Петрович ходить в церковь и грубый оловянный крестик, надетый на него в беспмятном младенчестве, не носил. И хотя никогда не мучил ни кошек, ни других животных, как это ему потом приписывала молва, однажды, уже подростком, чуть было не убил топором ту самую нашедшую его кухарку.

Но в тюрьму Иероним Петрович попасть не успел, потому что началась революция. Было Иерониму Петровичу в ту пору уже лет семнадцать и, бросив работу на городской бойне, куда его пристроил благодетель Петр Петрович, он со всей яростью ринулся крушить старый мир. Чтобы сразу же вслед за этим обустроить мир новый. Как именно его обустраивать, Иероним Петрович тогда не знал, но был твердо уверен, что справится. Всё было предельно просто. «Кто был ничем, тот станет всем» – вот и вся недолга.

На бойне привык он видеть, как легко живое становится мертвым, *ничем*: только что мычавшая от ужаса корова – нарубленными кусками мяса: грудиной, огузком, филейной частью. Молодой Иероним

Петрович представлял себе, что вот придет время, и из ничего, как в пущенной в обратную сторону ленте синематографа, соберутся эти куски в живую корову. Став старше, Иероним Петрович посмеивался над той своей детской наивностью, но веры в новый, созданный из ничего мир не терял никогда.

А потом приключилась с ним вот такая история. Воевал он тогда в легендарной Первой конной под начальством героического командарма Будённого, и однажды ранним летним утром очнулся где-то на опушке березовой рощицы. Не без труда вспомнил Иероним Петрович, что шел тут бой и слились насмерть две конных лавы – буденновская и белоказачья. Тогда-то и получил Иероним Петрович ранение в голову. Должно быть, подвела уставшего казака рука, и страшный, способный разрубить человека надвое удар пришелся по буденовке Иеронима Петровича плашмя.

Но это было накануне. А в тот день стояла на опушке странная тишина, только-только развиднелось, и еще истаивал между редкими березками серый предутренний туман. То ли от полученной раны, то ли от этой тишины, но показалось тогда Иерониму Петровичу, что остался он совсем один в этом промежутке между ночью и днем, между вчера и сегодня, между жизнью и смертью. Потому что то, вчерашнее, уже умерло, а новому нужно было еще народиться. Но таящаяся где-то в глубине рощицы липкая темень не отпускала это новое, всё тянула его назад...

И встал тогда Иероним Петрович во весь свой совсем не богатырский рост, поймал рукой всё еще болтавшуюся на темляке шашку и что было силы рубанул воздух, отделяя *вчера* от *сегодня*. И вдруг в одно мгновение понял, что это хорошо...

Так, по крайней мере, объяснял он свое увлечение шашечной рубкой сослуживцам. Сослуживцы – уже не буденовцы, в массе своей убитые на Гражданской войне, а новые, послевоенные сослуживцы, – смеялись и в шутку коверкали фамилию Иеронима Петровича, называя его то Боком, а то и Богом. Тем самым, который якобы отделил Свет от Тьмы. Но Иероним Петрович не обижался. Более того, в глубине души был уверен, что именно он и совершил этот важнейший для дела революции поступок.

Хотя с тех пор, как отмахал Иероним Петрович шашкой в Первой конной, убедился он, что очень трудно сделать Всё из Ничего. Почти так же трудно, как добыть философский камень, якобы превращающий свинец в золото.

Про этот мудреный камень как-то рассказывал Иерониму Петровичу служивший с ним у Будённого военспец из офицеров, а после ставший легендой командир стрелковой дивизии Чапаев Василий Иванович. Погибший, правда, при невыясненных обстоятельствах. Придумали ему потом другую биографию – и даже кино

геройское сняли. Иероним Петрович любил кино и фильму ту смотрел. Так, ничего, только больно смешно они там придумывали...

В общем, в деле отсекаания Света от Тьмы и получения Всего из Ничего таилась некая хитрость, которую Иероним Петрович ощущал, хотя даже себе не мог бы толком объяснить. Получалось у него странное: чтобы стать Всем, нужно перейти черту, а лучше всего погибнуть. Как там поется – «и как один умрем в борьбе за это»? То есть, чтобы стать Всем, требовалось именно умереть. И лучше всего добровольно. Но это уж как получится.

Кроме того, в силу своих служебных обязанностей постоянно общаясь и с живыми, и с мертвыми, не мог Иероним Петрович не отметить, что мертвые значительно дисциплинированной и толковой, чем живые, и что строить новый мир с ними куда как проще.

А потом направили Иеронима Петровича на курсы – для дальнейшего повышения его революционной сознательности. Там, на курсах, узнал он про французскую революцию и про гильотины. И понял, что не он один так считает. Что люди поумнее его давно придумали замысловатое словцо «террор». И революции – что русской, что французской, – наверное, действительно больше нужны мертвые, чем живые. Ведь не только врагов, но и своих в доску товарищей уносил тогда этот самый террор. И даже, как иногда казалось Иерониму Петровичу, чаще своих, чем чужих.

В общем, прав был тот французишка, фамилию которого Иероним Петрович никак не мог запомнить. Пережевывала революция своих собственных детишек и, как изголодавшийся беспризорник, только добавки просила.

Позже Иероним Петрович говорил, что и сам он, как пассажир с купленной плацкартой, спокойно ждал своей очереди стать Всем, выполняя тем временем свои непосредственные служебные обязанности. И делал он это так хорошо, что как-то раз его даже командировали в город Ленинград. Для обмена опытом. Он ведь отсекал Тьму от Света исключительно шашкой и потому специалистом считался поистине уникальным. А вот до него самого очередь так и не дошла. Ведь в определенных кругах он, в отличие от Чапаева, стал легендой еще при жизни.

Иерониму Петровичу очень понравился Дом. Было в нем что-то уютное и законченное, отчего Иерониму Петровичу, может быть, впервые не захотелось ни разрушать, ни строить заново. Более того, только здесь, в Доме, оставляло его беспокойство, что Тьма снова настигнет мир и не пустит его, Иеронима Петровича, в *завтра*. Потому что и на работе, и на улице постоянно казалось Иерониму Петровичу, что крадется за ним Тьма, поглядывает из темных углов и ждет, когда он отвлечется и потеряет бдительность.

Из всех жильцов Дома, пожалуй, только Иероним Петрович до

конца понимал, как хрупок и ненадежен этот случайно возникший Мир со всеми его обитателями, двором и фонтаном с козлоногой фигуркой Пана. Понимал и старался уберечь его от то и дело угрожавших Дому всевозможных опасностей.

Ах, если бы соседи знали, сколько сил потребовалось для этого Иерониму Петровичу! Много лет спустя он сам рассказывал об этом окружавшим его во дворе мальчишкам, среди которых был и я.

Например, рассказывал Иероним Петрович, что это он обезвредил опасного бандита, убившего Льва Моисеевича. И что именно он клал под сукно все доносы Арона Плоха, чуть не сведя этим с ума Матвея Рувимовича Газенпуда. А позже отдал приказ провести глубокой ночью специальную операцию по обезвреживанию и вывозу неразорвавшейся в фонтане бомбы. И что это он выселил мешавшую спокойно жить всему Дому разгульную Великую Блудницу. Да только ли это? Если верить его словам, получалось, что даже кролики, которые спасли Дом от голода, плодились и размножались исключительно благодаря его, Иеронима Петровича, усилиям.

Много другого любопытного рассказывал нам, мальчишкам, персональный пенсионер, полковник Комитета Государственной Безопасности в отставке и бывший буденовец Иероним Петрович Бох. А мы слушали – и верили, и не верили боевому старику. Обычно это происходило летом, во дворе у фонтана, куда в инвалидном кресле вывозили обезножившего, но не потерявшего бодрости духа Иеронима Петровича. А на коленях у него всегда лежала большая, обернутая старой газетой «Правда», книга. Помню, что на замахившейся пожелтевшей бумаге еще можно было прочитать заголовки передовицы «Вести с полей» и дату – двадцать девятое июня тысяча девятьсот тридцать седьмого года.

Ни разу не видел я эту таинственную книгу открытой, но порой, войдя в раж, размахивал ею Иероним Петрович, как когда-то своей шашкой. И тогда тяжело звякали на его груди многочисленные орден и медали. И даже легкомысленное эхо уважительно затихало, прислушиваясь вместе с нами к его рассказам.

Но всё это было потом. А тогда, в конце Гражданской войны, сразу после демобилизации, случилась с еще не оправившимся от той раны на голове Иеронимом Петровичем настоящая любовь. Конечно, Муся была не первой его женщиной. Случались у него короткие романы с санитарками, машинистками в штабах, да и просто встреченными на дорогах войны бабами. Невысокий, больше похожий на казаха Иероним Петрович был уверен, что обладает даром нравиться женскому полу. Хотя, честно говоря, чаще всего не было у Иеронима Петровича времени, чтобы поинтересоваться, пришелся ли он по душе той или иной случайной знакомке. Не до того было.

Но с Мусей всё получилось по-другому. Познакомились они слу-

чайно. Времена тогда стояли хоть и не такие страшные, как в революцию, но с наступлением темноты ходить по улицам всё же было небезопасно. И, случалось, прохожие, спешившие рано утром на работу или в бесконечную очередь за хлебом, натыкались на уже окоченевшие трупы. Смутное, в общем, было тогда время.

Иероним Петрович встретил Мусю в сумерках – таких же, как тогда, когда он впервые рассек своей шашкой Тьму, отделяя ее от Света. Муся торопливо, не оглядываясь, шла по тротуару, неся в руках какой-то узелок. Сразу, с первого же взгляда всё понял Иероним Петрович.

Во-первых, понял он, что это Она, та самая, которую он столько времени безнадежно искал, и в поисках своих томился, имея дело со всеми этими бабами и девицами и страдая от отвращения и к ним, и к себе. А главное, опытным своим глазом увидел Иероним Петрович, что опять нагло подступает Тьма, и немедленно нужно отделить ее от Света. Потому что две огромные фигуры, сотканые из мрака подворотни, скользнули вслед за шедшей впереди девушкой.

На счастье, Иероним Петрович, уже зная, какие штучки может выкидывать Тьма, никогда не расставался со своей кавалерийской шашкой. Обернувшись на свист Муся только и успела заметить, что падающую, косо раскроенную надвое тень. Вторая тень в панике метнулась в сторону и исчезла. Понимая, какое впечатление на молодую барышню может произвести его рубка, Иероним Петрович быстро заслонил своим телом останки Тьмы и увел девушку в переулок.

Там они впервые и взглянули в глаза друг другу. Позже Иероним Петрович рассказал об этой встрече какому-то киношнику, и тот вставил похожий эпизод в ставший всенародно известным фильм. Иероним Петрович вообще рассказывал, что многие факты его полной невероятных событий жизни были записаны за ним случайными людьми. Правда, в сильно перевернутом виде. Но после истории с Чапаевым он понял, что это неизбежно, и смирился.

Свою Мусю Иероним Петрович полюбил крепко. О том, любила ли она его, Иероним Петрович не спрашивал. К чему болтать лишнее? Приходила Муся к нему в тридцать восьмую квартиру трижды в неделю после работы в коммунхозе, где, несмотря на протесты Иеронима Петровича, продолжала служить уборщицей.

Всякий раз, когда она шла по двору, и эхо послушно бежало вслед за стуком ее нарядных башмачков, вспоминал Иероним Петрович о том, как дарил Мусе эти самые башмачки. Как она то краснела, то бледнела – и наотрез отказывалась от подарка, и как он настаивал, и даже сам снял с божественной ее ножки старую изношенную туфлю, поцеловав прежде нежные пальчики, и уж тогда только надел подаренный башмачок. Пришелся он как раз впору, и Иероним Петрович похвалил себя за глазомер – он эти башмачки приметил сразу и быстро ими распорядился, чтобы не испачкались, и

чтобы не было потом среди сотрудников никаких лишних разговоров.

Хорошо ему было с Мусей, спокойно и тепло. И еще удобно было, что никаких родственников у нее в живых не осталось. Иероним Петрович сам лично проверил. Была Муся родом из какой-то поповской семьи. Отца расстреляли сразу после революции, а мать и сестры сгинули где-то на Соловках. И более никого у нее не было. Вот и миловались Иероним Петрович с Мусей, как два голубка.

Огорчало только то, что с некоторых пор приходила она к нему с красными заплаканными глазами и на его встревоженные расспросы ничего не отвечала. И только спустя время, зажатая Иеронимом Петровичем в угол, призналась, что беременна. Это было совершенно неожиданно и неуместно.

Конечно, знал Иероним Петрович, что зачинали от него бабы и раньше, и даже была у него однажды история с бойкой секретаршей Зинкой, требовавшей признать отцовство. Но Зинку Иероним Петрович не любил, и была она быстро поставлена им на место. Тем более что водилась Зинка со многими, и многие могли быть повинны в ее беременности. Хотя поговаривали потом, что рожденный ею мальчишка будто бы был точной копией Иеронима Петровича.

С Мусей всё обстояло по-другому. Иероним Петрович был у нее первым и наверняка единственным. И отчего-то ему показалось, что отсеченная было Тьма снова подкрадывается к нему, и потянулся он за верной шашкой – да вовремя опомнился. Муся смотрела на него умоляющими глазами, но на аборт, проявив неожиданную твердость, категорически не соглашалась. Да и было это противозаконно.

Жениться Иероним Петрович не мог и не хотел: это помешало бы ему бороться с Тьмой. Но и оставлять Мусю с прижитым вне брака ребенком было нельзя. Времена тогда стояли трудные, и уж кто-кто, а Иероним Петрович точно знал, что Муся – не Зинка. Что, оставшись одна с ребенком, она быстро пропадет. Нужно было что-то предпринимать – и предпринимать срочно.

Раз как-то, провожая Мусю к выходу со двора, встретил Иероним Петрович соседа – жильца тридцать первой квартиры, скромного бухгалтера из коопторга рыжего Осипа Эфраимовича Френкеля, беспартийного и холостого. Правда, кажется, еврея. Но это ничего, это пусть. Говорят, они, евреи, детей любят...

«По крайней мере, своих детей», – подумал Иероним Петрович, глядя в отчего-то испуганные глаза соседа, и захихикал про себя.

Решение возникло точное, как удар шашки. Осип Эфраимович был не очень молод, скорее, стар, – уже за сорок. И это было даже хорошо, потому что Иероним Петрович никак не мог представить свою Мусю в страстных объятиях другого мужчины. А тут никаких особых объятий, вроде бы, и не намечалось...

В общем, затруднение было устранено быстро и легко. Конечно, Осип Эфраимович хоть и робко, но удивился. Получив же от Иеронима Петровича некоторые объяснения, а также обещание не оставлять их своим вниманием, на брак с молоденькой и хорошенькой Мусей согласился. Что было и неудивительно. Удивило Иеронима Петровича – и удивило неприятно – то, что сама Муся такому решению совершенно не воспротивилась даже для вида. Но, учитывая ее безнадёжное положение, быстрое согласие, конечно же, можно было объяснить похвальным здравым смыслом и не менее похвальной покорностью воле Иеронима Петровича.

С его помощью «молодых» расписали без всяких бюрократических проволочек, и поселились они тут же в Доме, в квартире Осипа Эфраимовича, в удобной близости к Иерониму Петровичу. Но, к его разочарованию, больше никакой близости с Мусей не получалось. Сначала она отговаривалась болезненным состоянием и неловкостью грешить почти на глазах у мужа, а потом, набравшись храбрости, и вовсе прямо заявила, что не может обижать этого замечательного человека.

– Вы, Иероним Петрович, делайте что хотите, а больше этого никогда не будет! Ни-ког-да! – решительно заявила Муся, глядя на него словно в горячечном бреду.

Иерониму Петровичу такой взгляд был знаком по работе. Настолько знаком, что рука даже потянулась к шашке. Но он снова опомнился. Во-первых, теперь он носил шашку только на службе, а разговор этот происходил во дворе Дома. А во-вторых, свою Мусю он всё же любил.

Пока Иероним Петрович раздумывал и решал, что же ему теперь делать, Муся исчезла. Причем, исчезла не одна, а вместе с Осипом Эфраимовичем. Однажды утром квартира тридцать один оказалась пустой и, судя по обрывкам газет, перевернутым стульям и развороченной постели, молодожены бежали внезапно, забрав с собой лишь самое необходимое. И только нехорошие тени, как всегда, шныряли по углам.

Такой неблагодарности и глупости Иероним Петрович никак не ожидал. Хотя и раньше замечал за Мусей странности. Особенно когда дарил ей всякую мелочь вроде алмазных сережек или чего-нибудь из одежды, что не успевало испачкаться. Но тогда он приписывал это Мусиной скромности и отсутствию у своей голубки тупой бабской жадности...

Конечно, Иероним Петрович без труда мог догнать беглецов. Мог. Он и не такое мог. Но вдруг охватила его странная для большевика грусть. И снова показалось Иерониму Петровичу, что из шнырявших по углам теней сгущается и надвигается на него Тьма... В отчаянии выскочил он во двор и, пугая соседей, изо всех сил рубил воздух голой рукой, забыв, что верная шашка висит над его рабочим столом.

Чуть позже сообразил Иероним Петрович, что любовь, которую он встретил в сумерках, сумеркам и принадлежит. И, безжалостно рассекая мир на Свет и Тьму, напополам рассекает он и свою любовь...

Много воды утекло с тех пор. Да и крови тоже порядочно. Иероним Петрович всё так же усердно махал шашкой и строил новый мир. Всё больше и больше он убеждался, что, лишённые своеволия, глупых желаний и мелкого эгоизма, мертвые куда более удобный, чем живые, материал для того, чтобы наконец-то сделать из них Всё.

Он вообще стал часто раздражаться, видя досадное несоответствие окружающего мира своим идеалам. Несоответствие, свидетельствующее о до стыда мизерных результатах его неустанных трудов. Сегодня Иеронима Петровича назвали бы «перфекционистом». Но в те времена... нетрудно себе представить, что бы он сделал с человеком, решившимся бросить это непонятное буржуйское слово ему в лицо...

Через некоторое время началась новая война, к городу приближались немцы. Иеронима Петровича оставили на подпольной работе. Хотя, что более вероятно, в эвакуационной суматохе он вместе с другими рядовыми сотрудниками был просто забыт в городе своим перепуганным начальством. Тем не менее, Иероним Петрович твердой рукой собрал этих оставшихся сотрудников и ушел с ними в леса.

Став командиром партизанского отряда «Свет коммунизма», Иероним Петрович снова почувствовал себя молодым. Только, в отличие от времен Гражданской войны, когда, отделив Свет от Тьмы, махал он шашкой хоть и яростно, но беспорядочно, был теперь Иероним Петрович старше и умней. И порядки в его отряде были строгими. Как потом говорили его бойцы, лют был Иероним Петрович до дисциплины. И новых людей в отряд принимал с разбором, подвергая необычному испытанию.

Делил Иероним Петрович новобранцев на пятерки, и тут же каждую пятерку живьем укладывал в сколоченные на скорую руку гробы. А гробы эти опускал в могилы и землей засыпал, как положено.

Не каждому было под силу пережить такое испытание. Тем более что Иероним Петрович предупреждал всех новобранцев: «Зароем ненадолго, на час-полтора всего. Да штука в том, что зароем-то пятерых, а вот обратно выроем только четверых. А кого именно оставим живьем в могиле лежать, этого вы знать не можете. Это мы уж потом решим, согласно жребию. Но оставленный в земле должен понимать, что погибает он геройски, за Родину и за Сталина, подавая своим мужеством пример другим товарищам».

Что скрывать, случалось, ломались люди ввиду такого страшного испытания. Даже самые с виду смелые порой в могилу ложиться наотрез отказывались. Ну, с ними был у Иеронима Петровича разговор короткий. Зато отрытые и поднятые из гробов становились настоящими бойцами. Любил их Иероним Петрович как собственных сыновей.

И гордился, что придумал такое, и понимал, что, кроме проверки мужества, имеется в этом испытании еще какой-то глубокий смысл.

«Может быть, – размышлял Иероним Петрович, – восставшие из могил бойцы как раз и есть те самые, ставшие Всем?» И даже подумывал после войны предложить ввести такое испытание повсеместно, для всех граждан Советского Союза. Что если знаменитый Стаханов Алексей Григорьевич оттого и есть настоящий советский человек, что неоднократно засыпан был в шахте во время добычи для страны угля?

Хотя однажды случился у них нелепый конфуз. Едва только зарыли новую пятерку бойцов, как на лагерь стал надвигаться немецкий карательный отряд.

Доходя в своем рассказе до этого места, Иероним Петрович неожиданно оживлялся, и погасшие глаза его загорались молодо.

– И вот, понимаешь, не успели мы их вырыть, – с непонятным азартом говорил он. – Не успели! Куда нам с лопатами возиться, когда нужно было оборону держать, и каждый человек на счету. Но те, кого не вырыли, всё равно не зазря погибли.

Хитро улыбался Иероним Петрович и добавлял, что когда часть немцев отбили, а часть увели в сторону от лагеря, выяснилось, что один из закопанных умудрился-таки из могилы выбраться. И не только выбрался, но и присоединился к другим партизанам, помогая обороняться от фрицев. Этого нового бойца Иероним Петрович полюбил особенно. И хотя происходил тот то ли из поляков, то ли из белорусов, потому что звали его Адамом Потоцким, доверял ему Иероним Петрович почти безгранично. Тем более что был Адам, как и сам Иероним Петрович, сиротой, и родителей своих совсем не помнил.

С этим-то Адамом чуть позже и приключилась история. Дело в том, что с первых же дней ввел Иероним Петрович самое, пожалуй, тяжелое для своих бойцов правило: чтобы никаких женщин в отряде и в помине не было. В других-то партизанских отрядах обязательно имелись свои стряпухи, радистки и прочие прикормленные для этого дела дамочки. А вот в отряде «Свет коммунизма» – нет, ни за что.

Повторяю, лют был Иероним Петрович. Лют, но справедлив. Поэтому любили его бойцы. Бывало, при малейшей провинности устраивал он подчиненным суровый разнос, грозя всеми мыслимыми карам, и объяснял, что на самом себе боец не кончается. Потому что в случае нарушения его, Иеронима Петровича, приказа пострадает и семья провинившегося, включая детей и даже еще не народившихся внуков и правнуков. Чтобы бойцы помнили и служили не только за совесть, но и за страх.

Но, слушая его, бойцы прятали улыбки, потому что как бы там ни было, а были они уверены, что любит их Иероним Петрович как своих детей. Ну а что строг, так на то и командир. Да и время военное, как иначе-то?

Так вот, этот самый Адам Потоцкий однажды и учудил.

Эту историю Иероним Петрович рассказывал особенно часто, повторяя, что именно с нее-то всё и началось. Что именно началось, он никогда не уточнял, но, оглядывая нас, сокрушенно качал головой.

Многое в рассказах Иеронима Петровича нам, несмышленишкам, было непонятно. Но эту историю мы слушали заворуженно.

Возвращаясь как-то в отряд из глубокой разведки, натолкнулся этот Адам в лесу на еврейскую девочку. Девочка, видимо, каким-то чудом сбежала от расстрела во рву, который немцы специально вырыли в лесной балке километрах в десяти от партизанского лагеря. Про этот ров Иероним Петрович знал, и даже имелось у некоторых его подчиненных мнение, что, дескать, неплохо бы устроить в этой балке засаду на немцев, а узников, даром что евреи, освободить. Но, побывав в разведке сам и с любопытством поглядев, как аккуратно и продуктивно работают немцы, отчего-то медлил Иероним Петрович и засаду всё откладывал.

И вот его любимый боец привел в отряд эту самую девочку. А чуть позже оказалось, что девочка та и не девочка вовсе, а вполне сложившаяся молодая женщина. Не сдержался тогда Иероним Петрович и, хоть любил Адама, осерчал настолько, что допустил даже рукоприкладство, сломав своему любимчику пару ребер. Но девку ту в отряде всё же оставил. О чем потом сильно пожалел. А чтобы не появлялось ни у кого дурных мыслей, еще раз оповестил бойцов о том, что с нарушителями приказа поступит согласно законам военного времени.

Оставил же Иероним Петрович девку потому, что она вдруг чем-то остро напомнила его Мусю, тварь неблагодарную, которую он не переставал любить даже спустя столько лет. Документов у девки, понятное дело, не было. Назвалась она Хавой, а фамилии своей не помнила, потому что, побывав у расстрельного рва, слегка тронулась умом и бродила по лагерю как потерянная. Когда же немного пришла в себя и отъелась на кухне, к которой ее приставил Иероним Петрович, то оказалась на беду хорошенькой, с огромными черными глазищами, пышной грудью и тоненькой талией.

Ну, оставил ее Иероним Петрович и оставил. Бойцы, помня приказ Иеронима Петровича и понимая, что оно себе дороже, обходили ее десятой дорогой. Все, кроме Адама.

Нужно сказать, что как раз в ту пору наступили для партизанского отряда «Свет коммунизма» тяжелые времена. Фронт на их участке всё время сдвигался, и в какой-то момент леса, в которых укрывался отряд, оказались на ничейной земле, между двумя армиями. Уходить нужно было, пока либо немцы, либо свои не накрыли их артиллерией или бомбами. Да только уходить было некуда: проскользнуть вдоль линии фронта отряд не мог: километрах в пятидесяти в одну сторону и в тридцати в другую леса обрывались. А идти по открытой степи

для отряда было равносильно самоубийству. В общем, оказался Иероним Петрович со своими партизанами в ловушке.

И пока думали, что делать, начались перебои с продовольствием. Раньше, находясь в тылу у фрицев, Иероним Петрович решал эту проблему просто, по-буденновски: налетали его бойцы на ближайшую деревеньку да и добывали всё необходимое.

Но теперь продовольствие приходилось экономить и ждать, как развернутся события на фронте. А там, как на грех, наступило затишье. И охотиться в лесу было не на кого: война давно уж распугала зверье. Питались оставшимися запасами картошки, ягодами да мелкой рыбой из ручья. Но только было ее, что называется, кот наплакал. Через некоторое время истощали бойцы до полной невозможности и даже, вопреки строжайшему приказу, несколько раз пытались подломить кухонную кладовую, где бережно хранились остатки продуктов.

С нарушителями Иероним Петрович поступал по всей строгости, как всегда удивляя бойцов своим умением отделять Свет от Тьмы. И всё было бы ничего, да только нашептали Иерониму Петровичу, что любимчик его Адам, вопреки приказу, шляется по ночам к этой своей евреечке. И будто этого мало, подкармливает его евреечка из доверенного ей неприкосновенного запаса. Не поверил было Иероним Петрович такому навету. Да только информировал об этом свой человек, проверенный, из довоенных сослуживцев. Состоявший в отряде начальником контрразведки.

– Нехорошее дело, командир, – говорил он, склонив к Иерониму Петровичу худое лицо. – Коли узнают ребята, так и до бунта недалеко. Теперь не время любимчиков заводить, ты и сам знаешь. Наказать бы нужно. Обоих.

И на узких губах сослуживца мелькала хорошо знакомая улыбочка. Но Иероним Петрович, ругая себя за малодушие, медлил. Всё же не верилось ему, что, несмотря на запрет, пользует Адам ту евреечку, да еще и харчится тайком от оголодавших товарищей. Не мог Иероним Петрович так в человеке ошибиться.

Тогда контрразведчик предложил Иерониму Петровичу самому убедиться. И тот, скрепя сердце, согласился. Во-первых, потому, что так было правильно: он командир и несет ответственность за своих людей. А во-вторых, и это тоже было немаловажно, догадывался Иероним Петрович, что работает бывший сослуживец не только по линии партизанской контрразведки, потому запросто может навести тень на него самого.

Глубокой ночью прокрались они вдвоем с контрразведчиком к землянке, где под замком хранились таявшие на глазах остатки продуктов, и устроили засаду. Сидят, ждут. И чем дальше, тем тяжелее становится на сердце у Иеронима Петровича. Потому что всем своим большевистским нутром чувствует он, что не врет контрразведчик.

На этом месте Иероним Петрович всегда отвлекался от основной истории. По какой-то не до конца понятной причине требовалось ему подробнее рассказать про этого самого Адама с его евреечкой Хавой. Мне, мальчишке, со стороны казалось, что пытается Иероним Петрович оправдать своего любимчика – и не только его, но даже ту евреечку. Ведь как ни суров был Иероним Петрович, а про большую настоящую любовь всё же хорошо понимал.

И получилось так, что врал ушлый контрразведчик: не пользовался Адам подвернувшейся ему бабенкой, даже соблазнить ее не пробовал. Не только потому, что полюбил ее по-настоящему и помыслить не мог, чтобы вот так грязно ее соблазнить. Но еще и потому что, несмотря на лихость и боевой опыт, любовного опыта Адам не имел совершенно никакого.

Был он комсомольцем, истово верил в коммунистические идеалы и наизусть знал историю ВКПб. А про любовь почти ничего не знал. Вот и робел перед своей Хавой... Хавочкой... Хавэле... девочкой нежной и прекрасной, за которую отдал бы, не раздумывая, жизнь. Да и всё остальное на свете тоже отдал бы. Включая комсомольский билет.

И получилось так, что полюбила Хава своего спасителя Адама. Так полюбила, что не посмотрела бы на запрет отца и пошла бы за ним, гоем, безо всякой хупы куда угодно. Хотя отца вместе с остальной ее семьей давно уж зарыли в том самом расстрельном рву, и запретить ей никто ничего не смог бы. Да и какие могут быть запреты, когда война и смерть ходят вокруг, а жить и страшно, и сладко.

Долго ждала Хава, когда же, наконец, поймет Адам, что пора, что пришло их время, но этот дурачок только смотрел и смотрел на нее. И когда перехватывала Хава его взгляд, то кружилась у нее голова и предательски подгибались ноги.

И получилось так, что однажды поняла Хава: нет у нее больше сил ждать, когда любимый решится, да и времени оставалось немного. Ведь уже несколько раз приходил к ней тот страшный контрразведчик и добивался ее, грозя, что иначе расстреляет или, того хуже, отведет ночью голой в общую землянку. И хотя знала Хава о строгом приказе Иеронима Петровича насчет баб, но понимала, что никакие приказы не удержат пять десятков изголодавшихся по женщине бойцов. А контрразведчик всё уговаривал, всё грозил...

И получилось так, что набралась Хава храбрости и сама сказала Адаму, чтобы ночью ждал ее под дубом, росшим у кухни, на отшибе, как раз рядом с землянкой, где находилась отрядная кладовая. И припасла Хава для любимого замечательный подарок – целую луковицу, которая тогда в отряде была на вес золота, а то и дороже.

Принес эту луковицу Хава сам контрразведчик, пытавшийся сломить ее упорство и добиться своего. Но Хава так сверкнула бешеными своими глазищами, так гордо повела головой, так презрительно

усмехнулась, что даже контрразведчик дрогнул и, выругавшись, ушел. А луковица осталась, и Хава сохранила ее для Адама.

И получилось так, что встретились Хава с Адамом под тем дубом. И земля то вертелась вокруг них, то уходила из-под ног. И луковица, горчайшая луковица, от которой они поочередно откусывали, казалась сладостным плодом первого познания друг друга. И так сладко было оно, это познание, что прерывистое дыхание их не было оскорблено грубым луковым духом, а пахло от них, как от яблок...

Видел, видел Иероним Петрович, как впились их белые зубы в луковицу, и как потом вздымались и опадали их странно светившиеся в темноте обнаженные тела. И Свет, смешивавшийся с Тьмой, впервые не раздражал Иеронима Петровича, и впервые не хотелось ему ударом отделить одно от другого...

Вместо неукротимой ярости, на которую так рассчитывал контрразведчик, вдруг охватила Иеронима Петровича грусть. Грусть совершенно необъяснимая, сковывающая его могучую волю. Он и сам не мог понять, была ли то просто слабость – ведь любил он Адама как своего сына, которого так никогда и не увидел, – то ли пришло к нему понимание, что есть на свете законы, которые выше и важнее самых строгих его приказов...

Стало Иерониму Петровичу не только грустно, но и отчего-то стыдно. Вернувшись в свою землянку, он так взглянул на контрразведчика, что тот хорошо его понял. Понял и позволил себе только лишь покачать головой, да и то сделал это, когда уже вышел от Иеронима Петровича в ночную темень.

А сам Иероним Петрович долго еще сидел, глядя на чадающий огонек самодельной коптилки, и думал. Потом рассказывал он нам, мальчишкам, что думал тогда о Свете, который так любил, и о Тьме, с которой бесстрашно боролся. О том, что заканчивались в отряде запасы льняного масла и что скоро – не далее чем через неделю – нечем будет заправлять коптилки... А Свет, считал он, важнее любого продовольствия.

И совсем уж уходя в сторону от основной истории, рассказывал Иероним Петрович, как отправлял семерых бойцов далеко за линию фронта с приказом во что бы то ни стало добыть льняного масла. И неделю спустя они его принесли. Но болтали потом партизаны, будто все эти дни горела в землянке у Иеронима Петровича коптилка, хотя масла в ней и не было почти...

Говорил Иероним Петрович об этом, посмеиваясь, будто рассказывал занятный анекдот, но потом обрывал себя и, возвращаясь к рассказу об Адаме с его еврейкой, заметно грустнел.

Под утро Адам и Хава тайком ушли из отряда. Как когда-то Муся со своим нелепым Осипом Эфраимовичем. Как они будут выживать сами по себе, Иероним Петрович представить не мог. Но и возвра-

щать их не стал, понимая, что уязвленный контрразведчик того и гляди придумает еще какую-нибудь гадость, и тогда получится еще хуже. Самого же контрразведчика трогать было никак нельзя: больно уж полезный он был для отряда человек. Да и о связях его тоже забывать не следовало. Поэтому, отпустив парочку, Иероним Петрович ограничился только тем, что сделал контрразведчику строжайшее внушение да еще и в должности понизил. Ну, на это он как раз имел полное право.

Про то, как сложилась дальнейшая судьба Адама и Хавы, Иероним Петрович никогда не говорил. Как будто вычеркнул их из своей жизни. И только однажды, задумчиво глядя, как рассекают двор последние лучи заходящего солнца, уступая место мягким сумеркам, обмолвился Иероним Петрович, что выжили они оба. И не только выжили, но и детишек завели – двух мальчишек. Получалось, что всё же следил Иероним Петрович за жизнью своего любимчика и, возможно, старался ему помочь.

Ходили в Доме слухи, что будто бы некий таинственный молодой человек, время от времени навещавший Иеронима Петровича, и есть один из Адамовых мальчишек. Но распускала эти слухи жиличка из сорок седьмой квартиры, вертлявая регистраторша местной поликлиники Милочка Келина, которая, по мнению многих, была прожженной сплетницей. Кстати, она же клялась и божилась, что молодой человек этот, на самом-то деле, сын вовсе не Адама, а самого Иеронима Петровича. И многие этим слухам верили. Хотя, конечно, оказались они полной ерундой. Потому что чуть позже весь Дом узнал о трагической судьбе настоящего сына Иеронима Петровича.

Сам Иероним Петрович о сыне никогда ничего не рассказывал, но еще живы были в ту пору соседи, которые хорошо эту давнишнюю историю помнили. Хотя было в их рассказах множество неточностей и нестыковок. Но теперь и спросить об этом уже некого. Слишком уж много времени прошло.

А тогда начались у Иеронима Петровича неприятности на работе. Было это спустя лет семь-восемь после войны, когда Иероним Петрович уже не шашкой на службе махал, а занимал довольно высокий пост. Но всегда ведь и над самым высоким постом имеется пост повыше. И вот случилось так, что прислали из центра нового начальника. Приходит к нему по вызову Иероним Петрович и глазам своим не верит: сидит за столом в самом высоком кабинете тот самый контрразведчик, только теперь уже при генеральских погонах. Сидит и криво улыбается – совсем как тогда, в отряде...

Ну, поговорили они, вспомнили былое. По стакану коньяка выпили. Отчего ж не выпить, коньяк-то хороший, многозвездочный, прям генеральский.

– Ты, Петрович, – говорит ему бывший контрразведчик, – конечно, работник опытный, проверенный. Хотя и за тобой имелись грешки. Было-было, не спорь! Да ладно, чего уж там старое ворошить. Нужно про сегодняшние задачи думать. А на сегодня больно уж ты расслабился, кабинетным работником, понимаешь, стал. Ведь я тебя хорошо помню, с шашкой-то в руках. Зверь был, а не человек! Горел на работе. А теперь, оказывается, мышей не ловишь, что у тебя под носом творится, не видишь!

– Да как же, – осторожно отвечает ему Иероним Петрович, – всё вроде у нас под контролем.

Отвечает, а сам судорожно в уме перебирает, что бы могло у них пойти не так. Да нет, вроде всё в порядке.

Тут-то генерал и бросает на стол сверхсекретную папку. А в папке документы нехорошие. Ох, какие нехорошие!

Согласно этим документам, работала в городе завербованная немцами подпольная организация. Личности всех предателей родины установить пока не удалось, но имена самых главных из них в папке имелись. Глянул Иероним Петрович на этот список и почувствовал, что нагло, прямо среди бела дня, подбирается к нему Тьма. Как же он мог пропустить такое?..

– А всё бабы, – загадочно усмехается генерал, и в глазах его светится нехороший сюрприз, – бабы всегда помеха. Кстати, помнишь ту евреечку, ну, из нашего отряда? Но это ладно, тогда война была. Можно сказать, всё списала. А вот своих баб ты, Петрович, распустил. Рожали, понимаешь, от тебя, когда хотели. А это уже аморалка, сам знаешь. Хотя есть сведения, что приглядывал ты за своим потомством, не оставлял заботой. Хвалю. Да не смотри ты так, кто ж у нас без греха-то? В общем, иди, разбирайся!

Ничего не оставалось делать Иерониму Петровичу, как опустить голову и пойти прочь. Понял он, что знал про него бывший его контрразведчик много больше, чем ему бы хотелось. Даже пожалел Иероним Петрович, что тогда, в партизанском отряде «Свет коммунизма», не погиб будущий генерал героически, как ему и полагалось. А уж от высокого начальства Иероним Петрович как-нибудь отписался бы. И, главное, надо же, на чем прижал его – на бабах!

И снова отвлекался Иероним Петрович от своей истории. Отвлекался, чтобы, к слову, рассказать другую. Тоже про баб. И мы, мальчишки, хоты и не всё из рассказанного понимали, всё же замирали от предвкушения.

Служил в то время в соседнем городе коллега Иеронима Петровича. А время было такое, что всюю готовилось переселение предателей-евреев в их еврейскую автономную область, на Дальний Восток. Негласное, конечно, но массовое. И всё у коллеги Иеронима Петровича было для этого готово. И вагоны, два товарняка, стояли уж

на разъезде за городом, и личный состав все нужные адреса проверил, чтобы потом, во время акции, не было неразберихи.

И хотя проходила подготовка в полной секретности, слухи, тем не менее, поползли. Так уж всегда бывает: сболтнет один из ответственных товарищей жене, та – сестре, а сестра – подруге. И пойдет...

Сколько раз пытались предотвратить утечку, строго наказывали провинившихся, а всё равно кто-нибудь да проговорится. Это уж потом начальство сообразило, как с этим бороться. Тогда и был организован специальный отдел, чтобы слухи распространять, – самые нелепые. Чтобы среди этих слухов утечка подлинной информации была не так заметна...

В общем, однажды в кабинет к коллеге Иеронима Петровича явилась молодая гражданка. Как ее к нему пропустили, теперь трудно сказать. Вроде бы лечился этот коллега у ее отца – известного в том городе врача – и очень его ценил. И вот, благодаря личному знакомству, девушка эта беспрепятственно проникла в кабинет, попасть в который страшились многие, включая даже подчиненных. А посторонних, по их собственному желанию, туда и вовсе никого не пускали. Хотя кто бы еще в тот кабинет по своему желанию сунулся?

– Такая уж у него должность была, – в этом месте Иероним Петрович качал головой и загадочно улыбался. Как бы намекая, что и сам он был облечен в ту пору властью, способной раздавить любого.

А я слушал Иеронима Петровича и удивлялся: отчего это для описания величины чьей-то власти обязательно нужно упоминать о том, сколько плохого обладающий этой властью может сделать другим?

Так вот, значит, явилась молодая девушка в тот страшный кабинет и заявила, что не уйдет, пока своего не добьется. А хотела она, ни много ни мало, отмены приказа о переселении евреев, поскольку папа ее, профессор, человек уже немолодой и нездоровый, никуда ехать не в состоянии, тем более, в теплушке, тем более, на Дальний Восток. А за это она готова на всё. Буквально – на всё.

С удивлением посмотрел коллега Иеронима Петровича на эту наивную девицу и оторопел. Во-первых, была она невероятно хороша собой. То есть просто глаз не отвести, как хороша. А главное, глядела на него так, что мысль о ее наивности тут же пришлось отбросить. Позже говорил он, что, несмотря на богатый жизненный и профессиональный опыт, никогда не видел он, чтобы у молодой девушки были такие глаза – всезнающие и глубокие. Настолько глубокие, что закружилась у коллеги Иеронима Петровича голова. Он даже отшатнулся, чтобы не провалиться в эти глаза, как в пропасть.

– Хотя, – со значением повторял Иероним Петрович, – был он человеком старой большевистской закалки и должность свою высокую занимал недаром.

Поэтому через пару мгновений коллега Иеронима Петровича

взял-таки себя в руки и дверь кабинета, как положено, запер. Практическим своим умом он быстро сообразил, что хотя никоим образом отменить приказ о переселении не мог, даже если бы захотел, никуда эта отчаянная девица от него не денется. А потому он может пообещать ей всё, что угодно.

Ведь одно дело брать девицу силой, что тоже нередко случалось в богатой биографии коллеги Иеронима Петровича, и совсем другое, когда она сама, по доброй воле...

– У каждого, даже самого большого человека, бывают свои слабости, – объяснял нам Иероним Петрович. – Так, по своей воле, казалось ему слаще...

Но, к его великому удивлению, ничего у него в этот раз не получилось. А девка смотрела на него своими ведьминскими глазами и как будто смеялась над его мужской неудачей. Злость взяла тогда коллегу Иеронима Петровича. Ведь вот она, девка эта, и еще тысячи ее соплеменников находятся сейчас в полной его власти. Да и не только они. А собственное его проклятое мужчинство вдруг отчего-то оказалось ему неподвластным.

Хотя еще вчера на этом самом столе всюду ублажал он свою секретаршу, младшего лейтенанта внутренней службы Дарью Михайловну. А чуть позже честно исполнил супружеский долг со своей женой, домохозяйкой Лидией Анисимовной. И обе были настолько довольны, что решил коллега Иеронима Петровича приставить Дарью Михайловне очередное воинское звание лейтенанта, а жене подарить что-нибудь дорогое и памятное.

Нужно признаться, бывали у него и раньше сбои с этим делом. Бывали. Все-таки, что ни говори, а работа у него нервная, тяжелая, порой и врагу не пожелаешь. Да и не мальчик уже. Но всё равно всегда рыдали под ним женщины – то ли от восторга, то ли от страха. Тут уж он особо не разбирался. Говорил, что стальным своим характером бабу брал.

Но эта девка не рыдала и от восторга не закатывалась, а смотрела так презрительно, что аж в груди заболело от обиды. Жалким показался он себе, жалким и отчего-то подлым. И стальной характер ему не помог.

Помутилось тут у коллеги Иеронима Петровича в голове, изменила ему большевистская выдержка. Не помня себя, кинулся он к сейфу, где хранился наградной отделанный золотом маузер. Пытаясь судорожными, напомиравшими ему о только что пережитом позоре движениями вставить ключ в замочную скважину, он еще и сам не знал, что собирается делать дальше. То ли убить эту подлую тварь с ее беспощадными глазами, то ли самому застрелиться к чертовой матери.

– А ведь какой крепкий был человек! – с чуть заметной лукавиной восклицал Иероним Петрович. – Такое прошел, что не каждому

выдержать. Хотя, может, именно в его закалке всё дело и было. Каленая сталь легче ломается...

Иероним Петрович, нежно поглаживая лежавшую на коленях книгу с полустертой передовицей, надолго задумывался, очевидно, вспоминая славное прошлое.

Неизвестно, чем бы закончилась та история, если бы в тот момент не раздался в кабинете коллеги Иеронима Петровича телефонный звонок. Звонок не обычного телефона, стоявшего на рабочем столе, а особого, для которого в кабинете был выделен отдельный почетный столлик. Забыв обо всем, кинулся коллега к телефону и нетвердой, внезапно вспотевшей рукой снял холодную, как покойник, трубку.

То, что он услышал, привело его сначала в еще большее смятение, даже в ужас. Качнулся под его крепкими ногами натертый до блеска паркет. Но, положив трубку и заметив смотрящую на него девицу, коллега Иеронима Петровича вдруг ни к месту понял, что теперь может без обмана пообещать ей то, что еще несколько минут назад казалось немислимым. Опытнейший был человек, далеко вперед видел! Что, впрочем, при его должности было совершенно необходимо.

И вот тогда, вместе с охватившей его страшной горечью невосполнимой потери, подкрался к нему непонятный, но головокружительный восторг. К своему удивлению, почувствовал коллега Иеронима Петровича, что потерянное было мужничество возвращается к нему с утроенной силой...

– Да-а, – бормотал Иероним Петрович, – идейный был человек. Хотя оказался он потом замешанным в серьезное дело о шпионаже, нити которого тянулись аж на самый верх. Да-а... Человек триста тогда вместе с ним расстреляли. В первый же день... И никакое предвидение ему не помогло.

И снова покачав головой, возвращался Иероним Петрович к своей истории. Но, как и положено хорошему рассказчику, начинал ее совсем с другого конца.

Так вот, хитрил Иероним Петрович, притворялся, что будто бы не знал, куда подевалась его беременная Муся и ее супруг Осип Эфраимович. Всё он знал.

Ну куда, спрашивается, они могли от него убежать? Далеко ли? Быстро нашел их Иероним Петрович в небольшом южном городке, где Осип Эфраимович пристроился работать на нефтяных промыслах. А сама Муся из-за своего положения оставалась дома. Хотя какой это был дом? Так, сарай бесхозный, а не нормальное жильё.

Когда Иерониму Петровичу об этом доложили, не выдержал он, послал на место опергруппу, которая под видом работников собеса должна была помочь чем возможно. Но Осип Эфраимович от помощи отказался. Гордый был человек, хоть и еврей. Иероним Петрович скрипнул зубами, но всё же приказал приглядывать за беглецами.

Спустя несколько месяцев родила Муся сына, которого назвали Ефимом. И снова заскрипел зубами Иероним Петрович, узнав, что ребенка на восьмой день тайком обрезали по еврейскому обычаю. Но делать было нечего. Считался теперь его сын евреем.

Так и жил маленький Фима, будучи уверенным, что рыжий Осип Эфраимович и есть его родной папаша. Ну а о том, кто о нем понастоящему заботился, конечно же, не догадывался. И когда выдвинули Осипа Эфраимовича на ответственный пост с хорошим жалованием, воспринял это как должное. И потом, когда перед самой войной окончил школу с отличием и в числе лучших учеников был отправлен в Москву на Выставку достижений народного хозяйства, тоже не знал, чьими заботами это случилось.

А дальше потерял Иероним Петрович сына из виду. Знал только, что с началом войны ушел тот добровольцем на фронт. И там сгинул. И даже самые высокие связи Иеронима Петровича не помогли его обнаружить. Долго еще Иероним Петрович, рискуя вызвать ненужные вопросы, искал сына. Искал, хотя и сам не понимал, зачем это ему нужно.

И вот теперь, глядя на проклятый список, увидел он, что под номером тринадцать записан там Френкель Ефим Осипович, тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения. Конечно, это могло быть и простым совпадением. Чего только в жизни не случается! Но ухмылки и недомолвки бывшего его контрразведчика яснее ясного указывали, что не было тут никакого совпадения.

– Ну, что думаешь делать? – спрашивает генерал и довольно улыбается. В отличие от Иеронима Петровича, рубившего наотмашь, нравилось ему, мерзавцу, по кусочкам человека резать. Это проявилось еще тогда, когда они были рядовыми сотрудниками.

О чем было с ним говорить? Взял Иероним Петрович ту сверхсекретную папку, кивнул генералу на прощание и пошел в свой кабинет. Думать. Принимать меры. И Тьма, почти не таясь, следовала за ним по коридорам.

Спустя короткое время выяснил Иероним Петрович, что сынок его оказался патриотом, хорошо воевал, а потом, ближе к концу войны, был взят на такую секретную службу, что все сведения о нем были изъяты, и даже он, Иероним Петрович, не имел к нему доступа. Честно признаться, Иероним Петрович о существовании такой службы не знал, поскольку была она совсем по другому ведомству.

Данные из сверхсекретной папки неопровержимо свидетельствовали о том, что Ефим Осипович Френкель был заброшен в глубокий тыл врага, где в составе группы выполнял особое задание. Но потом его перевербовала немецкая контрразведка. В результате оказалась провалена сеть нелегалов и, главное, был арестован и после пыток казнен важнейший резидент советской разведки, известный под оперативным псевдонимом «Пророк».

Иероним Петрович отказывался верить, что его сын, пусть даже и воспитанный евреем, мог стать предателем. Не укладывалось это в его голове! И Тьма глумливо кружила поблизости, а сил рассечь ее у Иеронима Петровича уже не оставалось.

О том, что было дальше, Иероним Петрович рассказывал сбивчиво, часто останавливаясь и мелко, по-старчески, тряся головой. И позабытая им книга с мягким стуком сползала с его колен на плитки двора.

И даже когда Иероним Петрович брал себя в руки, речь его, равно как и взгляд, была мутной и невнятной. В попытке что-нибудь понять мы, любопытные, придвигались поближе и, морщась от запаха старого тела, ловили обрывки его слов.

Снова и снова повторял Иероним Петрович, будто понял он тогда, как из Ничего строится Всё. И что мертвые действительно куда более удобный материал для такого строительства. И что знают об этом сильные мира сего, отлично знают!

В этом месте Иероним Петрович перескакивал на другое и рассказывал о том, как допрашивал своего сына, который и понятия не имел, что говорит со своим настоящим отцом. И некоторое время спустя открыл ему Ефим, что никаким предателем он не был. А был специально подготовленным двойным агентом, и выдача фашистам Пророка была заранее оговоренной с руководством акцией, жертвой, благодаря которой был переломлен ход войны и спасены миллионы жизней. И приказ был выполнен, хотя считался Пророк учителем Ефима, а Ефим – его любимым учеником.

Но и на этом не закончилась важнейшая миссия, порученная Ефиму его руководством. Должен был Ефим оставаться в глазах других предателем родины до самого конца. А если нужно, то даже и после смерти.

Знал Иероним Петрович, что пристально следит за ним генерал. Знал он также и о том, что, не будь генерала, спасти сына всё равно бы не получилось, даже если бы он и нарушил свой долг. А главное, будучи давним и опытным борцом с Тьмой, не мог он не понимать, что играет она нечисто, что подло мстит за полученные от Иеронима Петровича удары. Не мог он спасти сына. Никак не мог! Его сын должен был умереть...

В этом месте на глазах Иеронима Петровича всегда появлялись тягучие старческие слезы. Они скатывались по увядшим, заросшим щетиной щекам, скапливаясь озерками в многочисленных глубоких морщинах. Но минута слабости проходила, и тогда гордо выпрямлялся Иероним Петрович, и снова внушительно звякали ордена на его груди, и замирало эхо, а вместе с ним замирали и мы, слушатели, стараясь постичь глубину этой трагической истории.

Но что нам, мальчишкам, чья-то чужая давняя смерть? Тем более что и сам Иероним Петрович тут же заговорщицки подмигивал, огля-

дывал нас и доверительно сообщал, что хотя точно знает о смерти сына... Его еще не высохшие от слез глаза загорались пугавшим нас огнем, он взмахивал своей книгой, призывая нас придвинуться поближе, и шептал, что официально-то сын его, майор спецслужбы Ефим Осипович Френкель, мертв. Но это только по бумагам. А на самом деле майор Френкель, или, правильнее сказать, Ефим Иеронимович Бох, жив. Только до сих пор насмерть засекречен...

– Да ладно, – прерывал восторженную тишину не к месту появлявшийся во дворе скептик дядя Гоша. – Ты, Петрович, совсем уж того, зарпортовался... Тоже мне, Штирлиц какой!

Но Иероним Петрович на дядю Гошу не обижался. Он только улыбался и называл его Фомой неверующим, да еще как-то раз исхитрился стукнуть по голове своей книгой. Отчего от дяди Гошиной головы нимбом поднялось светящееся в солнечных лучах облачко пыли. И все мы, включая самого дядю Гошу, весело рассмеялись. Нам, мальчишкам, тогда казалось, что так будет всегда: хороший летний день, солнце, играющее бликами в воде фонтана, смеющееся вместе с нами эхо и Иероним Петрович, победно восседающий в своем кресле с книгой в руках...

Когда Иероним Петрович умер, я был в школе. Поэтому только со слов того же дяди Гоши знаю, что стало ему плохо с сердцем, что спецкорая увезла его в спецбольницу и что по дороге, несмотря на усилия спецврачей, он скончался. Но до того, как его увезли, будто бы сказал он дяде Гоше, что теперь понял всё про Свет и Тьму, и что ему самому пришла пора становиться Всем. Да только кажется ему, что ошибался он всю свою героическую жизнь... А в чем именно ошибался, Иероним Петрович сказать не успел. Такая вот незадача.

Чуть позже в тот день, проходя мимо фонтана, я увидел лежавший на бортике прямоугольный предмет и сразу понял, что это та самая принадлежавшая Иерониму Петровичу и забытая в суматохе загадочная книга.

Преодолевая непонятно отчего охватившую меня дрожь, я взял ее в руки, открыл и прочел:

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы...»

Александр Немировский

ЗАВИСТЬ

Научиться ловить рыбу,
переехать в Орегон или в Вайоминг.
Послать всё на.
Зимой охотиться на карібубу
либо
на зайцев
и в местном пабе не встречать незнакомцев,
кроме,
пожалуй что, самого себя.
Не нужна
станет половина гардероба,
куча привычек,
две трети номеров,
живущих в мобильнике своей жизнью.
Да и сам телефон решительно
поделится местом с коробком спичек
в кармане, где будут болтаться оба.
Различные
темы потеряют значение.
От бесед с соседями облысеет
разговорный язык.
Будет время для книг,
но чтение
бестселлера
не победит заката
над гигантским вулканом,
что черно-белыми ледниками со скалами
отражается в окне под покатой
крышей
домика, который приник
к склону.
Заката, что облака,
в массе,
вгоняет в стыд, судя по тону
отсвета.
Я, легко одетый,
лишний
зритель, стою на террасе,
где шкворчит на походной плитке
рыбка,
та самая, что недавно еще плескала.

ТУРЧАНКА

Ночь напролёт до первых муэдзинов.
В компьютере война с плохими новостями.
В грязи
дорога. Азия костями
гор впивается в глаза,
черешней в тело – полными горстями.
До вылета – два дня и полчаса.
Не льсти
себе: всё будет только хуже.
Нет возвращенья.
За побег – есть срок.
Дитё растёт без мужа,
без крещенья,
и выбор весь опять
из трех дорог.
А вспать –
никак. Часы неумолимы.
Глушить вино. Порок –
как это глупо!
Чуток
забвенья голову вскружит.
Мираж приюта – доля пилигрима.
Мгновенье замерло. Надежда впала в ступор.
Скупое время продлевает жизнь.

ЙОМ-КИПУР

Господи, только бы всё успеть,
прежде чем позовешь!
Певчему – слушать медь.
Нищему – тратить грош.
Что ж
от того, что пока дышу,
ежели не тобой?
За грешника попрошу
ломаную строкой.
Дай не покой,
нет.
Что нужно мне – знаешь сам.
Свет
ниспошли, чтоб принять смог,
да силы придай словам.

Смог
рассеки лучом,
и я по нему пойду.
Любимой подставь плечо
и отведи беду.
Я поживу еще,
гордыню мою прости.
В горсти
твоей – чёт-нечёт –
доброму не отмсти.

MEXICO CITY БЛЮЗ

Августовский Мехико-Сити.
Автомобильный смог,
пришитый нитями
дождя к островам строений.
Пресытившееся отбросами вороньё,
вспугнутое,
покидает растения
сада.
Гостиничка. В фойе выгнутые
стулья, ворсистая обивка в контраст наряду,
твоё
летнее платье чуть выше коленей.

Дождливый Мехико-Сити.
Шины хлюпают в лужах.
Дырки в дорогах не ужас –
норма.
Вздрагивает прохожий.
Опять взлетает ворона.
Названия улиц – блёклы.
Непохожие
друг на друга цветные домушки кружат
прозрачную жизнь сквозь стекла
оконных рам.
Вечер в Мехико-Сити.
Ресторанчик, ананасные дольки.
Музыкант, выдыхая в маску,
поет под баян.
Вы сидите.
Глазки
в меню, но столько, сколько
хотите, никак не выпить.

Ночь над Мехико-Сити
раздвигает окна, стены,
всё, что можно раздвинуть,
едва кончилось вёдро.
Тени
тянутся прочь от земли, в небе
осторожно повернув спину,
облака открывают звезду в зените.
В ее свете внизу в неге
красавицы разводят бедра.

Эпоха гордо
подымает ввысь
столбы стволов – столетние колонны
деревьев, что мысль
о времени презрев в своей спеси,
несут собор под куполом листвы.
Как вдруг пронзает вены,
пучит кровь сирены
полицейской звук
(на терцию от «си»).

Здесь лучше молятся своим, не посторонним,
не выходя за поколенья круг.
Богам плевать, как выглядят кресты.

Нескучный
город –
джаз над Мехико-Сити.
Седой саксофонист в надорванной
рубашке плывет звуками по узкой улочке.
Над ним – Спаситель
разнимает тучи.

Mexico City

2022

И встал тогда первый судья,
посмотрел на меня и спросил:
– А где ты был?
Я, потупив взор, отвечал:
– За счастьем уйдя,
позабыл.

И встал тогда второй судья,
посмотрел мне в глаза и спросил:

– Почему молчал?
Руку на сердце кладя,
я пожал плечами:
– Ведь не я платил,
и потому прощал.

И встал тогда третий судья,
посмотрел мне в душу и спросил:
– Почему черства?
И я, припадая
на одно колено, умолял:
– За других боюсь, трушу.
Но не подобрал слова.

И тогда трое все они встали
и посмотрели мимо меня.
– Материал неплох, но опять не вышло.

Родился мальчик – вес, рост, охват талии.
В тело чип вшили.
Подрастет к утру, года, месяца, дня.
Всё ж пока человек. В начале.

* * *

Не говори мне ничего ни про слова,
ни про ветер,
который их разносит над пустыней.
Молчи. Сливай
воду на руки, бормочи молитву.
Но сперва,
оттереть их от равнодушия до сини
попробуй.
Выросшие в сытости,
не понимают ни битву,
ни разрушенную ею землю.
На взорванную утробу
жилья не глядят сквозь слезы.
Приемлют размытости
очертаний рытвин,
не ищут в них разбросанные контуры тел.

Я там не был, но я там есть,
потому что у меня вот тут и вот тут болит.
В том месте – полость.

Удел,
в котором и живет душа, где она не молчит.

Когда монолит
мрака опять собой закрывает восток,
слова разума – всё глуше.
Они – ветер над пустыней.
Не закапывай голову в песок.
Война и твой висок
найдет, и тогда равнодушные
уже стыда не имеет.

ЯЗЫК ГОР

Потому что я говорю на языке гор,
жителям бесконечных равнин
меня не понять.
Говор мой щиплет гортань,
и не унять повтор
отражения эхом слов, которые тяжело принять.
С вершин
легко прощается глубина обид. При взгляде вниз
глубину вообще можно стереть.
Снизу вверх хорошо видна только
неудавшаяся жизнь.
Тем, кто научился смотреть.
Осколки
льда на снегу, в вышине,
на глаз
не различить,
пока проклятьем по тишине
не прозвучит лавина.
Но тогда уже поздно будет решать учить
значение горных фраз.
Потому-то и бесконечна равнина,
что по ней хорошо бежать, особенно нажав на газ.

На горном наречии
есть глагол
для создания чистоты снега
и глагол для похожести линии
хребта на судьбу.
Колокол,
издалека, не слышен над бурной речкой
так, как над равниной,

но с начала века
набат запаздывает предупредить пальбу,
превращающую снег в крошево
из крови и глины.

Потому что кожа
пальцев огрубела от остроты скал,
шансы больше ими горячий
ствол удержать, наставленный на врага.
Время в горах
стоит и потому не плачет,
когда, оборачиваясь в века,
обнаруживает, что один из них на войне пропал.

Кружево причудливых форм,
разрезов ущелий,
красота висячих долин,
ручьев урчанье –
не терпят неточных слов
или неоднозначных прочтений.
Потому что в горах тяжело добывать корм,
особенно когда один,
говор мой – в основном, молчанье
с оттенками восхищений.

Я читаю книги, написанные миллионы лет назад
слогами из первобытных звуков.
Их перелистывая, вижу разлуку
с Создателем,
незаметную в низине,
где взгляд
наблюдателя
гаснет и, не проходя и половины
расстояния до горизонта,
киснет в унынье.
Спрессованная
каньонами, теснота моих обещаний – нерушима,
а выраженная языком гор – она равна жизни.
Высота стен – это глубина убеждений,
а исполнение слов – вершина.
Без сомненья,
ради которой и есть смысл в восхождении
из болота.

ВЕСНА

На ходунке опять пора менять мячики.
Февральская простуда, вроде бы, отступила.
Настоящее теперь меньше прячется
в прошлом.
Невозможная
эта зима, похоже, отлила
свои циклоны, мощные,
в обрывах электричества,
в наводнениях,
в холодах.
Это всё мгновения
и какое бы ни было их количество –
они не имеют значения.
Редко стали приезжать внуки.
На днях,
правда, повидал младшую – прелестница!
Из остальных развлечений – чтение
по-прежнему не подводит.
Библиотека скрашивает невозможность уехать.
По хорошей погоде,
самому положить бы руки
на руль, отклонить креслице,
и, возраст – не помеха, –
нажать и полететь по незнакомым местам.

Страница, почему-то пуста.
Перечитать снова.
О чем? Вот тут пятно на краю листа.
И еще одно на штанах –
обнова, –
подарок от дочки.
Может быть, заглянет поближе к ночи.
Она всегда в делах,
в беготне.
Я в ее годы – тоже без сна.
Надо же, какая птица в окне!
И впрямь – весна!

Кручинина Ольга

Тучи из кирпича

* * *

А небо волчье заволокло
И веет сыростью на луну.
Вот обернешься вокруг – темно.
И остаёшься сосцы тянуть.
Туман горюет дурман-травой,
С полынью водится любисток.
И если воешь на небо – вой,
Ты волчьим веком мотаешь срок.
Налиты груди нависших туч,
Свободой манит вдали гряда.
Едва появится светлый луч –
Созреет в небе ягода.

* * *

Эти слова вылиты из молока,
Пенка тягуча и горизонт бледнеет.
Топит белёсо, немо, издалека.
– По полу тянет! Не выпускайте время!
Форточка – выход, если решился – вход.
Мимо стекла, сквозь ледяную чашу.
Хлопнешь, закроешь, оно всё равно течет.
Переходя из будущего в настоящее.

* * *

Ты выдыхаешь вязкий тягучий день
И он повисает домашним привычным адом.
Рукою, лопаткой, плечом ты любой задень –
И в комнате всё готово для камнепада.
Мощным булыжником, увесистым кирпичом
Висят над подушкою, креслом и подоконником.
И ты, отпирая двери своим ключом,
Сквозь них пробираешься с порога до рукомоЙника.
Ложись ли в ванну, идешь ли на кухню греть
Нехитрую снедь, предназначенную на ужин.

В любую секунду камням надоест висеть.
 И в ленте проскочит, что был никому не нужен...
 Вот камень заложен первый, и значит срок
 Уже обозначен. И камень, того не зная,
 Однажды приземляется на висок.
 Свою траекторию, впрочем, не выбирая.

* * *

Кто посеял снег собирает глыбы
 Перетаявших саблезубых рыбин.
 Их мундиры блещутся от натуги.
 Плавники легки. Заменяют руки.
 И от гордости за родную землю
 И за собственный недалекий космос
 Я лежу на дне, я опять воскресну –
 И за землю в жабрах и за небо в доску.

* * *

Тонкая лопасть ночь развернет на взлёт.
 День пуповиною кормится ото дня.
 Машешь не машешь, а день всё равно пройдет.
 С разницей той, что со мной или без меня.
 Лопасть гребёт под себя загребая всё.
 Хочешь не хочешь, а все мы в одной горсти.
 Не узнавая в лицо, открывают счёт,
 Нечего думать – и в правду, пора грести.
 Полные пригоршни – горечи урожай.
 Выскоблен берег волнами до синевы.
 Бабы привычные – знай себе да рожай.
 Яблочки катятся лесом поверх травы.
 Тонкая лопасть ломает хрящи в слюду.
 Колет гортанно. И стынут поверх стекла
 Дни, сиротливо рожденные, на беду.
 Яблоки горькие, синие добела.

* * *

Стены кирпичны, тучи бледны, но впрочем
 Стены бледны, а тучи из кирпича.
 Глянешь на небо – тут же тебя замочат.
 Истина чья-то, а здесь, как всегда, ничья.
 Будет и хуже, если начнет крошиться.

Тут однозначно – выпало – жди беды.
Бледные лужи с тихой тоской на лицах
Всё отражают молча, наполнив рты.
Глянь полорото, выкрикни что есть мочи!
Больно ты тих для разумного мертвеца.
Может еще на досуге мечтаешь? Впрочем
Каждый мертвец настойчиво ждет конца.

* * *

Так истончиться, что комкать себя в слюду.
С хрустом отламывать день от бездонной ночи.
Телескопически с темечка и на носочки –
Я никогда, никогда, никогда, никогда, не бу-
душный угар выдыхать, будто твой елей.
Думать туман забывая себя в тумане.
Верить наощупь притрагиваться, запинаясь
Выпить добра, чего доброго, делаться злей.
Больше не вижу, не слышу, не чую лиц.
Сходит лавина, сминая меня до хруста.
Руки хрустят пустотой, а в ладонях пусто.
День изо дня провожать перелетных птиц.

* * *

Ты трогаешь стекло, а день прозрачен.
И дымка беззастенчиво стекла.
Вот так стоишь бессмысленно и зряче.
И день звенит и воздух из стекла
Трепещет тонким, поздним, стрекозиным.
Натянуто тугое – не уйти.
А жизнь течет своим обычным клином
По зыбкому осеннему пути.

Марина Эскина

Среди чудовищного бедствия

МАРТ

На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.

О. Мандельштам. 1923

То дождь, то снег, то ветер бешеный,
то – солнце, как нарцисс, приветственное;
стихами делимся, как брашнами,
среди чудовищного бедствия.

Нечеловеческое пучится,
на части рвет тела и души
тех, кто достоин лучшей участи,
и тем печальнее, тем горше.

Где год пройдет кровавой поступью –
всех поголовно окровавит,
нарциссов не спасают россыпи,
и смерть бесстыдно ко́су правит.

Уже и откупаться нечем нам,
стыдом и страхом совесть гонит;
*на лбу клейменом человечества
войны холодные ладони.*

2023

* * *

Не матерится, не курит, не пьет вина,
до чего же скажут, жизнь у нее пресна,
и чему это она отдана, верна –
мужу, сыну, другу, жужжанью веретена,
одинокости выпитому до дна?

Там, на дне, когда туда доберешься сам,
ты увидишь, не поверишь своим глазам, –
небо плещется и луна в нем, как большой сазан,
и ушедшие навсегда, а как будто на полчаса,
подают из вечности голоса.

И тогда всё равно – хоть пей, хоть кури траву,
хоть мимоходом, к слову, матерни братву,
или пресно живи, как я живу, –
отвечая на зов, кого-то сама зову –
удивляясь мотовству своему, щегольству.

ОСЕННИЕ СНЫ

В голове роятся пчелы-слова, мелькают, жалят,
не обретя еще ни смысла, ни звука;
меня выслеживают, загоняют и окружают,
сеть набрасывают, не велика наука.

Вот я – «в домике», где ничего не решаю,
некого защищать, поздно бить посуду,
отмолчала свое, прозевала – горе шарик-шару,
он подожден, пламя уже повсюду.

Или это клены вспыхивают отважно
красным, желтым огнем когтистым,
чтобы потом стоять в пепельном камуфляже,
каждый вьюгой обруган, ветром освистан.

Или я – девушка с веслом в опустевшем парке,
все ушли на фронт или куда далече,
по домам развели детей, пообещав подарки,
гипсовый снег сыплется мне на плечи.

* * *

На елях, потемневших от грозы,
лежит небесная флюорография,
проси кукушку, ласточку проси,
чтобы с диагнозом тебе потрафили;

Попробуй озеро уговорить,
пока оно тебя в себе баюкает
меж быть или не быть.
Забудем прыть
соревноваться с тишиною звуками,

Молчи, как музыка молчит во сне,
скрывайся на виду у всех насмешливо,
таи, укрой, храни на глубине
свидетельство аванса рукопашного.

* * *

Осенние бабочки, стрекозы, жухлые мотыльки,
 божья коровка, упавшая с неба? с ветки?
 Как перезимуют ее пятнистые детки,
 дождутся ли старики?

Сажая ее, как всегда, на ладонь – лети,
 она притворяется мертвой, спящей,
 осень обманывает теплом томящим,
 последним у зимы на пути.

Война сжигает сердце, жжет губы/уста,
 беспомощность – новая, главная из утех,
 а пепла, посыпать голову, хватит на всех,
 на всех, кто горе оплакивать не устал.

Божья коровка взлетает – летит, летит,
 знак ли это, что есть надежда, заступа,
 у стариков будет крыша, тарелка супа,
 у деток – мама с папой и аппетит.

* * *

Не тоскую о детстве
 неутолимо жадном
 до ласки,
 сытом, но одновременно жалком,
 на любое средство
 ради нее готовом
 без подсказки
 быть послушливым, образцовым.

Соединяю звенья,
 включаю обратное зрение –
 любовь отмеряли как снадобье,
 как редкое удобрение,
 чтобы задобрить зло,
 чтобы дерево
 усердно росло,
 чтобы ствол был прям,
 ветви густы,
 плоды, если не многочисленны,
 то чисты
 от червоточин.

Но блокадой, сиротством, войной,
 ярости кипящей волной

источник был почти обесточен,
жизнь пробивалась чудом,
вопреки кухонным пересудам,
оригинал смыло, остался подстрочник,
страх очередного цунами,
только временами
накатывало тепло,
и если везло
счастье было не за горами,
тогда в Крыму загорали,
жили в Литве на хуторе,
где никого не знали,
собирали грибы,
путали следы судьбы.

Катится детства
недолепленный колобок,
не услышавший говорок
дедушек-бабушек,
зато в ожиданье лисы и волка,
только
не по зубам им камешек
детского сердца
тоже всегда голодного,
знающего про пирожок с гвоздями,
не озабоченного новостями,
но уже/еще не свободного.

* * *

Я не знаю, где мой дом,
мне узка кровать,
подышу закрытым ртом,
буду крепче спать
в том, последнем что ли, сне,
в сине-голубом,
буду путать дождь и снег,
над холодным лбом.

Я не знаю, где лежит
памяти предел,
будто каждый может жить
сколько захотел.
Все слова мои сожги,
письма, дневники,
встану я с другой ноги
у другой реки.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА. 2023

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА посвящена памяти Марка Алданова (1886–1957), выдающегося писателя русской эмиграции, одного из основателей «Нового Журнала».

Премия утверждена во имя сохранения и развития традиций русской литературы в контексте мировой культуры и призвана поддерживать писателей русскоязычной диаспоры, живущих в рассеянии по всему миру. Премия присуждается прозаикам, создающим свои произведения на русском языке и живущим вне Российской Федерации. В 2023 году в конкурсе на соискание звания лауреата принимали участие прозаики из Австралии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Молдовы/ПМР, США, Швейцарии, Швеции, Франции, Эстонии.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ (в алфавитном порядке):

Андрей Белозёров (Молдова/ПМР) – «Вот пойду и застрелюсь эпохально»

Наталья Гвелесиани (Грузия) – «Неправильные»

Эмиль Дрейцер (США) – «Свист абрикосовой косточки»

Анна Трубачева (США) – «Дань Превращению»

Елена Улановская (США) – «Восемь лет спустя»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

2-е место:

Андрей Белозёров (Молдова/ПМР) – «Вот пойду и застрелюсь эпохально»

Анна Трубачева (США) – «Дань Превращению»

3-е место:

Эмиль Дрейцер (США) – «Свист абрикосовой косточки»

Решением жюри в 2023 году первое место осталось вакантным.

Корпорация, редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала» поздравляют лауреатов Литературной премии им. Марка Алданова и желают им новых творческих успехов!

Членами жюри в 2023 году были: Алла Ройланс, ведущий сотрудник-консультант библиотеки Нью-Йоркского университета (NYU, США); Марк Уральский, литературовед, историк, журналист, публицист (Германия); Олег Федоров, издатель, радиоведущий, педагог, арт-публицист (Украина), Вадим Ямолинец прозаик, сценарист, журналист, организатор литературной премии им. О.Генри «Дары волхвов» (США) и главный редактор «Нового Журнала» Марина Адамович (США).

Информацию о порядке приема рукописей в 2024 году читайте на сайте корпорации: www.newreviewinc.com

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова

Андрей Белозёров

Вот пойду и застрелюсь эпохально

Россия. Лета. Лореля...

О. Мандельштам, «Декабрист»

Мне, как лауреату потенциальному фронта литературного, вовремя себя не убившему и превратности судьбы претерпевающему (в отместку, господа, за приоритет непререкаемый Искусства), довелось прокатиться в ситуации крайне эмоциональной. В смысле прямом и переносном – из прошлого своего, где сплошь пожар и пертурбация, в объятия чаемого – царства всеединства и воли мировой. В поезде *это* со мной происходит – проникновение в суть – скользя по рельсам, а не по касательной впечатлений, в составе подвижном РЖД, уносящем меня из Бендер многострадальных в Подмоскovie – к жене. Сам-то я жительствоваю на основе постоянной в республике *самосвободной* на Днестре, автохтон я неисправимый, в этом и кредо творческое мое – *повествователь должен быть там, где тема его!* – как к тому и побуждают соискателей уложения Комитетов премий; а вот жене сложнее, ей цивилизацию подавай – ни за что не желает вязнуть в среде деструктивной-депрессивной-репрессивной (избравшей путь самоизоляции, добавлю, за тридцать лет до пандемии мировой и войны в Украине!), преисполненной посулами воздаяния заслуженного в веках, где словами поэта «грядущее страны (а, возможно, и мира всего!) дико смотрит из проломленной стены...», – короче, не хочет она проникаться эпохальностью мужней, полагая, что и у него настроения выправятся...

Итак, я в вагоне плацкартном, в том, что и преподносит казус сращения прошлого и будущего в один, как говорится, континуум – в ракурсе теории квантовой. Кто способен сие постичь и принципы надлежащие в дело употребить, уже не думая ни о каких премиях феерических, отвлекающих тростник мыслящий от Намерения, от жажды реванша эпохального?!

Это была Тоня. Вот так просто – Тоня из юности моей. (Возникла лазутчицей в Здесь и Сейчас, крен требующей в стихий возмущение, дабы вожжи судьбы и случая к рукам прибрать; а рыбка золотая на посылках у нее!) И не то что *из былого*, о чем мужики разумеют с прищуром, да и женщины, забираясь в скабрезное, а из анналов культурных, опаленных войной... На боковушке за столиком откидным, по левую от меня руку она примостилась, глядя безучастно (играя, разумеется) на перрон. И я, сидя на полке «цивильной»,

вперялся в амальгаму ночи за окном напротив и в отражение лика попутчицы негаданной: эта из бездн потребность неистребимая – шпионить за ней, вбирая жадно анфас ее! И выходило, что глаза наши, не мигая, глядят друг на друга... Сидела Тоня, похожая на виденье, расправив плечи и спину выпрямив, с улыбкой обезоруживающей и щурясь, якобы, на фонари. Одной рукой она придерживала ридиколь у груди, а другой – чемодан громадный, имея билет на боковушку верхнюю (не озаботилась место бронировать) и надеясь, что в Тирасполе, следующей по ходу станции, коей быть через двадцать минут после отправления, полка нижняя окажется не занятой. Та самая ее *position-numberone*: из наивности и упования, в пику машинерии, подмявшей пространства божественные, – такой ореол ныне лучила она, вестница от Культуры. Фактически, в этот самый интервал *до Тирасполя*, когда и надежды мои на полке законной нижней, отнюдь не верхней боковой, – ох уж эта традиция вагоностроения, пример наглядный превращения персон странствующих в вещь для транспортировки, – обращались в «Крик» Мунка, соотнесенный с реалиями сообщения железнодорожного (стоит войти в вагон, сразу и «Крик»: всё вкупе и в купе плацкартном декларирует: и дальше по жизни нас ждет наплевательство на личность, отказ от нее!), и когда и надежды мои прокатиться до пункта назначения, как говорится, с ветерком, а не в переполненном до мама не горюй человекейнике потном (в декаде второй сентября выдалась поездка), рушились напрапалую – между нами и завихрилось *узнавание*.

Конечно, я ее учуял-улучил еще на перроне, по флюидам и копиям ее теневым, – просто вида не подал... Мунк уже тогда кричал во мне в предчувствии 35 часов маеты плацкартной (вагонов класса выше в составе и не предполагалось) – и никакая частота поездок не умалит пытки. Впрямь, как на полотне известном: небо кроваво-красное, огней перронных отблеск в облаках низких; воспламеняется мир; и, по гению провиденциальному, сворачивается ход эволюции человека – до скелета, до эмбриона, до сперматозоида, до нежелания родиться в Свет фонарей тревожно красных. Фонари эти тусклые, они не разгоняли, а только сгущали тьму... И тут она!.. Если честно, я спутать карты возжелал, взмахнув крылами, и белым-пушистым в объятия жены броситься – ангелом, прелесть цивилизационную приившим... Тоня тоже *узнала заочно*, соглашаясь багаж ее от подножки мимо проводника в вагон внести (полна оказалась коробочка!); а вообще-то маневр этот я предпринял, дабы убедиться, не обознался ли в темноте...

Три десятка лет, что разделяли нас, опали, как листья осенние; и мы опять обрушились чайками прозорливыми – в «Чайку», что свела нас на сцене театра народного. Тоня играла Нину Заречную, я – Треплева. Эпоха надежд и свершений. После фиаско и немедля – триумфа, сто лет спустя «Чайка» явилась и к нам на подмостки провинциальные в красе, в шуме и в ярости, к месту и ко времени. Закат

Совка. Трактовка традиционалистская Чехова, казалось, изыначилась навсегда, выпендрож любой на сцене будет на «ура» приниматься. Советский Союз рушился на глазах, и мы агитацией своей помогали ему, не испытывая ни смятения, ни жалости. А раздражитель спокойствия среди классиков русских, казусы и выверты его, – то в ад художника, то в небеса, – знак, что судьба подводит нас к задачам эпохальным. Молодость, молодость... алчущая махом рубить узлы, дав путь прямой к осуществлению в пространстве расчищенном, как после схода ледника. Эти наши эксперименты, хождения над безднами!..

...Не в объятия же пылкие кидаться с наскака в сутолоке человековетел, пронирывающих с поклажей, что трудяги-муравьи, не говоря уж о ментах-таможенниках-пограничниках пэмээровских, буравящих из-под фуражек документы и багажи, лишь бы формат блюсти на участке, добытом на кровях по факту войны. И мы сидели, играя в отражения, силясь свести всё к личин своих позиционированию слепому; постигали момент. Но *процесс пошел*: механизм возврата в топосы, где мы остались (вне желания плоского бежать их), выводил ситуацию, говоря языком кинохроникеров, *на план*...

А между тем отсек наш, пятый от проводника, пополнился. Напротив меня мамаша с дочуркой лет шести водворилась. Девочка озирается, как зверек, тычет всюду ручонками и мычит. Родительница, укладываясь, не единожды наградила дитя затрециной... Две тетеньки под сорок в трико явились, телесами под носом у меня потрясли, определяя наверх багаж; и вмиг угнездились на полках вторых, застеленных загодя проводником... Властительница ж дум моих – как ни в чем не бывало. А меня, как и прежде, манят ее зеленые с искрой игривой глаза, лоб в обрамлении локонов льняных, грудь высокая под красным в розах платьем... Но вот проводник просит удалиться провожающих, заодно белье постельное в упаковках пуляет местам нижним; бейдж «Рустам Асриев» на груди у него. Хозяин-хозяин. Плюгавый человечек, а состав женский в Асриеве души не чаёт, кто в мужья зазывает, кто в зятя. С Русиком (так его пассажиры постоянные кличут) и я знаком; на пятнадцать лет младше меня. Еще в возрасте нежном бежал он, армянин, с родителями из Баку, когда полыхнул Карабах. Начал осознавать себя с момента, когда «калашами» выкуривали их, *пособников сепаратизма*, кунаки азербайджанские по домам; щепя от переплета оконного угодила мальчугану в висок, чудом глаз не задело; итог – шрам в пол-лица, свидетельство весомое... Заискивает Русик передо мной: уважение к старшим – само собой (хоть и моложе я выгляжу, чем по паспорту), но никак мне не разубедить его, что не родственник я Олегу Белозерову, главе РЖД. Жаждет, чтобы замолвил я слово о служивом бедном из резерва московского проводников в беседе приватной.

И вот нимб непререкаемый Заречной моей рассекают огни привокзальные, что немедля мозг ассоциацией гвоздят: шары «Алазани»,

шпарившие небо ночное в лето 1992-го, а колес стук – составляющая аудиофона из очередей пулеметных. И через тридцать лет наступают таки атаки огневые. «Я на тебе как на войне, а на войне как на тебе!..» – разрывается и динамик смартфона у кого-то. И мне представляется под фонограмму приставучую, что *та* война, которую пережили бендерчане, далеко не последняя на участке окоемном имперском; готовься, человек, всегда-сейчас, к новому испытанию огневому, готовься пережить всё, что пережили мы тут, пущенные жизнями своими на обкатку формата будущего, загребающего в лапы цепкие свои и Украину, и Россию!

– Давайте я чемодан ваш – на полку третью, ведь сейчас в Тирасполе насядут... – сподобился я изречь Тоне, когда миновали мост через Днестр. – Однако, что это вы перевозите? Пуды любви нерастрасченной?.. – словно штангист, принял груз на грудь и – рывком вверх.

С ее ж стороны – кивок благосклонный и улыбка загадочная. Будто не узнала. Еще нужно, мол, время, чтобы узнать.

О, как я превозносил ее тогда, тридцать лет назад, – в канун революции сепаратистской и войны неотвратимой, – видя во времени том возможность к свершению. Я был влюблен в нее – и по сценарию, и в жизни. Она мечтала стать актрисой, а я – писателем; и у Чехова в пьесе сводилось всё к алгоритму сему; на сцене провинциальной мы играли себя. «Чайка» – мистическая и коварная пьеса, с кондачка ее не одолеть, тут нельзя сыграть, надо вызволить героя своего из себя. Писатель маститый Тригорин удил рыбу. Нашу «Чайку» ставил режиссер, который играл попутно Тригорина, и ловец этот душ привлек в роли тех, кому не надо было приискивать задач особых, дабы органичности поддать, что хворосту; тех, кто сам в Чехова вчитывался как в Псалтырь, – и в себя глядя, – молодость наша и амбиции заставляли кусать хвост свой без наущений. Особи пород дерзновенных, воспламеняли мы дугу, что шла от нас, искрящихся волей экстатической, к участникам остальным действия, и – в зал. Так было: каждый раз на сцене души наши свивались в горении обоюдном выдать образ художественный. И это *влюбляло* нас друг в друга...

Не хочу врать, что больше я никого так не любил, как ее, – ни до, ни после, – влюблялся я часто, и в меня влюблялись, но любовь та оставила во мне... нет, не шрам в душе, пусть даже и украшающий мужчину (повадки пострадавшего, чувств посттравматизм), а след восторга непреходящего, юности азарт в творчестве дальнейшем – уже, правда, не на подмостках... Ведь близости телесной между нами так и не произошло. Объятия и поцелуи, они-то, несмотря на всю страсть и порывы, не создавали картины, про которую и можно было бы сказать, что вот это и есть *уже не репетиция!*

В этом-то вся и штука. Она была старше на год и влюбила меня

в себя – от репетиции к репетиции, от показа к показу, от показного к показному, иллюзию порождая, – походя, навскидку, по природе завоевательной, не задумываясь, что со мной могли случиться расстройства возрастные, к примеру, застрелился б, как Треплев. Критики трактуют самоубийство его по причине экзистенциальной (вакуум-де смысловой настиг), но что – вопрошаю я – пуще причинно, чем любовь неразделенная, зиждущаяся на амбициях двух, а тем паче *трех* индивидов? Хотя ученые и отмечают снижение уровня суицида в период бифуркаций социальных, подвигнуть поэта-авангардиста к *черте* с установкой извечной «На миру и смерть красна!» – не сложно, аргументы найдутся. Отдать себя публично в жертву на алтарь Человечества, – примеры история хранит... Поквитаться с Жизнью во славу Искусства – что ж?! Орудий убийств в доступе свободном по республике (два года до войны) видимо-невидимо. Одесса криминальная, Москва и Питер были наводнены оружием стран Договора Варшавского, свезенным на склады приднестровские. Пистолеты времен Второй мировой, автоматы современные и даже два самолета МИГ успели сплавить военспецы, растлившись в Йемене Южном... Сигнальный пистолет «Молинс-1» 1940 года выпуска (или в просторечье – ракетница) был бы эффектен на сцене; можно было укукошиться вполне и пистолетом самозарядным сигнальным из семейства ТТ-С; маузеры в количестве большом предлагал «черный рынок»; но славой особой по окоему имперскому, угребающему в хаос уголовный, пользовался пистолет Токарева: запасы его на складах, цена приемлемая, плюс то, что множество единиц типа данного не было внесено в пулегильзотеку. Убиец бросал на месте преступления свой «ТТ», что создало оружием имидж – «пистолет для киллеров». Мне же скрываться было ни к чему. Выбор мой пал на старый добрый маузер.

Весь ликбез этот по выбору *инструмента смерти* я почерпнул от Маши Шамраевой – актрисы, игравшей персонаж сей в «Чайке»; я ее всегда так и называл, и вне сцены, повинуясь настоянию режиссера. С трагической пронзительной в лице, она была и по жизни влюблена в меня. Брат ее служил в оркестре полковом, чувствительный к искусству, через сослуживцев готов был посодействовать в обретении марки, необходимой для «нужд театра». Маша, простота святая, божилась, что после смерти моей не станет жить ни минуты, воспользовавшись тем же орудием... Всё по Чехову, даже хлестче!.. Не могу умолчать, но брату ее, такому покладистому и улыбчивому, не было и двадцати, когда на углу каком-то по дороге в часть военную его прошила пуля, выпущенная неизвестно кем, когда война была уж завершена, миротворцы вошли в город. Жаль Машу Шамраеву и брата ее.

Сердце и разум мои похитила Тоня Парнас. Ее уж точно знаю и по имени, и по фамилии шикарной, распространенной весьма в краях

наших. Порока дитя, где-то даже собранная в чувствах-мыслях, с воззрениями, жонглируя условностями – и на сцене (что не очень-то плохо!), и в жизни (что не очень-то хорошо!), – заставляла и меня забираться в дебри эти прекрасные. А я ведь влюблялся, думая и впрямь, что за ней всё это числится: и порок, и рассудительность, пленяющие импульсом эпохи. Она отдала предпочтение режиссеру – человеку семейному, лет на десять старше ее, окончившему Ленинградский театральный и провинцией не побрезговавшему; желал взвихрить на волне за гласностью и перестройкой, набрать баллов, способных вознести на высоту, только ему ведомую... Их тогда много таких на разлом геополитический слетелось: деятели, возглавившие рой мастеров искусств местных: писатели-фантасты, реконструкторы вех исторических, художники и певцы, политологи и политтехнологи; сынки генералов СВР и ГРУ придут чуть позже, дабы вписаться в списки послужные свои. И режиссер наш из когорты колонистов новых, правящих, пазл империи грядущей, – что ж, нюх особый у господ сих на место и время: где и когда «идет бессмертье косяком»! Он играл в пьесе, повторюсь, писателя состоявшегося, не мечущегося истерично, как Треплев; делал Заречной по ходу действия предложения, заставившие ее погрузиться в порок – и на сцене (с натуралистичностью, уводящей далеко; эксперимент – дело великое!), и в жизни. «Чайка» – манифест против многого. Не всякому художнику по душе слыть маньяком и безумцем. А наш рискнул – гордец-красавец с лицом шейха арабского и с щетками роскошными усов, – а других и не клоует в темя петух эпохальный, войну зрящий и всё делающий для того, чтобы перелом великий посеял жертвоприношение и драйв!.. Она влюбилась в него, с размахом и рыком звериным, без оглядки на других зазванных на пир, то есть меня.

А я всё равно ее превозносил. По планиде своей – *инженю*, наивный мужчина молодой, – верно, и должен был превозносить существо, которое печется о славе, прожигая часы в расспросах о тусовке киношно-театральной, которую режиссер волей судеб имел возможность лицезреть воочию. («А как там Алиса Фрейндлих? Она еще служит в ‘Комиссаржевской’, или перешла в ‘БДТ’? А Басилашвили не думает переезжать в Москву?») Кроме того, эта фраза ее, вырванная из контекста и вполне в интересах ее, кроющей реальность по нарастающей: «Если бы я была писателем, как вы, то отдала толпе всю свою жизнь, сознавая, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня!..» Фраза эта пущена была принципиально мне, сочинителю начинающему, не Тригорину, вне сцены, когда она увидела впервые пистолет в руках моих, как я вдохновлялся соприсутствием оружия в отношениях наших. Сложно было разобрать, где она говорит *свое*. Я же пытался наставить пистолет заряженный к виску ее: «Я убью и тебя, и себя, лишь бы ты не досталась никому!»

Было в ней нечто исключительное, ведьмовское – жесткое, реши-

тельное, но и чувственно-снисходительное, в осанке и во взоре, и в жестах... у нас тут, в направлении Балканском, характер типичный, рвущийся напролом к цели, в силу ж обстоятельств смиряющийся до поры. «Поди, Треплев, встань на место, не мельтеши!» – не режиссер в запарке диктовал мне, а она голосом Махабрахмы и с перстом указующим, забираясь в усмешку извечную, когда я с объятиями по сценарию к ней: «Волшебница, мечта моя...» А однажды на репетиции она в довесок к приказу, «чтобы я не слюнявил ее до поры», с такой силой толкнула меня в грудь, что я пролетел по сцене метра три, упал на спину и воткнулся головой в банкетку. «Как сосунок, ей богу, Треплев... будь профи!..» А сама целовалась с удовольствием. И без условностей. Языком длинным оплетала язык мой: лиана экзо... Кожа нежная, локоны белокурые, глаза зеленые... Да, ради фемины такой можно было, как мне казалось, совершить и самоубийство. Чтобы именно *ей* доказать, пошатнув *ее* уверенность, заставить жизнь всю терзаться – и восхищаться гением, смешавшим судьбы смальту, решительным и ревнивым к искусству, способным и *в отказ* от жизни пойти. Сценический прототип мой, Треплев, так точно и поступил... Ох, как я предавался на досуге отождествлению этому, точнее, допущению: артист, исполняющий роль Треплева, поступает и в реальности, как персонаж! Убивает себя на сцене – чтобы только *ей* доказать, а также всех вокруг убедить и убить!.. И режиссер всё это считывал и играл со мной в допущения сии, как с кутенком, подвигая к черте. Некрофил! Понятно, что его притянуло к нам, будто ворона на добычу: предчувствие момента – сепаратизм и следствие прямое его, война, – смерть-разложение, гниение-безнадежность, всё то, во что погрузится вот-вот анклав наш, оружием напичканный до предела...

Чехов призывал выдавливать по капле из себя раба, в том числе – раба страха смерти! Я и погружался в тему, потенцию нерастраченную вымещая помимо театра в творчестве литературном. Моя сублимация в сюжет Треплевский выливалась в рассказ самоубийцы; ох, и название ж я придумал – «Лица», в пику мнению Заречной: «В вашей пьесе трудно играть. В ней нет лиц живых...» Будут ей лица – и живые, и мертвые... В повестушке этой, напечатанной в журнале республиканском, неплохом, известном за пределами республики, я рассказал о «существом несносном», Маше Шамраевой, желая узреть линию, что Чехов обозначил намеком, но не развил в «Чайке»: как герой живет до самоубийства с нелюбимой, но бесконечно преданной ему, после того, как любимая отказала; и как именно пассаж этот и заставляет виновника торжества после смерти отслеживать с накалом потусторонним (сказалось увлечение мое Моуди), как нелюбимая олицетворяет всё самое любимое, что осталось на Земле, а так называемая «любимая» превращается в фурию, в монстра, придя на похороны... И вот я носился с этой своей публикацией, предлагая ее каж-

дому для прочтения. Однако повесть режиссер наш так и не прочел, «не разрезал» (как сказал бы персонаж чеховский), сославшись на поток журналов московских и питерских, в силу статуса столичного требующих внимания первостатейного. А вслед и Тоня фыркнула, желая видеть перед собой образцы чего-то более состоятельного. Тем и вызвали гнев мой; я стал чаще в уединении собирать и разбирать пистолет, добытый Машей, напитывая сочленения его слезами и про-тирая. Маша, кстати, одна из немногих, кто прочел текст...

Особенно негодования литературные (и не только) вскипели, когда застал *их* после репетиции костюмированной, заскочив в грим-уборную за курткой. Тетехались они, припав к торцу столика консольного пред зеркалом, будучи отъявленно в три четверти к двери – и было что-то вызывающее и дерзкое в их сцепке греховной; гипнотизирующее. В поцелуях, что скальпеля внедрение, режиссер опустился уж очень низко – обхватывая бедра раздвинутые ее и на коленях находясь у *врат*... В тот момент, когда я распахнул дверь, они и ретировались из позиции сей, ленно, словно и не было *ничего такого*. Тоня, распустив подол, оправив его, как кухарка, уже крутанула на каблучке к зеркалу, наблюдая с улыбочкой жалящей за мной в отражении; а через мгновение и режиссер принялся ходить взад-вперед по грим-уборной, напяливая батник секуляризованный (его костюм сценический по большей части – торс обнаженный и феска раззолоченная с кисточкой; скрывать от публики тело эктоморфа-культуриста – преступление!); так и ходил он, оглаживая череп голый (сформированный, не скрою, хорошо!), включая и гася светильники над зеркалами, и насвистывая.

Кухарка, стало быть, и электрик, никакой ни шейх арабский, абрек лихой, у которого папаху ветром сдуло... А если б не я зашел, а другой кто?.. И чувствуют ли вину перед сочинителем-неврастеником, ничтожеством и лауреатом в будущем премий несусветных – за воспарение мое и с позиций эпохальных?! Разумеют ли, что позывом животным нарушают решетку того порядка планетарного, частью коего я и являюсь в установлении права своего на королеву?! И разве это не бездны?! Разве что-то тут еще надо доказывать?

– Вот, учись, Треплев... – губы промокая от помады, растягивала она слова; не изменяла манере нарекать меня именем персонажа, кто должен, по видам ее и режиссера, совершить *нечто*. – Учись, голубчик: как мужчина пружинит телом, когда добивается женщины... – Тут она смотрела в отражении на режиссера, свистать переставшего. – Следи за реакциями моторными: мотивация внешняя, мотивация внутренняя, короче...

Но не только сцена скабрезная и напутствие пробрали меня до основания, – душ-шарко ожидал мгновением позже:

– Мы тут посовещались и решили, – как управитель на паях говорила она (натуры эти прилепляются к начальству, что тебе птицы шум-

ливые, в плаваниях сопровождающие корабли!), улыбаясь и ни на йоту не стесняясь. Выгнув спину, принялась ходить по уборной, не упуская мысль. – Решили мы, короче, фразу Дорна, обращенную к тебе: *твой талант тебя же и погубит*, – распределить на всех участников, движком истории сделать... Все по мере импровизации запланированной будут ею оглушивать тебя и друг друга, перебрасывая ее, как змею гремучую. Хорошо это я сказанула: *как змею?*.. Нет, лучше: *как бритву обоюдоострую!* Не картошку же из костра!.. – опять засмотрелась на себя. – Даже когда ты отсутствуешь в кадре, прости, в мизансцене... Такова позиция наша. Правда? – обращалась к режиссеру; а он глаза блестящие вращал и ресницами, похожими на ресницы теля новорожденного, хлопал утвердительно; отдувался и воздух глотал...

И еще говорила, прищурившись дерзко и хлеща словами меня по щекам впалым иступленно (у режиссера они были, как и положено для Тригорина, розовыми и пухлыми), упиваясь чем-то, что еще ни в какие топосы и дискурсы культурные не вошло, а только собиралось, по моей оценке критической, означенной не только во взорах ревностью искаженных, куда не проник даже волхв Достоевский, а вот Чехов-колдун помог ей войти и насладиться открытием. «Ты хоть понимаешь, что именно ценил Треплев в Нине? Ни за что не догадаешься! – она на придыхании. – А ценил он в ней то, короче, что никогда, ты слышишь: никогда! принадлежать ему не будет! Он нащупал это в ней, как Художник, и ни на какую любовь ответную открытие свое не променял бы».

Вот вам и театр. Декораций никаких. Авансцена слита с залом зрительным – на 54 места. Кулиса первая – занавеска на окне. А далее тьма и... угодя бывшие аграриев, изъятые из севооборота силой кроющей власти сепаратистской – под строительство крупнейшего в Европе спорткомплекса «Шериф». Сращение беспрецедентное государства и спорта коммерческого. Государство и рекорд – близнецы-братья! Тирасполь-рекордсмен. Из кожи вон, но соответствовать образу, выедавая соки городов и весей в полоске по Днестру. Министерства, дворцы, банки, офисы, дороги и тротуары – шик и блеск! Впечатление: Тирасполь совершил рывок геополитический и поживает на лаврах!.. И пускай бендерчане, ввергнутые в футбол огненный лета-92, – форварды и добывшие пальму первенства, – артикулируют матерно, как только нога их ступает на города родного асфальт, сплошь в рытвинах. И пускай Бендеры – до сих пор город фронтовой: фасады изъедены пулями, много разрухи, упадничества, нищеты, все тридцать три «удовольствия» самоизоляции, постичь которые ныне дает всем COVID-19, а через время и война в Украине, лишившая приднестровцев возможности выехать за пределы анклава, делающая их заизолированными вдвойне. Пускай!..

Стоп состав. Станция Тирасполь. И тираспольчане неумные побежали с поклажами по вагону... Так же в лета-92 отличились они в забеге – с первой атакой массированной на Бендеры, хотя находились в тылу. Бендерчанам путь на Восток был отрезан конституционалистами, взявшими подступы к мосту через Днестр. А тираспольчане, не нюхавшие пороха и крови, в жару забродившей, двинули караванами (грузились и мебелью!) в Украину, захватывая лагерь отдыха черноморского. А когда через неделю под давлением Креста Красного дали «зеленый свет» бендерчанам, их исход из пенатов разоренных постижением эпохальным увенчался: все места под солнцем и луной – не про них, заняты тираспольчанами!..

Автор, всё это мы слышали в тысяче вариаций, перетираешь одно и то же!.. Но в этом и есть *тема моя*, друзья: прокричать миру о войне братоубийственной, напомнить и предотвратить войну, которая спустя 30 лет и на земле украинской разразится; прокричать о землях плодородных, изъятых из севооборота на нужды фирмы «Шериф» (стадионы, автозаправки, склады, супермаркеты), о прерванных личностных миссиях сверстников (по обе стороны Днестра!), о воле их стреноженной, о крыльях переломанных!.. Вот суть намерения пацифиста, впрочем не укукошенного. Всё то, впрочем, о чем и доктор Дорн поучал: «Изображайте важное и вечное. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, *для чего* пишете...»

Ишь, четырех парализованных на ноги и в костюмах спортивных в вагон внесли: каждый «битый» верхом на «небитом». Рассадили подопечных по местам (через отсек от нас) и – за багажом: рюкзаки, сумки, коляски складные, вся экипировка с иголки и с лейблом «Роскосмоса». Знамо: глава ведомства сего – спецпредставитель президента России в Приднестровье... Старуха явилась на боковушку нижнюю, стала Тоню гнать, поклажу свою умеща. Я старушенции место «цивильное» уступил: весь путь лицезреть под носом ребенка, мамашей замордованного, превыше сил моих; плюс две дамочки в трико («стриптизом коллективным» назвал когда-то глава бывший РЖД проезд в вагоне плацкартном – и был недалеко от истины). Багаж помог определить старухе – и подсаживаюсь к Тоне за стол. «Цэ дюжэ добрэ!..» – и старуха на радостях одаривает яблоком наливным меня и Прекраснейшую!.. «О, яблочко соблазна!» – подсказывает к нам Асриев вездесущий. «Плод с Древа Познания, будем тамеяться, не Раздора!..» – отзываюсь я. А народу в вагоне – яблоку тому же негде упасть. Все готовятся спать. Мы же немотствуем, друг к другу примериваясь: что нам еще остается – одиночества двум в раме эпохи...

...Стало быть, сошлась она с режиссером, человеком, как я уже сказал, семейным, отдающим Кесарю – жене своей и детям – ту часть достатка и внимания, что им и причитались по праву. А вот по нраву (и

по норову) стремился к фигуре, следующей в шкале ценностной за *Кесарем*, – к Ангелу в обличи женском, привечавшем его тоже избирательно, себя раздаривая и другим соискателям. Мне ведь перепадало *кое-что*, в смысле участия этого привилегированного. Целовать Тоня себя позволяла и вне пространства сцены – один на один, не условно; в окружении партнеров по пьесе мы тоже это *делали*, но все думали, что здесь – погружение в образ. Режиссер, напомним, один лишь знал о чувствах наших и даже присутствовал при их изъятии спонтанном – это когда попытки мои проникнуться бóльшим, облапа напалмы и чмоки длительные за кулисой не пресекались ею. Сие походило именно на амурь. Заставя нас всегда *вовремя*, режиссер, носитель гениальности (халтурщиком он не был), искрить начинал и разворачиваться вширь, плеская идеями в океане бурном. Его будто пробирало (косил игриво на нее оливою глаз), когда отдавал в пользование временное объект страсти. Причем оскала ко мне не читалось в нем (так, по крайней мере, отзыв на ситуацию позиционировался им), наоборот, в очах у него огоньки загорались всепрощающе, как у попа в церкви, когда взирал он из-за кулис – или ж открыто вполне, – как Тоня льнет телом своим ко мне, желая составлять не только сознание одно на троих, но и напрочь лишиться его, держа линию типичную для Ангела-завоевательницы. Однако, попилом он, конечно, не был – по темпераменту кипучему и плодотворному для искусства, а вот падать совсемно в бездну – и мхом не обрастать – область *его* горизонтов непререкаемых; а они на то и горизонты, чтобы удаляться постоянно...

Итак, не только я заставлял их в гримерке, будучи ошпаренным от зрелища. Но и он – нас; правда, в отличие от него, мои страсти-мордасти были вполне школярскими. «Супер! Фиксируем состояние, не отступаем от него и на сцене! – рубил, точно шашкой, он, когда нужно было обыграть казус обнаружения. – И ракурс на зрителя – этот самый, – от вас потребую!» – с отмашкой и усмешкой синтетической, снисходительной. И всякий раз, как бы случайно, – за кулисами или в кулуарах театра.

Он поджидал нас, как дичь в засаде (шел на запах), и зачастую по наводке Тони (ничего она от него не таила) – и ликовал неподдельно, будоража себя горячительным фактом: «Так-с! А чем это вы тут занимаетесь?!» Падение в пропасть коллективное... Его бы, наверно, устроило и то, если б я постели у Тони добился, что не чуджо было прожектам моим. И он бы позволил нам *это* – в плане эксперимента и жертвы (с его стороны) на алтарь успеха. Еще бы, ловить на живца действо сквозное сценическое, *канализировать*, – вот это метод и размах в искусстве: треугольник любовный из яви переносом прямым на подмостки: *в формат* все чувства и мысли наши (и его, соавтора сценического), не дать нам и продыху вне концепций режиссерских; вскрыть ящик Пандоры, развенчать человека, объявив во всеулыша-

ние, что выхода нет!.. Личность нарциссическая с устремлениями садо-мазо, явился он в предел наш, где сепаратизма чирей вызревал. А монструозность натуры своей оправдывал, цитируя напропалую Франца Кафку, чей мистицизм и надежд развенчание гармонирует весьма с вектором творческим Чехова. На афише и в программке спектакля нашего эпиграфом значилось прозрение художническое создателя «Превращения» и «Процесса»: «...Ежели выяснится, что вся истина невыносимее ее половины, ежели подтвердится, что умалчивающие о ней правы, ибо умалчиванием своим сохраняют нам жизнь, ежели открытие твое обратит тихую надежду, которую мы еще питаем, в полную безнадежность, то всё равно опыт твой будет оправдан, раз ты не хочешь жить так, как живешь...» Этот же эпиграф предваряет и повесть мою «Лица. Рассказ самоубийцы». Трудно сказать: кто кого натолкнул на мысль? Но Тригориных – тех, коим только и разрешено творить, рутинеров, захвативших первенство в искусстве и считающих законным и настоящим лишь то, что делают они, – не терпели мы оба!..

Не шла на постель – довольствовалась властью, что и так имела. Знала (обретала Нину Заречную в себе), что после секса я стану *другим*. Посмотрите, господа, «Чайку» в постановках различных, Интернет дарит возможность эту: ни у одного режиссера, включая и стервятников от стервозности, нет и намёка на то, что между героями молодыми, несмотря на поцелуи, отношения заходят куда-то дальше упоений над безднами. А ежели Треплев заберется на сцене (или в жизни, без разницы) Заречной в трусы, мглы декадентской – тайны для сцепки с современностью, – как ни бывало. И поставит даже под сомнение чары ее; но самое главное – потеряет тот запал невротический, что необходим ему для безрассудства основополагающего... Во всем и всегда видеть бездны, бог ты мой, – эпохальность, граничащая с безумием!

Партнеры по рампе – братья по безумию! Аркадина, мать Треплева, к примеру, и управляющий усадьбой Шамраев (их играли профессионалы из Кишинева, кто театр наш при содействии Министерства культуры за помочи тянули из болота дилетантизма), на протяжении пьесы ждали от меня – да и все, по сути, ждали, – от начала и до конца спектакля, как выход из ситуации и как выбор нравственный (псевдонравственный) – самоубийства. Ареол саморазрушения, что диагноз, витал над действием. Сорину, дяде своему (по сцене), я говорю, доктору Дорну тоже говорю, матери говорю, любовнику ее, беллетристу известному, я говорю, ну и себе: что нужны *формы новые* – а когда их нет, то лучше уж и вообще ничего не надо! И как Христос крушу всё вокруг, уклад их пригретый; несу не мир, но меч; стреляю, по сути, не только в себя или в Тригорина – а в зрителя! – и даже с подачи режиссера-извращенца намеки адресую недвусмысленные (гомонамеки) учителю Медведенко, желая опустить того еще ниже, нежели по классику. А Маше несносной, которая одета в черное,

норовлю при выходе ее *на план* пучком кувшинок с «озера нашего» голову оплести, которые она тут же срывает, топчет, а потом и поднимает, целует «дары» и рыдает (вот она, прозорливость художническая, ставшая в ходе войны притчей во языцех: армейцы Молдовы в походе на Бендеры будут повязывать на локти и каски ленты белые иль пионы из бумаги сажать на грудь – по закону древнему в индульгенцию за кровь пролитою!); а потом и подносит мне (в тренде), возлюбленному безответному, маузер (тот самый, от братца), который, конечно же, и стреляет на сцене – в час означенный по ходу пьесы. Зритель-некрофил алчет мяса и крови, испытывая дискомфорт от того, что трупами пространство сценическое не полонится! Всё, короче, предвещает начало Эры новой, где нет места гуманности и гуманизму.

Именно безрассудство мое (и героя моего), скольжение искрометное и парение пламенеющее над бездной, – Тоню-Чайку устраивало. И всех устраивало. Проникнись я ею телесно в мере полной и осознай, что она отнюдь не Бездна (тут как реципиент постановит, вопреки смыслу здравому), а Бездной и Роком для меня ей быть архиважно – по плане своей и режиссерской, – осознай я, что она (вне пьесы) отнюдь не бесконечность вселенская, а вполне даже ничего себе физиология (съел бы ее без маслица в присест и слесарь с руками копытными из Дворца культуры – несмотря на аромат установочный французский «Эллипс», с примесью чего-то декадентского из *Ничто*), – осознай это всё, я просто и не совершу *ничто*, вокруг чего весь сыр-бор. Режиссер ведь поучал, как ей быть со мной, лежа в обнимку с ней, сгребая ее руками длинными (коими, не сгибаясь, доставал колени он свои), оплетая ее ногами и верша действие то самое базовое, что рисовалось и мне, затмевая раздумья тягостные, в том числе и о судьбе родины в годину роковую. Рисовалось и возбуждало не менее, чем тогда, когда застал я их в примерке... Она ж сама мне по естеству змеиную посулила, в надежде, что не сподоблюсь я на досрочное: постель – после премьеры! За успех, когда толпа благодарная нас на колеснице повезет!

Свет люминесцентный ударяет резко в глаза; конец тьме вагонной. «Всем приготовить паспорта. Граница украинская. Подъем!..» – Асриев по вагону бежит, тормоза пассажиров заспавшихся. 03:23 часа – по графику идем.

...А на колесницах сейчас, как пить дать, инвалидов пэмээровских повезут по перрону долгому – в управу таможни, дотошной в направлении данном дорог. Если хорохориться перед пассажирами не перестанут, петушиться друг перед другом относительно миссии своей в играх паралимпийских. Запросто заворачивают с пути тут мужчин в возрасте от 18 до 60 – без причин. Все мы, пэмээровцы, скопом записаны в сепаратисты, мы – кость в горле Украины. Уж отыграются погранцы Незалежной на комбатантах вчерашних, узрев их лейблы

(что шевроны) «Роскосмоса»: припомнят и Крым, и рым, и МН-17, и котел под Яловайском. Начнется, как пить дать, война уже на всей Украине, война полномасштабная; поезда курсировать перестанут, гражданам Молдовы, дабы попасть в Россию, нужно будет пробираться через страны Европы Восточной. Для людей непричастных к позиции политической и со взглядами трудно будет устоять перед натиском стихий милитаристских – но сейчас все они еще питают надежду, люди в погонах прежде, не говоря о гражданских, что будущее не случится, настоящее заледенеет, и простить вояк бывших, потерявших руку или ногу в схватке братоубийственной из вчера, долг каждого человека вменяемого... Ей-ей, ПМР живет в нищете и деградации, и персонажи эти, паралимпийцы, как божки, возлегающие по отсекам двум на полках нижних в позах поддельно вольных (ноги непослушные, у кого в наличии – в цифру «4» сложены), – карточка визитная страны, самопровозгласившей себя! Стреноженные животные ошеренные... Они требуют к себе снисхождения!

О, кобелек-спаниель рванул по проходу, вынюхивая вещества запретные. Следом – таможенники, оглядывая брезгливо насельников плацкарта: «Оружие, наркотики, алкоголь перевозим?.. Оружие, наркотики, алкоголь?..»

– Оружие, наркотики, алкоголь? – вопрос к комбатантам-спортсменам.

– А то! Как полагается, служивый: автоматы складные укороченные «АКС-74У» – по штучке на брата, гранаты «РГД-5» и «Ф-1», – отвечивший один и на публику, дабы напряжение разрядить перед погонами, – а так же ракетницы сигнальные, ножи и топоры без счета!..

– А вот и запас стратегический горючего, – отозвался на слова коллеги сосед, вытянув стаканчик запаянный водки из-за пазухи; делал это, скорее, для сопровождающего, свесившегося цербером заспанным с полки второй, ему демонстрируя неприхотливость свою в дороге долгой; сетовал приторно, продолжая паясничать: – И куда мельдоний наш запропастился, ха, только что был тут?.. – бил себя по карманам, то ли от смеха укачиваясь, то ли в кашле заходясь. – У нас ведь всегда так: или мельдоний, или полоний!

Смех громкий четверых, несмотря на ситуации официозность.

– Сидячие больные. Команда спортсменов ПМР с поражением аппарата опорно-двигательного, прошу отнестись с пониманием, товарищ... – послепол разьяснить ситуацию тренер, выскочивший из отсека соседнего, и, считав с бейджа фамилию таможенника, дополнил: – товарищ Шариков!..

– Куда едем и зачем? – вопрошает Шариков задумчиво, с ухмылкой.

– Едем в Брянск, на турнир по теннису настольному для лиц с ПОДА. Под эгидой «Роскосмоса»!.. В багаже – экипировка. Вот пакет документов!..

– ...Топоры и ножи, значит?.. Всё, как полагается у *ватников*?! И «Роскосмос» ваш – пыль под ногами... без нашего КБ Антонова! – не удержался Шариков и с миной презрительной двинул далее по проходу.

Майор Шариков – персоной собственной, знаю я его. И он меня знает, и жену мою, ездим часто туда-сюда. Пока ездим; вот-вот и прекратятся вояжи из-за будущего невменяемого! Станем мы уже полностью независимыми друг от друга, члены семей от членов семей, в первую очередь!.. Внешность интеллигентная вполне у него, борода холеная и усы, очки в оправе... – ан, это обман: не должен интеллигент служить в надзорных!.. Нос сует всюду, вернее, руки запускает каждому в багаж. Ему и иголки в вещах бабы подкидывали – тщетно. Сам кого хочешь уколёт. Шариков и меня выставил на посмешище. Дело было так. Вынужденно вез я с собой (не суть важно *туда* или *сюда*) белье мокрое (и смех и грех: ну, не успело оно всё высохнуть до отправления поезда)! Укупорил я плотно исподнее: футболку, трусы и носки в банки стеклянные с закруткой; два зайца бил: банки нужны для консервации и там (в Подмосковье), и тут (Молдавия, всё ж таки), не пустыми же везти! – такой вот уж я без утайки, друзья, поэт-хозяйственник! Шариков докопался до банок – и выставил достояние Республики ПМР на стол. Светил фонариком так и эдак, не мог понять: что сие значит? Я открыл тару и выпотрошил ему под нос... Обойдет стороной ныне меня или нет? У, скалит зубы, рожа протокольная...

Таки приступает Шариков к Тоне, требуя снять чемодан. Я сижу через столик откидной; сижу и ухом не веду на приказ: еще раз волочить чемодан, что это она, ей-богу, везет? На Тоню гляжу. А Тоня, какова? Взгляд вдруг затуманила, «точку сборки» сдвинула, и с улыбочкой к Шарикову встает. Встает, встает, встает... и на место опускается: встает и опускается... И еще раз встает, и странно, шагком мелким, эдак, вокруг Шарикова. Платье красное (перифразируя поэта: из тех материй, из которых страсти ткут) волнуется у нее на бедрах, облепляя и лобок прорисовывая. И по-прежнему при ней, никуда не делись, колени точеные и ослепительные. Нос мой (да и нос Шарикова), всё существо мускулинное впитывало флюиды тела ее, смешанные с запахом яблока спелого на столе, – до предчувствия в мякоти смачной косточек!.. Лебедь красная, рыба молчаливая, вершащая круг победный. Лорелея-русалка с берега крутого Днестра!.. Словом, Тоня покружила-обворожила-приворожила, – и Шариков с улыбкой глупой, козырнув, пошел дальше чесать. Волшебница, колдунья! Выученица режиссера козлоногого!.. Тут держи ухо остро!..

Итак, из акта самоубийства делался культ. Одна только фраза доктора Дорна, обращенная ко мне (к Треплеву): «Ваш талант вас и погубит!» – вырванная из контекста и вложенная в уста персонажей прочих (в разрез с линией Чехова), встречающих ею на протяжении

действия героя главного, – означала многое. В вытянутой по Днестру полоске русскоязычной, со всех сторон окруженной, как нам втюхали пропагандисты, *врагами*, все, как некрофилы, дожидались одного. И газеты местные писали о режиссере-новаторе, чувствующем Чехова как никто другой. Да и режиссер сам, возьми и подлей масла в огонь: в интервью накануне премьеры так и заявил на глазу голубом – у нас, исток самоубийства поставлены в основу выявления творческого. Работу, сравнимую с целой лабораторией научной, завершит (один за всех) исполнитель роли главной, на нем ответственность – как на перципиенте и врачевателе болезни!.. По городку провинциальному слух разнесся, что актер будет на сцене убивать себя. Что же тут говорить о запросах Тониных? Даже инженеры музыки и света, конструируя за актерами атмосферу, не говоря о персонале техническом, подначивали меня в векторе: ну когда же я исполню *предназначение*, чтобы всем сразу легче стало? Хоть контору букмекерскую открывай для ставок! Фактически, скрепа эта «сущностная» – суицид, – витающая в обществе, настроенном на конфронтацию и войну, сделала спектакль. Таков был и расчет режиссерский – в пределах и за пределами пьесы: Тоня *не дает* мне, чтобы я не размякал в нежностях, не стопорил в поиске и не превращался в коростеля, достижения жизни зрящего в овладении лоном женским, думал бы о вечном и о безднах, куда бы и манил зрителя, канализируя, как принято говорить ныне, тягу его к сингулярности и сепаратизму... Если учесть, что представляло мнение общественное региона нашего в отсутствие Интернета и выбора минимального телепрограмм (блокады культурную и экономическую нам пророчили, если будем и дальше под призывы политтехнологов ершиться за разрыв с Кишиневом), меня, вне сомнения, избрали на заклание. У индейцев в ходу был культ: абориген пользуется всеми благами племени, будучи избавленным от тягот бытия, живет не тужит – до момента, означенного жрецом, когда приносят в жертву богам...

Успех был грандиозным. Такой, примерно, как в фильме с Леонидом Филатовым «Успех», действие которого разворачивается как раз вокруг постановки «Чайки». Много было цветов лично для Треплева и откликов в прессе, подвигающих власть на отношение более серьезное к коллективу. И театр наш перевели из «народного» в «полупрофессиональный»; помимо ставок режиссера и инженера сцены (он же техник-декоратор) Министерство культуры (тогда еще Молдовы единой) выделило творческому сообществу нашему еще несколько ставок. И всё это в период, когда пропагандисты от сепаратизма настраивали мегафоны свои обличать центр национальный, не проявляющий потуг для развития культур меньшинств этнических, – лгали, желая закружить население в пике девиационное и мхом не обрасти! Это когда – здесь внимание, – образцы трагедий подобных никто ни от кого не скрывает: тут тебе, прежде всего, Ирландия и страна Басков (кстати,

на сегодня Бильбао отказался публично от практики сепаратизма-терроризма, чему и хвала; зато на путь скользкий вступили Каталония и Шотландия), но тебе внушают, не моргнув, что так *кроваво*, как у них, не будет, а будет *по-другому* – в мановение ока страны, избравшие путь сепаратизма, в швейцарии превратятся, нужно только поддержать лидеров-горлопанов, воспарив чохом над бездной. Ты в праве усомниться, прольется или не прольется кровь, главное – наживку заглотнуть, полагая, что выбор сделал самостоятельно; не обрастешь ты мхом, не обрастешь, размышляя о формах новых в царстве материи вечной!..

Тоня, между тем, поступала несколько лет кряду в училища театральные, но срезалась на туре первом же: акцент южный предательский... Лавры сценические собрав в альма-матер, мерила силы в акциях пропагандистских. Это напоминало агитбригаду от Совка раннего, только вместо призывов, классово ориентированных «против буржуев», она с элитой актерской из Тирасполя за гонорары приличные ратовала за ПМР. Тоня стремилась к большему, «вязнуть в успехах местечковых» ей казалось легкомысленным для таланта ее. И вот, когда ей исполнилось двадцать пять, за год до войны, она взяла-таки с наскока очередного вуз театральный, питерский. Режиссер ее подготовил, бросив на кон всё (и даже семью свою), ну и речь ей «поставив» методом «погружения» – ни с кем, кроме мастера, не должна была общаться в быту, исключая, конечно, выходы на сцену, где отупевший от страсти нереализованной Треплев (перепихона обещанного после премьеры так и не случилось!) также давал ей повод к свершению, несмотря на то, что и никакого самоубийства из-за любви к ней (и по соображениям философским, в целом) не совершил – даже не пытался. Так я мстил ей, стараясь излить из сосуда ревности. И ведь вылилось всё в нечто, на поверку становящееся глобальным, – когда атмосфера сценическая, возгоняемая тобой, выходит за рамки представления и заполняет мир весь. Эпохальность, словом, тут во всем, связь твоя мистическая со всем и вся... Пускай меня, в отличие от актеров других, в агитбригаду, гастролирующую по городам и всяем приднестровским, ратующую за сепаратизм, не позвали; «тягу к расчлененке» и самоубийству вымещал я в рассказах, что сдавал в редакцию журнала на рассмотрение, но процесс этот был длительным, и я это знал.

Она оставила город родной, войной пронизанный во вдохе каждом и вздохе (и в ее вдохе-вздохе, актеры агитбригады), и уехала в Питер (тогда Ленинград), меня оповестив о том сухо по телефону. Сухо. Я ломал голову, почему не дала волю чувствам русалочьим напоследок, ведь и режиссер, этот интерсексуал несусветный, генерирующий в творчестве фантазии садо и мазо, не возражал, ждал костра со всеми вытекающими, готов был не только простить, но и поощрить!.. Ан, новое перед ней маячило, меня же она ассоциировала только с прошлым... А режиссер, понимая, что представляет такую же полосу

взлетную для нее, поплелся за ней в Питер, ближе к семье законной, забросив семью театральную нашу: двух дублерок-нимфеток из студии молодежной на роль Заречной подыскал, с провинцией прощаясь, несмотря на то, что синицу в руке он держал здесь прочно... Сие почти в точности с «Чайкой». Эта его связь с актрисой. Исключая, конечно, что Тригорин в пьесе был рутинер от искусства, а наш взбудоражил болото провинциальное – и не одной только сценой отповеди, в моем, безусловно, исполнении, рутинерству: как оно ест, пьет, носит пиджаки и выуживает из пошлых картин и фраз мораль – и кого вызывать на дуэль Треплев Эры Новой так и не сподобился по причине преклонения пред поиском художественным и уважения свободы творчества.

Ну и я оставил сцену. Без Тони в роли Заречной пала для меня «Чайка»; да и какой из меня артист, ведь я, по усмотрению вящему Антона Павловича, – писатель! Театр, только-только начавший давать сборы по республике и за пределами ее, взявший с ведома Минкультуры двух режиссеров на ставку, планировавших спектакли, помимо русского, украинского и молдавского, еще на болгарском языке (в перспективе «Дядя Ваня» и на гагаузском), театр этот *отослел* для меня в качестве колыбели амбиций художественных. Показы же премьерные я не пропускал. Всё это вершилось на окоме Совка в пору заката его, и было нацелено на подпитку интернационализма благородного – достижения непреложного эпохи той... Я приуготовлял себя для литературы; парил над безднами, заручившись машинкой печатной (входя прочно в механизмы ее, как в экзоскелет, ни в сравнение с клавиатурой ПК ныне), – это была стихия моя в большей степени, нежели актерство, где и удерживался, покуда удерживалась в нем (со мной, как в пазлах) и Тоня.

За страстью своей (на момент тот единственной) эшелонем нескучным в Питер я не потянулся. Ждал войну, которую и приуготовлял, – если не прямо, как пропагандисты иные, в том числе и Тоня в агитбригаде, то правя бразды эпохального в «реальности экзистенциальной». И всё это в городе родном – я, как держатель истый в дланях судьбы его... А ровно за два месяца до войны я держал в руках номер журнала местного с повестью моей «Всегда Сейчас», благодаря чему я, быть может, и существую ныне в мире этом – благодаря тому, что Прошлое, Настоящее и Будущее сошлось в состояние одно, именуемое «Реализм Эпохальный»: знать хочу, понимать хочу и быть хочу, дабы призвать к ответу дирижеров судеб несостоявшихся. Прыжок в Бездну вершит герой мой сообща с *попутчицей*, чей образ срисован с «невозможной» Маши Шамраевой, с которой по жизни мы оговаривали выбор оружия смерти – сначала моей, а вслед и ее...

Пассажиrow после таможни сон обуял. А у паралимпийцев *всё начиналось* – в отрыве от комсостава, почивающего в купе соседнем,

и «рикш», захрапевших над головами подопечных; четверо, обездвиженных частично, буквально прихватив ноги в руки, собрались в отсеке одном; я мог их видеть, приклонившись к перегородке. Фляга с вином явилась пред ними; разливали в кружки армейские; тщились не греметь.

– Йоханный бабай, опять у интенданта-стервеца на закусь лишь картошка в мундире? Сегодня ж праздник, на соревнования едем...

– Протри зенки, Колян: мундир-то у картошки – парадный!

Смех дружный, приглушенный.

– Приколись, братва, кто угадает: какой лучший режим политический?

– Вот хотя бы в поезде, Ваниш, не надо политоты никакой...

– А о чем же тогда? О бабах?

– Подожди, Дмитрий. Ваня желает ясность внести – в умы, хе-хе...

– Ну и к чему Ваниш клонит? Всем известно про режим лучший.

Путин «Роскосмос» содержит, «Роскосмос» – нас...

– Правильно вектор просекаешь, товарищ Петруха! Самый лучший режим политический – это когда мешок картошки – мне, тебе, Николаю и даже Дмитрию, кто индифферентизм излучает к политике...

– «Роскосмос», «Роскосмос» хваленный наш, – парировал Дмитрий, – а я вот вчера телепередачу смотрел, где утверждалось, что Земля наша – плоская! А в космос никто и не летал, потому что нет никакого космоса...

– Прикрой-ка роток в месте публичном, Дима! И телек швырни на свалку, а не то сам там окажешься – и глазом не успеешь моргнуть.

– Однако хорошее вино у нас, братцы, располагает к философии...

– Так что, Димон, заруби на носу: заплутаешь лесом под Брянщиной, начни распрягать о Земле плоской, вмиг кто-то явится спорить! И ты спасен!

Опять гоготание сдавленное.

...Ради перлов и правды сермяжной из недр эпохальных, я и претерпеваю в плацкарте душной. Облагодетельствованные «Роскосмосом» инвалиды войны Приднестровской поют славу режиму... Но вот из отсека дальнего, с боковушки верхней, соскакивает женщина и по проходу бежит, волосы разметались: будет укорять компашку за шум?

– Ну, мужики, залили винищем глаза – и море по колено? Я претензий к вам, фронтовикам заслуженным, не имею, но неужто не слышали, что уже на начало сентября казна получила экономию от реформы пенсионной на год раньше!.. Позор президенту страны нефтегазовой, кто буквально картошку последнюю выдернул изо рта у 400000 граждан, лишив их пенсии по возрасту... Это же мы – женщины – горбатить будем до доски гробовой!..

– Тише, тише, красавица, весь вагон перебудуешь!.. Уж не тебя ли пенсией Россия обошла? Да ты баба хоть куда, молодая ешо. Прыгай

к нам, выпей чарку... Вроде, в ПМР обещали планку пенсионную не подымать...

– Путин тоже обещал не поднимать, однако ж поднял. И проглотили мы!

– Иди, иди к нам!.. Мы и тебя сейчас проглотим...

– Эх, беда, беда! – покачала женщина головой, обращаясь через отсек ко мне. – Пьяные-то проспят, а дураки... – и пошла к себе обратно в «класс мягкий», на Тоню даже не взглянув.

Так называемый «класс мягкий» – мэм устойчивый в направлении данному дорог. Все мы, пассажиры, едущие во второй декаде сентября, – ловцы ушлые скидки сезонной РЖД. На боковые места есть скидки дополнительные, а на боковушку же верхнюю – тройные... Но на полке боковой, что на нижней, что на верхней, мне никак путь не выдюжить: габариты не те... По отправлению из Бендер я и увидел, как женщина эта с лицом сердитым занавесила одеялом полку свою крайнюю – верхнюю боковую – отгородилась принципиально от мира в мире своем. А тут, видишь ли, разговорилась на публику...

...С тех пор я Тоню не видел. До дня сегодняшнего. Вернее, ночи, а потом и утра: рассвет уж крепчает. Ни в сериалах, ни в метре полном не видел, ни на афишах театральных, ни в прессе профильной – о ней ни полслова. В Интернете искал – тщетно. И про режиссера – ничего. Личности яркие, парочка прятая, должны бы проявиться... Город же наш без них пережил войну, вызванную сбоем экзистенциальным и коммуникативным. «Чайка» – комедия заблуждений, применительно к ситуации нашей геополитической – и языковой, в том числе! Застила крылом горизонт наш. Всё по Чехову: каждый персонаж в пьесе корпускулируется в безнадежности собственной (как и пассажирка из «класса мягкого», думая обрести себя в чем-то углу, отделенном от всего); и вот такой же «вещью в себе» вдруг Молдова и Приднестровье осознали себя. Нашествием двенадцати языков окрестили в веках поход Наполеона на Россию. И на землях Приднестровских славянская группа языковая и группа романская выбрали людей в качестве инструмента битвы сей, то есть не служили людям, будучи средством общения, а использовали их, вырвавшись из-под влияния Текста, что в начале времен и в конце, и языки он примеряет в качестве возможности достучаться до носителей видов их... Язык – главная гидра многоголовая в эпосе молдавском. О том, что дракон Лимба Лимбзу прольет и в постистории кровь человеческую, было предсказано мудростью народной. Я об этом писал много; и сейчас великое и абстрактное (эпохальное) вывел на план, подвигнутый падением в бездны умозрительные.

Можно, конечно, и поспорить – о безднах: все они и есть спекулятивно-умозрительное, игра воображения, деструкция, – но я не буду. Роль декадента-Треплева стала мне уже не по летам (мальчик вырос из

штанишек), и для самоубийства я так и не нашел в себе основ априорных – хотя что это за гений непризнанный, которому уж за пятьдесят, лауреат потенциальный премий мировых, он что, должен пожертвовать последним, а именно: взглядом незамутненным (и прорывным) на события, взглядом не ангажированным, состоянием эталонным (с точки зрения феноменологии), и обратиться в рутинера, Пегас заарканившего из кустов?! И так ли жив во мне Треплев: ведь бытует мнение, что с войны никто не возвращается живым; во вкусившем войну смерть зреет исподволь – спрятанная от глаз профанов, вобранная в ткань рубашки, она соизмеряет, оценивает... Страх сгоняет нас в общество; общество же таит человека от человека, возгоняя в нем страх еще больший. И война – стукот страхов; пропустить войну певцу эпохальности недопустимо. Но как не позванным смертью понять тебя? И остается автор мертвым для мира сего, сколько б ни стучался в двери редакций, глухих к страданиям твоим и народа твоего, сепаратизмом обуюнным... Только Машу Шамраеву я себе никогда не прощу.

...И в политику я тоже не ринулся. А многие деятели от культуры с полоборота завелись, учитывая конъюнктуру места-времени пэмэ-эровского, позицию принимая, становясь под флаг. Свистопляска с высвобождением из-под власти Текста: засилье риторик и формулировок, безднами манифестов здесь и не пахнет, напротив – усекновение смыслов, дробление их, стремление поработить Топос тенетой, парадигмой от лукавого... Ситуация разделения тростника мыслящего от ветра политического в ракурсе лозунгов (а война любая – на лозунгах патриотизма!) сковала всё думающее и трезвое на земле многонациональной сей, где пробуждение утреннее твое связано с криком петуха, ратующего за сепаратизм, либо за единство конституционное; третьего не дано. Телеканалы петушинные, они априори по стороны разные баррикад, баррикады и воздвигаю. И от Искусства, и от Культуры в целом обыватель наш также отодвинут яростно, как и придвинут к политике.

Я вне позиций политических, я – *идиот* (в переводе буквальном с греческого), я за родное сермяжное, за жизнь без надстроек идеологических. Встретив Тоню, которую не видел тридцать лет, я понял, что всё еще пленен женщиной сей, будто сошедшей с полотен Ренессанса Высокого: о, эта улыбка ее, тайна вечная, – госпожа, мадам, миледи, Мадонна в красном... Именно *что-то* присутствовало ныне в ней – облика воинственности, когда тебе за пятьдесят: взор обволакивающий и уверенный в себе околдовывает поклонников истых; не хватает лишь берега пажеского, меча огненного и скакуна, дабы под звук трубы, как и предписано, править Суд Страшный... Всё примечательно в Тоне, несмотря на среды неприглядность; но ведь и в Дне Судном будут Ангелов окружать нечистот бездны на улицах городов-государств, а они, Ангелы, умеют возноситься над плоскостью моровой, иначе не попадали б под прицел художников значимости эпохальной, апокалиптической.

Да, конечно, я увлечен ею, – как и *тогда*. Воспоминанием эпохальным бездн. И потому внешне я продолжал (как и *тогда*) «искрить» перед ней – ее, кстати, выражение, сбереженное мной, а она его у режиссера заимствовала; ему я тоже обязан многим, на дуэль так и не вызвав, имея маузер с пятью патронами; потому что вызвать на дуэль можно равного – а на момент тот равными мы не были; он превосходил меня в реакциях ответных к миру, по набору штампов, в изобретательности перетасовки их, изворотливости... Итак, спустя тридцать лет скрываться за *типичным* для пассажиров мы были уж не в состоянии, а так хотелось бы укутаться в *неузнавание*, как в шарф, и просто быть вечным воспоминанием друг о друге. И мало ли их, вечностей, на путях человеческих?.. Эти наши миловзоры – касание чего-то незримого, точно сон чудесный для сновидящих совместно. Люди лобзаются на перроне пред убытием или по прибытии поезда, в предчувствии разлуки или по факту конца ожидания; тут же не успели тронуться в путь, так и встретились. И это после чемодана ее, что я волочил, пожирая ее зрением боковым. Я, черт дери, строил из себя кавалера: здесь и сейчас, в плацкарте смрадном, уносящем меня к жене, а ее – к мужу, и совсем даже не к раскрасавцу-режиссеру, как это я узнаю чуть позже, под стук колес, когда таиться станет невозможно.

– Тоня?! Это вы?! Я точно предчувствовал вчера, весь день душа моя томилась! – Слова полились из роли рефлекторно. И она считывала Текст, единящий нас, чеховский. И она *это* постигала вмиг (таможеннику Шарикову учиться и учиться) – с голограмм моих, разлитых в эфире; искрометность мою считывала, всё, что являю на момент данный.

– Я, Треплев, конечно, я! – с такой же наигранностью, как и когда-то, и с ошеломлением. – Я сильно изменилась? – с наскока арканя добычу, дабы я, нелепо маршируя, планеты и галактики обгоняя, валился в дыру черную ее – как мне и полагается по амплуа... Ведь мы так и не переспали.

– Нет, ты не изменилась!!!

Она реагировала на искру, подначивала, она искру и высекала, сообщая взглядом *о главном*: ну вот он, Час Звездный твой! Воспользуйся обстоятельством, что тридцать лет статуса в Проявленном добивалось, будучи в мире Непроявленном запроектированным глобалью. Дерзай! Как закончишь с перепугу целовать-обнимать ненаглядную, прошедшую сквозь века и тысячелетия, давай, атакуй – всей мощью интеллекта неистребимого, который, избегая «дискурса» нашего с тобой, служит ныне *для другого* – для философствований о ноосфере, эволюции и прочей фигни... «В вашей пьесе так мало действия, одна читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь!..» – так Заречная гвоздит Треплева, чтобы порвал с воспарениями, скользил и лавировал бы в реальности.

Если б переспали, всё было б иначе. В область воспоминаний формально лихих и быта вездесущего скатилось бы общение, а так – ни слова под стук колес о том, что каждый решает вопрос выживания на этапе нынешнем (как и большинство из едущих сейчас в Москву, от стара до млада). Кстати, многие знакомые мои, забросив журналистику или литературу, подались на работы физические в столицу столиц... Никто из нас двоих и не собирался стелить постель, выданную Русиком, так захватила нас беседа фривольно-амбициозная – с желанием что-то еще доказать друг другу сквозь пространства и время, разделившие нас, – в отличие от пассажиров прочих, погруженных в сон или бдящих над вина канистрой. Мы были вознесены на подмостки, где декорация – столик и два «сидячих»; а зал зрительный где-то там – *по ту сторону*. Существование на сцене. В театре новом так и будет – герой (он или она) недвижим, а обращаться вокруг него обязан мир; герой сам по себе – галактика сюжета!

Темноту за окном уж расчертили полосы алые. В дымке предрасветной бежали столбы электропередач, хибары дистанционные, хутора и местечки, башни водонапорные, развалины хозяйствования былого, лесополосы с шарами гнезд воронья в ветвях... Всё это будет через несколько месяцев разворошено, предано огню, пущено под уют гусеничный танков российских; и мы, конечно же, узнай об этом сейчас, как гуманитарии – возмутились бы неподдельно! Мы бы забыли о частном и проходящем, мы бы озаботились только *глобальным!*

Мы сидели друг против друга и говорили.

– Ты замужем?

– И неоднократно.

– Кто ж твой последний?

– Шамраев.

– В смысле, Шамраев?

– Ну, ты – Треплев, а вот он – Шамраев. Всё по классику!

– А как же Тригорин, режиссер наш?

– Всё, как и полагается в тексте.

– Не интригуй меня.

– Мы с ним растались после поступления моего в институт.

Сразу почти. Он выполнил миссию: поставил, как говорится, Чайку на крыло... Кстати, – она оживилась, глаза, и без того подведенные, круглая, – это произошло в день, когда началась война в Бендерах, а я сессию сдала – стала второкурсницей... Я собиралась ехать на каникулы домой, билет был на руках... с тех пор не беру билеты заранее, довольствуюсь полкой верхней... Вечер прощальный мы, не зная о трагедии, устроили в «Базаре Славянском», что на окраине Питера, – лишь бы соответствовать Антону Павловичу: в гостинице с названием таким герои наши встретились по плану Тригорина в Москве для начала отношений, а мы вот – для завершения их... Включили телек – кадры

из Бендер!.. Пили водку; к шампанскому не притронулись; и не могли понять, почему именно сегодня война эта – в анонсе «Вестей», в блоке рекламном «Поля Чудес» с Листьевым... В городе детства моего гибли люди, а в эфире, замалеванном плотно, – деньги пачками на барабанах игровом! Джекпот какой-то чудовищный!

– И всё же – где он сейчас?

– Ах, он... это несущественно: уехал с семьей на Запад, тогда и уехал, мне всё равно, я больше им не интересовалась, и он – мною!

– Знать, не совсем по Чехову? У тебя к Тригорину и после разрыва: «Я его люблю страстно, до отчаяния...» – искрил я по памяти.

– По Чехову всё, значит?.. Или: не *по чехову*?.. По-моему, далеко это зашло у нас! Мы и есть преемники-проводящие настроения *его*? – она нахмурилась (как и всегда хмурилась прелестно), матерость свою удерживая до выпарха решительного из скорлупы приличий. – Ты так и думал всё это время? – опять кокетство сквозное, в память о притязаниях моих, что висят над нами фата-морганой, укатывая нас, только нас. – Так и думал?

– И как оно: бытие в парадигме Чехова? – вопросом на вопрос я, укрошая ложечку, тренькающую в стакане на подстаканнике РЖД (ночь напролет хлещем мы чай, благо Асриев поддерживал титан и заваркой вдосталь снабдил): – Вся жизнь в парадигме! Человеку нашему программа соответствий нужна – в мыслях и в свершениях...

Она не отозвалась, думая, что забираюсь я в область игрища. Я же – сбил расцветку павлинью хвоста своего:

– Мы ведь толком Чеховым и не прониклись – ну, тогда, ты понимаешь это? Взяли за эталон Плоскость приемлемого на тот момент...

– Весьма прониклись, – и у нее тон полемический, сообразно *как брат* меня, сменившего тактику. – Сплошь эпохальность, как выражаешься ты, с подачи Чехова... А какие овации встречали фразу мою: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...» – прямо вибрация Души Мировой!

– «Чайка» в версии нашей – комедия положений, – я прервал ее. – Мы многого добились, но из того, что нужно было преодолеть с подачи классика; приход сумрака преопределили, провозгласив то, о чем и понятия не имели, тягу к вивисекции. Ты вспомни, вспомни: всё у нас вертелось вокруг неосуществимости, невозможности любить и быть любимым. Состояние эталонное для всех пар: для Тригорина и Нины, для Дорна и жены Шамраева, для самого Шамраева с женой, для Маши и Медведенко, и для Треплева с Ниной, и для Тригорина с Аркадиной, и для Маши с Треплевным... И всё выливается в ожидание гибели виновника-эманатора!.. Несовпадение человека с собой, с тем, что он по природе; а также невозможность вырваться из корпускулы своей... И режиссер, гений наш, постарался, чтобы зритель на десятилетия не выпадал из пазлов сих восприятия. Он *усугубил* Чехова, уви-

дев его в зеркале Эры Новой, сделал из него психо-шизоида, обскакавшего всяких там Прохановых, Михалковых, Кургиянов, подмявших пространства Духа для экспериментов имперских!

– Ах, оставь... и опять ты за свое – Треплев! Сколько из тебя всегда подозрений тягостно-мучительных изливалось. И сейчас ты оглашишь на весь мир, что войну в городе нашем именно мы тогда – со сцены – и притянули!

Я и на это имел ответ свой:

– Мы, интеллигенция, несем ответственность! А режиссеры столличные, политики от искусства, замещают экзистенциализм наш на установки пристрастий политических; и без разницы – реакционер ты или либерал, главное, чтобы вектору соответствовал: гнобил либералов, если ты ретроград, или крушил «бани тесные с пауками», если либерал.

– Ой, таракан бежит по столу! Бей его! – вскричала вдруг Тоня.

– Я никогда никого не убивал! Меня от убийства тошнит! – отпрянул я.

Она усмехнулась нагужно, как психиатр, и хрястнула смачно насекомое ребром ладони, френч алый с крошкой алмазной не повредив. Труп смахнула под ноги свои с коленями сомкнутыми плотно и руку отерла полотенцем казенным. Затем достала из ридикюля щетку и по волосам пышным провела.

– Между прочим, – не удержался заметить я, – мы беззащитнее этих насекомых. Они бомбардировку ядерную переживут... – Мне почему-то опять война между Россией и Украиной привиделась. Состояние из тех, что не осознаешь в целостности и протяженности, оно сопутствует настроениям как бы по касательной – и в то же время дает вектор погружения в неизбежность. И тревога эта не вполне осознаваемая, но подстегивающая тебя, говорит тебе, слепцу, что уже скоро, очень скоро!

Прорицания мои нередко тишиною венчаются. Пауза сценическая. Мы оценивали положение свое во времени-пространстве. Мне было неловко, что я опять про войну – взял лад с шумом и яростью в прошлом ее-моем. А она – молодец, и не подумала вбивать клин из насмешки: опять, мол, Треплев раздражен на мир, взывая к формам новым, – вникала, головой качая в такт поезда, уносящего нас в Москву, где и схлестываются потенции личностные до полного низведения взаимного; и всякий раз поросель новая ждет схватки.

Было что-то с надрывом показательное в этой нашей «заброшенности интеллигентской» в момент сей – и в корпускуле поезда, уносящего нас к заре на горизонте. Перед нами и в нас восставала демонстрация кадров эпохальных, выуженных в будущем, светлом и глобальном, – уже после войны в Украине (сами-то мы невозвращенцы, остались далеко позади), каким-нибудь коллекционером, ценящим смак во всей этой серятине черно-белой из архива, – ретроспекция,

частью чего мы являемся, как вид с ответственностью повышенной (не в сравнение с тараканом), за что волею судьбы и держимся, как за вожжи, в направлении, «исторически выверенном». Мы, мол, преодолеваем *это* для будущего, расцвеченного в тона пестро-радостные до одури; но сейчас-то вызываем ущербно друг другу о том, что действительно тошно, тошно, страшно, страшно!.. – и как же всё достало, неустроенность бытовая: эти тараканы и носки соседа по плацкарту, чьи ноги с полки свисают и тычут в лицо всяк проходящего, доставляя неприятность не им, а нам с Тоней, героям с миссией; эти баулы, захлапавшие пространство куцее вагона, суета и запахи из туалета, дым сигарет; и, наконец, гомон: нет-нет да и прорвется из марева звуков гогот паралимпийцев, восклицающих пьяно о том, какой замечательный у России президент, единственный знает, куда движется всё, но скрывает до поры, дабы не слзали лихоимцы западные... Абсурд, корабль дураков, из осведомленных вполне о войне будущей, но гонящих мысли о ней прочь!.. Однако чем вам не вылазка в народ от доктора-драматурга Чехова, усадившего героиню свою, жаждущую открытий и перемен, в вагон класса третьего, вместе с купцами и мужиками, едущими в Елец? Виды и настроение дня. Нарочно и не придумаешь!.. А Тоня ладошкой выразительно машет, что веером, будто говоря: «Ой, душно, душно, душно!..» – «Бабенку мужичонка любит, а ей по сердцу другой... Другой полюбил другую...» – в открытую уж инвалиды спяна трунят – в нашу, без сомнения, сторону.

– ...Митя, дай смартфон на минутку, я хочу глянуть в лицо Саакашвили! – один комбатант колобродящий другому, выглянув озорно из-за перегородки, просекая взгляд мой взыскующий.

– На кой тебе сдался Саакашвили?

– Митя, я хочу видеть этого человека... Ну, дай хотя бы глазком одним на королеву Англии взглянуть. Ходят слухи, что она рептилия и питается на завтрак младенцами, а Саакашвили – сын внебрачный ее...

– Что за хрень ты городишь, Петя? Допился до чертиков.

– Дай смартфон, Митя, курс фунта глянуть для корзины нашей валют...

– А, шкуру медведя неубитого делить?.. Премияльные еще заслужить надо!.. Доставай из рюкзака смартфон свой...

– У меня аккумулятор сел.

– У тебя мозги сели!.. Ползи в туалет, там розетка.

– Митя, не хочешь ли ты сказать, что место мое – у параша?!

– Задолбал ты меня. Дай покоя уже!

– Ах, ты устал... Так может, тебе съездить куда-нибудь?

– Куда, например?

– Например, в еб...!

И вот – драка инвалидов. «Корабль дураков» Босха в реалии

жесткой вагона плацкартного – дыхание жаркое эпохальности. В повадках своих комбатанты, все четверо, – люди конченные, сади-сты! Повалились на пол, бьют непременно кулаком меж глаз и в пах друг друга; и комсостав не прочь на подневольных оттоптаться, дает им возможность лихую, не стопорит. А оператор от видеофиксации сцены батальной ушел, не работает уж он для архива. Свидетельствую я, комментатор вольный, для хроник мировых!..

– Послушай, Треплев, а ведь ты еще – Треплев, – послушай, – повторила, невзирая на переполох в вагоне (Асриев скакал как угорелый, разнимая спортсменов), – Тригориным не пора ли становиться? – выбирала снасти свои с уловом из пучин моих щедрых (о боже, как всё это было явно в ней с прищуром гипнотическим). И я будто только и ждал подачи, чтобы обратиться к эпохе – выдать на-гора в Будущее, достучаться до времени-пространства квантового:

– А я давно Тригорин, с его алчностью к деталям несусветным мира сего – в пополнение кладовой литературной, желанием ревностным формату соответствовать, канонам. И, конечно, скатываюсь к рутине, как Треплев перед суицидом, осознав наступление тригоринщины по фронтам всем – хама грядущего от культуры... Авось сгодится реплика для эссе, ха-ха!..

– М-да, – она глянула на хуторок мелькнувший, не отличимый от российского среднестатистического ветхостью строений. И продолжила, личину мою оголяя: – Ты, прямо-таки, и речь премияльную заготовил – вещаешь! Вития он и есть вития... А знаешь, я читала тебя!

– Плох солдат, кто не метит в Нобелевку! – и добавил на заманиху ее, в пику выуживания меня в Интернете: – А вот мои поиски сведений о тебе тщетны. Сказал же один культуртрегер: если тебя нет в Сети, нет и в жизни!

Она улыбнулась, уйдя от ответа... И, словно в подтверждение тезиса о «лабазнике и крысах», – к женщине, избравшей полонить писателя, акцентировала, что от истока Рунета (а это 2000 год) не упускала меня из виду. И хотя я не значусь ни в блогах популярных, ни в завсегдатаях дискуссий по соцсетям, а являюсь лишь автором прозы о войне Приднестровской в журналах литературных, этого достаточно, чтобы она, как и тридцать лет назад, оказалась под спудом присутствия моего в судьбе своей (меньшим по накалу, нежели присутствии режисера, но это детали). И бездны мои чарующие надвигались-де и надвигались – с прочтением рассказа или повести. «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь *войны*, – переврала она фразу Аркадиной из ‘Гамлета’, – и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах – нет спасенья!..» Ох, и лиса!

– Ты предпочла исчезнуть с горизонта жизни моей... «И для чего ж пороку предалась, любви искала в бездне преступления?» – и я из

«Гамлета» закономерно (отзыв Треплева на запрос материнский), под впечатлением признания заслуг своих перед историей.

– Тебе никогда, Треплев, не понять женщину... – уходила от ответа, хотя и было во взоре ее сродни сожалению, что когда-то страсть за любовь приняла. Она достала щетку и опять расчесала тщательно волосы.

За окном женщина пожилая в фуфайке, смотритель пути, продудела сигнально в рожок. Все будки смотрителей – и в Украине, и в России – зарешечены во спасение от людей лихих!.. А я думал о том, что мы всё еще играем «Чайку». Эта фраза моя из «Гамлета», обращенная к матери (и у Шекспира, и у Чехова – к матери!), ныне и впрямь была обращена к той, кто по возрасту мать моя – в пьесе; но ведь и сам я уже не юнец, а прозрел инстинктивно в ней Аркадину (не Заречную) – в отместку за то, что я до сих пор Треплев в глазах ее! Еще выискиваем аргументы по *Тексту*, подначивая друг друга: надо обвинить – обвиняем, надо восхититься – восхищаемся... Мы всё еще пылаем амбициями. «Чайка» всё еще в нас. И в этом катастрофа встречи: куда-то ведь оно всё приведет!

– Нет, не понять тебе! – Она, головой грациозно и тоном, каким детей ласкают. – Ты – властитель концепции. А вот с «линией женской» еще учиться у мастеров. Хотя какая учеба, главное у нас – хм, эпохальное!

– Так проясни, я весь внимание: *линию женскую*, – усмехнулся я.

И она, как ни странно, «повела линию»: почему выбрала режиссера.

– Помнишь, конец действия второго? – вещала томно. – Где Тригорин сознает, что попался в сети к Нине Заречной; где и Нина уже почти в объятиях этого «воли лишнего человека», знаменитого, но успехом приевшегося? Момент кульминационный, короче, его мы разрешили, не договариваясь о сверхзадаче и действии сквозном. Когда Тригорин, вещая о культе служения человечеству, о правах личности и о прочем из ценностей гуманистических, что должен априори соответствовать им, болеть ими, даже не говорит, а бессвязно, как в бреду, проговаривает, не думая о строе; а на самом деле желая и думая лишь как бы добраться до «бездны» моей, рук не распуская, – более того, довести меня и публику до точки кипения... Тут тебе сошлись и сверхзадача, и действие сквозное. Тригорин овладевал умозрительно мной каждый раз. Он не предлагал мне звезд; он предлагал мне совершить с ним акт половой: бесконтактно на публике, говоря о вещах отвлеченных про Гуманизм и Миссию Художника. Причем оргазмы, кои я испытывала каждый раз, были именно оргазмами. И всё это при дискурса соблюдении: я упиваюсь известностью его, а он формулы кокетства излагает: тогда его хвалят в газетах, ему приятно, а когда ругают, ну, в общем, ты знаешь... Эти наши реакции моторные, эх, тело и пластика, дыхание учащенное и смена частая ритма фраз –

каждый раз по-новому, – всё это рисовало в мозге зрителя близость интимную: то у крыльца, то у лодки...

– Я видел десятки постановок подобных, – прервал я, наевшись «линии женской». – Да и ты не вчера родилась: алчешь от сцены эксперимента – вплоть до эксгибиционизма, только причем тут твои оправдания его? Неужели для того, чтобы продолжать отношения с ним, вы хотели убить меня? В этом пресловутая «линия женская» – изжить талант с лица земли?

– Не преувеличивай, Треплев, актуальности своей, – она даже и мысли не допускала, что все годы эти я мертвым, отринутый возлюбленной, шел сквозь чад опытов литературных. – Это тебе не к лицу, ты повзрослел. Да и мне впору играть Аркадину, мать твою. Думаешь, я не оценила намека?.. Повязку со лба менять художественно тебе, целовать в преддверии безумия очередного: «А ты опять не сделаешь чик-чик?..» – пестовать конец вездесущий твой, как и все пестовали...

– Хочешь сказать, что всё это фатально: и «Чайка», и война, и встреча?..

– Всё взаимосвязано в мире, об этом еще греки древние учили. И перестань, наконец, образ сценический эксплуатировать!.. И вообще, ты должен быть мне благодарен...

– За что?

– За то, что откровенна с тобой. Кто тебя так превозносит? Ты вспомни, вспомни: конец действия четвертого, перед самоубийством. «О, моя добрая, моя ненаглядная, ты пришла!» – как желанна за чередой конфликтов эта реплика. «Ну не будем плакать, милый мой, не будем!» – она пальчиком в уголках глаз, якобы, слезу утирая; и тут же: – «Ничего, мне легче от этого... а вчера я увидела вас на перроне и заплакала, и у меня отлегло...» – Взяла меня за руку. – И всё же: «Я целую землю, по которой ходили вы; куда бы я ни смотрел, всюду представляется лицо ваше, эта улыбка ласковая, которая светила мне в годы жизни...» – вот что обязаны мы говорить сейчас!

– Ну, ты сама всё сказала... Только не забывай, что и я до сих пор был до предела откровенен – по-Треплевски. Однако эти упоминания Тригорина, и как ты в него влюблена – вот сейчас, – всё это еще надо вынести: и тогда, и сейчас... И уповать на исход иной: продолжать открывать душу и ждать обращения вспять мыслей и чувств. Впрочем... я ведь всё это понимаю с высоты, как ты говоришь, возраст... или я такой же, как и тогда?..

– Нам не изменить себя, невзирая на мнение, что судьбу-де сами творим. Плыви по течению: жди, когда оно само воссияет в тебе – намерение.

– Да ты прямо фаталистка, если не сказать больше: Кашперовский!

– Я – судьба твоя, Чайка, от которой не так-то легко и откреститься!

И аргумента этого оказалось достаточно вполне (она перла на

меня, как танк), чтобы я тормознул с «темой», – иначе ведь можно и углубиться. И это будут не те бездны, в коих чувствую я себя обосновано и ясно – с точки зрения эпохальной. Было понятно, что у Тони зреет расчет. Она ведь и вправду походила сейчас на Аркадину, мать Треплева, не на возлюбленную его; все ее, Аркадиной, рефлексы искусные «хватательные», взятые из темперамента актрисы, держащей хваткой мертвой писателя (мертвого для эволюции, но маститого), могли б работать, с ее точки зрения, и на меня – и могли б разрушить не просто *момент эпохальный*, но и все последующие моменты, что еще связывали нас. Я умолк, вперившись в окно. Недомолвка лучше, чем вот так – рубка наотмашь... А за окном мелькают домики редкие вида неказистого – часть органическая пейзажа, деревья тощие, лужи блестящие... Тоска, тоска, тоска... Всё это вскоре танки перепашут!

Я вдруг сейчас вспомнул-всплакнул умозрительно о Маше Шамраевой. Хотя и самоубиваю себя этим. Нет, говорить о ней с Тоней я не буду: во-первых, не поймет (не тот уровень сопряжения талантов и интересов), а во-вторых, она также не знает имени ее настоящего: Маша Шамраева и всё. По пьесе линии сюжетные их не пересекались, репетировали они порознь, а капустниками и прочими вечеринками в труппе Тоня брезговала откровенно. А я не нарушал установки режиссерской: коллег-актеров величать по имени персонажей. Маша, так называемая, не возражала. Можно сказать, я специально и не внедрялся в жизнь ее, не узнавая имя, гордец... Между тем, Маша, в отличие от Тони, была в меня влюблена. И я тяготился этим. Я был зациклен на женщине, на которую претендовать, видя подноготную ее, мог лишь безумец. Сейчас-то я понимаю, что Маша как личность была куда более состоятельной, нежели Тоня (хотя и Тоню я еще не раскусил), и постижение мое личности ее раскрылось потом. А вот понимание фактуры и формата типично женских в ней загадок не оставляло. Тоня была для меня, как женщина, вся в дымах и туманах, а Маша – как на ладони. И я в повести своей ее определил в качестве персонажа, потому что слишком явлена для прозы жизни. А вот Тоне я бы мог посвятить по молодости стихи. Но не поэт я. Просто Маше не доставало шарма и размаха, какие источала Тоня. Хватки ловить мужичков и лепить из них кренделя.

Трагедия состояла в том, что Маша стала наркоманкой. По роли у Чехова нюхала табачок, пакость экую, и донюхалась... Власти пэмэровские наводняли регион наркотиками, контролируя сбыт и производство их из сырья, выращиваемого здесь же, – и не только для того, чтобы обогатиться, но и чтобы поколение трезвых и мыслящих отвести от насущного, не дать им оценить критически ситуацию: чтобы не мешали гнуть линию. Если ты не сторонник отделения региона Приднестровского от Молдовы – ты лишний на земле этой... Машу, которая даже Медведенка не заполучила по жизни в качестве

бонуса от Искусства, – ее я не вытащил из трясины гиблой. Аргументом в самооправдании было то, что я ухожу из театра, стало быть, ставлю крест на всем, что меня связывало с прошлым. И, естественно, на людях – крест. Финита ля комедия: сыт-де по горло отношениями коллективными, ухожу в сублимацию истую – в литературу, где ты ни от кого не зависишь, а от тебя – весь Свет Белый.

А ведь она признавалась мне в любви, перешагнув барьер косноязычия. Даже Чехов не осмелился придать героине, помимо ремарки пояснительной относительно чувств ее к Треплеву, решения сценического проявления чувств этих, не дал реплик прямых признания. У меня был шанс понять многое не только из ее фраз сбивчивых и сермяжных (что только она и может сделать меня свободным и счастливым; Тоне это не дано), но также из слов роли ее на сцене, куда проскальзывало ее признание интригующее. В театроведении это называется не *переживанием*, а чем-то большим – выходом за грань образа, взглядом на себя и ситуацию со стороны... И я не подал руки ей. Ушел в себя, укрывшись за покрывалом лоскутным образов. И она осталась без поддержки. Со взором критическим и без поддержки. Ее стержень и надломился. О, как, должно быть, безнадежно она бросалась на пол, билась в агонии... Что тут еще скажешь: умерла от передоза! Вслед за братцем-трубачом в могилу сошла.

День, разумеется, застал за столиком раскладным... Вокруг нас (и в нас) продолжал инсталлировать себя в красе полной *происходящий момент* (в прошлом он уже, в настоящем ли, стрелкой секундной нагнетаемый, или в будущем, черт знает!), тот самый, эпохальный, всегдасейчасный, – и в нем, как в невесомости (и прочно), зависают, царствуя, что тебе в фильмах Тарковского, звуки и виды, отсылающие к войне пережитой (и к войнам грядущим на Совка территории бывшей): лязг и бой колес о рельсы; суетня в проходе вагона – кто за кипятком, кто в туалет, а кто в тамбур на перекур, – прям какая-то беженцев бифуркация; и, наконец, – похожее на рояль, горлышко бутылки из-под гудрона для покраски столбов верстовых, мелькнувшее на полустанке забубенном возле путей, – на тот самый рояль (ассоциация, как у Тригорина, надо б запереть в кладовую литературную: авось пригодится!), на коем и будет исполняться всем нам соната № 2 Шопена (си-бемоль минор) для фортепиано... Чем не образ и чем не отсылка к Чехову-вседержителю – для речи премиальной штрих?..

Но кое-что *еще* дарит нам момент, знаменующий переход к Эре Новой (по нагнетанию, по тому, как манифестирует себя, требуя увековечить с ним в эре, – в этом Эпохальность). В двух отсеках соседних, как я уже говорил, размещались на полках нижних и так же не спали инвалиды, в Тирасполе севшие; им подсобляли служки с жилами витыми рук. Инвалиды в количестве четырех являли команду пара-

лимпийскую от ПМР по теннису настольному; у всех были обездвигены ноги (а кто-то был и без ног), перемещались в колясках инвалидных; в вагоне же были носимы, как дети, на руках помощников – кто в туалет, а кто и в тамбур на перекур... И всё это выглядело жутко и симптоматично – вне формата полноты конечностей, они как бы прибавляли в лицах: и лица их казались грузнее, как в шоу-маски, и эмоции в лицах отражались весомей в свете дня. И эмоции эти были по преимуществу злы, вопреки тому, что хозяйева их лыбились непрестанно, желая гнать и гнать за грань суть; калики перехожие (переносимые), они тщились что-то доказать нам, взывая из бездн исподлобья, заговаривая с кем-то... Их почему-то не было жаль. Участники турнира параспортивного в Брянске, ветераны войны. Кто-то из них воевал в Бендерах, кто – под Дубоссарами, защищая строй сепаратистский, а кто и после войны сапером подорвался на mine своей же. Так или иначе, они нашли себя в обществе, ориентированном на конфликт, где пропаганда милитаристская затмила поля информационные. Выбрали и рейс поезда, который обслуживает ПМР (кишиневцы едут в Москву через север Молдовы), собирая страждущих для повинности рабской в столице столиц и такого ума состава, что и там, в Москве, не коммутируют с жителями Молдовы «материковой» – бездна отчуждения в едином некогда народе растет... Из речуги-возгласов инвалидов, громких и напропалую вызывающих к почитанию, не отягощенных будущим Приднестровья (и это упущение надо бы исправить говорунам!), было ясно, что деньги им выделил президент ПМР с подачи «Роскосмоса». Кичились этим, желая не подвести; и от того настрой соответствующий в рядах. Президента самопровозглашенного, в общем, уважали, не углубляясь в подноготную его. И я, оставив на время инвалидов, задумался об управляющих наших. И прежде всего – о Шамраеве, персонаже из «Чайки», «существе волевым», способном противостоять эгоизму актрисы Аркадиной, в отличие от Тригорина, но так же, как и Аркадина, довольном собой. Пошляки обаятельные. В мире этом счастливы только пошляки! Хозяйственник с амбициями; может, и не хозяйственник, а шарлатан, в зависимости от трактовки режиссерской.

Ведь то, что президент ПМР, управляющий (Шамраев), строит из себя радетеля за хозяйство – блеф, это ни для кого не секрет (для инвалидов тоже). Хозяйство народное давно развели на зоны влияния, подкинув представителям народным манок агитационный в виде обещания жить, как в «Швейцариях маленьких». И хорошо, если б без крови у них всё это получалось, – но не могут они бескровно, в этом суть: за неимением талантов к управлению, охватывающему удовлетворение нужд страт всех, думая о члене каждом общества, олицетворяющем в срезе всю массу народную (тогда всем хорошо, когда каждому в отдельности хорошо!), управителям стравить всех

сподручнее, направив энергию протеста на ближнего – чем, по сути, и занята с утра до вечера канитель телевизионная, ток-шоу нескончаемые. Или канонизировать, высасывая из пальца образ непогрешимый власти. Эта их манера себя преподносить – говорить тихо, кладя ладонь на ладонь перед собой, но стравливая новообразования псевдополитические, заставляя «Швейцарии маленькие» воевать. Вот они, цели и задачи подлбнные Шамраевых нынешних, инсинуаторов конфликтов междоусобных (между усадьбы насельниками).

Выделил Чехов в пьесе типы человеческие: пресловутые управители-приспособленцы Шамраевы и иже с ними «умехи» искусные, ремесленники-манипуляторы Аркадины и Тригорины; измученные болезнями Сорины, непонятно «чего» хотящие жизнь всю напролет; неудачники истые в миру Заречные и Треплеты, как играть в водевиле и написать водевиль (публике широкой на потребу) не в состоянии; крохами со стола хозяев довольствующиеся Маши и Полины Андреевны; и, конечно же, уклоняющиеся вечно от посягательств любых на филантропию чувств, осторожные и уступчивые по отношению к Аркадиным и Тригориным, сочувствующие Сориным, Машам и Полинам Андреевнам, но одновременно наблюдатели бесстрастные Дорны. При этом все ощущают рамки тесные, норовят вырваться из них...

Кто и что я в раскладах сих? Всё тот же Треплев, которого треплет судьба и треплет, а он, вслед за протагонистом своим, всё еще *треплет духовный* претерпевает – в мечте о Человечестве едином... Мысли эти одолевают ум мой, когда я по перрону Киевскому прохаживаюся (12:40 ч.; условная пути половина). Лицеэрию инвалидов в колесницах, как они пиво пьют, курят и на женщин взирают. Тоня отказалась выйти: за багажом-де глаз нужен. Что там у нее?.. Тут же на променаде с попутчицами из отсека нашего решаю мосты навести. «Спасибо, яблоко очень вкусное! – подкатываю бодро я к старухе, которой место уступил. – Будто из прошлого яблочко, не из того ли сада имени Ленина, знаменитого на весь СССР?» – «Ты що, хлопчик, вси сады имени Ленина давно выкорчуваны з коренем. Али не чув: земли ти фирма ‘Шериф’ скупыла, – отозвалась старая, перетаптываясь по перрону. – А им выгідно рипаком поля засияты... Ну, цэ травычка така, на капусту схожа... – пояснила охотно она, – золотовалютна така капуста, добавка до палива дизельного... Так що славу яблуку польському або турецькому ныни спаваємо!..» – «Ну, разве не прав я? – руки в боки торжествует Асриев, ухо наостривший на разговор наш. – Нет природы в Молдавии: была да вышла вся!» – «Пиши, Русик, балл в пользу свою!» – голову я клоню повинно...

И вот шаг стремлю мимо родительницы с девочкой тупогубой и тупоухой; пробегаю немного вперед, возвращаюсь. Пригибаюсь к ребенку, как дядя Степа на ногах длинных, оскаливаю зубы и произношу на лады многие: «Ми-мо-ма-мо-му!.. Ми-мо-ма-мо-му?..» – так приветствую я девчушку, что-то взвихрив из бездн артистических;

ребенок встрепенулся, ребенок улыбается. И тут же осаждаю вопроса-ми мать, оторвавшуюся от гаджета. Та с остервенением радостным бросается в беседу. Выясняю: везет она дитя к логопеду московскому, доктора пэмээровские руки разводят: анатомически патологий в аппарате говорения у девочки нет, но и работа речевая не поддается налаживанию. И отец ребенка, и мать – манкурты: молдаване, не владеющие языком родным; муж давно сбежал на заработки в Европу, женой новой где-то там обзавелся; воспитывается Ксюша в специнтернате в Тирасполе – и детей таких там много, со всей республики самопровозглашенной свезены. «Ми-мо-ма-мо-му?!..» – опять мантру из гимнастики речевой пою я и чубчик дитяти ворошу. «Ми-мо-ма-мо-му!» – радостно вторит Ксюша. «Ну, со слухом у тебя, Ксюха, вроде бы всё тип-топ?! М-да... – хмурю лоб глубокомысленно. – Эх, да и что тут голову ломать: травма психологическая, плод сепаратизма и милитаризма торжествующего – мина экзистенциальная действия замедленного!..» – бросаю я матери опешившей; и устремляюсь далее по перрону. «Тип-топ, тип-топ!..» – увязывается за мной по пятам Ксюша, хлопая неистово в ладоши, и получает от мамы очередь оплеух размашистых; и – взрыв реакции ответной: рев, падение телом всем на асфальт, конвульсии... Мать, хватая девочку в охапку, утаскивает ее в вагон. Брожу нервически взад-вперед по перрону. А старушенция, которой я место уступил, не преминула заметить: «Ну и жинка у тебе, красива дюжэ и розумна, только не спит вовсе! Таких побоюватися треба».

Под прищур товарок в трико тесных, пиво цедающих, вхожу в вагон. Усаживаюсь, на Тоню не глядя. Досада на душе. Ксюша лежит, припав лбом к перегородке; мать ее уткнулась в смартфон. Со шлейфом сигаретно-пивным заскакивают на полки свои пассажирки в трико. Поезд трогается, покидая самый крупный вокзал в Европе.

Киев – мать городов русских! Жадно ловлю я виды за окном, словно в раз последний. Когда-то всё здесь было желанным и родным – неотъемлемым для сердца каждого: Золотые Ворота, заповедник «София Киевская», Киево-Печерская лавра. Крещатик – перекресток бойкий культур европейской и азиатской... где-то там, в улочках крутых редакция журнала литературного с названием толерантным «Радуга», а так же Институт Театральный... Вот уж за окном и море из Днепра разливанного – без счета купола золотые в золоте сентября на Правом берегу крутом; вон и статуя «Родина-мать» вырастает в рост полный с мечом обнаженным и щитом, на котором, свидетельствую, и в четвертый год войны на Донбассе, всё еще красуется герб СССР, хотя уместнее быть здесь Трезубцу! Что это: недогляд властей украинских или происки сил диффузных?! И – мосты-мосты-мосты... Лепота! Панорама величественная – в который уж раз (с детства) захватила-заволокла доминантно сознание, готовое только сейчас к тому, что и родина, и Днепр у всех у нас, оказывается, разные – всё зависит от

того, «москаль» ты в устремлениях геополитических или «хохол»! Страшно представить, что ожидает Россию и Украину в ракурсе таком. Ведь ни Москва, ни Киев не уступят друг другу, схватив кость-Донбасс. Камня на камне не останется. Да и России прежней не устоять, опыт есть: до основания всё разрушить, а затем... Какой русский захочет знать такой Мир Русский? Мир людей в погонах, отстаивающих с оружием право языка функционирования, но носителей языка укокошивших?... Счастья на острие меча не бывает!.. В лето-92 Кремль поссорил русских приднестровцев с молдаванами. Ныне ж рушится на века доверие между братьями-славянами. Остается уткнуться до поры, как Ксюша в стену вагонную, в «Чайку» Антона Палыча, где и он, однако, предписывает нам упасть и биться о пол в безнадеге эпохальной.

– ...Расскажи о Шамраеве своем, – просил я ее, когда поезд набрал уж скорость, и за окном замелькали полустанки заштатные, в тон традиции попросил, зароненной режиссером: называть коллег, друзей и знакомых фамилией персонажа. Следовать в русле концепции пяти психотипов могла только такая же «неудачница», любимая Чехова по «Чайке».

В отсутствие мое Тоня застелила постель на боковушке своей, вздремнуть дабы, но я ей сего уж не позволю за расспросами, от коих воспаляются и виды, и звуки, и запахи в состоянии эпохальном: тридцать лет (чуть не сказал тел, в вагоне их пятьдесят четыре), как с куста!.. В Киеве не пополнился контингент пассажирский; никто и не сошел. На местах, в Тирасполе занятых, проснулись и готовились с обедом, предпринимая попытки докричаться до проводника, что зашивался в угаре угодническом. Пахло носками и брызгой... Чихали и кашляли в «коробочке» укупоренной в разгар COVID-19. «А нас никакой вирус не берет! – смеялись паралимпийцы. – Есть у нас лекарство!» – и в доказательство тянули из рюкзаков бутылки жидкости мутной, не таясь интендантов своих. Кто-то из пассажиров норовил угостить и своим паралимпийцев, олицетворяющих, наравне с Ксюшей, замордованной логопедами в ситуации вакханалии языковой (и правовой в республике непризнанной!), – путь, по которому должен пойти Совок бывший, путь безнадежности и войн бесконечных. И паралимпийцы готовы были одарить питием и пайкой нехитрой страждущих, скалясь и декларируя наотмашь, относительно того, «что мы им всем покажем!» Являли слепок из ужимки и оскала – для той камеры телевизионной, что сопутствует им и чих каждый запечатлевает; и на вокзале в Брянске фиксировать они будут эмоцию ту: радостно-де жить в ПМР, спасибо за то менеджеру нашему эффективному Шамраеву!

– Да что рассказывать: слова, слова, слова... В Москве ты его увидишь. Шамраев – он и есть Шамраев, чинуша государственный звена среднего...

– И ты счастлива?

– Живем мы *правильно*, но скучно. Два раза в году вояжируем за кордон, но нас атмосфера там напрягает, тамошние не церемонятся с нами, считают быдлом, какие б чаевые мы им не бросали...

– А меня жена ждет в Подмоскowie. Там у нас имение целое – по мерке пэмээровской. От родичей жены – и квартира, и дача... и сад вишневый...

– Правда? Как это славно, по-чеховски...

– И женился я далеко не по расчету. Чего не скажешь о некоторых... Хм.

– Я за тебя рада. Но знаю: меня ты любишь! Не можешь не любить. Я – Чайка твоя! Так? Или ты от нечего делать птицу погубил, как в пьесе?.. Ты воевал? Пуля встрепала тебе волосы!.. – пыталась она вихор пригладить мне, я уклонился. – В опусах твоих война реалистична весьма.

Сама и опрокинулась в говорение беспробудное – дорога далекая еще. О войне в Бендерах судила исключительно по рассказам и повестям моим, а не по материалам из СМИ. Уровень доверия к слову моему у нее и впрямь повысился со времен тех самых. В город родной она заезжала крайне редко: то отца хоронила, то мать, то брата старшего, как сейчас, – а более и некого, так что и неизвестно, когда опять с визитом в пенаты, где лица новые, а виды старые, войной опаленные... А меня встретила, знать – не убежать ей того, что и уговила бесконечными вечерами российскими. Обречены мы расхлебывать всё то, что по вине нашей и завязалось: мы – соль земли, а подались на поиски себя за пределы «территории без статуса». (Тезисы базисные мои Тоня усвоила на отлично; решила брать уж быка за рога!) Шутка ль: бои в черте городской, танки под окнами, трупы, разлагающиеся в жару (в лето-92 столбик термометра зашкаливал), обстрелы из орудий тяжелых по кварталам, а в затишье разброс населению хлеба с грузовиков, как скоту; а также глаз несмыкание из ночи в ночь, тревога за близких, живущих в черте боев (многих погребло под завалами; прочие тоже давно покинули город, так как и после войны не выжить было) – и это на улицах тех, где планы вынашивались в единстве непременно с Искусством... Да, не понять войны, не побывав под огнем; всё это будут лишь *слова, слова, слова*...

Узнал я также (не забираясь в дебри расспросов), что институт бросила она перед дипломом, в профессии разочаровавшись, несмотря на то, что считает себя *актрисой настоящей*. («Актриса настоящая» в ней и вызвала сомнение.) Мысль о сцене отпала, когда она, по сути, добилась сцены и прониклась фибрами всеми, что подмостки – это лицедейство. А ей нужен был предмет для самореализации, обращение к экзистенции (мужская какая-то позиция, а может, подражание режиссеру нашему). Ей грезилось быть и дальше – Чайкой в «Чайке». Действительность же распорядилась вразрез со стезей героини клас-

сика, уж точно не погнушавшейся бы ради славы превратиться из Чайки в самку коршуна, – и подвигать, подвигать цербера своего (в облики Треплева) к черте роковой. И вот, в отрыве от полетов самонимения (и мизантропии), нужно было царице этой гордой и одинокой и после вуза публику заводить, угождая ей: петь и плясать, плясать и петь. И жизнь студенческая кошмаром обернулась, эта повинность потрафлять в плане интимном педагогам-мужчинам и педагогам-женщинам. Осознала, что накопление опыта (жизненного и актерского), самоконтроль и тренинг нужно направлять в нечто полярное тому, о чем грезилось и мечталось.

– И кем же ты стала?.. Молчи, я попробую угадать. Стала матерью, женой правильной? Что ж, выбор достойный... Ба, а может, идущим к цели адептом, Пробужденной?..

– Понимаю иронию твою! – она не дрогнула и не вскипела, а через паузу красноречивую произнесла чеканно под стук колес: – Я стала тем, кем должно было стать! – увела фразу в *fortissimo*, как в мизансцене, что и отслеживала по жизни вкупе с тем, что предлагает ей судьба, с нажимом: чтобы тема сия была исчерпана раз и навсегда.

Сделав жест рубящий, она вскинула гордо голову и уставилась в окно.

И в этот момент вагон качнуло, да так, что я завалился массой всей на Тоню. Сидели мы бок о бок уже на полке законной моей, *по билету*. Старушенция, которой я уступил место в Тирасполе, сошла в Конотопе, и на боковушку нижнюю ее сразу же пришла пассажирка. Пересев, я вытащил из сумки (что под бабушкой была) бутылочку коньяка, полагая и пути остаток, глаз не смыкая, говорить и говорить с Тоней; где-то в ночи грядущей и обняться, и поцеловаться – вне догляда пытливого соседей, то есть заняться тем, чем и привыкли заниматься мы с ней... Поезд качнуло, бутылка початая (слава богу, укупоренная) со стола прыгнула, скользнула по краю подушки, посапывающих после криза психического мамыши и Ксюши, скатилась и заволокла под ноги нам. Желая интуитивно смягчить наскок, что был отнюдь не наскок, а бросок зверя голодного на добычу (в случае ее – ожидание: когда ж кульминация?!), я захватил Тоню в объятия, зарываясь лицом в двухолмия сладостные, что, как и тридцать лет назад, источали аромат «Эллипс»... На репетиции она в меня смеха ради прыснула из флакончика, зная пристрастие мое к запахам французским, – и я подолгу внюхивался в одежду свою, как кот, различая их на рубашке и после стирок; и всегда с чувством обреченности – мне казалось, что я теряю часть ее в себе, остроту присутствия. И не случайно, «эллипс» в переводе с греческого – «нехватка», «недостаток»... А сам запах? Для меня это лес – колдовской, мшистый, нагретый солнцем; аромат абсолютно не женский, андрогинный, с хвоей и полынью в основе, смолистый, не похожий ни на один запах... Словом,

я упивался ароматом «Эллипса» с груди ее, вознося благодарение небесам, давшим преодолеть барьеры: мы пластались, я – на ней; она – на полке, дерматином оббитой... в мареве душном вагона.

И сразу другой толчок мощный, с оттяжкой после первого; он оборвал варварски восторг щенячий мой. И вдобавок грохот, чуть не лопнули стекла, а заодно и сердце, и перепонки барабанные, сродни разрыву близкому «Алазани», – то чемодан Тонин свалился-таки с полки третьей в проход, плашмя припечатавшись! И вот – на полу осознаем себя, так как вровень повалились. Эта жесткость «полосы посадочной», куда мы и обрушились с грузом лет рефлексирования, умерила вмиг в мозгу вращения истероидные. В условиях, скажем, спальни я бы повел себя иначе! А я даже и не подумал добиваться Тони под ситуацию – ну, хотя бы с лобзанием каким-никаким, как в присутствии *случайном* режиссера; а он-то и мог сказать: «Вот-вот, фиксируем состояние!..» А ведь знал, подлец, что у меня всерьез.

Что-то торкнуло в ней! Было – и во взоре оценивающим, и в рыхлости, что придала, не испугавшись болтанки, телу распластанному, до сих пор желанному, без признаков дегенерации от прозябания в праздности. Она будто призывала к действию прямому (к потуге на таковое), невзирая на положение, что для нее не казалось чрезвычайным; подвигала отыграть мизансцену, и без мотивов извинительных, обрушившихся на нее в форме более чудовищной, нежели тело мое. Я поднимал ее с пола, осматривал и ощущивал: «Ты не ушиблась?!» – «Нет, я не ушиблась!» – «Как себя чувствуешь?» – «Я себя превосходно чувствую!» – «У тебя ничего не болит?» – «Ничего, благодаря осмотрительности твоей!.. Ты ведь всегда осмотрительный!..» – «Вот какой, значит, я?! И вот так, значит... А в чемодане, там нет стекла?» – «Не беспокойся, Треплев, думай о главном...» И я багаж ее снова рывком на грудь и – вверх. И сразу во мне – сцена, завершающая действие второе, *та самая*, о которой она уже упомянула вскользь и которая строилась на участии моем в качестве соглядатая, после чего я, Треплев, и стреляюсь впервые. Стоя на авансцене, на «взгорье» небольшом, символизирующем алтарь жертвенный, я – свидетель немой их с Тригориным «совокупления», вершащегося на площадке поворотной глубже и правее. Диалог ключевой двух влюбленных не по возрасту транслировался, стало быть, зрителю чрез восприятие мое оценочное – дабы доставить остроты пущей и коллизий. Тарыбары витийственные их насчет искусства-успеха-самореализации, стремление на месте друг друга оказаться – что там, мол, чувствует писатель великий, и как позиционируют себя девушки, лишённые «правды жизни» в сочинениях мэтра, короче, экзерсис «исповедальный», что они взвихрили в камышах по замыслу установочному, увенчивается оргазмом обоюдоострым (аж декорации содрогались), а потом и падением их в эти самые бездны «болотные»... И вставали-

то они из камышей уже пьяными от ласк и коловращения площадки под ногами (Тригорин в кальсонах парусиновых, а Заречная голая абсолютно); и прилюбы их в кружении по-новому, вначале вальжжные... А затем всё это опять в истязание друг друга изливалось, – и для зрителя одного, с реакции которого и считывает мясо эмоциональное зал притихший: вот я, философ вольный и влюбленный в «Чайку», брожу в задумчивости вящей по ландшафтам родным, вот взметываю на бугор, готовый необъятное вобрать, вот вижу *их* – в *ухо* сплошное обращаюсь...

Тут-то, в камышах завуа́лировано, в процессе оргии центростремительной и вскрываются языки троих, *суть*. Заречная оглушивает доводом, что за счастье быть артисткой перенесла б нужду и нелюбовь близких, ела бы хлеб ржаной. При этом хлещет Тригорина по ляжкам; а он ей отвечает, также оглаживая смачно по ягодицам восхитительным, и кричит, что у него мелькнул ныне сюжет для рассказа небольшого: как *некто* губит Чайку от нечего делать... И вот у всех на виду – опыт первоющий мой языка надломленного: самоубийство неудавшееся. Творю его в надежде облагоразумить провокаторов, хлещущих без зазрения друг друга по местам причинным, и зал зрительный, обмерший... Итак, шляпу ковбойскую (таково решение: в ковбоя меня обрядить в пику Тригорину-Махабрахме с его кафтанами черкесскими и чепцом расписным на черепе бритом) с головы своей рву, в зал (вернее, в яму оркестровую) ее отправляю; маузер из-за пояса тяну и к виску приставляю...

Событие сие стержневое – суицид героя главного – в постановках эпохи Совка режиссеры не акцентировали вовсе (знамо дело, не было еще заказа политического!): Треплев, как правило, объявлялся на публике в действии третьем с головой перевязанной – свидетельством ранения. У нас же выстрел гремит, подобный грому с Небес! То Маша Шамраева (никакому технарю-оператору не могли доверить мы имитацию, и не просто выстрела, а основ потрясения – так, чтоб кулисы задрожали и по залу волна вибрации, – всё, короче, в ключе постмодернистском) стояла на помосте за кулисой перед ведром жестяным, куда и отправляла петарду изготовления собственного. Коробок, начиненный смесью взрывчатой, с подожженным шнуром бикфордовым, брошенный в посудину жестяную, – забава всякого мальчугана бендерского во все времена. И Маша оказалась из когорты сорвиголов тех: девушка-порох... Мне оставалось только раздать сокрытый в кудрях капсуль с гуашью, заливающей смачно «кровью» куртку джинсовую мою и упасть картинно. Оседал особо винтообразно, транслируя зрителю жертву свою с ракурсов – на алтарь Искусства-Любви-Революции-Войны... Взрыв, кровь, дым и запах пороха, нагнетаемые помпой, вызывали фурор у публики. Выстрел роковой в конце пьесы Маша вершила с не меньшим рвени-

ем, – правда, доза пороха в коробке была слабее; но гам повышенный гостей, играющих в лото в гостиной, не заглушал старания ее...

Премьера, как я уже говорил, имела успех грандиозный; и десятый показ прошел на «ура»; а вот в раз одиннадцатый «взрыв-пакет» вылетел из ведра, воспламеняя на Маше хламиду ее черную. Я первым, считав сбой, и бросился к Маше на выручку. А она, будто обрадовалась пику в сюжете, металась, не давая себя тушить. Девушкой-факелом выбежала на авансцену и, приняв стойку обороны круговой, закричала отчаянно в зал:

– Ага, десять раз убивали, убивали Поэта и вдруг не удалось?! Кровопийцы!!! Вы все – и кто задумал смерть Поэта, и кто пришел на смерть Поэта глазеть, – вы все сами примете смерть от руки поэта!!!

Пламя сбили. Но без вызова «скорой» не обошлось. Спектакль был сорван. Показы приостановлены. Последовали разбирательства с участием ментов и пожарников. Маша долго восстанавливалась в больнице (ожог ног). Навещая ее, я спросил: «Маша, ты клеймишь мир весь за смерть поэта, а сама способствовала приобретению пистолета. Где логика?» – «То я желание Поэта исполняла, которое для мира – закон! Как Поэт пистолет тот будет применять – дело Поэта!» А вообще-то Маша корила себя, только себя за «обрушение спектакля».

Ан, несчастье сыграло на руку Тоне и режиссеру, которые темпами ускоренными засобирались в Питер... Теперь-то я понимаю, что Чайка убитая – это и Приднестровье убитое, и Молдова, и Украина, и многие кто еще, осмелившиеся мечтать о полете свободном. Нет и не может быть в мире этом никому поблажки; «от нечего делать» господанаместники территорий сих заповедных губят всяк заигравшихся в самостоятельность, одаривая плетью огненной по бокам, провозглашая на века в управлении принцип «садо-мазо»... Тогда-то мы все и обрушились в Бездны Эпохальные, а обрушение нынешнее в вагоне лишь оживило в нас, попутчиках нечаянных, залпы воспоминаний.

– Ма-ма, ма-моч-ка, э-то вой-на?! – вспыхнув в бездне своей, глаза с блюдце кругля, Ксюша косноязычная вдруг заговорила – на секунду; и сразу опомнилась, и помрачнела, косясь угрюмо на нас с Тоней.

Кто не повалился с полок, смахнули вмиг дрему дорожную (были и свалившиеся, как мы), заворчали-заохали под увещевания проводника – и почему-то с Ксюшей на нас глядели, как на виновников встряски утробной (а, на деле, пьяный какой-то сорвал «стоп-кран»). Бодрствовали мы и ночь, и день, что опять клонился к закату; глаза наши не слипались из-за кофе с коньяком; мы о чем-то говорили возбужденно – молчали, вновь говорили и молчали, имея вид заговорщиков: дай таким волю, спуску не дадут существам с мешками и баулами, вплоть до того, что акт террористический уготовят!.. Питомцы наши четвероногие, коты и собаки, при машинерии шуме

или гrome с небес (что тебе разрыв «Алазани» во время войны) сразу и смотрят на хозяина: что ты опять, мол, удумал по души наши?! А мы с Тоней, усевшись бодрячком после казуса сего, потираем места ушибленные и – ухмыляемся той атмосфере благодатной, где такие аманаты, как мы, и способны расцвести: к примеру, заметить на ушко друг другу о близости повадок людей и животных... А что говорить о зрителях в зале, вкушающих плоды риторики воинственной (искусство ныне – это за умы битва, грудью – на амбразуру!), то же самое публика – только и ждет потрясений, дабы с успехом перебросить ответственности груз на художника, дарящего возможность сию...

«Ну и жинка у тебе, красива и розумна. Таких побоюватися треба!» – вспомнился мне из бездн зрительских *отзыв на предмет* – слова старухи, сошедшей в Конотопе. И вот опять, стоило лишь удалиться Тоне в туалет, две подруги в трико с полок верхних (как прознал уж про них я: плиточницы-штукатуры класса экстрa, едущие в Подмоскoвье на строительство дома для управляющего одного из банков Тираспольских) тоже не преминули обронить в адрес Дивы моей по-болгарски: что-то насчет маникюра, платья и лабутен в стразах да на подошве красной – в плацкарте обшарпанном.

Люди опять улеглись, поохав и поскрипев; вечерело уж. Сочувствия иронического удостоились инвалиды, включая помощников, прикрепленных к ним по случаю игр спортивных: одна-две ссадины или шишки на группу всю, пустяки... А я всё вспоминал и вспоминал успех наш накануне Совка развала; несмотря на провинциализм, заполнялись мы той эпохальностью непреходящей, в которой эпохальность Чехова ощущалась как начало начал. Состояние эталонное, затушевываемое зачастую из-за внедрения состояний всяко разных. Ведь Грезы всюду; куда ни кинь, одна Греза волной набегает на другую, сменяя ход мыслей и чувств, задавая тон влечениям: и ты обречен тягу к переменам просолить в слезах чужих и в ветрах устремлений чужих. Чеховские же «перемены» – они эволюционны, достигают раз и навсегда, места не оставляя для поветрий иных, и если уловил их, то держись, как за соломину! Искусство Чехова и Жизнь наша – неразрывны, грани нет. Так, наверное, критики литературные говорят о преемственности.

А вот и монолог претерпевшей судьбы превратности и осознавшей себя во встрече внезапную с Треплевым. Монолог сквозь века, эпохальность которому также придал Чехов.

– Я знала, что мы встретимся. Но никогда б не подумала, что один на один – в пространстве нескучном, как на сцене. Я тоже зрю Эпохальность, я читала в Интернете из опусов твоих, да и о тебе – читала. Но вот это – эти наши условия, хм... – она пальчиком на ноги соседа в носке рваном с полки второй отсека инвалидов. И глазами припухшими от недосыпа, или от слезок кошковых, сморгнула: – И

врагу не пожелаешь условий сих скотских!.. Всё это ведь тоже – эпохально, так?.. – она заискрыла мыслью и маникюром, смахнув мизинцем слезинку. – Страдание осознанное, Крест наш, хоть и привносится в нас. И это привнесенное и ускоренное иступление экзистенциальное мы называем эпохальностью? – Всё, как и вещаешь. Ты, судя по писаниям, войну постиг: чу, пуля взьерошила волосы тебе... – она опять рукой ко мне, – и знаешь не понаслышке, *каково оно*; более того, ты между войной и миром границ не проводишь: «Война всегда сейчас». А вот я не знаю, *что* такое война. Пробел восполнен по рассказам и повестям твоим. Работает метод: чтобы пережить что-либо, не обязательно находиться в очаге события, достаточно в себе раскрыть горизонты квантовые, уносящие тебя в то Пространство-Время, эквивалентное Эпохе, к коим мы питаем посредством устремленности ощущение всегдасейчасности. Если я правильно запомнила и поняла? В общем, грандиозно! Осознание привносится в нас спонтанно! Мне кажется, ты обрел то, что должен был, а вслед за тобой и мы; *оно* тебя переполняет и красит!.. А вот мы порхали, как стрекозы в бане известной, трудности эпох перелома по касательной встречая, в отличие, конечно, от тех, кто был на войне и кто нес тяготы ее, встречая с ней день и ночь. Это не значит, что мы обязаны побывать *там*, не маньки же мы, – но мы обязаны осознать Эпохальность. О-го-го!.. Я, например, совсем не горжусь собой. Но я встретила с Эрой Новой – один на один: и трудности подстергали меня в период *осознания*. Учебник, тобою написанный, хм: «Я способен на большее, однако ответственности боюсь...» Скажу про осознание и про ответственность – и в пику тебе! Разве это плохо – ограничение себя во всем? – ведь свершениями своими, успехом и доказательством важности собственной мы наступаем с удалью оголтелой на ближнего, заставляем и его бросаться в омут делания. Ты посмотри на людей этих, – она повела пальчиком по вагону, Мунком во мне кричащему, – они вынуждены *что-то* делать. Они все друг у друга на головах – и едут в центр свершений, в Москву, чтобы продолжать быть «на головах». Зачем нас всех так много, зачем мы продолжаем свешивать ноги с плеч друг у друга: все на головах, и всё на голове! Ты нашел в сем эпохальность; и Чехов смог, но всем, кто рядом, трудно... Ему было легче, он, по крайней мере, понимал, *что* происходит со всеми нами. И ты понимаешь, я завидую тебе. А вот они все, – она опять пальчиком, – не понимают: заводятся с полуоборота, как автоматы, марионетки плоские... они, видишь ли, *самозанимают* себя. И творят лишнее в быту, не говоря о мире духовном. Всё рассчитано у нас на результат, на изобилие, которого, впрочем, так и не познаем окончательно, – потом бац: инфаркт или инсульт! Инфляция или дефолт! Результат – в состоянии самозанятости неутомимой... О, как мне было трудно; я не буду углублять, скажу лишь, что боязнь моя ответственности – самая настоящая ответственность, какая и может

роиться в мозгу женском... – Тоня, достав из ридикюля гребень, расчесала нервически волосы; и продолжила:

– Я выбрала судьбу – тогда, тридцать лет назад, выбрав и город другой, и человека, – во имя тебя, парящего над безднами, чтобы ты был окрылен, свободен для свершений. Не всё так просто. Я испугалась тебя – и в этом ответственность моя: не подпускать тебя ближе, чем были мы, хотя были мы – на расстоянии руки, вытянутой для выстрела из пистолета... Где он сейчас, кстати, пистолет твой черный?..

Я тряхнул головой: есть-де, есть мой пистолет, всегда есть...

– Конечно, ты всегда готов убить себя, лишь бы соответствовать: *свое* доказать, Треплевское? И вот ты есть что ты есть; и вряд ли бы ты был тем, кто есть, если б... Эпохальным бы оно уж точно не называлось! Я тебя спасла. Если бы все поступали так по отношению друг к другу. Эх!.. – она пальчиком, ни в кого конкретно. – А так, все друг у друга на головах. Плацкарт!.. Господи, и почему на рейс этот купе не продают? В республику непризнанную и состав формируют по принципу остаточному?.. Больше не могу говорить: слова, слова... Это ты слов двигатель профессиональный, вот и оставайся с ними *forever*, – зачем тебе люди, когда есть слова...

В миг сей мастерица в лосинах, что базировалась над нами, закашлялась. Ее поддержали все женщины вокруг: и напарница, и пассажирка с боковушки нижней, севшая в Конотопе, и мать Ксении. COVID-19 ступает по планете!

– Нет, не это я должна была сказать... – Тоня плеснула в стакан коньяка и выпила. – Бежать из клетки надо. Она в нас... Давай вершить эксперимент эпохальный! Давай мыслить о главном!.. Ведь ты видел, ты чувствовал... *выпрыгнем из клетки!*.. – В Тоне выиграло-таки от коньяка. – Ты постиг Войну! Никаких систем; начнем с нуля. Люди развитые, мы должны родиться в нашем *том*... Постигнем тайны Жизни Вечной, обустроим дорогу в Небеса. Я взведу тебя в измерение четвертое – ты готов?.. Хорошо, не отвечай... – она опрала с плеч локоны тяжелые.

– Итак, я отреклась от тебя с целью порождения Человека Нового. Задача не проста. Я разрушила инерцию твою. Эти люди все, – пальчиком вокруг, – жертвы инерции. Ты и сам не понимаешь, к чему пришел. Чудо, что мы встретились. Дар за дерзание. В полудреме обретаясь, мы искали врата в Новое; жили взаимно у завтрашнего... И вот мы у цели. Склони голову мне на грудь и услышишь, *что* я говорю... К чему стремиться в журналы литературные? Там мертво всё... Открой сердце свое мне!

Но мне не хотелось клонить ухо к груди ее. Я испытывал чувство абсурдного. Я ловил себя на том, что меня, личность творческую, упраздняет из Мира логика Тонина, упраздняет, как фигуру уже битую, хотя дискурс сам, как любят выражаться ныне, с подачи ее

был! Как и в сцене заключительной Треплева и Нины перед суицидом окончательным. Буря за окном, разговоры гулкие в гостиной за игрой в лото, как всегда, Шамраев шумный гнет линию; присутствие за стеной и Тригорина (он один и привносит на миг отрезвление – и в Нину, и в Треплева), – и, наконец, пистолет в ящике стола, из которого рукописи вот-вот в достояние души мировой обратятся... Да, удивляло то, что шпарила она будто по тексту, будто монолог сей был звеном недостающим и для «Чайки» ее: сквозь время и пространство Чайка современная зывала *к той* во «всегда сейчас».

Я опять забираюсь в *экзистенциальное*, как в раковину. Текст, всюду царствующий перманентно, но сокрытый от умов несведущих... степень вхождения символа в Проявленное... На уровне декларативном Прошлое, Настоящее и Будущее дарит нам всегда одно: и война, и любовь, и творчество, и успех – всё в мгновении этом, и оно вбирает каждого. Чехов уловил Эпохальность сию, выразил в слове... Теперь очередь моя; но не в качестве восприемника и преемственности, а в качестве обладателя эманаций сих, разлитых в пространстве-времени и требующих распаковки личной, – очередь за каждым читающим строки эти, что есть телесно-воплощенная открытость миру – из Непроявленного – структурируемая и трансформируемая при помощи Языка... Язык, Голос сей – инструмент Эпохальности, сокрытой от глаз и ушей, так как Эпохальность – первична, а всё, что предлагается на блюдечке – тексты, лишь изыск для гурманов от языка, общего не имеющий с Текстом.

И всё это я думал, глядя на женщину возраста за пятьдесят, в свете тусклом электричества вагонного и под стук колес. Она всё еще полагала, что я влюблен в нее, и я почему-то не разуверил ее в этом. Смотрел восхищенно на нее, глаз не отрывал, будучи похищенным когда-то ею. Наверное, несу по жизни тягу к ответственности, сознание гуманитарное, которое видит не начала, а концы! И не громоздит горы обещаний!.. Тоня, ответа не дожидаясь на монолог свой, порхала вокруг меня с грацией неистребимой – то справа сядет, то слева (хотя какая тут грация о две ночи бессонных; мы и не ели-то ничего, кроме яблока, резаного на дольки, закусывая коньяк); порхала и вокруг таможенников в Зерново украинском, затем в Суземке российской, – подол платья красного ее витал, обволакивающего призывно стан ладный, локоны белокурые струились, камни «сваровски» подмигивали жеманно на лабутенах. И чемодан ее чудом никто не проверял. Мне же легче.

По Брянску (так именно и говорят проводники вагонов: *по!*) выгружались инвалиды, ветераны войны приднестровской, спортсмены. Четверо, не считая персонал обслуживающий: четыре носильщика, тренер, интендант, врач, корреспондент газеты «При-

днестровье». Держались бодро после вина, готовясь атаки отражать и ликами ослабившимися штурмовать формат телевизионный. Понуждали в порядке приказном помощников мускулистых с переносом в туалет, с постели сбором и чаем непреложным: с подачей печенюшек и конфеток, что сыпались из рук интенданта, детины бритоголового, как из рога изобилия, – из пакетиков «Роскосмоса». Птичка красная на фоне шара земного – логотип тот. И Тоня была в красном. Вот колдунья – знает, в чем быть. Красный умножает уверенность дамы в соблазнительности собственной. Образ яркий и без аксессуаров. И, конечно, внимание всяк проходящего притягивала магнитом на себя. И инвалиды исключением не были: всю дорогу, как дети шkodливые, заглядывались на нас. Вот и сейчас, по выходе из вагона, самый убогий, без ног, не удержался. Едучи на горбу у сподручного и оборачиваясь на спутницу мою, прогнусавил: «Бабенка, бабенка, принеси мужику в подоле совенка!..» Чушь несусветная, ерундистика, ан Тоня вскипела: «У, рыло, вымой скорее рот с мылом!..» – отпустила вдогонку и в укор мне: сумеет, дескать, постоять за себя, раз рыцарь ее труден на подъем. Неужто считала, что надо мне бежать и вызывать на дуэль получеловека этого, который долго еще хохотал, приглашая и товарищей восхититься пинг-понгу его с красавицей. Кроме того, куплет мне понравился. Но больше всего меня сразила надменность Тонина к малым мира сего и – ни капли сомнения, чувства вины, что и сама причастна к усекновению человеческого в человеке, потому как участвовала в инициации республики сепаратистской, выступая в агитбригаде перед коллективами трудовыми и подразделениями воинскими. Она гнала начисто от себя именно это прошлое, любуясь только «темой чеховской», как бы опасаясь в глазах моих считать упрек, что действием своим и талантом способствовала гибели и ранениям людей. Да, ее политика интересовала, – полагала небезосновательно, как и режиссер, что в регионе взрывоопасном только политика может принести Успех с буквы большой. Следуя вектору устремлений основных сил политических, служа им, выполняя капризы власть имущих (речь шла о клике чекистской, сменяющей клику коммунистическую), Тоня обрастала деньгой и связями, и положением. Должность замминистра (а потом и министра) информации республики самопровозглашенной светила уж ей – грезила горизонтами новыми, пророчила и мне помощь с опубликованием рассказов в газетах местных, запросто позвонив редактору. Но режиссер, молодец, сбил ее с панталыку, уверив, что она достойна большего, ее ждет Питер, где ей еще работать и работать над собой, – прежде чем восстать в рост амбициям и грезам... Встретившись с Тоней глаза в глаза при проводах горемык злосчастных, я считал в них *всё то*, о чем она предпочла умалчивать: ее прошлое, связанное, наверняка, со спецслужбами и карьерой властной. Она знала, что я вижу ее насквозь.

Знала – и хранила улыбку змеиную в лице, блюдя тайну, питая уверенность, что разговором нашим и настроением можно управлять!

...Боже, как всё в мире нашем заорганизовано по Тексту. Но – с контринициацией. Никто в Тексте этом не ищет намерения, сопряженного с поиском мучительным смысла; наоборот, всё уже в Эпохальности обратной (зеркальной) стремится *от* Смысла, от обретенного *когда-то* Смысла, крайнюю степень напряжения пролившего на головы в Войне и подкрепленного ныне системой лозунгов, уводящих в еще больший мир грез... Войну инвалиды и служки их с колесницами раскладывающимися – вот на перроне уж команда выстроилась в ряд, что триумфаторы под свет рампы! – ценили высоко; Война давала им работу, она всё расставляла по местам в вопросах нравственных: кто прав, кто виноват? – с этим и не суйся к ним, у них *это* на лбу печатью – тем же контр-Текстом, давшим себя обнаружить и во многих из населяющих Республику на Днестре, когда брат пошел на брата... Я, Треплев современный, декадент и символист, блуждающий над Безднами (так и не застрелившийся), в отличие от Тригориных современных, процветающих и за войну ратующих, вижу тавро на лбах современников, вижу и манифестирую подоплеку нас, остальных, делающую из нас инвалидов нравственных. Ведь Дело Общее наше – оно в векторе Человечества Единого и Души Мировой (о которой и написал Треплев для спектакля своего), – оно в Тексте *ин ом*. В том, который вы все сейчас держите в руках. А всё, что по телевизору и в газетных сводках официальных, – контринициация!

Словом, тоска обуюла меня *по Брянску*, глядя на ветеранов-инвалидов. Думалось опять о войне, которой тридцать лет будет, но остается «пятном белым» в умах властителей прошлых и нынешних – и Молдовы суверенной, и Приднестровья самопровозглашенного, и России, которая пойдет вот-вот чохом, нахрапом, гогами-магогами устремлений ложных своих на юго-запад самостийный устанавливать порядок новый, контринициацию! Никому не выгодно корней доискиваться и к ответу призывать: Молдове и Украине не хочется раз лишний щекотать в носу медведя имперского; Приднестровью недосуг вскрывать, что планы сепаратизма пестовались не в народе, живущем на кромке по Днестру совсем даже не компактно, но смешанно, – а в башнях Кремля; генералам же армейским не с руки признавать, что война сия – не геополитика, а прикрытие для разбазаривания комплекса военного!.. И еще думалось горько, что у состязаний инвалидов перспективы большие. Бои уродцев были популярны в Средневековье при дворах европейских и азиатских. Вывели забавы сии и на площади рыночные. Ярмарки выли от счастья, созерцая потасовки кровавые калек. «Цирк уродов» встречали овациями. Люди платили, радуясь, – мол, есть кто-то омерзительнее. На выставке аномалий физиологических состояния сколачивались. Нынче же, рассуждая

о счастье, которое и инвалид обретает в состязании спортивном, любят говорить о «преодолении себя». А беднякам-увечным не приходит в голову, что страсть понаблюдать за ними никуда не делась. Увлечению потребна лишь форма новая – «Игры паралимпийские». Ан никакие листки фиговые не прикроют суть голую зрелища.

Тоня продолжала нарезать вокруг меня, как чайка красная *космическая*... то справа сядет, то слева... Только выгрузились инвалиды *по Брянску* с помпой на перрон, вагон заполнили пассажиры новые: места продавались по ходу поезда с регулярностью завидной. И на полки верхние умудрялись забраться страждущие с территорий обездоленных (опаленных качеством жизни нечеловеческой), невзирая на ранги, лица и права собственности вагонной на время поездки пассажиров, – короче, всё в мире этом было устремлено в Москву, дабы причаститься доле лучшей. Нашествия такого Чехов не предполагал... Дистанция российская путешествия «волшебного»... С пассажиропотоком аборигенов, алчущих в столицу столиц, справлялись вдобавок электрички местные, в которых люди всю дорогу, часов восемь, находились в состоянии селедок в бочке, на головах друг у друга... Тоня всё еще базировалась на полке моей, так и не застланной, желая быть ближе. Хотя мне, если честно, хотелось уже продуха. Еще чуть-чуть и она прильнет с жемами расположения *особого* – не говоря о том, что вдруг ей целоваться и обниматься заблагорассудится, наверстывая за годы. Хорошо, что Ксюша спит и мамаша ее спит, к нам спиной повернувшись... До меня долетает чей-то всхлип; голоса баб с тюками, места инвалидов заполонивших; храп отдаленный... Я ощущаю каждое соприкосновение с рукой Тониной, ее страх, гнев, ожидание и *еще* ожидание... Ах, как манит запах этот неизменный – «Эллипс»... где она его достает, ведь в тренде ароматы другие?.. Хм. И я, в конце-то концов, обхватил ее за плечи. Она задышала учащенно... Выручила станция очередная – Сухиничи. Я вышел прогуляться в ночи. А по перрону торгаши носили связки игрушек производства фабрики местной.

– Я имел дерзость снискать нынче птицу эту; за неимением чайки, кладу пингвина у ног ваших... – сказал тихо я, подсаживаясь к Тоне; а Ксюше в потемках сунул куклу-рукавичку «Чиполлино»: не всем же с «Чайки» стартовать... На часах: час двадцать ночи – время дурака, время кретина...

Километры финальные пути. Я гляжу в непроглядность за окном с ее столбами неизменными электропередач, башнями водонапорными, избушками кривыми, пролесками и ухабами (не знамо чем заполоненными, чем-то тяжелым, ртутным, застойным, блестящим при луне), – а из меня *идет* Текст, струится вот сейчас из Неведомого, а в будущем обязательно возьмет награды несусветные; я буду держать цепко их – «Мыслителей» Роденовских и Пегасов, статуэтки хрустальные, брон-

зовые, деревянные и из мрамора, дипломы мастей всех, радуясь счастью своему. Ведь я уже избрал вектор. Текст держит ныне крепко сознание, не отпускает... Итак, Посвящение мое, кредо: будущее и России, и Молдовы, и Приднестровья, и тем паче Украины принадлежит миру глобальному; образования национальным нет места в истории грядущей (в постистории). Общая Душа Мировая требует и Тела единого. Чтоб каждый из составляющих Тело сие, взглянув на небо и увидав облако, похожее на роля, не путал его с бутылки осколком, гудрон вмещающей для покраски полос вторжения и столбов пограничных, линий обособлений. Чтоб столбы эти не делили Тело, служили раритетами музейными – мол, раньше бал здесь правил ГУЛаг, основанный в 1917 году и павший после отмены границ национальных, эдак в годах 30-40-х столетия XXI, когда и «Роскосмос» запустит ракету на Марс, ознаменовав полетом сим освобождение окончательное. Думаю, ни Треплев, ни Тригорин возражать с позиций гражданских не станут. Всё, что их разделяло по форме: рутина или эксперимент, консервативное или либеральное, традиционализм или модернизм (и не перечислить) – обретет вне догм себя, – и места хватит всем!

Подъезжали к Калуге. Проводник Асриев уведомил нас: последняя-де перед Москвой стоянка; а пассажиры спали все. Спутницу мою известие взбудило, несмотря на общую в пути усталость и бытоуклад. Ко мне развернувшись и меня развернув (к себе лицом), заявила, уставившись поверх бровей моих, как заклинатель Кашперовский, – все чары, все чары, все чары пустив в ход:

– Треплев, что мы делаем? – грудь ее в декольте глубоко в зенит взошла.

Я руки на коленях сложил, как школьник.

– Я готова бросить, бросить всю жизнь свою – под ноги тебе; бросить Шамраева, как когда-то с Тригориным распрощалась, – она схватила за запястье меня и сжала крепко. – Я заявила ему по роли: «Если тебе когда-нибудь понадобится жизнь моя, то приди и возьми ее!..» – и теперь я повторяю фразу эту – по назначению истинному: «Возьми меня!» Я – та же; ничего во мне не изменилось; хм, прибавилось немного в бедрах – ну, это ерунда, – я займусь фитнесом... Начнем с листа чистого: ты и я, будем стремиться к главному, к Душе Мировой, к Эпохальности... в нас душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и вируса...

– Тоня, ты устала от дороги. Потерпи, остались пустяки сущие!..

– Будь моим!.. Выйдем, давай, в Калуге. В Калуге Циолковский творил: к полетам звездным территория эта! К чему нам Москва с ее звездами на башнях и на погонах? Как Циолковский и Федоров, калужане истые, будем долженствование Человечества вершить – на тысячелетия!.. Домик купим, цветы будем выращивать, полеты в

запредельное совершать!.. Ведь то, что сейчас они все, – пальчиком руки левой тычет в соседней по плацкарту (в правой – рука моя), – в Москву, в Москву, в Москву! – вскоре и на обратное сменится: *из* Москвы, *из* Москвы! Я готова...

– Ты сошла с ума. В 55 лет поздно менять жизнь! – И это доктор Дорн во мне говорил.

– Дорогой мой, ненаглядный, не отвергай меня. Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть в конце жизни нам не прятаться, не лгать...

Эк, присадило нас – на Текст; и не вырваться! Чехов-колдун-проказник! Воистину в смысл установочный залипание. Классика!

– Ты так увлечена?

– Меня манит к тебе! Ты – тот, кто мне нужен... Мое блаженство, мой повелитель... – Она даже метнулась на колени передо мной.

– Тоня, встань, кто-то может идти... Ты всех перебудуешь. Пол грязный...

– Пусть, я не стыжусь, – целует руки мои. – Сокровище мое, голова отчаянная... Будь со мной!

...А меня, если честно, изумил не этот ее прилив гормональный, что по нотам разыгранный, со словесами из той же Аркадиной, до которой и она созрела вот, заклиная Тригорина не покидать ее и видя в нем последнюю любовь земную; и даже не из Полины Андреевны, подбирающей ревниво «крохи счастья» от Дорна. Я удивился себе, узревшему мужа ее на перроне вокзала Киевского в Москве, не дождавшегося супруги ненаглядной, – Шамраева, как она его величает, подчеркивая, что персона одиозная сия помимо вопросов хозяйственных (и то абы как, в стилистике традиционной и пошлятины бытовой) ни на что не способна в плане духовном, да и незачем это. Мне стало мужчин всех жаль нестерпимо, будто себя жалел в образе Шамраева сценического: с лицом черт крупных, которые и меняются (будто в фотошопе) – от трагика кишиневского Тиранина Сергея, игравшего на сцене Шамраева сорок лет кряду, подсобляющего и нам за 60 км от места жительства своего, дабы уровень профессионализма внести в коллектив становящийся, и – до ассов московских. Существа волевые, хоть и плуты, способные стегануть Аркадиных с эгоцентризмом их; мурлычат они что-то безобидное под нос, готовя речь на встречу с суженой, типа: «Имею честь заявить, что лимузин подан: пора уже, многоуважаемая, ехать домой!..» – а потом и мечется по платформе от одного вагона к другому со словами: «Мы попали *в западню!*...», – полагая, что номер вагона супруга сообщила неверный; но еще пару секунд – и всё выяснится, когда засвиристит знакомо и неповторимо на перроне в кармане Асриева, кому Тоня с плеча барского подарит айфон, ненужный ей по причине разрыва с реальностью обрыдлой...

– Эх, Треплев, ты тупишь!.. – она недовольна торможением

моим в принятии решения судьбоносного. – Раскроюсь тебе окончательно. Шамраев – это всего лишь психотип! Но я – Чайка! Та самая, из клана известного... Ну-ка, раскинь мозгой!.. У меня в банке Швейцарском пять миллионов на счету!.. Уедем вместе в весну вечную – на Майорку!.. Не надо больше над бумагами пыжиться, геморрой высиживать в надежде на Премии мифические. Всё брошу к ногам твоим... журнал любой с потрохами купим!..

Повторить, что она сошла-де с ума, я уж не мог: это значит на игру ее повестись, пусть даже Шамраев ее – и член клана Чаек, чинуш думских, не брезгующих воспарениями (и испарениями) с полей мусорных под Москвой. Такая вот деликатность врожденная; тем паче, что напор был нешуточный: она всё ставила на кон, шла, как говорится, ва-банк, – уж, поверьте, на эксперимент, типично женский, с взора пристрелкой, воздыханием и планов громадьё (истерика актерская контролируемая) это не походило. Я видел слезу и я видел трепет, и запах пота учуял, перебивающий *тот*, изливаемый ею на запястье и шею, как только я отлучался на перрон.

Тоня и еще больше сжала руки мои, словно тисками:

– В аду этом, Треплев, что теснит дух наш, поступишь ли утешением своим?.. Верши путь в Безднах моих! Борись с темнотой своей! – вещала, как медиум, – о, как горели глаза ее!– Слышишь: ангелы зовут нас по имени... слышишь, *что* они говорят?.. Будешь ли *после* прежним?.. Жизнь вся была испытанием... и теперь ты нашел дверь, она открыта...

– Homo erectus. М-да!.. – Я высвободился настойчиво, встал с лежбища, так и не застланного, обернулся в проходе движением гусарским, балансируя в тряске вагонной, как некогда режиссер и привил на театре, – навис над ней, откинувшейся к перегородке стеной и уверовавшей, что я на крючке, – и как гусар перед развязкой неминуемой (проигрыш в карты, соизмеримый с потерей владений родовых, или сдача вынужденная бастиона, за оборону которого отвечал), прищелкнув каблучком, склонил голову в знак принятия с достоинством судьбы – и произнес выпренне: – Уф-ф-ф!.. Как всё трагично и как безысходно... Самое время в прошлое родиться... Вот пойду и застрелюсь эпохально, раз не вышло до сих пор!.. – и опять реверанс; и опять каблучком. А потом добавил: – Ну почему, почему ты не летела самолетом?.. Эх!

– Это конспирация. У меня багаж. А авиапарк нынешний весь на ладан дышит. Я боюсь летать... И потом, мы бы никогда не встретили друг друга...

– Как это симптоматично: Чайка по имени Тоня Парнас, которая больше не хочет летать! Права была Маша, уверяя Медведенко, что не в деньгах счастье... Вот и тебя, бедная моя Чайка, невзирая на богатства ротшильдовские, Чехов приштырил – когда остается упасть, кричать и биться головой о стены и пол!..

И, поворотив на 180°, направился я в сторону туалета, балансируя на ходу.

Это так и выглядело, что я иду в туалет, а не куда-то еще: там, мол, от прозрения «века» и «застрелюсь». Фигурально это прозвучало, конечно, по-гусарски! Она полагала, что я обдумываю всё ею сказанное, ну и вернусь с решением судьбоносным – для нее судьбоносным, так как мужчина и есть для женщины носитель судьбы ее, несмотря на то, что ставку произвела она. О том же, что я *там* (в месте для размышлений уединенных с зеркалом мутным) собираюсь покончить с собой (ха, пистолет: его майор Шариков учуял бы в два счета, не хуже спаниеля-нюхача) – это, конечно, ею не принималось всерьез. Да и мной тоже. Ведь фраза сия – «Пойду и застрелюсь...» – была пущена в оборот меж актерами, играющими в «Чайке», с ее, Тониной, подачи. Уходя в туалет или на перекур, мы оглоушивали друг друга набившим оскомину речением, желая соответствовать контекста устремленности (или контенту) пьесы, соотнося с самоубийством героя. Когда же сам исполнитель роли (то есть я) пускал в оборот фразу ту, все ухмылялись и кивали, дух корпоративный поддерживая в фигуре речи...

В туалет нужно было идти в другой конец вагона, так как тот, что расположен близ проводника, закрыт (в нем педаль слива обломилась: символ – *не символов* у рейса нашего нет, – и у металла усталость накопилась!), и, поднырнув под последние в проходе ноги, с полки свесившиеся (в носках свежести последней), подоткнув кому-то одеяло, защемленное дверью пластиковой, я обернулся посмотреть, не наблюдает ли Тоня вслед. А Тоня была так уверена в себе, что и не думала держать меня на прицеле. (Хотя именно так поступила бы Аркадина в исполнении Ирины Муравьевой, уж сыграла та тираномонстра-садиста в юбке, «любящую» всё и вся вокруг – до испепеления всего и вся волей своей.) Я же пошел через тамбур в вагон другой, громыхнув контрольно дверью туалетной: дабы возвестить Тоне, что я *там*, в клетке, никуда не вырвусь!

Благо не было при мне в пути следования поклажи, что выдает человека «справного», обязанного месту и времени чем-то большим (скажем, часть архива чемоданов несколько, уж не говоря о банках-катанках с исподним в услуду майору Шарикову!), нежели его, человека сознательного, устремленность к звездам, – всего ничего: сумка с помидорами сорта особого (ну и бог с ней, проводнику Асриеву достанутся дары природы!), а документы и бумажник – они в кармане внутреннем пиджака. Сентябрь на дворе, одежда вся на мне. Только вот «Эллипс» прилип неотвязно, когда Тоня склонялась и за запястья хватала, – преследовал, как сумасшедший с бритвою в руке; да и песня разносилась из гаджета столпившихся в тамбуре на выход в Калуге пассажиров (от кого именно я не разглядел): «...Там, там, в сентябре, там и остался ты... где, как праздник, миг любой!...» – пел Леонтьев из

девятиных, когда мы с Парнас и познакомились на репетиции «Чайки». И мне даже показалось, что это она вызванивает меня, чтобы я не рыпался, а вернулся бы на орбиты своя, в поля гравитации ея. Тоня и впрямь – девица-краса-Лорелая, сидящая на берегу скалистом, расчесывающая волосы и пением чарующим заманивающая в топь корабли. Вот и корабль мой готов был минуту каждую пойти ко дну...

...Я устремлялся на электричку, отправляющуюся, как объявили по связи громкой, через семь минут *на* Москву. Электричка стояла на платформе, путь к которой преграждал состав из вагонов-теплушек – привет из ГУЛага эпохи! Так точно и в лето-92 тысячи беженцев (бешенцев, как хохмили несведущие в войне) устремлялись из Приднестровья, огнем объятого, – на таких же скотовозках – в Россию, в сторонку ту странную, что чохом назначает в жертвы территории целые бывшего СССР, сеет вражду кровную среди братьев вчерашних, упиваясь безнаказанностью и ответственностью, понимаемой плоско: «Бей своих, чтобы чужие боялись!» Забираясь в двери распахнутые товарняка, жители ПМР, оболваненные пропагандой имперской, думали, что убегают от врага... не могли надышаться свободой и Эпохальностью... А я ринулся напрямки – через товарняк. И я упивался Эпохальностью. Да она, по сути, и была со мной с рождения, как и в роковом 92-м, хотя я еще и не догадывался, что же с нами происходит... А ныне реалии таковы, что описанный мной вояж *на* Москву стал последним в составе РЖД.

Сообщение всяческое транспортное *через* Украину прекратится – сначала по причине эпидемии COVID-19, а вслед и из-за войны полномасштабной. Из Приднестровья в Москву граждане будут добираться по трое-четверо суток (испепеляясь телами и психикой) в автобусах через страны Европы. И тогда душегубка плацкартная на 54 места с двумя туалетами и баком кипятка эталоном комфорта вспоминаться будет – и не только для стяжателей эконо-класса. А самый большой в Европе склад вооружения, вывезенного из стран Договора Варшавского, что в селе Колбасное (ПМР), заминируют военспецы Армии России – в упреждение захвата арсенала Украиной вражеской или блоком НАТО потворствующим... Тем самым Кремль в раз очередной назначит в жертву не только полоску узкую по Днестру, Молдову или Украину – ведь гроыхнет в случае чего – так гроыхнет, пол-Европы снесет! И мотыльком бесесым над чашей весов машинерии милитаристской мировой – России против Запада коллективного – я, сочинитель самосвободный с пистолетом из ящика стола письменного. Кто и что победит: Искусство, пусть и далекое от совершенства, обряженное в форму Нонсенса, или Жизнь, которая с подачи людей в погонах – уж Нонсенс, Смерть верная для континентов целых?! По-прежнему я – *за* приоритет непререкаемый Искусств... Ведь вначале был Текст, господа! Всё и вся, везде и всегда – Текст, господа!!!

Бендеры

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

С. Грѣй

* * *

Борису Корнилову

Понови макушку ели,
Лист кленовый, кровяной,
Сапогом бегут недели
Из музейной проходной.

Лето всплыло кверху брюхом
В акватории Невы,
Оботришь лебяжьим пухом,
Завари разрыв-травы.

С потолка звезда упала,
От небес отлучена,
Заводь Крюкова канала,
Неживая тишина.

Жду, и не пойму чего сам,
Зга, мосты разведены,
Угощаю папирсой
Осторожный всхлип волны.

Словно водят носом черти –
Ветер трогает за плащ,
Лей до края виночерпий!
Заноси топор палач!

И луны набухла слива,
Верно праздник у богов,
Черная вода залива
Бьёт в граниты берегов.

* * *

Никого нет у человека,
Кроме степного ветра,
Кроме самой смерти,
В гари мирового пожара.
Кроме его ножа,
Крови голоса одного,
Кроме голоса – ничего.
Ни иного поступка,

Ни родного заступника,
Ни праздности, ни долгов,
Не будет теперь богов.
Человек по судьбе – сам,
Человек по себе – храм,
Только шелуха, мрак,
Только потрохов крап.
Нет и никогда есть,
Черная вода, взвесь,
Понесет стихи, не прочту,
С берега реки – в пустоту.

* * *

Сам виноват, медлил.
Савана постели.
Я хотел влезть в петлю,
Вылезти из петли.
Видел тоску и скуку,
Скука на всех одна,
Время идет по кругу,
Валится из окна.
Я проиграл битву,
Но избежал плен,
Ладил тупую бритву
К полым ручьям вен.
Всё было на свете:
Вечер, вкус табака.
Я отрицал пепел
С жаркого уголька.

СВЕТОВОДЪ

Песней уволочь под дощатый кров,
Очиняет ночь черноземом слов.
Равно от плеча речь спешит тиха,
Ветер раскачал колыбель стиха.
Кроет горло желчь, хрип да тошнота,
Изнывать душе за провалом рта.
В неисходный мрак, в гильзы папирос
Сыпался табак, горечный наркоз.
Знай себе – дыми, истина одна,
Хлопает дверьми в доме сатана.
Август отдал лист, обнаживший жердь,
И казалась жизнь вечною, как смерть.

* * *

В.Ю.

Знаю, грядёт зима.
В чистых очах дев
Время сойдет с ума,
Оцепенев.

Знаю, где не ищи,
Не обрешь того,
Значит любовь звучит
Только для одного.

Так Купидон глуп,
Яда горька сласть,
Выпить Твоих губ,
Мертвым упасть.

Если должна молчать,
Слово отдав в заём,
Положи меня, как печать,
На сердце Своё.

Городским разгулом стихий
Не дышу, не кляню стен,
Я бы все поменял стихи
На Твою тень.

* * *

Сколько выцезено ночей,
Сколько кофе сбежало из турки,
И предметною грудой мошей,
Как покойники, спят недокурки.

Положи эти крохи стиха
На суровый октябрьский ветер.
Падай, дерево! Благоухай.
По последней осенней примете.

Не диковинный привкус беды
В отлетающем лиственном танце,
Осень, выпьем тяжелой воды.
Я уже не хочу просыпаться.

ГРЁЗА

Она смотрела вверх, а я в нее...

Данте

В.Ю.

Торжище, листьев пад
Колокола бьют,
Оборочён сад
В сноп полевых юрт.

Жуткий осенний бал,
В ста тридцати верстах
Поезд не видит шпал,
Ветка на Теплый Стан.

Я потерял стыд,
Я потерял всё,
Яблоки Гесперид
Месяц – булат рассёк.

Канет ночи покой,
Сон оборит заря,
Выстелив над Москвой
Утренник сентября.

Брежжатся новым днем
Рыжие янтари.
Это горю живьем
Я у Твоей двери.

ПОСМЕРТИЕ

Рябой дощатый пол, дом с окнами во двор,
Парадной двери вскрик и лестницы площадка
Тебя переживут, от счастья умри,
Водой Москва-реки кончается брусчатка.

Мне этот час знаком в уродливый июнь,
Лукавых куполов карминовые свечи.
Непритворённый мир, неписанный закон,
Вселенский чарослов, неопалимый вечер.

За вечный рубикон, отмаливая шаг,
Понудив существо, движения простые,
Иного отопрись насмешница-душа,
Что будет – быть тому, да здравствует бессилье!

Геннадий Кацов

«...горе течет от ума»

* * *

глоток полуживой воды,
зачерпнутой со дна колодца:
нас здесь оставил поводырь
и выжить нам не удастся

варфоломеевская ночь
тиха барханами пустыни:
к нам не придет никто помочь
вовеки, присно и отныне

слепой, как случай, нас завел,
пока не лопнула пружина:
глухой немому – лютый волк
плюс lupus est во дни хамсина

но кто мы, чтобы нас спасать,
делить с чужими чечевицу?
оазис блед, сух город-сад,
и в лабиринте нить не длится

* * *

все погибшие в городе – утром идут на работу,
по привычке кто в сад, а кто в школу отводят детей,
вызывая в развалинах школ недоверия вотум
и в руинах домов неприятие призрачных стен

смерть привычно течет в этом городе по расписанью,
то впадая в каспийское море, то в крымский салгир:
наперед здесь всё знают не хуже пророка исайи,
и уверены в том, что им люди теперь не враги

также контур трамвая уходит маршрутом знакомым,
подбирая своих пассажиров, входящих в туман:
против масла, разлитого аннушкой, нету приема –
из пробитого черепа горе течет от ума

на конечной корячатся в коме убитые птицы,
и в газете ньюсмейкером скользкая тема с утра,
что какого-то черта покойникам ночью не спится,
но при этом, подобно живым, днем их мучает страх

с той воскресной внезапной бомбежки почти уже год нам
было не до пространства, и не до врагов и друзей:
и всё та же стоит во дворе, не меняясь, погода –
мы выходим с сестрой со двора в день воскресный в музей...

* * *

я шел по дням недели босиком,
по зеленеющим охристо отравам –
осенний воздух, свеж и насеком,
настроен был на незабвенных травмах

даль голубела стаей голубей,
был связан горизонт из рыжей пряжи:
был назван первый пистолет «убей» –
он в первых жертв был сразу же разряжен

не так тиха украинская ночь,
как убеждал апостол а.с. пушкен –
нанес удар мой перочинный нож
по танку прежде, а потом по пушке

бомбардировщик надо мной радел
и внешне походил на истребитель:
я точно знал, как не бывать беде,
ответив на вопрос: «быть или не быть» им?

тачанкой-птицей мчится тройка-русь,
как кистью написал ее ван гоголь –
в ней, в основном, лежит «двухсотый» груз
и, бога ради, «сотого» немного

до середины долететь днепра,
писал художник, ей не хватит духа!
и он, клянусь отечеством, был прав,
ведь просто так не отрезают уха

был противоречив, как всякий псих,
чему примером – две строки подробных:
«прости же, Боже, неразумных сих,
но лучше их казни! и им подобных»

я загорался, вздрагивал и гас,
на площадь шел, блаженнее святого...
как жаль всех слез, всех жаль! – помилуй нас,
хотя не все из нас к тому готовы

* * *

кукель крайне расстроен психически:
гости не идут! он всех позвал
к пяти, а уже шесть седьмого,
но не звонит дверной звонок,
не слышно скрипа двери в парадном,
пусто без шагов на лестничном
пролёте и, знаешь, пусто в городе
без дверей и без домов,
и давно уже без улиц – они
похожи жутко, одинаково пеплом
покрыты и густо усыпаны щебнем,
может, оттого мясик с семьей
не пришел, не нашел дома кукеля,
и блыся с супругой растерялись
без улиц, без домов, и запаздывают
оттого, и хруня с собачкой, хотя
собачку всё еще не нашли под завалами
после ночного обстрела в июле,
рыжий такой шпич с черным
носиком-кнопкой, ну, ты знаешь,
и хруня, его хозяин, кукеля друг
с института, тоже куда-то пропал,
давно, похоже, ты знаешь, с июля,
как-то так вспоминается к семи,
ведь блыся с супругой в польше давно,
ведь краков давно-предавно в польше,
и, если ты знаешь, мясика с семьей
еще в начале войны одним снарядом,
погибли все в своем доме – он теперь
давным-давно без звонка и без улицы:
может, мясика в гости и ждать не стоит –
двух дочек и мальчика-дошкольника,
и жену мясика (как-то ее там прежде звали?
ну, ты знаешь) – и кукель видит,
как остывает борщ, разлитый по
тарелкам к приходу дорогих гостей,
как густеет сметана, пылью по-
крываясь, и нарезанный хлеб с тем,

чтобы его есть, черствеет, покрываясь ржавой коркой (забвения?):
кукель ждет гостей, пот
покрывает лоб – в бывшем строении
номер два по улице маршала Тимошенко,
той, ты знаешь, которая в пух и прах совершенно

* * *

вот когда приведут, и когда уведут,
и когда позже к стенке поставят –
утешайся, что это несправедный суд
и всё мерзко в их лживом уставе:
верь – их ждет не инфаркт, так insult

время гласных согласных – всё крепче броня,
всё сильнее под окном вой сирены...
нас на завтрак схарчат – и тебя, и меня,
с аппетитом, конечно, отменным,
ведь никто его не отменял

время кислой капусты, гнилых новостей,
прочесоченных ломтиков бреда,
низкой жирности фарша внутри митетей –
в самый раз каннибалам к обеду,
на десерт пьющим мозг из костей

словно ты за парадно накрытым столом
оказался в компании ушлой,
где в столовых приборах – и вилы, и лом,
а на первое – мясо для пушек,
да проклятье лежит на втором

не надейся, что чаша минует сия
и прожить доведется украдкой:
ты и кто тебя съест – это, как бы, семья
в рамках нового правопорядка,
с первых чисел внутри *февраля*

* * *

снова ночь завывает вокально богатой сиреной,
завлекая локальных пожарных в токсичный пожар,
в скорость – «скорую помощь», а копам, которых не жаль,
сносит крыши прелюдией номер четыре шопена

днем подбитый, горит вертолет в постороннем просторе,
жизнь прекрасна в июле: шуршит саранча за окном –
чьи-то казни (к египетским точно ни духом, ни сном),
вроде рыб, кверху брюхом впадающих в черное море

в наши дни что-то очень дурное творится с вещами –
и от них не спастись, забежав в антипутинский чат:
как давно сообщающиеся сосуды молчат?
ни друзьям, ни врагам ничего, гады, не сообщают

время бьет по своим, по чужим, и прицелившись – мимо,
вдруг жалея, как нижние части стеблей на стерне:
всё еще слышен плач на великой китайской стене,
столько римлян спустя от падения иерусалима

в марле желтого воздуха пепел и сажу руками
разводя, как бы некто в заветном былом тьму и свет,
ты идешь, как счастливчик, которому лишний билет
вдруг достался у входа в любую из газовых камер

* * *

годы проходят, и до дня рожденья
двое осталось непрожитых суток!
жизнь – не подарок: котлеты отдельно,
жизнь – когда мухи не плавают в супе

жил без «феррари», ушел от «роллс-ройса»,
дом не построил на острове пасхи:
жизнь, оказалось, не повод к расстройствам,
жизнь, может, жалоба, только не пасквиль

всяко пивал, кроме керосина,
ни с нлю не встречался, ни с йети:
жизынь по жёнам меня поносила,
жизынь меня поделила по детям

опыт немалый я нес за плечами,
что было видно по беглому взгляду:

жизнь разлучала с людьми и вещами,
жизнь познакомила с тем, с кем не надо

геной бывал, а когда довели –
был крокодилом, но самую малость:
жизнь, где б я ни был, меня находила,
жизни, при том, от меня доставалось

был в метрополитен, не был в ла скала,
слушал рэй чарльза лично и стинга;
жизнь по квартирам меня растаскала,
жизнь разбросала меня по ботинкам

как хорошо быть с любимой влюбленным,
а повезет – лет до ста (плюс лет двадцать):
жизнь – сто ответов от тополя с кленом,
жизнь – это праздник индукции, ватсон

что мне сказать? оказалась не сплином,
а по длине – мой размер, оказалось:
жизнь поводила меня по витринам,
жизнь – это то, что пригрел – и прижалось

Каринэ Арутюнова

Патараг*

Есть вещи, которые крепче могильных плит.
Иегуда Амихай

История вшита в ежедневное существование, она шьется сейчас, самой суровой нитью. Вереница измученных людей, идущих по пустыне Дейр-Зор. Вечное скитание. Снимки можно увеличить. Лица, лица, лица. Присыпанные песком, обострившиеся, истощенные. Голод, жажда, отчаянье. Позади всё сожжено, впереди – смутно.

Это не тогда, это сейчас. Это не с ними, это с нами. Идет Первая мировая и где-то там, на Южном Кавказе (как принято говорить).

Где-то там... резня, погром... юная бабушка Тамара, девочка из города Шуши... вот гимназия, в которой она училась, вот собор, в котором крестили ее. Где-то там (Сюник, Зангезур) мой дед. Они не знают еще, что дети их будут расти далеко, очень далеко от дома.

Снимки можно увеличить. В какой-то момент кажется, будто всматриваешься в собственное отражение. Изгнан, убит, пропал без вести.

Мне девять, десять, одиннадцать. Листаю страницы страшной книги. Потом, говорит отец. Не нужно тебе это читать. Не сейчас. Но я всё равно читаю, украдкой. Пока мне просто страшно – нет, не страшно, а дико, боязно, жутко. Я захлопываю книгу, закрываю глаза, перевожу дыхание. Это же давно, не сейчас, не с нами. Но как быть с тем, что у детей на снимке – мои глаза? Одни и те же?

Есть книги, которые нельзя детям. Есть книги, которые нельзя не читать. Их нужно читать, содрогаясь от. Чтобы однажды, сопоставив снимки, события, факты, осознать – в очередной раз: у истории нет выученных уроков. И сданных экзаменов нет. Она вшита в нас намертво и шьется всякий раз заново, на живую нить. По живым. По живому.

* * *

Жизнь вряд ли будет прежней. Как будто опустился (либо же, наоборот, поднялся) занавес, обнажив непреложную, давно существую-

*Патараг – месса, литургия, жертвоприношение (*арм.*)

щую истину. И всё стало предельно ясным. Во всяком случае, многое. И карта геноцида в кабинете моего отца, и красноречивой символической помеченные бывшие города и земли, и то, о чем всегда помнила его душа, и то, чем он делился весьма сдержанно. Вся эта бездна проживалась им в одиночку. Нет, конечно же, ошибкой было бы полагать, что он упивался скорбью. Боже сохрани – столько жизни было в нем, в его смехе, иронии и самоиронии (для меня высшее признание ума). Он заражал жизнью всё вокруг, его присутствие делало ее (жизнь) осмысленной.

Только сейчас, издалека, я могу видеть, как он выживал, сохраняя в себе – себя. Свои святыни. Свою отдельность, свое лишенное иллюзий понимание, – всё то, что сегодня с такой ясностью открывается мне. Вся неприглядная пустота осознания.

Западня. Капкан. Между огромным охочим до сладкого медведем и саблезубым тигром (или же шакалом). Сражаясь с внутренними демонами. Отдавая на растерзание детей.

Одни. В целом мире одни. Как одинок бывает любой смертный перед лицом истины – то есть в последний свой миг.

Как он хранил свое, в себе, себя.

То, что для меня было первой и праздной поездкой – что это было для него? Как захватывало дух? Приближение? Осознание, причастие? Как он пил эту воду, из каждого пулпулака и источника; как стремительно шел, не боясь обжигающего солнечного луча, и то, о чем боюсь думать, – как возвращался? Когда самолет приземлялся в киевскую сырость, что чувствовал он тогда? Ощущал ли внезапное сиротство (подобно тому, как ощущаю его я)? Либо же, следуя привычке всё самое дорогое носить в себе, терпеливо возделывал поле своей жизни, не претендуя на обладание невозможным.

Сейчас уже не узнать.

Никакие фанфары не извещают человечество о происходящей трагедии. Никакие колесницы не бегут впереди зарева. Нигде не ударяют в набат. А если и ударяют, то слышат его немногие, в основном те, кого это напрямую задевает.

Да, всегда можно укрыться в крепости. Всегда можно отодвинуться, найти оправдание. В конце концов, каждому выделено его время, его единственная жизнь. На радости, которых не так много по сравнению со страданием. А тут... как же не вовремя... Набат этот чертов. Рушат и громят, разбивают, оскверняют. Топчут. Где-то. Пока далеко. Так далеко, что можно сделать вид, будто к тебе лично это всё не имеет отношения.

Трагедия прочно встроена в наше существование. Не здесь, так там. Не сейчас, так потом. Не с ними, так с нами.

С недавних пор поселилась во мне странная дрожь. Которая не хуже любого предсказания сообщает о вселенском сквозняке. Дует от туда, с сирых пастбищ. Сквозит из сожженных домов и пустых глазниц.

Если бы я играла на виолончели, что бы я сыграла? Возможно, тему молчания. Или изгнания. Или великого одиночества последнего армянина. Последнего, кто абсолютно точно знал, о чем он молчит.

* * *

Быть беженцем некрасиво. Я имею в виду, настоящим, окончательным беженцем. Безвозвратным.

Не могу забыть вереницу эвакуационных автобусов, выезжающих за черту города; темноту, мелькание указателей. Тишину и в ней – голоса. Будто набегающая на берег волна, наждачный шорох, отчетливое присутствие чужих жизней, чьего-то интимного пространства, которое отныне не интимно. Нет укромного уголка, нет. Разве что вот это – рюкзак, зарядка, телефон, адреса. И ночь впереди – она, как бы там ни было, принадлежит тебе. Что дальше – неизвестно.

Беженцем быть неэстетично. Битком набитые сумки, вещи – случайному человеку они могут показаться ненужным хламом. Но люди за них держатся. Цепко. Потому что из дома. Которого, по сути, больше нет.

Нет его пока и в самой Армении. Кому-то повезет с родственниками. Но не всем. Ближайшая перспектива – казенные стены, справки, сочувствие. Оно тоже не бесконечно.

Грести нужно самому. Даже если сил не осталось. Грести, быть бодрым и благодарным, менять одежду, поддерживать ненужный разговор. Желательно не оборачиваться. Не ждать окончания страшного сна. Не надеяться на чудо.

* * *

Однажды (в мои четырнадцать) за столом нашего дома одновременно оказалось человек десять армян из Сирии, Ливана, из Алеппо, Бейрута и Дамаска. Десять, а может, и больше! Выросшие дети тех, выживших. Образованные, яркие, красивые, улыбчивые, сдержанные, с чувством собственного достоинства. Не забуду, как один из них вдруг запел. Такие голоса я слышала в Гегарте. Чистые, нездешние, уходящие ввысь. Будто молитва, причастие.

Помню лица и глаза сидящих за нашим столом. Глаза моего папы, грустные, но такие счастливые, светящиеся. Глаза молодых армян, объединенные этим узнаванием. Я помню тишину, которая воцарилась буквально на мгновение. Это была особенная тишина. Будто минута молчания. Ее никто не объявлял. Так молчат только близкие. И в этом молчании – всё. И память, и боль, и смех, и надеж-

да. И жизнь, которая продолжается в каждом из нас, и память, которой невозможно лишиться.

* * *

Сентябрьское солнце, рассеянно и благостно скольльзящее по верушкам деревьев и еще летней ярко-зеленой траве, – уходя, сентябрь дарит едва ли не последнее тепло этого года, но сквозящая тут и там золотая нить обжигает напоминанием о блаженных и далеких днях, о календарных листках, сорванных нетерпеливой рукой, о чуть душно-ватом ветре, о расколоте каштане, его маслянистой, будто умашенной воском поверхности. И вдруг, посреди тишины осеннего варшавского парка – безысходность свершающегося ежеминутно, вровень с моим шагом по занесенной листьями дорожке.

* * *

Приходит момент, когда война становится слишком будничной, что ли, уходит ошеломляющая яркость потрясения, соперничания, и тут, как нельзя более «кстати» – на подходе – новый исход, новые жертвы, хотя ничего нового в этом нет; горе умножает горе, предательство множит предательство, оно опирается на столетиями выверенную формулу множественных предательств и убийств..

* * *

Всё здесь и сейчас. Алеющий в кустах шиповник уводит в сторону величественных предгорий и вершин, которых ты касался, – по крайней мере, взглядом... восторженным, близоруким, упускающим подробности. Но нет, какие-то всё же остались в памяти, они перекачиваются по ней, будто шарики ртути...

* * *

Ностальгия по миру, который остался «там, в дымке воспоминаний». Укутанный этой дымкой, он кажется особенно прекрасным, трогательно неповторимым, щемящим.

* * *

Непринужденность – основа всякого верного действия. Не будь ее, всё покажется натужным, надуманным, нарочитым. Это как, скажем, размахивать флагом, спускаясь с трапа самолета. Или петь гимн. Отчаянно перевирая ноты и путая слова. Увы, слов я не знаю, нот тоже. А что я вообще знаю?

Зачем вам туда? Воевать? Защищать? Давать концерты на передовой?

Не ответишь ведь словами друга, того самого, карабахского, – смахнуть пыль, мы едем смахнуть пыль, – убрать завесу, отделяющую нас от света простых и непреложных истин.

Не переведешь на доступный язык ощущение (ничем не подтвержденное и не подтвержденное) внезапной и молниеносной уверенности в том, что нас ждут. Что это будет. Что мы – уже – едем – туда.

Порой достаточно слова – интонации: мы вас ждем, – и гудков – коротких и длинных – позывных из того самого места, где, опьяненные воздухом, вином, водой, каждым днем и часом, произносили мы здравицы и обещали вернуться. В будущем году.

– Разве мы пьем? – смеялся наш друг, имени которого я не произношу, – разве это пить? Так, смахнуть пыль, – смеивался он, размеренным жестом отмеряя количество выпитого и того, что предстоит выпить.

И мы пили, смахивая эту самую пыль, – дорог, суетных мыслей, неспелых и необоснованных желаний, поспешных действий, – мы смахивали эту самую пыль со старанием учеников, нашедших наконец своего Учителя.

– Зачем вам туда? Откуда? Зачем? – град корректно в общем-то поставленных вопросов уже не ставил в тупик. В какой-то момент и сами вопросы, и ответы на них становятся риторическими.

Сотни километров на раздолбанном такси лихого водила с бычьим затылком – лица я так и не успела разглядеть, – он несся со скоростью света, виртуозно огибая повороты, срезая углы, и только болтающийся впереди массивный крест, и проносящиеся мимо густеющие сумерки, а потом и крошечная тьма, убеждали меня в том, что мы еще живы. Оглушительный кавказский шансон расставлял акценты в нужных местах.

– Где я, а главное, зачем? – в слепом равнодушии отрывала я голову от спинки сидения, провожая мутнеющим взглядом уходящий день.

– Зачем вам туда? – смахнуть пыль, – шевелила я холодеющими губами, кляня себя за неосторожность, непредусмотрительность, не... правильные ответы, вызубренные накануне, вязли на зубах, но лица пограничников были суровы, непреклонны даже, – и, проглотив сентенции, я четко – насколько это было возможным – ответила: к друзьям. Цель визита – частная поездка. И, предупрежденная о том, что мир спокойствия (хотя и зыбкого весьма) остается за этой чертой, сделала шаг.

Год – это очень мало. И очень много.

Очень мало для того, чтобы беспечное и увлекательное путешествие стало небезопасным.

– Вы куда? В Степанакерт? Шуши? К кому едете? Цель визита? Адрес?

Проносающиеся мимо военные грузовики с веселыми белозубыми мальчишками не оставляли сомнений.

Территория зыбкого мира осталась позади.

В Сисиане, а до того в Горисе, я увижу этих ребят в придорожных кафе – идущих вразвалку, со сверкающими глазами на темных пыльных лицах – война меняет людей, – прошлогодняя пастораль с холодным таном в запотевшем кувшине отодвинется на дальний план; в кафе тепло и накурено – плотная завеса дыма смягчает остро-ту взглядов, – чужой? свой? чей?

Война меняет людей, проявляя лучшее и худшее, – война меняет дорогу, война меняет любого, кто ступает на ее тропу.

Резкий подъем в туманной взвеси – приближаемся к Шуши, разворот на 90, на 180, мерцание огней – будто сотен сверчков – во впадине Степанакерта, – всё то, что днем сразит торжественной необозримой красотой: ярусы, спуски, подъемы, все эти божественные округлые очертания – промелькнет за окном раз, другой, третий, – на обратном пути всё это будет иным, с точностью до наоборот, подобно тому, как сворачивается отснятая пленка – кадр за кадром; уйдут в прошлое слова, произнесенные при встрече, – да и важны ли они, эти слова, и что вообще является важным в этом более чем иллюзорном мире, в котором войны становится больше, а самого собственно мира – меньше, – ребята, мы вас ждали, – слова «смахнуть пыль» уже не покажутся удачной аллегорией, и даже не метафорой, и трое стоящих на обочине людей поймут это без лишних слов.

* * *

Дорога туда и дорога обратно – это совсем не одно и то же.

Три дня – это бесконечно мало и бесконечно много, – смотря от чего вести отсчет. Если с прошлого года – то закрученное спиралью время возвращает в беспечные – по меркам Арцаха – дни. Когда вино лилось рекой, а восторженные путешественники нанизывали впечатления, смакуя каждую подробность. Сегодня не время витиеватых тостов. Пожалуй, для чего-то иного эти дни и эти ночи. Эти зыбкие утра, эти рваные клочья тумана, нанизанные на вершины гор.

* * *

На Шуши потрачено было несколько часов – уже после блаженного возлияния молодого вина с мягким овечьим сыром, только что сорванной зеленью и настоящим «жингалов хац», угощением простым, на первый взгляд, бесхитростным даже, но это только на первый, потому как настоящий жингалов хац готовят только в Карабахе, и всё остальное, даже в хваленной ереванской едальне под одноименным названием, – подделка, эрзац.

Для приготовления и последующего поедания этого блюда необходимо сочетание и взаимодействие нескольких архиважных факторов: усталости, жары, долгой дороги, храма, вырастающего на

самой вершине горы, воздуха, воздуха, воздуха, одуряющего аромата трав, липы, чабреца, горной мяты и еще каких-то медоточивых желтых соцветий, солнца, легкой дымки, набегающей, внезапной тени от мощной кроны древнего дерева, запаха дымка, кизяка, медленного жара от раскаленной жаровни со вспыхивающими углями, мерцающими хищно из глубины двора, – женщины, обнимающей ладонями глиняный кувшин, брехливой собачонки, юлящей в придорожной пыли, голода, жажды, вина, легкого, веселого, молодого вина и овечьего сыра, – пока готовится главное блюдо, мы воздаем должное тени, вину, свежим стеблям кинзы, тархуна, котема, нежному мягкому сыру, ноздреватому, – ты любишь чанах? – чанах запиваешь глотком вина и заедаешь пучком кинзы, – соль, зелень, вино, воздух, тень, послеполуденная истома, ощущение праздника, бесконечности, условности часов и минут здесь, в окрестностях Гандзасара, – еще бокал, не пить, а так, смахнуть пыль, и заодно усталость, а также тревогу по поводу и без, нервозность, суетность, – здесь, в тени тутового дерева, воздать должное настоящему «жингалов хац», испеченному под открытым небом, – и это, пожалуй, является главным условием трапезы: соединение молекул воздуха, вина, разлитой в воздухе любви, – глоток, еще один, – кувшин вина не в счет, кто считает литры и глотки здесь, на острие вселенной, пересечении миров и дорог.

Но я не о том.

После божественного возлияния в тени тутового дерева мы направляемся в Шуши – всего на несколько часов соприкоснуться с пространством, очерченным древними стенами и ускользящими минутами, – здесь, на окраине города, время течет иначе, внезапным ознобом напоминая о себе. Ознобом, сопровождающим каждый шаг, мимо ржавеющих ворот, замков, женщин, застывших в проеме окон, мужчин, провожающих настороженными взглядами, коров, идущих по раз и навсегда проложенной тропе, мимо того, что прежде было шукром, церковью, домом, мечетью, школой, двором – вплоть до укрытого дикорастущими травами поля, упирающегося в обрыв, за чертой которого – ярус, еще ярус, торжественная полифония красок, слоев, тревожного птичьего щебета, влажного дыхания, поднимающегося снизу, – туда смотришь с опаской, не подпуская шальную мысль о возможности полета, – сонная синева гор, бирюза и лиловость заката, величие выступающего из дымки пейзажа, который гораздо ближе к Богу, чем к нам, стоящим над пропастью здесь, на окраине мира.

* * *

То ли количество пролитой крови, впитавшейся в эту землю, то ли чаша страданий была переполнена не единожды, но он так и не восстал из руин, этот город, воздух которого чуть горчит и пьянит, и тревожит, – куплю домик в Шуши, мечтательно улыбается Давид,

двухметровый богатырь с улыбкой ребенка, – Давид живет на окраине Степанакерта, а Шуши – его мечта, и действительно, при свете дня совсем иным веет от этих мест, – такой вот спокойной силой и ясностью, и детской безмятежностью, и цельностью, – подушечки длинных пальцев ритмично постукивают, – Давид, оказывается, не только водитель такси, но и джазмен, страстный меломан, – и правда, с каждым новым витком тема гитары обростаёт волнующими подробностями, слоями, тонами и оттенками, ей вторят клавишные и ударные, глубина звука соответствует синеве и глубине небес, еще чуть-чуть, мы касаемся ближайшего облака, задумчиво проплывающего мимо, облака будто хлопья свежайшего мацуна, они утоляют жажду взгляда, насыщают, словно еда и питье, а дорога здесь идет над обрывом, вьется, закручивается, повороты на 90, а то и все 180, но машина идет плавно, не едет, а летит, – еще немного, мы оторвемся от земли, вознесемся, но нет, мы едем всё же, – с Давидом нет волнения, нет страха, хотя ощущение опасности есть, и я от всего сердца желаю исполнения Давидовой мечты – пусть будет маленький домик в Шуши, маленький дом для великана, который любит джаз, свой дом и свою собаку, – развернувшись, он листает снимки – вот он, мой гампр (что в переводе означает – мощный, сильный), армянский волкодав, хотя какой волкодав, он добрый, ну, разве что чуть-чуть агрессивный, но это даже хорошо, это же не морская свинка, а сторожевой пес.

Давид смеется. Он не дает уснуть – как профессиональный водитель, рассказывает истории (совершенно правдивые) и за нас, и за того парня, – благо, нам предстоит долгий, долгий путь, не менее шести часов.

– Я старомодный, – сообщает он, – вот доказательство – старенький кнопочный мобильник; я против прогресса, цивилизации, а всё, что нужно для жизни, у меня есть, – он кивает на молчаливые горы, на склоны, залитые солнцем, покрытые жестким кустарником и нежными голубыми и белыми цветами, фиалками, нарциссами, ромашками; на обочинах аленют, вспыхивают маки, дорога резко уходит влево, вправо, и ей вторит испанская гитара, – уезжают, зачем... чтобы жить хорошо, скажи, что хорошего в Москве вашей (вот здесь он ошибся в названии города) или где-нибудь еще, – всё, что нужно для жизни, уже здесь – воздух, тишина, вода, вон источник, пей сколько хочешь, но нет, там будто медом намазано, а я так скажу; не медом, а грязью, вы по пояс в грязи, вам уже не выбраться...

Дорога вьется, уходит вверх, я молчу, не возражаю, нет у меня желания возражать, как нет желания покидать эти места, еще чуть-чуть, они станут точкой на карте, все эти горы, храмы, источники, стоянка, автобусная станция с минимаркетом, скучающей продавщицей, у которой нет и быть не может сдачи, – суровые вислоносые мужи пьют свой горький кофе-сурч, а там, вдали, посреди виноградников, голубая крыша дома, которого еще нет, но будет, непременно будет, дом

Давида, во дворе которого будет резвиться армянский гампр, кавказская овчарка, слишком добрая для сторожевой собаки, немножко агрессивная, потому что волкодав – не морская свинка, это каждому ясно.

* * *

А всего-то и нужно было, что капля вина, и еще капля, плюс глоток, и вот уже бокал полон, он более полон, нежели пуст, – отливает рубином, и, конечно же, гранатом, его внутренним светом и сиянием, его наполненностью и терпкостью, – таково настоящее гранатовое вино, мечтать о котором не менее прекрасно, чем пить его, медленно, глоток за глотком постигая совершенство этого мира, в котором так много несовершенного, но глоток, повторяюсь, за глотком, капля за каплей, и вы постигаете совершенство несовершенного, открывая некую истину, доступную лишь верным последователям Омара Хайама, великого виночерпия, ничтожными учениками которого вы, собственно, и являетесь, – заметно уступая в искусстве составления венков и букетов, – словесных, разумеется, каких же еще, но шаг за шагом, глоток за глотком, вы постигаете нежное искусство любви к этому несовершенному миру; с каждой каплей вы впитываете душу граната, его тело, кровь, которая не что иное, как квинтэссенция наивысшего проявления любви, ее, так сказать, плод, – в результате смешения воздуха, влаги, солнца, пота, желания, желания помноженного на желание, – и вот – хрупкое и в то же время прочное гранатовое деревце, выросшее меж суровых скал, – алая сердцевина цветка – всего только обещание, более, чем обещание, – залог множественности зерен, их сладости, их благородной кислинки, – таков настоящий гранат, – вино мы познаем позже, на исходе осени, когда таинство вкуса и цвета, соединившись, станут духом и плотью, и новым желанием, и осознанием предела, за которым, вопреки нашим представлениям о жизни и смерти, нашим скромным представлениям о бренности и конечности сущего, начинается новый отсчет – времени, жизни, любви, – и так, капля за каплей, мы насыщаемся любовью, мы пьем ее, собранную по капле, по клетке, по молекуле, мы обретаем души всех любящих, молитвы всех скорбящих, но вот он, секрет: пройдя долгий путь от лозы к цветку, от цветка к плоду, от плода – к вину, скорбь, очищаясь от примесей, становится радостью, она дополняет – весьма симметрично – ощущение полноты бытия, невозможное без капли любви, грусти и настоящего гранатового вина.

* * *

Когда-нибудь, когда-нибудь – слепая, почти преступная уверенность в незыблемости, вечности, верности однажды покинутого. Не допускающая мысли об окончательной потере.

*Шуши–Степанакерт–Ереван, апрель 2016 –
Вашиава, сентябрь 2023*

Владимир Гандельсман

Дифирамб

Вадиму Жуку

Мало у кого так много:
концентрации жизни на единицу объема;
выхвата ее светового на каждом повороте;
свободной точности;
прицельной свободы;
трезвости под хмельком благодатной;
(«У кружки, прикованной к баку,
Помятый продавленный бок»)
вагона, взятого словом с первой попытки;
погромыхиваний тамбурных;
шатких протискиваний;
в окне перебивов под лязг сцеплений;
пролётов в недосыгаемой близости внешнего мира.
(«Я вместе – внутри и снаружи,
Я жизни чужие живу»)

Мало у кого так много:
беглых вылазок зрения;
зимних пейзажей, неотвязных в своем равнодушии;
укола мимобежной боли,
столь секундной, точно не было ни ее,
ни пейзажа проезжего;
(«На сарае замок. Над котельной дымок»)
Петроградской моей стороны,
ее века посеребрённого
и Серебряного ее века;
блоковской музыки по пути к островам,
к Елагину мосту и заснежённым колоннам.
(«И каждый вечер в час губительный
На Петроградской стороне»)

Сколько
не случившихся встреч:
в детском драмкружке в «Промке»*,
где ты – Чиполлино, где Рогозина – Редиска,
где я тоже кто-то, но годом позже;

в трамвае № 17, скрипящем у больницы Эрисмана;
 в Учебном театре и в Рюмочной на Моховой;
 в цирке Чинизелли в снежную крапинку снаружи,
 с раздачей подарков внутри, со счастливой
 клоунадой, так преображенной в твоих стихах;
 в цирке... с Бимом и Бомом,
 поющими до нашего рождения:
 «По-французски – лё савон,
 а по-русски – мыло.
 У французов – миль пардон,
 а у русских – в рыло»...
 с воздушным шариком,
 препарированным тобой.
 («И в самый полушарик вверчен
 Язык сторожевых собак»)

Сколько наших невестреч
 где-нибудь по пути в Бологое;
 бегств от себя, за собой, от себя,
 я настаиваю: не бёга, но бегств за собой-от себя,
 с высадкой в черную зиму, в сугробы
 проселочных и разбитых дорог;
 позора вины
 в жажде быть любимым
 («в отельчике недорогом»
 или на «нетопленной январской даче»),
 отложенного горя, разрозненных,
 спешных, погубленных бегством
 спасительных никуда возвращений;
 наших разминовений, восполненных через годы
 дружеством, начиная с первой встречи,
 совсем недавней,
 в Виленском переулке, 4.
 («И песенка спета, и темным снежком
 Присыпано желтое зданье вокзала.
 – Ты что-то сказал?
 – Ты что-то сказала?
 Никто никогда не бывал в Бологом.»)

Редко у кого так часто:
 рождение трагедии из смеховой культуры
 сегодняшнего средневековья –
 о этот юнг, о эта ницше! –
 какая мощь перевоплощения –

*(клоун нукулин в «двадцати днях без войны»,
джентельмен удачи леонов в «белорусском вокзале»,
фигаро миронов в «фантазиях фарятьева») –*

какая мощь, повторю, перевоплощения
Вадима Жука,
потешника и сочинителя скетчей
театра «Четвертая стена»,
в стихах,
в «цирковом» номере с летальным исходом,
«когда задвигалось и загремело!»** –

*(и в других, в других «репризах» –
это ли не обратный фокус от сеанса черной магии:
заснуть в Москве 23 февраля 2022 года,
а проснуться в Берлине 1 сентября 1939-го?) –*

Редко у кого так часто:
драматургия и театр стихотворения,
когда отмашку дает Ленин,
когда «печальный Ленин в мягком мавзолее
нешумно, по-египетски чихнул»
и на его чих вышел на сцену Иоанн Васильич Грозный
и явились в боевом порядке и в историческом
сумбуре вместо музыки
Шостакович,
Оруэлл,
Кафка,
Чапай,
Железный Феликс,
Босх,
Дали,
ГУЛАГ,
Шаламов,
Гойя,
и всё это –
диалог Гамлета и могильщика
в присутствии черепа,
Гамлета и Горацио –
«Бедный Йорик! – Я знал его, Горацио» –
 («Скелет в шкафу! Никто не засмеется.
 Достанут этот маленький скелет,
 Вцепившийся в бесцветную собаку
 И вынесут на страшный белый свет»)

Мало у кого так много:
 войны,
 неизвестного солдата,
 рожденного еще в 37-ом,
 раскалившихся от ненависти жадных людей,
 финала «Леса» Островского –
 «Люди, люди! Порождение крокодилов! <...>
 О, если б я мог остервенить против этого адского
 поколения всех кровожадных обитателей лесов!»

Мало у кого так много:
 страшного, абсурдного, зверского,
 непостижимого, ставшего такой реальностью,
 что и поверить невозможно –
 может быть, всё-таки театр сие
 и паяц истекает клюквенным соком? –
 и тогда: «Всё выдумки! Про горе, про любовь,
 Про смерть, про боль. Всё только хитрость грима?» –
 Нет, другой Гамлет подсказывает:
 «Сейчас идет другая драма».
 («Не написать ли вам пока не поздно
 Воспоминая обо мне?»)

Лучший из рыцарей письменного стола,
 из начавших граалить
 не в бесплодных поисках метафорической чаши,
 но являя ее, найденную, в форме стихотворения,
 являя ее
 трудом ежедневным
 пророческим трудом памяти будущего
 и скорбным – памяти прошлого;
 ты мальчик, ты в роли своего папы
 идешь по Киеву в дореволюционном году,
 да ведь и я там иду – еще одна не встреча,
 обернувшаяся встречей сейчас –
 и вот она, память прошлого и будущего...
 («Мы прошлый раз ходили в Бабий Яр,
 Ну яр себе и яр, смешно, что Бабий»)

А вот ты в роли Хаима в «Тяжелом песке»,
 ты стоишь на декоративном крыльце,
 а я – на том же месте, но на крыльце
 еще настоящем,
 в самом детстве, в Украине,

в Черниговской области,
 где так много братских могил,
 где я ничего этого не понимаю,
 где я счастлив насквозь, до мозга костей.
 («Мелькают кузнечиков худеньких спины,
 На мове их 'коники' зовут.
 Мы в городе Щорсе, мы в городе Сновске»)

Мало у кого так много
 всего, что я люблю.
 Как жаль, что это убивают,
 и как хорошо, что ты состоишь из своих стихов.
 («Из сдавивших мне горло цветаевских строк,
 Из пробитых ладоней Христа,
 Из того, наконец, что со мною сурок,
 А дорога, как Оля, чиста»)

Октябрь 2023 года

* Дворец культуры им. Ленсовета

** Когда задвигалось и загремело,
 И на столе запрыгал суп в кастрюле,
 Попрыгал, а потом упал.
 Игрушки сразу лица отвернули –
 Не их это игрушечное дело.
 Тогда он в шкаф залез. Он в нем лежал и спал.
 Потом проснулся, покричал, поплакал,
 Поел размякшую картошку с пола,
 И взял с собою синюю собаку,
 Вернулся в шкаф. Теперь его на свете нет.
 Среди ислевших пиджаков, подолов,
 Когда-нибудь найдут его скелет.
 Нашедшие могли бы засмеяться –
 Скелет в шкафу! Никто не засмеется.
 Достанут этот маленький скелет,
 Вцепившийся в бесцветную собаку
 И вынесут на страшный белый свет.

Михаил Ордовский-Танаевский

4.5.0.*

«Нужна помощь» – гласила записка, приклеенная к стеклу.

Значит кому-то хуже, чем мне. Я потянул на себя дверь и вошел. В будочке справа спал с открытым ртом мужичок в вязаной шапочке. От стука закрывшейся двери он вздрогнул и, не совсем еще опомнившись, уставился на меня.

– Извините. Там объявление...

– Да. Конечно. – Он взял в руки телефон. – Минутку.

В полной тишине милостивая женщина молча вела меня по бесконечным лестницам и коридорам. Я подумал, что вряд ли сумею выбраться отсюда сам. Наконец, мы вошли в небольшой зал, устроенный амфитеатром. Ряды кресел сдвинуты к стенам, высокие венецианские окна закрыты плотными, крашеными листами ДВП и завешаны оранжевыми шторами. Осветительная аппаратура под потолком. Там, где предполагалась сцена, стояло некое сооружение выше человеческого роста, как бы широкие ворота со сплошь свисающими с верхней перекладины до пола тонкими веревками.

– Вас как зовут?

– Михаил. Миша.

– Я – Катя. Мы вяжем маскировочные сети. Скоро придут еще люди. Куртку можете положить здесь.

Мы спустились к «воротам».

– Смотрите. – Она встала на стул возле левой «штанги» и подняла руки к перекладине. – Берёте две веревочки, отсюда и с другой стороны, и связываете узлом, вот так. Теперь эти две – тоже узлом. И еще. Получается такой ромбик, примерно в три сантиметра высотой. Видите? Теперь соседние две... Тоже ромбиком. Попробуйте сами.

Я попробовал.

– Нет, ромб слишком маленький.

Я связал еще ромб.

– Ну вот, – улыбнулась Катя, – получилось. У вас ловкие пальцы.

– Благодарю.

С полчаса мы молча вязали ромбики, успев пройти три ряда от штанги до штанги. Иногда наши руки соприкасались, и я чувствовал себя идиотом.

* «Все спокойно» (армейский сленг)

– Прекрасно! – Катя слезла со стула. – Верхние ряды самые трудные – руки устают.

– Шизофреники вяжут веники...

Я почувал, что моя шутка повисла в пустоте, как наша сеть.

– Напрасно вы так.

– Простите. У меня такой характер – ядовитый!

Она засмеялась.

– Неправда. Я вам скажу, может быть, вам это покажется странным, но для меня каждый узелок что-то значит. Я не могу это точно сформулировать, но мне сейчас очень важно, что я именно соединяю, а не разрываю.

– Порвалась дней связующая нить, как мне обрывки их соединить?..

Меня прервал звонок ее телефона. Она отошла в угол зала, а я связал еще десяток ромбиков.

– Завтра в экомгазине на Житомирской будут куры. С десяти. И еще там всегда есть хлеб. Вы знаете, где он?

– Да, знаю. На углу Гончара.

– Да. Хотите кофе?

– Нет. Мне кофе нельзя. Спасибо. Я пойду.

Она подождала, пока я надену куртку.

– Вы еще придете?

– Постараюсь, – усмехнулся я.

– Правда?

– Приду.

Я вышел на пустой Андреевский спуск и перешел на другую сторону. Театр занимал симпатичный двухэтажный особнячок. Всего восемь высоких окон по фасаду. Здание стояло на откосе, поэтому дверь, из которой я вышел, оказалась немного выше окон первого этажа. Я пошел вниз, в сторону Подола. Бронзовый Булгаков сидел внутри горы светлых мешков с песком. У подножия лежал букетик алых тюльпанов. «Музей не працуюе» – висела записка на двери.

«И вот, в зиму тысяча девятьсот восемнадцатого года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии.»

– Нет, Михаил Афанасьевич, вы ошиблись. Всё повторилось и в двадцатом, и в двадцать первом. К сожалению, всё повторилось... Урок не выучен.

Я вдруг понял, что разговариваю сам с собой вслух. Что-то случилось? Да нет, вроде ничего.

У основания на фонарном столбе виднелось какое-то литье. Я присел. Крошечный ангел с большими крыльями и горящей свечой в руке.

Кто-то из доброхотов принес в театр старые рабочие спецовки и

штаны. Мы сидели парами и резали их портновскими ножницами на узкие ленты, с тем, чтобы после плотно вплести их в наши «ромбики». Катя с подругой Леной, а я со Славой. Девушки тихо щебетали о чем-то своем, а Слава рассказывал.

– Допускал ли я, что Киев возьмут? Да, конечно. Тем более, что я получал сообщения прямо с линии боев. У нас дача прямо на этой линии оказалась. Там жила женщина, Галя. И мы с ней перезванивались всё время. Перезванивались и думали о том, надо эвакуироваться, не надо эвакуироваться? Она к нам сюда, в Киев, или мы к ней туда. И с ней были три большие собаки. Была одна сучка, такая, как у меня Вера, ее ровесница, большой кобель, Верин муж, сто четыре килограмма, и их сын, которого мы так и прозвали «сынок». В общем двести килограмм ньюфаундлендов там находились. Все победители и призеры выставок. И еще там жила кошка. Вот такое там было население. А теперь представь себе – река Ирпень...

– Где-то в ее пойме есть место, где было большое сражение... – вставил я, чтобы показать, что я не глухонемой.

– Да, в начале четырнадцатого века. Великий князь литовский Гедиминас разбил войско Галицко-Волынских князей и вошел в Киев.

– В то, что осталось от Киева.

– Хорошо. Где точно было это сражение, никто не знает, но мне удобно предполагать, что это происходило как раз напротив моей дачи на нашем лугу. Мало того, эта же пойма Ирпеня – она была краем стратегической обороны, которая строилась перед Второй мировой войной.

Мы взяли за следующую спецовку.

– Так вот, Святошинский лес. Ты знаешь, что на самом деле это не лес, а посадка, которой 200 лет?

– Да.

– Лес смешанный, причем там огромное количество дубов. Там настолько много дубов, что уже на моей памяти там собирались стада диких кабанов до сорока голов. И этот лес выходит к пойме Ирпеня. Там заливные луга, как раз там и стоят наши дачи. А в самом лесу – мощнейшие доты. Там была целая линия их. Так называемая «Линия Молотова». Я не случайно всё это рассказываю, ты сейчас поймешь. Ближайший из них находится от моей дачи на расстоянии в пятьдесят метров. Но он разрушен. Я не знаю, что там сохранилось под землей. А другой – от меня по прямой, наверное, метров триста, я не измерял, но очень близко – он полностью сохранившийся. Там был музей. Этот музей как-то так работал, его можно было посещать, но надо было договариваться.

Девушки закончили резать. Катя встала.

– Нужно еще что-то зелененькое. Пойду в свои закрома.

Она ушла.

– Так вот, началась война, – продолжил Слава, – и этот дот-музей

заняла воинская часть. Наши хлопцы засели в этом лесу и сразу же взорвали мост. Мост, который отделяет нас от Ирпеня, и эти наши дачи оказались на линии огня, и мы поэтому всё время получали оттуда репортажи. А там в большинстве домов зимой не живут. И Галя, которой пооставляли ключи от этих дач, она везде пустила наших солдат. К нам они просто приходили, Галя им готовила и так далее. И когда там стало совсем горячо, они сказали Гале, что ей нужно уезжать.

В зал вернулась Катя.

– Я нашла старые шоссy Гамлета, – она показала мне зеленые рейтузы.

– Вот так принц остался без штанов... Беда.

Девушки засмеялись.

– Вернется – я пошью ему новые...

– Этот принц, – показала пальцами кавычки Лена, – вряд ли вернется.

– Перестань, пожалуйста. Все вернется.

Лена хмыкнула.

Мы со Славой покончили со своей порцией спецовок и вышли в садик позади театра передохнуть.

– ...Я точной даты не помню, там уже был разгар этих боев. Дочка в городе была. Но по трассе туда уже не пускали. С огромным трудом мы организовали машину и разрешение. И вот она на машине, воензированной, поехала туда. Километра за два их остановили на шоссе. Проверили документы. Машина там осталась, а она пошла пешком. Идет через лес, под выстрелами. Солдаты ей показывали, где безопаснее, и она дошла туда. Собрала собак, и те хлопцы, которые жили у нас, вывели их всех обратно к машине. Один из них принес переноску с кошкой.

Слава замолчал. Солнце грело уже совсем по-весеннему. Я ждал.

– Оказалось, что у нашего основного кобеля был ожог глаз и ожог легких, и он через две недели умер. Вроде как от сердечной недостаточности, но он действительно сильно пострадал во время этих боев. От взрывов, наверное.

Длинным пустым коридором с афишами и портретами актеров на стенах мы возвращались в зал.

– Вот где настоящая мертвая тишина – в пустом театре! – сказал я.

– Да, пожалуй.

– Ууууу! – крикнул я.

Звук улетел за поворот и там умер.

В зале девушки стояли на стульях и вплетали ленты в сеть. Получалось нечто неожиданное и очень красивое.

Интересно, что спрячут под нашу сеть?

Я ненавижу эти сны. Издевательские и унижительные. В них все-

гда со мной происходит что-то «НЕ», что-то совершенно невыносимое, из чего нет и не может быть выхода, и я выныриваю из сна с открытым ртом, полный отчаяния и ужаса.

А любимые – с полётами, когда я едва заметно отталкивался от земли, от пола, даже однажды от воды в озере, и улетал в тишину неба, оставляя внизу удивленные лица – эти сны ушли, исчезли. Я помню, что летал стилем «брасс»: руки над головой и – медленно, очень плавно – вниз... Вероятно с земли я походил на летящую лягушку. И я просыпался, улыбаясь. Однажды мне пришлось в голову, что я перестал летать с того дня, когда мой зять погиб в Донецком аэропорту. «Киборг»* Олег.

И вот опять. В яблоневом саду притаился особнячок суда. Мой конвой отвернулся, и я выскользнул наружу. Ночь. Я пытаюсь выбраться из этого сада, обнесенного сеткой рабица, луч фонаря гонит меня, я ищу и не могу найти щель в решетке из ромбов, а она стягивается и стягивается вокруг меня, как живая. Я начинаю скулить и по-собачьи рыть землю под решеткой...

Я открыл глаза и судорожно вдохнул. Выла сирена воздушной тревоги. Это чертово устройство стояло где-то совсем рядом с нашим домом и буквально высверливало мозг. Сид пришел к моему дивану и, вилля своим «бубликом», вопросительно смотрел на меня. Я моргнул ему. Сид улыбнулся и сел. Он дождался, когда возникнет первый, самый низкий звук и тогда, подняв голову, завыл в унисон с сиреной. Рот приоткрыт, кончик языка слегка шевелится. Тремоло.

– Успокойся, Сид!

Он обиделся и ушел под стол.

В Яремче, под санаторием, где я в феврале болтался после инфаркта, в саду действительно стоял особнячок местного суда. Я еще удивлялся, что туда ни разу никто не пришел.

Сида меня недавно попросил приютить Дмитро, высокий тощий хлопец, живший тремя этажами выше.

Большухий, весь черный с белыми носочками на пальцах ног, пес улегся у двери.

– Он привитый и с таблеткой от блох. Тут в рюкзаке еда и его вещи. Утром и вечером после гуляния по два черпачка. А это Вам, – он положил на столик зеленый пакет.

– Хорошо, – согласился я. – Вдвоем веселей.

На пакете значилось: «Добовий польовой набір продуктів ДПП-5**». Калорійність 3500 ккал».

Я налил в миску воды и поставил возле Сида. Тот не обратил на меня никакого внимания.

* Так называли защитников Донецкого аэропорта в 2015 году.

** Суточный полевой набор продуктов

Дмитро нашел что-то в своем телефоне и протянул его мне.

– Это его дом.

Я увидел его с Сидом на руках среди руин. Из праха бывшего жилья торчала кирпичная стена, а на ней почти во всю длину кто-то написал Нестеровское «Видение отроку Варфоломею». Рядом черной дырой окно. Справа обгорелый остов машины. И голубое небо с кучевыми облаками, похожими на взрывы.

– Там крыльцо, слева. Он выкопал под ним нору и в ней жил.

– Где это?

– Харьковщина. Я не помню названия.

Фото притягивало взгляд, но при этом хотелось закрыть глаза. Я вернул телефон.

– Чай, кофе?

– Спасибо, мне еще надо в администрацию. Полтора месяца мы там, а контракты они удосужились окончательно оформить только сейчас.

– Как там у вас?

– По-разному.

Дмитро снял с Сиды шлейку и отдал мне.

– Сид, послушай меня. Ты поживешь здесь. С Мишей, – он показал рукой на меня. – Тебе с ним будет хорошо.

Сид встал на задние лапы. Дмитро присел и обнял его. Так они стояли-сидели, покачиваясь.

– Не грусти, пожалуйста. Всё будет хорошо. Я скоро вернусь.

Дмитро встал.

– До свидания. Да – Сид умеет петь.

Он выскочил из квартиры, а мы остались вдвоем с Сидом.

– Ему месяцев восемь, – определил Слава, когда мы появились в нашем дворе. – В нем кровь ласк.

Сид никак не хотел уходить далеко от дома. Он явно боялся открытого пространства и всё время норовил идти так, чтобы с одной стороны его что-то защищало. Он шел бок о бок со Славиной Верой, огромной, черной, мохнатой, ни на шаг ее не обгоняя. Когда она ложилась, он устраивался рядом.

В небольшом холле перед кабинетом Кати с табличкой «Художник по костюмам» мы вдвоем вкушали разогретый на плитке сніданок* из солдатского пайка – «каша гречана з куркой». Нашу красивую сеть, свернутую длинным рулоном, только что вынесли и увезли двое военных. Я спросил Катю, что она делает одна в пустом театре.

– Я и сама удивляюсь! – засмеялась она. – Двадцать четвертого мы все сбежали в театр. Забили плитами окна в зале, заложили меш-

* Завтрак

ками с песком окна в подвал со стороны садика. Или нет – мешки были позже... Я уже не помню. Потом как-то все исчезли, а через дня два мне позвонила директриса. «Я уезжаю, у меня дочь.» Ну хорошо, ладно. И тут же говорит, что мне можно бы побыть в Киеве, поскольку я одна, а ей больше не на кого оставить театр. Она не приказывает, но как-то так. Ну... Я и не собиралась уезжать.

Вскипел чайник. Я опустил в чашку пакетик «солдатского» цейлонского чая

– Моя дочь с внуком уехали на пятый день. В Польшу.

Катя варила себе кофе в джезве.

– Это когда уже поспокойнее было. А вот на второй день бомбежек я проснулась от такого взрыва, что я час не могла сердце привести в порядок. Что я только не пила, я не могла придти в себя. Оказывается, попало на Подол, рядом с рынком, куда я раньше ходила. Это было самое близкое. Потом близко было на Героев Днепра, на Оболони... Но я как-то не могу сказать, что мне было страшно. За эти дни я приучилась понимать, с какой стороны идет звук. Да, вот что: я видела, как расстреливают самолет. Из окна квартиры. Трассирующими ракетами. Далеко в небе летел самолет. Звука я не слышала, я просто оказалась у окна и увидела эти «трассеры». Пунктирами... Взрыва не было. Видимо, он избежал этого... потому что взрыва не было. Но картинка...

Зазвонил ее телефон.

– Ленка внизу. Что-то принесла.

Лена выгрузила нам из своей «кравчуки»* разные «долгоиграющие» продукты: растворимый кофе, какие-то концентраты, каши. Всё польское.

– Я была в костеле на Трехсвятительской. Отсидела службу – очень интересно, кстати, а потом стали раздавать гуманитарку. Добре, я побежала, завтра придти вязать.

Катя тут же отдала часть сидящему в будке пареньку.

– Нас на охране трое: это Николка, еще Алексей и я. Дежурим сутки через двое.

Мы вернулись в холл. К утреннему кофе или чаю нашим защитникам давалась пачка галет.

– У меня, как и у всех, абсолютно сместились день и ночь. Потому что ночью телевизор не выключался. Ни здесь, ни дома. Спать практически было невозможно. Мне не было страшно ни одной минуты. Одиноко – да. Один раз на улице, очень близко, я услышала, вероятно, «убитый» снаряд, взрыв был от «убитой» ракеты. Мы все так обернулись и быстро зашли в аптеку. Это было девятого марта, я хорошо помню, уже бомбежек не было, а снаряды всё равно были. Я это

* Сумка на колесиках. Названа так в честь первого президента Украины Л. Кравчука. В голодные 90-е годы все в Киеве ходили с такими сумками.

запомнила, потому что дяденька, который стоял рядом, сказал: «Тарасов день. Это на день народження». Я спросила: «Вас зовут Тарас?» – «Нет, говорит, я Богдан.» Это был день рождения Шевченко. Вот к девятому марта, это я точно знаю, никто ничего не боялся. Две недели прошло.

– Да, я это понял, когда вернулся из Яремче. Удивительно.

Солдатские пакеты «обід», в котором булькал борщ, и «вечеря»* Катя отдала мне обратно.

– У меня всё есть.

Мы вышли из театра и пошли вверх к собору.

Кто-то вывел на заборе черным фломастером печальную весть: «Бананы зникли»**.

На совершенно пустой киевской улице двое хохотали, как сумасшедшие. Оказалось, что Катя умеет смеяться до слез. И мне опять стало уютно в Киеве. Мы не спеша поднимались по песчаным плиткам тротуара.

– Вы знаете, – говорила она, – у меня где-то... когда прекратились эти бомбежки, условно говоря, засело ощущение, что и пусть: что будет – то будет. И рядом с этим появилась какая-то очень нехорошая мысль, когда я стала думать только об этом. Я поняла, что... что мне всё это интересно наблюдать. Потому что я стала смотреть за людьми. Мне кажется, это ощущение постыдное, не знаю, но оно есть.

– Была такая байка: жители астероида с ужасом наблюдали приближение Челябинска. Я думаю, что нас угораздило попасть на перелом эпох. И это действительно безумно интересно. Но мы-то не на астероиде. Прежняя наша жизнь уже никогда не вернется, а про ту, что будет, мы сейчас можем только догадываться. Если она будет, конечно.

– Послушайте, Миша, – она остановилась. – Я точно помню, когда со мной это случилось: в пятнадцатом году. На вещевом рынке я покупала вещи для фронта. Я хотела купить термобелье. Но я не знала, сколько оно стоит. И я подошла к очень простой женщине. Я бы даже сказала, что она не горожанка по виду. Она продавала термобелье. Оно очень дорогое было, и у меня хватало денег только на два. И эта женщина у меня спрашивает: «Вам какой размер?» Нормальный вопрос, я даже об этом не подумала. Я говорю: «Я не знаю» – «Как не знаете?» – Я говорю: «Я ребятам на фронт...» И у нее слезы покатились. Она вместо двух дала мне три. Одно бесплатно. И вот в эту секунду я поняла, с кем я имею дело. Мне сюда. До свиданья.

Она ушла под арку, расписанную цветами и бабочками. Я смотрел, как она поднимается в сторону детинца навстречу солнцу. В сквере возле собора толпились люди. Дети продавали свои поделки в пользу ЗСУ. Рисунки, крошечные колье, вязанные из шерстяных ниток,

* Ужин

** Бананы исчезли

куклы-берегини. Еще они пели. Я опустил триста гривенъ в прорезь крышки на трехлитровой банке за глиняную расписную кружку с ушастой собачкой, похожей на Сида, на ручке.

Сид скучал по мне. Никто в жизни, кроме внука, так не радовался моему появлению, как он, а свои тапки я всегда находил под столом, где он предпочитал спать. Тогда я стал брать Сида с собой в театр.

Катя сняла с двери призыв о помощи, поскольку теперь в зале собиралось человек по десять, и мы со Славой соорудили вторую «сетевязалку». В его дачном поселке не осталось ни одного целого дома.

– Судя по косвенным признакам, у меня на чердаке был снайперский пункт. Там лежка такая осталась. Оттуда всё просматривается: лес в одну сторону, луг – в другую.

Теперь уже мы не резали на ленты вещи: друзья Кати из магазина тканей подарили ей кучу разноцветных лоскутов. На спуске, неподалеку от «замка Ричарда» открылось кафе, куда мы дружно бегали на «кофе брейк». В один из дней в театре появился Антон, немногословный, одышливый человек в летах с седым ежиком на голове. Видимо, он приходил издалека, потому что, поднявшись в зал, он минут пятнадцать отдыхал. От него просто веяло одиночеством.

Как-то раз мы оказались с ним в зале вдвоем. Мы молча вязали ромбики, думая каждый о своем, пока я не почувал, что мой напарник устал.

– Передохнем? – спросил я.

– Да, да, – не сразу ответил он.

Я потряс кистями, давая отдых рукам. Антон, глядя на меня, повторил.

– Вы знаете, я практически перестал спать по ночам. Не могу заснуть.

Он отошел от сети и сел в кресло.

– Лежу и думаю, как и все мы сейчас, наверное... Думаю о наших ценностях. О том, что есть ценности, а есть комфорт. А ценность всего одна – людская душа. Вы понимаете?

– Да, конечно.

– В этом мире нет ничего уникальнее, неповторимей, драгоценнее того, чем является человеческая душа. Нет ничего дороже – вот у меня сейчас мурашки по затылку бегут.

Антон замолчал.

– Мы можем выйти в сад, – предложил я на правах хозяина. – Или выпить по чашке кофе.

Он внимательно посмотрел на меня и встал.

– Да, да. Пожалуй, кофе!

– Хорошо.

– Всекие разговоры о ценностях в жизни вообще надо начинать с того, что людская душа единственна, персоналистична и потому не

подлежит никакому ущемлению, – громкий голос Антона заполнял пустой коридор. Он, видимо, волновался, заговорив со мной о каких-то важных, уже сформулированных для себя материях.

Мы пришли в холл.

– На мой взгляд, всякая война ужасна и решительно недопустима, – продолжал Антон. – Абсолютно недопустима.

– Да, – откликнулся я, занявшись нехитрым хозяйством Кати.

Антон, всё более возбуждаясь, ходил по холлу.

– Но мы вяжем маскировочные сети... Наш президент, когда пришел к власти, говорил: «Я с этой войной покончу». А сейчас он, наоборот, с этой войной не кончает, не пытается ее завершить, а, наоборот, греет, греет людьми, в угоду, боюсь, не Украине. И отчего же сейчас Америка не скажет: «Слушайте, остановитесь. Через десять, максимум пятнадцать, лет эта Россия сгинет, она рассыплется. И тогда та часть Украины, которая отошла к России, вернется к вам, потому что вы станете жить намного лучше. И таким образом вы сохраните свое население». Это же так естественно, правда?

Он остановился возле меня, и я не сразу нашелся, что ответить. Так мы стояли, глядя друг на друга. Я слышал, как тяжело он дышит. Засвистел чайник – я выключил его.

– Украина сражается очень успешно, она отбивает атаки на Донбассе, а страдает народ. Шесть миллионов за границей. Десять миллионов не живет дома. Мы говорим: «Нам нужна территориальная целостность». Для чего? – обратился он ко мне.

– Для чего? – повторил я невольно вопрос.

– Для того, чтобы там жили люди? Но вы же теряете людей! Вы людей теряете сейчас, вы относитесь к ним нещадно, немилосердно. Негуманно. Вы даете их убивать! Четыреста детей убито. Тысячи покалеченных, а сколько еще погибнут, будут покалечены?! Тьма. Кто позволил так распоряжаться их судьбой? Кто? Зеленский? Америка? Россия?

У него перехватило дыхание, и он сел к столу.

– Простите меня, – сказал он шепотом. – Кажется, я кричал на вас.

– Нет, нет. Ничего подобного.

Я заварил ему кофе в чашке, поставил на стол сахарницу и блюдечко с печеньем.

– Эта война затянется. Россия истощается, да, она, может быть, гибнет, но она достаточно сильна, чтобы длить и длить эту войну и губить, уничтожать Украину.

Антон замолчал. Я понимал, что его мучает. Я тоже знал, как замирает от страха сердце перед рассветом и как жить становится совсем неумоготу. Но не в утешении нуждается человек в такие моменты, а в передышке от страха.

Он молча пил кофе.

– Вы предлагаете отдать наших людей людоедской власти, – заговорил я. – Но я уверен, что большинство из них не согласится. Мне кажется, Антон, вы плохо представляете себе сегодняшнюю жизнь в Российской Федерации. Не в России – это разные государства.

Антон посмотрел на меня.

– Если позволите, я расскажу вам одну короткую историю.

– Да, пожалуйста.

– В прошлом году мой друг, психолог, прислал мне из Петербурга результаты своей работы. Они исследовали сто тридцать пар с детьми, в семьях со средним, в основном, достатком. На предмет «безопасной привязанности» ребенка к матери. Всего у восьми детей – из ста тридцати! – они зафиксировали этот паттерн. Это полные семьи в Петербурге! При этом в Домах ребенка они вообще не обнаружили его. А по стране ситуация хуже вдвое-втрое. Что это значит?

– Что там очень небольшое количество детей доверяют своим матерям...

– И ищут у них защиту. Только мизерные два-три процента детей знают, что такое нормальные человеческие отношения. В европейских странах этот процент выше пятидесяти. Для остальных мир – это непредсказуемый хаос; они никогда не узнают, что такое доверие, безопасность, свобода. Достоинство, наконец. Поэтому ими легко манипулировать и управлять. Они охотно верят в разные сказки и делают мир на черное и белое.

– Поэтому им нужен вождь.

– Конечно. Так из поколения в поколение в стране росла эта черная, смертоносная сила, которая сейчас выплеснулась наружу. На нас с вами. Буча потрясла всех – но не меня. Что-то такое неминуемо должно было случиться.

– Это страшно.

– Да.

Я пошел в туалет вымыть чашку. Когда я вернулся, Антон стоял у окна.

– Спасибо. – сказал он, не оборачиваясь.

– Мы собирались сделать подобное исследование в Киеве, но не успели.

В зале Антон сразу же попрощался.

– Вы еще придете?

– Постараюсь, – ответил он так же, как когда-то и я Кате.

– Я буду ждать Вас.

Тень улыбки мелькнула на его лице.

– Благодарю.

...Стоит только тронуть один узелок тончайшей сети невидимых человеческих связей, как откуда-то, из наполненного шорохом голо-сов пространства, к тебе прилетит ответ. Я знаю, что эта связь не

исчезает с уходом человека в мир иной, но лишь становится не столь очевидной.

Дома я открыл ноут и нашел там письмо от друга из Петербурга. В теме его стояло «Боль». Я увидел, что он писал мне как раз во время нашего разговора с Антоном.

Здравствуй, дорогой Миша!

Безумие в виде войны всё продолжается. Мне настолько больно и жутко от того, что творит руководство моей страны, что я по малодушию не нахожу в себе силы звонить тебе. Не так много близких и родных в моей жизни осталось, чтобы разбрасываться ими, а тем более такими, как ты. И, тем не менее, оцепенение от происходящего оказывается сильнее действия. Я не ищу слов и не хочу искать оправдания тому, что происходит и, что еще хуже, моим реакциям на эти события.

Я не могу уехать из страны по известным тебе причинам. Всё, что могу, – написать и спросить тебя: как ты? Чем жив? Находишь ли в себе силы не ненавидеть всё, что связано с Россией? Могу ли я чем-то помочь тебе?

Буду благодарен, если вдруг у тебя найдется возможность хоть слово чирикнуть мне.

Обнимаю.

Эхо в тишине пустого здания театра.

Я сидел на широком пне бывшей липы, Сид лежал рядом. За серым зданием слева медленно опускалось солнце. Мы ждали. И вот – покраснели стволы кленов и каштанов на склоне и, почти сразу же, потоком, сияющий, огненный свет заполнил пространство. В нем исчезали, растворялись фигуры людей, чтобы снова облечься плотью буквально в десяти шагах от нас. Мы ждали, но Кати не было. Солнце падало на белый город под горой, отчего сияние, перед тем, как иссякнуть, обрело багровый оттенок.

Я встал.

– Пошли, Сид.

Дома Сид получил два своих черпачка, а я ушел в театр. Николка впустил меня. Я поднялся по лестнице и услышал далекое, нежное пение скрипки. Театр жил. Белое пятно света в холле возле ее кабинета. Я вошел, улыбаясь. Катя тихо пела, глядя на экран ноутбука:

Ніч яка місячна, зоряна, ясна!

Видно, хоч голки збирай.

Вийди, кохання, працюю зморена,

Хоть на хвилиночку в гай.

На экране школьный спортивный зал, освещенный через небольшие окна и дыру в потолке с шевелящимися от ветра лохмотьями.

Перекладыны шведской стенки, баскетбольный щит, голубой пол с белой разметкой. Стол для пинг-понга прислонен к стене рядом с сеткой гандбольных ворот. Молодой высокий парень играл на скрипке.

...Сядем укупощі тут під калиною –
 И над панами я пан!
 Глянь, моя любонька, – сріброю хвилиєю*
 Стелиться полем туман.

Хлопец со скрипкой в камуфляже поверх черного свитера, как и его побратимы, сидящие в зале на низких скамейках напротив него. Катя остановила изображение и вытерла рукой слезы.

– Сделай, пожалуйста, покрупнее, – попросил я.

Она увеличила картинку, и я узнал его.

– Это Дмитро... Хозяин Сида.

Мы молча смотрели друг на друга.

– Он погиб неделю назад, – прошептала Катя.

Я тронул рукой клавишу, и Дмитро заиграл снова.

Вечером лег такой густой туман, что мы с трудом нашли Чоп**. Мы накрепко примотали конец нашей сети к высокому вязу. Сеть большая, ее должно хватить на всю Украину. Я обнял Катю.

– Ты осторожней, пожалуйста, – шепнула она.

– Хорошо. Ты тоже.

Мы легко оттолкнулись от земли, и сеть, с вплетенными нашими руками лентами, укрыла вокзал. На площади стоял человек с огоньком сигареты во рту. Растягивая сеть, мы полетели в разные стороны. Внизу под пухлым одеялом тумана спала наша страна.

– Ты где? – услышал я ее далекий голос.

– Львов. Привязываю к телевизшке.

– Я в Черновцах. Что-то из красного кирпича с куполом и крестом...

– Это университет. Держись вдоль реки...

На старинной башне Луцкого замка я обвязал сетью зубы. Ветерок расправил желто-голубое полотнище на флагштоке.

– Туман расходится! – крикнул я. – Надо торопиться.

– У меня тоже. Я вижу море. Потрясающе!

Катю сбили первой. Я услышал хлопок, ее вскрик – и всё.

Меня сбили на вылете из Чернигова.

Я открыл глаза.

Ніч яка місячна, зоряна, ясна!..

Киев, август 2022 – февраль 2023

* Серебряной волной

** Железнодорожная станция на границе Украины и Венгрии

Константин Шакарян

Год 2022-й

1.

В шестнадцать ноль-ноль ожидается дождь.
В мозгу ожидается мысль.
В семье за стеной ожидается дочь.
У всех ожидается жизнь.

А где-то грохочет военный успех
Одних – в назиданье другим.
И жизнь ожидается – нет, не у всех.
И горе – и тем, и другим...

И вновь невозможно глядеть далеко,
И близко – не видно уже.
Война поселяется в нас, глубоко
Окапывается в душе.

Гремит, и вещает, и спорит из нас –
Тяжелый разносится гул,
И вновь говорим и молчим на износ,
Откуда бы ветер ни дул,

Откуда бы ни расходились круги
Колючих вибраций войны...
Неужто вовек не протянем руки
Друг другу, подобьем стены –
Двух слов неизбежных –
«друзья» и «враги» –
Границами разделены?

И чья-то судьба, мироздания вдоль,
Живая надежда и боль,
В шестнадцать ноль-ноль,
В восемнадцать ноль-ноль
Умножатся снова на ноль.

А кто-то под шум непогоды в окне
Не будет писать о войне.
Ни чувства измерить, ни мысли связать.
И слова уже не сказать...

2.

Одной-единой страсти ради...
А. Межиров

Долгое и тяжкое – невмочь! –
Тягостное слово «перемога».
Пересилить или превозмочь.
Пережить. Еще, еще немного...

А победа значит – *по беде*:
По прошествии беды-напасти.
Не о тягости, не о труде –
В память той, *одной-единой страсти*.

Видишь: двуединая беда
Ширится кровавым бездорожьем.
Не придем к победе никогда,
Коль самих себя не переможем...

3.

Не писать о России стихов,
О войне, перемоге, победе.
И отходную сотням сынов
Двуединой беды – не пропети.

Вспять историю переходить
По вскипающей глубли отвесной
И смятение переводить
На молитвы язык бестелесный.

Всё по кругу – ничто не впервой.
Всё едино – живой или мертвый.
Кто на Третьей воскрес мировой,
А кому – ожидать до Четвертой...

4.

Теперь невозможны ни «против», ни «за»,
А истина – злей и капризной.
Глаза отведи иль глазами в глаза
Встречай это месиво жизней.

Косою о камень скрестились пути,
Раздавшись на тысячи граней,

И грань правоты между них провести
Всего и нужней, и желанней.

Души обожженной не тронет глагол,
Забывчивой истине вторя,
Что нет наименьшего в мире из зол,
И нет – наибольшего горя.

Неужто отныне истории нас
Вовек рассудить не удастся?..
Над голосом крови возносится глас
Отечества и государства.

И льется во тьме безголосая кровь,
И память задраена плотно,
И старая, стертая рифма «любовь»
Стирается бесповоротно.

5.

На западе война,
Блокада – на востоке.
Подходят времена,
Срабатывают сроки.

Не знает даже Сын,
Когда сюда прибудет,
Где все мы, как один,
Восхищены пребудем.

Но разве в этом суть
И разве в этом дело,
Что без души, как ртуть,
Отяжелеет тело?

Сойдутся времена
На роковом истоке...
На западе – война,
Блокада – на востоке.

...А впрочем, не о том,
А о твоей лишь только
Судьбе, о том о сём,
Когда, куда и сколько.

О мере правоты,
О жизненных пределах,
Где встарь – за красных ты,
Иль исстари – за белых.

Проходят времена,
Как по пространству токи...
На западе – война,
Блокада – на востоке.

И больше ничего –
И не о чем, как видно.
Созвучий торжество:
Обидно или стыдно.

Не страшен Страшный суд,
И жизнь твоя – описка,
Коль всех их не спасут,
Далёко кто и близко.

Но вряд ли что взамен
На свете совершится –
И год без перемен
Замкнется-завершится.

Продлятся времена,
Где в будничном потоке
На западе – война,
Блокада – на востоке.

6.

Иссякает последний приток
Обмелевшего старого года.
День январский уже недалек –
Зарывайся, не ведая брода!

Этот год постарел на ветру
Зол и горестей невыразимых,
Сам с собою затеял игру
И в своих же запутался зимах.

Новогодний завьется мираж,
Ожидаемый всюду и всеми,

Год, вошедший в погибельный раж,
Пересыплется в новые снега,

Окаймит беспокойным ледком,
Полоснет по дыханью морозом...
Жить и жить в окружение таком –
Под реальностью, как под ножом,
И под праздником, как под наркозом.

P.S.

Еще вчера начни: «В двадцать втором...»
И ясно: о столетии двадцатом
Ведется речь – ни о каком другом.
Двадцатый век. Войны Гражданской гром
Едва утих. Еще не грянул атом.

Не за горами и тридцать седьмой,
И новая над миром Мировая,
Отечественная (*война, войной,*
войну, войны, войне) и – Боже мой! –
Победный выдох в благовесте мая...

Немало их осталось про запас,
Былых годов с событиями в паре,
Что под стеклом истории для нас
В единственном хранятся экземпляре.

Но в нынешнем рассеянном году
Двадцать второй мерцает и двоится.
Какой из двух имеешь ты в виду?
Какого века воскрешаешь лица?

А впрочем, что роднит на свете их? –
Столетье наше с миновавшим веком?
На всём загадка. Совпадешь ли в этом:
Со сроками гражданских, мировых...

2022–2023

Мария Перцова

По направлению к другу

Спросишь ли, зачем фамилий
столько в книге и имен?
Я любитель изобилий
исчезающих времен.

Владимир Гандельсман

РАЗГОВОР

...Говорил мне:
– Не жалея себя,
если выдастся, рискни.
С апельсинами «Валенсия»
сетку рыжую – храни,
пусть буравят тьму гранитную,
освещая узкий путь.
Мыши тихой, эбонитовой
постарайся не спугнуть.
А дойдешь, тебе откроется...

Отвечала:
– Поспешу...
Кособокую закройщицу
я про выкройки спрошу.
Эти нити, эти ножницы...
Вечный зингер – на троих,
дело мало-мальски сложное
не заладится без них.
И – туда (какая магия? –
чистой правды образцы!),
где у старого завмага нам
продавали дефицит.
Без наценок. Семгу – каждому,
и для власти – не секрет.
У дверей торчал некрашенный
допотопный табурет.
А на нем завмаг – с медалями
на отглаженном сукне –
любовался то ли далями,
то ли кенаром в окне,

то ль цепочкой кленов кряжистых
 в нераспавшемся строю...
 Ни о чем не стану спрашивать,
 просто рядом постою.
 ...Бог жилья малометражного
 вылепит из темноты
 лица нежные и страшные,
 как засохшие цветы...

– Уведу ли тех, кто вспомнился?
 Обретут ли новый кров?

– Унесешь авоську полную
 драгоценных лепестков.
 Но учти: щеколда третья
 на воротах вороных –
 иногда не отпереть ее
 с той, обратной стороны.

– Вы ж вернулись... И не в рубище.
 Книжку надписали мне.

– Можно ль в чем-нибудь, голубушка,
 быть уверенным вполне?

ИЗ ГЕРАКЛИТА, ИЛИ ИГРУШЕЧНАЯ БАЛЛАДА

Вечность есть играющее дитя...

Гераклит

– Пора в кроватку. Сложи игрушки
 вон в ту коробку.

...Потом, за шкапом, найдутся дужки,
 найдется пробка...
 Но это позже.

Пока – в жилищах
 огни не тусклы,
 румяны женщины и луннолицы.
 Ну, точно – куклы!
 Одна – поет над горой тетрадок,
 кармен в севилье.
 Трррель телефона... Его три дня как
 установили.

Пока – солдатик пьет с офицером
перцовку-водку.
Катюша-пушечка вдаль, с прицелом,
стреляет ходко.
Телепрограмма: блеск с нищетою
в гостях у сказки.
В углу транзистор, хрипит, настроен
на глас не братский.

Буксует время на повороте,
не отпуская.
Одна поет, а в окне напротив
летит другая.
Другая – моет стекло, на стуле
парит, шаманка.
Из берегов голубой кастрюли
выходит манка...

.....
Остался ль кто-то?
По кругу пони бегут, гарцуют..
Тот, кто остался – ни зги не помнит,
забыл вчистую.
...Средь пыли-плюша найдется пробка,
найдется пряжка...

– А вдруг игрушкам в моей коробке
темно и страшно?

* * *

Сестре

Мы боялись гости не придут.
«Не придут гости...»
«Не придут? Ну что ты? Только семь...»
«Бросьте
разговорчики
и марш вытирать стулья.»
«Папочка, здесь пыли нет совсем.
Мы ее сдули.»

А на кухне в луковом дымке
артобстрел. Жарко.
Там жаркое в черном котелке.
Бесятся шкварки.

Двести шесть хрустящих пирогов
с яблоком и с мясом.
Молодая зелень всех сортов –
кирсалат, мята.

Стол течет, течет рекой во льду
не найдя устья,
и ладьи с салатом на борту
к берегам жмутся.
Не про нас ледовый карнавал
ряженных бутылок.
Впрочем, втихаря один Байкал
со стола стырим.

Никого не звали, но гуськом,
в тусклом свете...

...Вытирает лысину платком
грузный дядя Петя...

Лестница поет и голосит.
Вместе с нею
напевает – шубка из лисы! –
тетя Неля.

Шубка знала лучший год и вид,
не в порядке.
Что ж, запьется злой латук обид
белым полусладким.
Обратится в пух колючий град.
В светлячков – грозы.
...Грецкие-орехи-шоколад,
мамин торт «Грезы»...

...Тетя Аня, Инна и Ахад...

Я люблю их (это как ...ожог!) –
юных и старых.
У меня Катаев и Бажов –
их подарок.
...По ступенькам, вверх идут они.
В руках – астры.
Полагаю, ни один из них
не читал экклезиаста.

Марина Кантор

* * *

Не высовывайся из норы.
На дворе – упразднение мира.
Дан приказ наточить топоры
И начистить до блеска мортиры.

Мы объявлены вне игры,
Вне системы и вне закона.

«Глянь – листовками с нашими ли...
Тсс! ...цами – тише! – увешаны улицы,
Подворотни, пивные ларьки.»
Мужичонка небритый шатается,
Еле держится на ногах:
«В ро-зы... В ро-з-з-ске... А, сукин сын!
Тил-л-лихенция, твою мать!
Убивать их всех, убивать!»

Высоко над колодцем окна
Желтой сливой колышется солнце.
«А на Солнце тоже война
И скрываются люди в колодцах?»

Сливы падают. Тишина.

октябрь, 2017

* * *

Поверить в то, что в кафе,
до которого ты не доехал
(чертовы пробки),
взорвалась бомба,
сложно,
однако вот же:
летающие по улицам амбулансы
и черные фургоны.

* * *

в бомбоубежище время тянется медленно
можно лечь щекой на холодное стекло
письменного стола,
слушая в наушниках Дебюсси,
и пора, пора, наконец, отключить новости

* * *

Мне снились летящие по небу животные:
лошадь, бык и ослик.
Они выглядели как настоящие,
особенно ослик,
и это было страшно.
Я видела
легкое шевеление его ног,
поворот головы назад,
и даже любопытство в глазах.
А потом он упал.
На асфальте – серое месиво.
Подобие мяса.

* * *

Не тишина, а комариный писк
В холодных окнах рвётся тонко-тонко.
В разбитую небесную солонку
Насыпал кто-то мелкий мокрый рис.

Стемнеет быстро, и вечерний свет
Вольется в комнаты, чуть видимый и ломкий.
Качнется дом большой, тяжелой лодкой
И поплывет в дождливой синеве.

Но это после... после, а пока
В холодных окнах рвётся тонко-тонко...

* * *

женщине красной, солёной и доброй
тело Медеи и жало змеи, говорят, не к лицу

не понимают,
откуда во мне эта странная тяга
к обретению нового медного тела
и раздвоению языка

* * *

Тело земли во мне –
Поздний, тяжелый плод.
Выношу – быть войне.
Плачет во мне, ревёт.

Семён Пинхасов

«Что такое хорошо...»

Его можно было узнать по походке. Невысокий, он двигался короткими быстрыми шагами, почти не поднимая стопы ног, слегка раскачиваясь в обе стороны. При этом глаза его смотрели чуть-чуть вперед и вниз, а выражение лица всегда было серьезным и сосредоточенным. Но так было пока его кто-то не останавливал. Тогда серьезность с лица исчезала, а появлялась широкая улыбка с легким блеском в глазах.

Его звали Изя. Конечно, у него были фамилия и отчество, но в нашем районе этого никто не знал. У Изи была жена. Тоже невысокая, полная блондинка, всегда молчавшая в присутствии мужа. Ее имени мы не знали. У них была дочь. Маленькая, тихая, светловолосая девочка лет пяти. И ее имени жители нашего дома тоже не знали. Жила семья в деревянном доме, рядом с нашим новым пятиэтажным. Тогда, в начале шестидесятых, вокруг нашего нового дома из желтого кирпича было много деревянных строений с небольшими участками земли. К концу шестидесятых строения снесли, вишневые деревья, которые там росли, вырубил, а на их месте провели широкую дорогу и дали ей название «Планетная улица». Какое-то время Изин дом оставался нетронутым.

В отличие от своей жены, Изя был человек общительный. Он был рад разговаривать с любым встречным и на любые темы: о футболе (он болел за «Спартак»), о кино, о международной политике и особенно обо всем, что касалось Израиля. Говорил Изя на русском языке с яркими еврейскими интонациями, приобретенными, видимо, где-то на Украине или Белоруссии, где скорее всего провел свои детство и юность. Каждый день Изя ходил на работу, но где и кем он работал никто не знал. Однако мы все знали, что Изя в своем маленьком доме подрабатывал портным. Он шил мужские костюмы. Прямо как в известном анекдоте, когда один еврей говорит, что если бы он был русским царем, он жил бы лучше, чем обычный царь, потому что «еще немножечко шьет». Как-то я привел к Изе своего друга, решившего не покупать себе костюм в обычном магазине, а сшить на заказ. Придав особенную важность заказу, я соврал, что мой друг собирается ехать на выставку в Париж. Изя улыбнулся, покачал головой и сказал, что у моего знакомого будут большие проблемы в Париже.

– Какие проблемы?» – с испугом спросил я.

– На улицах Парижа его будут постоянно останавливать и спрашивать, где он купил такой шикарный костюм.

Изина шутка меня развеселила.

– Конечно, – сказал я. – Очень скоро начнутся дополнительные рейсы Париж–Москва, где у каждого пассажира в руках будет отрез ткани, а таксисты даже не будут спрашивать, куда ехать, – зная, что ехать надо к Изе. Ну, а затем Министерство иностранных дел и ЦК КПСС – а далее, сами понимаете, всё Политбюро на мавзолее одето в ваши костюмы.

Изина улыбка стала такой широкой, что можно было подсчитать количество зубных коронок серебряного цвета.

– А что, – ответил он, – вы видели рукава их костюмов? В таких костюмах – на мавзолее? Это же неприлично.

Как долго простоял Изин дом, я не помню, но однажды его снесли. Изю с семьей куда-то переселили. Куда? Никто не знал. Он, так сказать, «ушел не попрощавшись».

С тех пор прошли годы. Жизнь продолжалась. Мы учились, работали, продвигались в своих профессиях, встречали новых друзей, теряли старых. В нашей среде стали появляться решившиеся на эмиграцию. Сначала мы об этом не думали, но постепенно перестали отбрасывать эту мысль как чуждую и вскоре сами, как говорят, стали «собирать чемоданы». Уезжая, мы были уверены, что это навсегда, что в Москву никогда не вернемся, даже на несколько дней. Но оказалось, что мы ошиблись. Советской власти не стало, как не стало и Советского Союза.

Спустя почти шестнадцать лет мы снова оказались в Москве. Знакомые улицы, знакомые дома, знакомое метро со своими сложными переходами. В одном из таких переходов, по-моему, на «Площади Революции», я увидел невысокого человека, который шел, шаркая ногами и слегка раскачиваясь. Взор его был направлен немного вперед и вниз, а лицо было серьезным. Я тут же узнал в нем моего бывшего соседа. Меня охватил восторг.

– Изя! – почти крикнул я.

Человек остановился, посмотрел на меня и, улыбнувшись, ответил: «Да, я – Изя». С явным волнением я объяснил ему, что жил там-то и там-то, что мы были соседи, что однажды он сшил костюм моему другу... Изя слушал меня с нескрываемым удовольствием и широкой улыбкой на лице. Когда я закончил свой короткий монолог, он вдруг сказал: «Таки я хорошо выгляжу, если вы меня узнали через столько лет».

– Как ваши дела? – спросил я.

– Всё хорошо.

– Как ваша жена?

– Мы живем хорошо. У нас двухкомнатная квартира. Всё хорошо.

– А как ваша дочь?

– Всё хорошо. Она живет с семьей в Филадельфии.

– В Америке? Почему же вы не с ней?

Изя пожал плечами и, помолчав, ответил:

– А зачем? У меня всё хорошо: друзья, работа. У меня теперь свой бизнес. Вот вчера я смотрел по телевизору футбол.

– Футбол? При чем тут футбол? – удивленно спросил я.

– Ну как же. Я смотрел футбол и пришивал рукав. Всё хорошо.

Несколько секунд я смотрел на Изю, не зная что сказать. Но он сам продолжил беседу.

– Слушайте. У вас есть хорошая незамужняя женщина?

– Зачем она вам? Вы же женаты.

– Да не мне, не мне. У меня всё хорошо. Мой товарищ потерял жену. Одному трудно. Нехорошо, когда человек один.

Я задумался, не зная, что ответить, но пообещал разузнать. Изя вынул из кармана белую карточку.

– Здесь мой телефон. Позвоните. Надо помочь другу.

– Рад с вами снова увидеться.

Изя кивнул головой в знак согласия, повернулся и быстро слился с толпой в переходе. На карточке было напечатано: «Израиль Маркович Лейбович – мастер-портной мужской одежды».

Весь остаток дня и позже я вспоминал нашу встречу. Было ощущение, что время остановилось и не было долгих шестнадцати лет расставания. Для меня и моей жены жизнь в СССР складывалась весьма удачно и с понятной перспективой. Хорошее образование, интересная работа, замечательные друзья. И всё же мы не ощущали себя частью страны и из чисто политических соображений эмигрировали. Изя не получил значимого образования. Единственное, что он мог хорошо делать, это шить мужские костюмы. Всем своим внешним видом, со своими еврейскими интонациями в русском языке, в России он всегда был чужой среди своих и, одновременно, свой среди чужих, – и всё же вместе с дочерью не уехал в Америку. Это трудно понять, но ему явно было удобно быть тем, кто он есть, и там, где он был. Изя не хотел потерять возможность «смотреть по телевизору футбол и пришивать рукав». Ему было хорошо.

Владимир Торчилин

Слушая музыку

Музыку он любил всегда. Сколько себя помнил. Даже не мог сказать, с чего это началось. Может потому, что родители всегда включали музыкальные программы «Маяка». Любые – лишь бы музыка. Вот так и вышло, что всю эту невероятную смесь – от самой классической классики до рока и народных ансамблей – он впитывал с молодых ногтей. Это только много позже он понял, что родители всё время музыку гоняли, просто чтобы друг с другом не разговаривать – и не хотели, и не о чем было, такие они были разные. Ради него не разводились. Так до самого конца под музыку и дожили. Для чего только музыка не годится – даже для этого! Но как бы то ни было, а музыка эта с ним осталась. И не приходится удивляться, что ему любая музыка нравилась. Не в смысле какая попало, а в смысле – любые жанры. И когда он еще в школьные годы стал пластинки покупать, то были среди них и классика, и джаз, и рок. Вот разве что к опере он так и не пристрастился – ему не нравилось, что голоса музыку мешают слышать. Разве только малеровские песни и голоса на психоделиках он готов был извинить – все-таки там музыка всё равно на первом месте была, не то что в операх. И слушал он свои пластинки на простенькой родительской вертушке, стандартной усилке и дребезжащих на басах колонках, но всё равно ловил полный кайф и мечтал, как, повзрослев и обретя самостоятельность, он обзаведется такой шикарной техникой, что его музыка зазвучит, как она должна звучать по-настоящему.

Родители его умерли рано – один за другим, как будто была все-таки между ними какая-то незримая связь, несмотря на музыкальную стену, их разделявшую. Он еще даже института не окончил. Остался он один в двухкомнатной квартире, большую часть мебели и всякой другой всячины из которой – от картинок на стенах до столовой посуды – он потихоньку продавал, чтобы такое дополнение к его скромной стипендии позволило ему сравнительно безбедно дожить до окончания института и получения первой работы. Так что как раз к тому моменту, как он уселся у своего первого офисного компьютера, получив, в полном соответствии с дипломом, должность экономиста в крупной компании, чье огромное здание располагалось в двух кварталах от дома, одна из комнат в его апартаментах почти полностью опустела, и он стал превращать ее в концертный зал, как ему давно

хотелось, чтобы слушать музыку из его сильно разросшейся коллекции пластинок в максимально комфортных условиях и в самом лучшем звучании. Когда начался бум с переводами всех записей на компакт-диски, он остался верен пластинкам, будучи твердо убежден, что такого качества воспроизведения, как с его винила, ни с каких этих новомодных штучек не получишь. И, в конце концов, оказался прав. Да и держать в руках большой глянцевый конверт с красивой картинкой или фотографией ему было куда приятнее, чем пластиковую коробочку с диском. Интересно, кстати, что хотя на концерты он иногда и ходил, но такого удовольствия от музыки, как дома, не получал – мешала людская толпа, от флюидов которой нельзя было укрыться, даже закрыв глаза.

Квартирное переоборудование замедлилось на пару лет в результате его недолговечной женитьбы – молодая жена, хотя и хорошо знала о его увлечении музыкой и собирании звукозаписей, всё же так и не смогла примириться с тем фактом, что основная часть их не слишком роскошного семейного дохода тратилась на пластинки и постоянно улучшаемые системы для их прослушивания. И ушла. Он, конечно, некоторое время погоревал, поскольку, как ему казалось, сошлись они по любви, так что его интересы не должны были служить поводом для таких резких телодвижений, как развод, но уж как вышло... Тем более, что детей не было. А комнату можно было обустроить и дальше.

Пластинки он расставлял прямо на полу по периметру комнаты, следуя ему одному понятному принципу, оставив свободными лишь углы – для колонок, небольшое пространство слева от двери – для системы, и еще один кусочек с ковриком, как для молитвы, и подушкой под спину на полу у стены, где он любил сидеть, наслаждаясь музыкой. В середине комнаты был положен на пол еще один коврик, тоже с подушками, на случай, если ему захочется квадрофонического звучания. Выбор системы и колонок был задачей серьезной. Впрочем, он мог позволить себе многое – зарплата его заметно выросла, поскольку руководство его ценило, да и было за что – работник он трудолюбивый, ответственный и очень аккуратный. И хотя все в отделе считали его, мягко говоря, странноватым, поскольку с остальным народом он практически не общался, полностью отделив себя от окружающих огромными наушниками, которые сдвигал только разговаривая с начальством, именно это начальство справедливо полагало, что работу свою он делает хорошо, так что разговаривать с ним и повода особого не было, а вот повысить до ведущего экономиста с соответствующим ростом зарплаты было и можно, и нужно.

Конечно, аудиосистема, которой он пользовался на тот момент, была куда как лучше когдатойшей родительской, но всё равно серьезной ее назвать было нельзя – уж что доходы позволяли. А теперь, со

всеми повышениями, пора было выходить на новый уровень. Так что работа над техникой началась. Сначала он подумал было про QLN – на него произвели впечатление и пирамидальная форма корпусов этих колонок, помогающая нивелировать резонансы, и особый материал, обещавший исключительное демпфирование, но, по трезвому размышлению, он остановился на Alta Audio Adam – тоже пирамиды и тоже из специального материала, и тоже обещавшие полное отсутствие резонансов и шикарные басы, но как-то пришедшиеся ему больше по сердцу. Сказано – сделано – сделано, и через недолгое время его домашний концертный зал заработал.

Теперь расписание его жизни установилось прочно. С утра – на работу, куда от нее денешься, жить на что-то надо. Хорошо хоть никаких командировок ему не полагалось. Вечером – легкий ужин и сразу на коврик в музыкальной комнате. Пластинки послушать он выбирал наугад, хотя через какое-то время понял, что сам себя обманывает, – он уже точно знал, где какая пластинка стоит, так что на самом деле его выбор уже переставал быть действительно случайным, а соответствовал каким-то ему самому неясным глубинным настроениям. Отдав этим настроениям музыкальную дань, он мирно спал до следующего утра, и цикл повторялся. По выходным он выходил пройтись по музыкальным магазинам на предмет пополнения своей фонотеки – конца этому быть не могло, поскольку даже у старых вещей появлялись новые исполнители, да и заслуживающих внимания новых произведений хватало. И когда он просил продавца дать послушать какой-нибудь фрагмент новой пластинки (по-прежнему покупались только пластинки), то всегда с гордостью отмечал, что звучание его аппаратуры лучше, чем даже в профессиональных центрах. Хотя тут могло быть и некоторое преувеличение.

После пластиночных магазинов он иногда шел в парк поблизости и, побродив по аллеям, садился на какое-то время на скамейку (по теплу, естественно), чтобы послушать естественную музыку природы – щебетанье птиц, шуршание колышемых ветром веток и даже, в конце концов, доносимые тем же ветром фрагменты разговоров людей, сидевших на соседних скамейках. И эта жизнь ему очень нравилась. Постепенно он растерял своих немногочисленных друзей и совсем уж редких подруг и совсем об этом не жалел – как раз наоборот: ему жалко было свободного времени, потраченного на что-нибудь, пусть даже на беседу с приятелями. И вот такое мерное и богатое звуками существование его продолжалась годами. За это время те тысячи пластинок, что стояли на полу вдоль его стен, были прослушаны не по разу, так что все эти бесчисленные мелодии постепенно расположились в его мозгу так же плотно, как их виниловые носители в его собрании.

И вдруг в его размеренном служении музыке произошли некие

странные и даже поначалу пугающие явления. Он хорошо помнил, как это случилось в первый раз. Это было зимой, в темный и мутный февральский день. Снег шел не сильно, но достаточно, чтобы при взгляде в окно уже нельзя было понять, где заканчивается земля и начинается небо. Плохой день. И настроение такое же. Кто-то другой мог бы в такой день просто напиться от тоски, а он почувствовал, что старые итальянцы как созданы для того, чтобы превратить изматывающую февральскую тоску в легкую ностальгическую грусть. Безошибочной рукой он вытащил, еле ухватив пальцами – так плотно стояли вдоль стены пластинки, – диск с сонатами Скарлатти и, взглянув на знакомый конверт с каким-то предположительно итальянским пейзажем, неожиданно почувствовал, что в голове его зазвучала музыка. Не так, как это бывает нередко, – какая-то музыкальная фраза, или какой-то фрагмент, или мотивчик, или еще что-то в этом роде – нет, у него в голове игралась именно соната с этой пластинки, исполнялась отчетливо и красиво и именно так, как на этой пластинке было записано. Он застыл на минуту, вслушиваясь, но потом все-таки вынул виниловый диск, положил его на вертушку и опустил иглу. Музыка в его голове вернулась к началу сонаты и теперь уже нельзя было понять, что именно он слушает – звуки, выходящие из динамиков, или звуки у себя в голове, или и те, и другие просто слились в одну мелодию.

Поначалу он приписал это случаю и просто забыл о нем, но пришлось вспомнить, когда музыка с пластинки, которую он еще только собирался послушать, зазвучала в его голове, пока он шел к проигрывателю с пластинкой в руке. Он стал задаваться вопросом: может ли такое повториться с каждой пластинкой, которую он возьмет в руки, а если так, нужна ли музыка из колонок, если она уже есть в голове? Да и вообще, к чему вся эта техника, если то, что звучит у него в голове, заведомо превосходит по качеству любое воспроизведение и даже, как ему показалось, живое исполнение?..

Он начал экспериментировать, и быстро убедился, что именно так дело и обстоит. Достаточно ему было взглянуть на изображение или портрет на конверте, как тут же в его голове начинала звучать та самая музыка, которую он услышал бы через свои замечательные колонки, поставив пластинку на вертушку. Музыка с пластинок, на конверте которых не было ни пейзажа, ни портрета, а только текст, сухо излагающий, что, собственно, записано на находящейся в нем пластинке, начинала звучать в его голове с секундной задержкой, как будто чему-то внутри его нужны были эти дополнительные секунды, чтобы вспомнить, что кроется за текстом, – тогда как изображения и портреты вызвали узнавание мгновенное.

Он доставал пластинку с психоделической музыкой и, глядя на переливы мягких красок на конверте, отчетливо слышал звуки ситара

и табы на фоне гитарных переборов и даже приглушенные голоса, которые пели внутри него о любви и покое. Или, при взгляде на обложечное черно-белое фото Чарли Паркера, в его голове начинал свою волшебную игру саксофон, и он почти физически ощущал холодный ветер зимних нью-йоркских улиц. Музыка – как всегда у Паркера – звучала настолько легко и естественно, как будто инструмент производил ее сам по себе и выпускал ее в свободный полет по узким улицам между желтыми такси и спешащими в тепло пешеходами. Он внимал конверт с изображением сурового бородатого мужчины, и чарующие звуки двойного концерта Брамса, немедленно раздававшиеся в его голове, заставляли его кожу покрыться физически ощутимыми мурашками восторга. А когда он смотрел на конверт, содержащий внутри живую запись «Металлики», он не просто слышал их музыку – закрыв глаза, он ощущал себя в первых рядах окружившей сцену толпы, энергия и восторг которой наполняли и его самого. И он начал понимать, что для него изображения или надписи на конвертах не просто картинки, но некие калитки, двери, ворота, впускающие его или наоборот – впускающие в него – хранящуюся внутри конверта музыку.

Теперь вся его прекрасная техника простаивала, постепенно покрываясь серой комнатной пылью, а он сидел, привалившись спиной к единственному не заставленному пластинками месту, держал в руках очередную пластинку и слушал, просто глядя на нее. Он никому не говорил про этот свой новый музыкальный опыт, справедливо полагая, что даже разделяющие его любовь к музыке люди сильно усомнятся в правдивости рассказа, а как предъявить доказательства своей правоты, он не мог себе и представить; люди же обычные просто решат, что у него что-то с головой и вполне предсказуемо посоветуют ему обратиться к специалисту. Ну и зачем ему всё это, если с ним всё в порядке, а что пыль на колонках – то и бог с ней. Музыка – с ним, и это теперь будет продолжаться так долго, как будет продолжаться он сам.

Но человек предполагает... Когда он пару дней не появился на работе, коллеги подумали, что он нездоров. Обычно он всегда предупреждал, но кто знает, как ему могло быть худо на этот раз. Не позвонил сегодня, значит, позвонит завтра. Не зная об этом соседка, которой срочно понадобилась помощь передвинуть для противоположной стенке платяной шкаф, чтобы освободить пол для проводившейся в ее квартире циклевки, вечером второго дня начала звонить, а потом и стучать в его дверь – зная, что вечерами он всегда дома. Поскольку отклика не последовало, она повторила попытку с раннего утра, до того, как он обычно выходил из дома на работу. И когда он снова не откликнулся, испугалась, не случилось ли чего, и позвонила в полицию.

Через несколько часов распросов, консультаций, звонков и согласований дверь взломали. Он сидел на своем любимом коврике, прислонившись спиной к стене в удивившей всех пустой комнате с тысячами пластинок вдоль стен и колонками по углам, держа в руках пластинку с Пятой симфонией Малера и глядя застывшими широко открытыми глазами на конверт с фотографией композитора. А Малер, в свою очередь, печально смотрел на него сквозь стекла своего пенсне. В комнате сразу стало суетно и шумно от вошедших, но если бы все на минуту притихли, то, можно поклясться, они услышали бы, как в воздухе еле слышно звучало его любимое *adagietto* из Пятой...

Бостон, 2023

Татьяна Пушкарёва

Ахейские ветры

* * *

Рейсом ночным из Еревана в Тбилиси.
Сорок минут, не успели взлететь – садимся.
Черное небо, а горы еще чернее,
Мрака оттенки разбавлены городками.
Улицы их напоминают гирлянды.
Этот сложился сетью, а тот растянулся,
Третий напомнил бабочку очертаньем,
Бабочку с брюшком, крыльями и усам.
Усик один завернулся наверх, оборвался,
Видно – тупик, в тупике поселился кто-то,
Смотрит в окно, о чем-то жалеет, может.
Думает грустно о жизни своей корявой.
Думает: я в тупике, в тупике поселился.
Думаю: в бабочке, в городе-бабочке, в усе,
В нежной ее, невесомой ее антенне,
Чувствовать чтобы, лететь, отыскать нектара.

ЛЕТОМ У МОРЯ

Мне сладок день,
Мне тяжек день,
Налитый солнцем.
Волной омытая мигрень
В бутон свернется.
В нем насекомое дрожит,
Пчела, оса ли?
И каждый запах норовит
Меня осалить.
И едкий йод, и пыль, и пот,
И мед акаций,
Смолы нагретой приворот –
Ему б поддаться,
Остаться в медленном тепле,
В чешуйках бликов,
В стволе, коре, листе, игле,
В цветочных ликах.

* * *

Не дает мне море куриного бога.
Говорит: «Зачем тебе? Насмехаться?
Ты не веришь, не любишь, не стоишь у порога,
никогда на удачу не скрестишь пальцев.
Так зачем тебе камень с дырою в сердце?
Ни спастись тебе об него, ни погреться».

Не бери на понт меня, Эвксинская лужа,
если знаешь всё, то вопрос не нужен.

Брешь в груди моей,
аж сквозняк из клетки.
Хочешь – в поле вей,
хочешь – в лес на ветку.

Вставлю в сердце с дырою
камень с дырою в сердце,
чтобы ветер в песню сумел одеться.

ПОХИЩЕНИЕ

1.

облака похищают горы
я буду звать их Еленой
пока ахейские ветры
не вернут их
не вернут их

2.

Сегодня облака весь день воруют горы.
«Сегодня облака», – весь день воркуют горы.
Сегодня горы, горы облаков.
Они по очереди пропадают,
то облака, то горы вдруг растают –
аграмматизм поэзии таков.
Пятнашки влаги с камнем наблюдая,
знать новости, носимые вай-фаем,
я не даю себе тревожного труда:
проходит всё, теряет память лица,
от ветра твердь ветшает и крошится,
и только облаков летучая гряда
темнеет.

Вера Зубарева

Тяжелые сны

* * *

снятся тяжелые сны
от города до страны
и дальше – до той стороны,
до этой уже стороны...

полнится ими земля
небо вода, и я
вышла из берегов,
нет мне пути назад.

* * *

Слякоть. Сумерки года.
Ширится поле темнот.
Солнце ушло с небосвода,
Город ушел в небосвод.
Крыши размылись и башни,
Плавают окна впотьмах.
День перешел во вчерашний
И под ногами размяк.
Новый забрезжил началом.
Сколько их было, начал...
Стрелки на круге гончарном
Крутит всемирный гончар.
Падает ртуть в неуклонном
Коловращении сфер,
Двигается снежным циклоном
Облако-Люцифер,
Ходят кругами вьюги,
Слякоть вмерзает в лед.
Что на девятом круге?
Думаешь ночь напролет.

* * *

Улица-призрак маячит за фонарем на углу.
Струйка луны выползла из подворотни.
Флюгер залеченный снова подсел на иглу,

Крутят его, развлекаясь, ветра-оборотни.
Ключ чертыхается в скважине ржавых ворот.
Дворник сметает в совок осколки Сатурна.
И, наблюдая весь этот мироворот,
Жвачку газеты жуёт полусонная урна.

* * *

В этом городе
даже луна с закрытыми всходит глазами,
Каждый предмет
кажется собственной тенью,
Каждый живущий – словно заброшенный замок,
И по ночам в нем бродят его видения,
Роются в прошлом. От них заводятся мыши.
В темных амбарах его всё сильнее их топот,
И по ночам душа только их и слышит.
Их выведением занят жизненный опыт.
Скоро уж, скоро снегом припудрят ели,
Дух небылиц будет отпущен на волю.
Снег поначалу легкий – потом тяжелеет.
Впрочем, как всё, что соприкоснется с землею.

* * *

Что-то вспыхнуло и заколыхалось во мгле,
Словно демон зажег свечу на столе
И гривастым пламенем львиным
Осветил неживые оскалы машин.
Корабли приставали,
И пирс их душил
Отплывающих пестрой лавиной.
Провода замыкало. Свет падал на дно
Развороченных люков,
Где влажно, темно.
Ветер в урнах с поспешностью рылся.
И бродяга смотрел и качал головой,
И обрывок газеты взлетал, как живой.
А под ним – удивленная крыса.
Пламя с тьмою сживались как contra и про,
И графитчик качался под рокот метро
И писал по бетонным скрижалям.
Звон тарелок и вилок раскалывал сквер,
И мутировал город химерой химер
Под свечи полыхающим жалом.

АМАРКОРД

Когда мы шли с закрытыми глазами
 И ничего не видели вдали,
 Газеты раздувались парусами
 И громким обещанием Земли.
 Мы шли на пристань. А зачем – не знали
 И не хотели, в глубине души,
 Мы просто шли с закрытыми глазами,
 Или казалось, может быть, что шли.
 Был взят билет к Земле Обетованной.
 И от мечты уже на волосок,
 Следили все за рубкой капитана.
 Но он не знал, где запад, где восток.
 Кружился тополиный пух бесцельно,
 Как будто осыпался с облаков.
 По пристани сновали поколенья.
 Все ждали с нетерпением отправления.
 Но это был корабль дураков.

* * *

Проснешься, а в окне зима
 Смела приметы века.
 Стоят деревья-терема
 В кокошниках из снега,
 Ведет калитка в глубину
 Приснившейся аллеи,
 Идешь, всё больше веря сну,
 Всему, что он навеял, –
 И льдинку тающей луны
 С утра в просветах сизых,
 И дух старинной тишины,
 И лепку на карнизах.

* * *

Памяти брата

Нас разлучило это лето.
 Настал безрадостный июль,
 И всё оставил без ответа.
 Носились пчелы с визгом пуль,
 Носились мысли из подполья,
 И жизнь неслась туда, где ей

Предписаны покой и воля
И неба вечная постель.
Но был приказ тебя не трогать,
И все мы двинулись вперед,
Где поджидал покой и пропасть
Всех-каждого, но в свой черёд.
А ты лежал, смотрел на солнце,
И это был последний сон,
Который каждому придется
Смотреть с закатом в унисон.
Прошли, пожухли боль, нещадность,
Надлом, судьбы переворот.
Лишь это лето возвращалось.
И наступает каждый год.

* * *

Уходит город с волнореза.
Вдоль обезлюдевшей косы
Плывут качели и навесы
И не имеющие веса
Его фонтаны и дворцы.
Конец каникул, воздух замер,
Струится память по воде,
Бормочут волны свой гекзаметр,
Баклан с печальными глазами
Нудит весь день по ерунде.
Ну что еще? Остатки света,
Письмо, застрявшее в уме,
И вариации ответа
Тому, кто снится на корме...

* * *

В этом черном квадрате истории,
Где гнездится всё безотчетное,
Где дается всё априори,
Нам досталось самое черное.
Это тьмы над бездной империя.
Из нее ни выплыть, ни вылезти,
И в нее окунают перья –
Чтобы ими писать по безвидности.

Виктор Санчук

НА ПОЛЯХ ПЕРЕВОДА ГЮНТЕРА ГРАССА В ПОДМОСКОВНОМ ЗВЕНИГОРОДЕ ВЕСНОЙ 1997

Марку Белорусцу, переводчику немецкой поэзии

Ночь, славная риторикой травы.
Перешагни, и через поколение –
щетиной серой зарастают рвы,
как скулы рядовых при отступлении.
Почудится, дождь пулеметит жечь.
И будет сон, словно роман пространным.
Идут слова, слова – числа им несть.
Но слышу – боль, боль – боем барабанным.
И ужас тот – не смучить, и не смочь,
не удержать, как слабый звук на струнах.
Случайный всхлип, и расползется ночь,
разъедется по швам дорожек лунных.
А там – повывлезает, заскрипит
да заскрежещет сорванною drankой –
предпамяти раздавленный санскрит –
всем месивом, как из-под траков танка.
Ночь бреднями риторики права:
могли ли вы, могли бы мы, могли ли...
Лишь толпы слов – безвестных, как трава –
на серых скулах – рвов, холмов, могилы.

Киев, март 2022

* * *

Жизни счастливая (последняя) рубашка
На гвоздике в ночном небе
А тут перед врачом разоблачаться
И вот уже привычно бесстрастные медбратья
Сведут в одну вне времени палату
Где безымянный однородный люд
в пижамках цвета сгнивших досок...
Зачем только зашел в эту поликлинику дурацкую
Сегодня

* * *

У спаниеля уши повисли
Словно две капли. Стоит цеплять ли
К этому факту высшие смыслы?
Думаю, вряд ли.

В опере слух усладили мы «Тоской».
 В целом же год преисполнен тоскою.
 Разве что кот в небо серое хвост свой
 Поднял трубою.

В общем, бессмысленное поколение.
 Времени окна проветрит историк.
 Буду фиксировать мира явления,
 Глядя во дворик.

* * *

Черная кошка ночи –
 Вся – зубы да когти –
 Со мной, серым мышем, играла,
 В норку утра бежать не пускала,
 Сверкала, клацала,
 Было страшно!

* * *

Думаешь, был я как рыба нем?
 Нет
 Просто
 Некто
 На голос моей жизни накидывал
 Ночей и дней
 Черно-белый невод

* * *

Так я ходил между городами
 И в них
 Трогал дома

Заусенцы быта цеплялись

Хлипких деньков
 Тщедушные вздохи

Но дорог татуированных
 Нешуточна хватка

Остатки слов
 ошмётки
 В ночь проваливаются

Как щел во сто
 в ки до ка

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Светлана Шелухина

«Ты единственный, с кем я могу быть, как с самим собой»

Переписка Г.П. Федотова и М.А. Зенкевича. 1912–1927

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Впервые публикуется переписка философа, историка и публициста Георгия Петровича Федотова (1886–1951) и поэта-акмеиста, прозаика, переводчика и литературного критика Михаила Александровича Зенкевича (1886–1973). Оригиналы девяти писем Г.П. Федотова 1912–1918 годов хранятся в Государственном музее истории российской литературы им. В.И. Даля (Москва)¹, трех писем М.А. Зенкевича 1926–1927 годов – в Бахметевском архиве русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета (Нью-Йорк)².

Между публикуемыми письмами Федотова³ и Зенкевича – временной промежуток восемь лет, они тематически и событийно между собой не связаны. Письма Федотова⁴ более емкие по объему и содержанию, чем письма Зенкевича, полнее раскрывают внутреннее состояние автора и отражают его философские взгляды и интерпретацию исторических, политических и религиозных процессов в России в тот период. В них определены некоторые главные темы его будущих работ, отражен процесс осмысления различных философско-религиозных учений и, в свете учения Вл. Соловьева, прослеживается неприятие теософии и понимание необходимости укрепления общественной роли исконно русского православия. Делясь с Зенкевичем своими размышлениями, Федотов акцентирует его значительную роль в развитии своих взглядов. Более того, он выступает и как литературно-философский критик, высоко оценивая поэзию своего друга и, в частности, выдвигая на первый план исторически и политически значимые ее составляющие.

Письма Зенкевича отображают новую действительность, повествуя о делах более практических. Как редактор издательства «Земля и Фабрика» («ЗиФ»), он пишет Федотову из Москвы в Париж с предложением сделать переводы книг иностранных авторов для издания в России. Отсутствие ответов корреспондентов друг другу или каких-либо других известных письменных свидетельств более позднего личного и эпистолярного общения не дает возможности проследить развитие этого диалога.

Значение представляемых здесь писем бесспорно как для иссле-

дования темы «Федотов и Зенкевич», так и для понимания процессов формирования мировоззрения и развития творчества этих выдающихся деятелей русской культуры.

Все письма представлены в хронологическом порядке. Авторская датировка дается в начале каждого письма и указывается в конце, если так в оригинале. Новая, уточненная, датировка и места отправки некоторых писем Федотова приводятся в квадратных скобках в начале писем. Количество страниц, датировка ГМИРЛИ и архивный шифр даются в примечаниях под письмами. В письмах до 1918 года датировка приводится по старому стилю; в двух письмах 1918 года публикуется двойная авторская датировка. Не принадлежащая автору и не соответствующая порядку размещения писем в статье более поздняя нумерация страниц в письмах Федотова не указывается. Орфография приведена в соответствии с современными нормами, но в отдельных случаях с сохранением некоторых значимых авторских особенностей. Сокращения развернуты в квадратных скобках.

Выражаю благодарность сотрудникам Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля (Москва), The Bakhmeteff Archive of Russian and East European History & Culture (Columbia University, New York), архивов библиотек Humboldt-Universität zu Berlin (Claudia Hilse)⁵ и Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Deutschland (Margit Hartleb)⁶, ULiège Library, Belgique (Delphine Paulissen и Léa Lentzen)⁷, Государственного архива Саратовской области⁸, Государственного архива Одесской области (Державний архів Одеської області, Україна)⁹, Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук (Санкт-Петербург)¹⁰, Центрального государственного исторического архива (Санкт-Петербург)¹¹, Российского государственного архива литературы и искусства (Москва)¹², а также В.В. Смянову (Северо-Кавказская Государственная академия) за содействие в подготовке публикации.

1. ГМИРЛИ. Ф. 247 [Зенкевич Михаил Александрович].

2. Zenkevich, Mikhail Aleskandrovich (sic!). Georgii Petrovich Fedotov Papers. Moscow, 1926-27. To Georgii Petrovich Fedotov. 3 a. l. s. The Bakhmeteff Archive of Russian and East European History & Culture, Butler Library, Rare Book & Manuscript Library, Columbia University, New York, USA.

3. О других публикациях эпистолярного наследия Федотова см. *Антощенко*, 2008а. С. 240. Автор указывает на две публикации в «Новом Журнале»: Письма С.Л. Франка к Г.П. Федотову / «Новый Журнал». 1952. № 8. С. 288-289; Письма М.И. Цветаевой к Г.П. Федотову / «Новый Журнал». 1961. № 63. С. 162-172.

4. По информации С.Е. Зенкевича, еще одно (предполагаемое) письмо Федотова Зенкевичу находится в частном собрании (здесь не публикуется). В нем Федотов высказывается по поводу недостаточно высокой, по его мнению, оценки Валерием Брюсовым первой книги Зенкевича «Дикая порфира» (*Брюсов*, 1912). Моя датировка этого письма – после июля 1912 года.

5. Universitaetsarchiv, Humboldt-Universität zu Berlin (UAB), Eichborndamm 113, D-13403 Berlin.

6. Universitätsarchiv Jena (UAJ), Postfach, 07737 Jena. Bestand BA. Nr. 882; Nr. 883, Bl. 113, 114, 116r; Nr. 1665 k, Nr. 122, 123.
7. «Zenkevitch Boris, Saratov, R.» Archives de l'Université de Liège, Fonds du Secrétariat Central. Registres des inscriptions des étudiants 1908–1913. Université de Liège, Belgique. [Коллекция центрального секретариата. Регистрационные записи студентов 1908–1933 гг. Льежский университет, Бельгия. Записи: №1290 за 1908–1909 г., б/д; № 1384, 16 октября 1909 г.; № 1104, 2 сентября 1911 г.; № 2776.] Варианты написания фамилии «Зенкевич» в разных документах архива «Zenkovitch» или «Zenkevitz», при совпадении имени, даты и места рождения.
8. ОГУ ГАСО. Ф. 248 I-ой Саратовской мужской гимназии. Ф. 637. Оп. 2. Д.643. Л. 17 об.-18. [Метрические книги Николаевской церкви Марининской колонии Саратовского уезда].
9. Державний архів Одеської області. Ф. 45. Оп. 5. Вязка 5028. [Дело студента Михаила Александровича Зенкевича. № 132. Лит. 3. Императорский Новороссийский университет]. Количество листов в Деле – 15 (на 11.02.2021). Нумерация листов отсутствует.
10. РО ИРЛИ РАН. Ф. 773. Оп. 1, 2. [Зенкевич Михаил Александрович (1886–1973), поэт, переводчик].
11. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53466.
12. РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 57 [Зенкевич Михаил Александрович]. Ф.2943. Оп. 4. Ед. хр. 253 [Личное дело члена Московского отделения Союза художников РСФСР Зенкевича Б.А.].

САРАТОВ, 1904–1905, 1915 ГОДЫ

Федотов и Зенкевич были земляками, почти ровесниками. Зенкевич родился 9 (21 нового стиля) мая в селе Николаевский городок Саратовской губернии, Федотов – 1/13 октября 1886 года в Саратове. Их дружба продолжалась более двух десятилетий (судя по датам переписки, но, возможно, и дольше).

Детали биографии Федотова хорошо известны, но подробностей о жизни Зенкевича того времени пока опубликовано мало. В 1904 году, после окончания Федотовым с отличием Воронежской классической гимназии, его семья вернулась в Саратов. Он поступил в Петербургский технологический институт, который закрылся во время революции 1905 года, и вскоре вынужден был вернуться в Саратов. С мая 1905 года был чрезвычайно активен в среде социал-демократов, начиная с участия в своей первой маевке и посещения собраний кружка рабочих, в связи с чем попал под надзор полиции.

В 1904–1905 году Зенкевич учился в последнем – восьмом – классе 1-й Саратовской мужской гимназии, которую окончил девятнадцатилетним в мае 1905 года, на год позже Федотова. Его поведение в старших классах было далеко не безупречным с точки зрения подчинения школьным правилам и лояльности режиму. С 1902 года он и его младший брат Борис были замечены охранкой в связях с социал-демократа-

ми и эсерами и распространении нелегальной литературы, за что попали под негласный надзор (*Гусакова*, 2017. С. 46). Зенкевич также был знаком со Степаном Балмашевым, который учился с братьями Зенкевичами в одной гимназии¹ (*Шелухина*, 2021. С. 60–61. *Сергеев*, 1997. С. 372–373). 15 января 1905 года, во время всеобщей пятидневной политической стачки в Саратове, гимназисты прекратили занятия и присоединились к протестам, во время которых подверглись избиениям полицией. Хотя неизвестно, был ли Зенкевич среди манифестантов, он открыто поддержал их требования перед учителями, что и было прописано в выданном ему по окончании гимназии Кондуите:

15 января 1905 г. в день школьных беспорядков не был в классе и не принимал в них участия: после объявления ученикам резолюции Г. Попечителя учебного округа о взысканиях за участие в школьных беспорядках заявил Г. Директору о своей полной солидарности с учениками, принимавшими участие в беспорядках. Понижен балл поведения за четверть².

Таким образом, к приезду Федотова в Саратов в 1905 году Зенкевич уже имел достаточно широкие связи с местными революционерами. Точная дата знакомства Федотова и Зенкевича пока документально не установлена. Многочисленные упоминания Зенкевича как «Миша» или «Миша Зенкевич» отмечены в письмах Федотова к Т.Ю. Дмитриевой³, с которой Федотов вел длительную переписку, включая годы одновременного эпистолярного общения с Зенкевичем. Так, в письме от 10 июля 1905 года есть строки о некоем Мише, который в примечаниях к письмам идентифицируется как «неустановленное лицо» (*Федотов*, 2008а. С. 10–11):

Всякий раз, как я бываю в городе, я вижу с Сергеевым (мы с ним занимаемся), и я от него узнаю о наших знакомых. Миша их покинул: он слишком занят. Вместо себя он прислал одного юношу, недавно приехавшего из Баку. <...> Вместе с ними я раз ездил на Увек. Пили там чай, «занимались революцией», а на возвратном пути на пароходе пели песни возмутительно-го содержания.

Поскольку никакой другой «Миша» в письмах к Дмитриевой не фигурирует, с определенной долей вероятности можно предположить, что это был Миша Зенкевич и что летом 1905 года Федотов и Зенкевич вместе «занимались революцией».

Чем был занят настоящий Миша Зенкевич в июле 1905 года, становится известно из документов его студенческих дел, сохранившихся в архивах Новороссийского, Берлинского, Йенского и Санкт-Петербургского университетов. Он готовился к поступлению на юридический факультет Императорского Новороссийского университета в Одессе, куда 21 июля 1905 написал прошение о приеме и 25 июля

подал его в университетскую канцелярию⁴. Своим домашним адресом Зенкевич указал адрес отца, Александра Осиповича Зенкевича (1853–1906), – г. Горки Могилевской губернии, Земледельческое училище⁵. Таким образом, к 21 июля Зенкевич, скорее всего, уехал из Саратова в Горки, к отцу, и затем, к 25 июля, – в Одессу для подачи заявления в университет (или же мог послать его из Горок по почте). Он был принят, занятия начались 2 сентября, как видно по университетской печати на его прошении. Если упомянутым Федотовым «Мишей» был Зенкевич, то именно эти события автор письма и имел в виду, говоря о большой занятости последнего. Выход из кружка и вероятный отъезд из Саратова в Горки позволил Зенкевичу избежать очередного попадания под надзор полиции и возможного полицейского преследования. Федотов был впервые арестован через месяц с небольшим, 24 августа 1905 года (*Антощенко*, 2008b. С. 158).

Федотов и Зенкевич знали и младших братьев друг друга, Бориса (1888–1972) и Сергея (1891–1915) Зенкевичей и Бориса (1889–1947) и Николая (1891–?)⁶ Федотовых, которые тоже были почти ровесниками. После отъезда Михаила в Новороссийский университет Борис Зенкевич продолжал бороться с царизмом вместе с саратовскими социал-демократами и эсерами (*Шелухина*, 2021. С. 61)⁷. В 1907 году он как член боевой организации социал-демократов участвовал в вооруженном нападении на кондуктора конно-железной дороги с попыткой изъятия сумки с деньгами (*Гусакова*, 2017. С. 47)⁸. После ареста и тюрьмы был отпущен на поруки, но бежал за границу. Учился и работал в Париже, Женеве и Льеже; летом 1914 г. нелегально въехал в Россию, был арестован, снова сидел в тюрьме и опять был отпущен на поруки, «оправдан судом и мобилизован на военную службу»⁹.

Из письма Федотова от 16 июля 1915 года узнаем, что он был осведомлен об этом предстоящем 28 июля 1915 года суде в Саратове над Борисом и желал встретиться с Михаилом, если тот приедет на суд из Петрограда. На заседании суда присутствовали друзья из ближайшего окружения братьев Зенкевичей и Федотовых. Список присутствовавших известен из другого эпистолярного источника – последнего сохранившегося письма Михаила Зенкевича младшему брату Сергею от 13 августа 1915 года, в котором он описывает свою поездку в Саратов на заседание суда:

Дорогой Сережа,

В понедельник вернулся из Саратова. Дело Бори кончилось благополучно, его оправдали. Обстановку суда долго описывать в письме – была она, конечно, несколько страшна; утром все мы пошли вместе в суд, точно на экзамен, в коридоре встретили знакомых, больше молодежи: Коля Березов, Барцев, Федотовы <...>¹⁰.

Первый в списке тех, кто пришел поддержать друга, – Н.Ф. Березов (1891–1953), эсер с 1906 года, видный деятель ПСР¹¹. Следующий – один из двух братьев Барцевых из известной своими прогрес-

сивными взглядами саратовской семьи¹². Далее идут Федотовы (кто именно из трех братьев, Зенкевич не уточняет), но, поскольку Георгий Федотов знал о заседании суда и собирался встретиться с Михаилом Зенкевичем, одним из них, скорее всего, был он сам. Как видим, личные контакты и Федотова, и Зенкевича с эсерами и социал-демократами Саратова, сформировавшиеся более десяти лет назад, к 1915 году сохранялись. У Зенкевича, как установлено по одному из архивных источников (*Шелухина*, 2021. С. 59-61), письменный контакт с бывшим эсером Константином Константиновичем Кураевым (1893–1942?), который в свое время работал механиком у Вильбура Райта во Франции, состоялся еще и в августе 1933 года, во время написания Зенкевичем книги «Братья Райт» (*Зенкевич*, 1933).

ЗЕНКЕВИЧ, ОДЕССА, 1905–1906 ГОДЫ

В годы первой русской революции ситуация в Одессе была не менее взрывоопасной, чем в Саратове, – погромы, волнения, демонстрации и забастовки не прекращались. Проучившись в Новороссийском университете осенний семестр 1905 года, в весеннем семестре 1906 года Зенкевич занятия уже не посещал, за учебу не платил (что отмечено в студенческом деле) и, скорее всего, вернулся домой в Саратов. Дата его отъезда из Одессы и причины прекращения учебы в студенческом деле не отмечены. В Саратове он, возможно, снова воссоединился с Федотовым, который продолжал революционную борьбу, был, в частности, особенно активен в дебатах с кадетами зимой 1905–1906 года, и весной 1906 года вынужден был скрываться от полиции в Вольске под чужим именем.

Свидетельством продолжающейся борьбы и революционного настроения молодого поэта Зенкевича были его стихи, опубликованные в саратовской прессе. Он откликнулся на революцию 1905 года и на расстрел лейтенанта Шмидта¹³ на острове Березань, недалеко от Одессы, менее чем через два месяца после казни. В первом номере саратовского еженедельника «Жизнь и школа» от 22 марта 1906 года появились его стихотворения «Башня Вавилона» и «Железный спрут», а в третьем номере от 14 апреля – «Казнь» за подписью «Мих. З-ичъ» (*Зенкевич*, 1994. С. 37-38, 627-628, 675). «Башня Вавилона» изобилует призывами к борьбе рабов под красным знаменем с владыками мира: «То идет на бой железными рядами / Смело и сурово армия труда <...>». В «Железном спруте» капитал – это «всемогущий тиран, / Как железный, извилистый спрут / <...> ожиревший от крови», опутавший своими щупальцами Землю, которому автор предсказывает скорый «красный пожар». В «Казни» лейтенант Шмидт изображается героем, и вина за его гибель возлагается на самого царя («Расстрелом за алое знамя мстит царь»).

Эти публикации были уже открытым заявлением автора, однозначно указывающим на его политическую позицию. Можно было

бы предположить, что именно из-за своих крамольных стихов Зенкевич подвергся полицейскому преследованию и уехал за границу весной 1906 года. Однако в архиве Йенского университета сохранилось «Свидетельство о неподсудности» Зенкевича, выданное Саратовской полицией 17 мая 1906 года его матери, Евдокии Семеновне Зенкевич (1861–1938), для сына. Этот документ сам по себе исключал факт полицейского преследования, и Зенкевич наверняка также представлял его в Берлинский университет¹⁴. Он к этому времени уже находился в Берлине, что подтверждается письмами родителей, хранящимися в РО ИРЛИ, и документами из Новороссийского и Берлинского университетов. Из Новороссийского университета Зенкевич был официально отчислен в августе 1906 года, причина отчисления в документах не указана.

БЕРЛИН И ЙЕНА (ГЕРМАНИЯ), 1906–1908 ГОДЫ

5 ноября 1906 года Зенкевич подал заявление в Берлинский университет Фридриха Вильгельма (Friedrich-Wilhelms-Universität), в то время Берлинский университет им. Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin, 1828–1945), и 19 ноября начал учебу на факультете экономики, философии и управления (камералистики). Федотову после заключения в саратовской тюрьме летом 1906 года вместо назначенной ссылки в Архангельскую губернию было разрешено выехать в Германию. Там он поступил на философский факультет Берлинского университета, где учился уже в октябре. До октября следующего, 1907 года, они оба продолжали учиться в Берлине, но документального подтверждения их общения в архиве Берлинского университета пока не обнаружено. Поскольку друзья могли знать друг друга по Саратову, и, как видно из писем Федотова Дмитриевой, в Берлине он активно общался с соотечественниками, то вероятность их встреч там велика.

В Йенский университет Федотов, как известно, попал неожиданно и вынужденно, в результате высылки из Берлина в конце октября 1907 года за участие в нелегальном собрании, квалифицированном полицией как «тайное заседание» (Федотов, 2008а. С. 88). Переезд Зенкевича в Йену состоялся только через полгода, в апреле 1908 года, по окончании им весеннего семестра в Берлинском университете. Это служит доказательством того, что Зенкевич не присутствовал на том нелегальном собрании 1907 года – причине высылки его участников из Берлина, но и не гарантирует, что подобного рода деятельность перестала его интересовать. В архивах Берлинского и Йенского университетов также нет документов, в которых бы указывалась причина его отъезда из Берлина и поступления в университет в Йене. Похоже, это было желание продолжить учебу вместе с Федотовым в уютном и более приятном, по мнению Федотова, чем Берлин, провинциальном городке.

В Йене дружба Зенкевича и Федотова окрепла. Об их близком общении в этом городе и после возвращения в Россию Федотов многократно упоминает в письмах к Дмитриевой из Йены (Федотов, 2008а. С. 104, 105¹⁵, 107, 108, 109), возможно, из Саратова (Федотов, 2008а. С. 10) и Петербурга (Федотов, 2008а. С. 120¹⁶, 145, 172¹⁷, 179, 182, 190-191, 215, 222¹⁸, 229¹⁹, 234). Например, друзья вместе проводили время, путешествуя за город в дамском обществе:

После тебя у нас здесь образовался триумvirат: я, Зенкевич и – Волкова (чисто славянский). 2 воскресенья <...> ходили в далекие прогулки вверх по Зале, были раз в Kahla. <...> За этой Волковой едва угонишься. Особенно поплатился Зенкевич, который что-то всё хворает. <...> Мы были втроем в замке «Leuchtenburg» (Федотов, 2008а. С. 104).

Федотов был хорошо осведомлен о деталях жизни Зенкевича, включая его болезнь, из-за которой беспокоилась и мать Зенкевича в письме к нему²⁰.

В одном из документов из Йенского университета имени Зенкевича и Федотова также стоят рядом. 1 декабря 1908 года офис канцлера университета направил запрос в отдел учета прибытий и убытий городской регистратуры мэрии Йены о дате и конечном пункте отъезда студентов из России Михаила Зенкевича (Michael Senkiewicz) и Жоржа фон Федотова (George von Fedotoff). В ответе (штампе с приписками на запросе) из мэрии от 4 декабря 1908 года сообщалось, что Зенкевич выехал в Россию 25 июля, а Федотов – в Саратов 25 августа 1908 года²¹.

По пути на родину Зенкевич заехал к брату Борису в Женеву, спасшемся за границей от суда. В Женеве Борис учился в Лаборатории аналитической химии Женевского университета у профессора Л.-К. Дюпарка (Louis-Claude Duparc)²². По документам из архива Льежского университета, с сентября 1908 года он был зачислен в Специальную художественно-промышленную и горную школу в Льеже (Ecole spéciale des Arts et Manufactures et des Mines), где проучился до 1910 года²³. Повидав брата, Михаил поехал в Саратов, к матери, откуда 16 августа 1908 года направил прошение в канцелярию Новороссийского университета о высылке его аттестата в Петербургский университет для поступления. После отъезда Зенкевича из Йены Федотов еще месяц оставался там в ожидании каких-то важных известий от него, от которых зависел его собственный отъезд, сетуя об этом в письме Дмитриевой («Зенкевич не пишет о деле. <...> От Зенкевича ни слуху ни духу. Обманул меня.» (Федотов, 2008а. С. 107, 109).

ПЕТЕРБУРГ-ПЕТРОГРАД, 1908–1918 ГОДЫ

Дружба Федотова и Зенкевича продолжалась как во время учебы в Санкт-Петербургском университете, так и после его окончания. По

прибытии из Йены Федотов восстановился на историко-филологический факультет, куда был принят еще до отъезда в Германию, и начал занятия в октябре. Зенкевича зачислили на юридический факультет не сразу, а только после подачи повторного прошения о зачислении и уплаты первоначального взноса в 25 рублей – несмотря на то, что первый раз он подавал такое прошение, еще находясь в Йене (но не заплатил тогда взнос). Он смог начать учебу только в ноябре 1908 года, после проволочек, связанных с зачетом курсов, прослушанных им в Берлинском университете. 14 октября 1908 года Федотов писал Дмитриевой:

В университете вижуся с Зенкевичем, и, пошутив с ним, чувствую себя веселее. Но ему не до шуток. В унив[ерситете] ему не хотят зачесть заграничные семестры, и он не знает, оставаться ли или уезжать в Германию (Федотов, 2008а. С. 120²⁴).

Курсы Зенкевичу, в конце концов, зачли. Согласно «Записи студента Императорского С.-Петербургского университета юридического факультета Зенкевича Михаила Александровича, поступившего в Университет в 1908 году», он проучился в Петербургском университете шесть семестров, включая весенний 1911 года²⁵. В начале учебы, осенью 1908 года, друзья жили в полчасе ходьбы друг от друга: Федотов – на Петербургской стороне, по ул. Большая Гребецкая 17, кв.7, Зенкевич – на Васильевском острове, 7-я линия, д. 60, кв. 18 и 24.

Вскоре после своего приезда Федотов возобновил связь с социал-демократами в Петербурге и Саратове, включился в революционную деятельность, за что и был в очередной раз арестован на две недели в апреле 1909 года и заключен в Саратовскую тюрьму. Лето он провел в Саратове и осенью возобновил учебу в университете. С Зенкевичем они продолжали общаться; например, втроем, вместе с Тосей Вяльцевой²⁶, подругой Дмитриевой, посещали выставку в Академии художеств в декабре 1909 года. Но постепенно друзья пришли к разочарованию революцией, их духовный кризис обострился (Федотов, 2008а. С. 179). Весной 1910 года, отказавшись от сдачи государственных экзаменов из-за угрозы нового ареста, Федотов вынужден был провести два года на нелегальном положении.

Отношения братьев Федотовых с братьями Зенкевичами были настолько доверительными, что Сергей Зенкевич дал свой паспорт Федотову для нелегального путешествия в Италию летом 1911 года, куда вместе с ним отправилась Дмитриева на более короткий срок (Федотова, 1967. С. VIII). По возвращении в Петербург осенью Федотов по документам Сергея продолжал жить на Петербургской стороне, неподалеку от первой квартиры, о чем он сообщал в письме Дмитриевой:

Вот я и дома, устроился, кажется окончательно, теперь пора за работу

приниматься. Пет[ербург] встречает жестоко <...> Мой адрес: Пет[ербургская] ст[ороны], Зверинская ул[ица], № 172, квартира 34. Серг[ей] Александр[ович] Зенкевич (*Федотов*, 2008а. С. 172-173).

Весной 1912 года Федотов подал прошение о помиловании, явившись с повинной. Под своим настоящим именем он снял новую квартиру по ул. Ропшинской № 20, квартира № 7, в доме, прилегающем к дому № 22, где в квартире № 2 жил тогда Зенкевич. Федотов был помилован, но получил в наказание шестимесячную ссылку в Ассерн²⁷ до декабря 1912 года.

Бывшие юношеские интересы Зенкевича во время учебы в Германии и по возвращении на родину изменились. Любовь к поэзии возобладали, и он всё больше увлекается новыми связями со столичными литературными кругами, а не «революцией» и камеральными науками. Он начинает посещать Башню Иванова, публиковать свои стихи в разных журналах, в 1909 году знакомится с Николаем Гумилевым. В 1910 году печатается в «Аполлоне», становится участником Цеха поэтов и затем одним из акмеистов. 1912 год был особенно важным как для Федотова, так и для Зенкевича. В марте этого года, после выхода первой книги стихов «Дикая порфира», к Зенкевичу пришла известность. Эта весна для него стала счастливой. Он также занят подготовкой и сдачей выпускных экзаменов, и после сдачи отправляется в путешествие по Кавказу (*Зенкевич*, 1994. С. 636).

Однако осенью того же года, как узнаем из письма Федотова из Ассерна от 15 сентября 1912 года (письмо 1 данной публикации), Зенкевич был «признан неблагонадежным». Действие «Удостоверения для свободного проживания в СПУ и его окрестностях, сроком по двадцатое авг[уста] 1912 г.», выданного ему 24 сентября 1911 года²⁸, закончилось. По причине всеобщего кризиса высшей школы и студенческих забастовок зимой-весной 1911 года во многих университетах, включая Петербургский, сдача выпускных экзаменов весной 1911 года для большинства студентов была невозможна, и была отложена Зенкевичем до весны 1912 года. По той же причине Федотов также перенес экзамены и сдавал их почти одновременно с Зенкевичем, в мае 1912 года. После сдачи экзаменов Зенкевич получил не диплом, а Свидетельство об окончании университета № 1577 от 17 марта 1912 года, которое не давало права на вид на жительство²⁹. Оказавшись на нелегальном положении, он не был призван в армию после окончания университета, как и после прекращения отсрочки от военной службы, данной ему на время учебы до 1913 года или до достижения им 27-летнего возраста³⁰. Вероятно, именно в силу этих причин Зенкевич мог, по словам Федотова, «отделаться от солдатчины».

Литературные заработки прокормить молодого поэта не могли, и по возвращении в Петербург в сентябре 1912 года после летнего отдыха Зенкевич начал поиски работы в банке, что также осложнялось из-

за его неблагонадежности. Документального подтверждения о том, нашел ли он тогда работу, нет. Поэзия и активное участие в кружке акмеистов оставались его главными занятиями. Одно из его последних публичных выступлений до временного отъезда из Петербурга состоялось 15 февраля 1913 года, где он вместе с другими акмеистами читал стихи на заседании Всероссийского литературного общества. В апреле 1913 года его уже не было в столице, поскольку тогда он уже вел переписку о публикации своих стихов с Владимиром Нарбутом (первое известное письмо Нарбута Зенкевичу датировано 26 апреля 1913 года. *Нарбут*, 2008. С. 238). Нарбут вернулся из Эфиопии в столицу в марте и стал редактором популярного «Нового журнала для всех». Из его второго письма Зенкевичу от 7 июля 1913 года из Петербурга следует, что того всё еще не было в столице и что он находился в Двинске³¹.

Прочел твоё поразившее меня письмо и, признаться откровенно, обрадовался <...> скорой встрече с тобой. Являйся, милый Мишук, в Питер: я куда-либо, быть может, устрою тебя. Говорю, конечно, – о редакциях и др[угих] учреждениях, касающихся литературы. Чего ради попал ты в Двинск? Родичи есть? Знакомые? (*Нарбут*, 2008. С. 239).

Ответ Зенкевича Нарбуту не сохранился, и причина, по которой Зенкевич ездил в Двинск, неизвестна.

К осени 1913 года Зенкевич вновь возвратился в Петербург. Тогда же наметился несостоявшийся союз левых акмеистов, Зенкевича и Нарбута, а также Мандельштама, с кубофутуристами. Из очередного письма Федотова Дмитриевой достоверно известно, что Зенкевич возобновил поиски работы: «Мой сосед (Зенкевич. – С.Ш.) ходит по утрам ‘определяться’ по разным учреждениям, с полной безнадежностью». (*Федотов*, 2008а. С. 190–191) Нарбут уже ничем не мог ему помочь после неудачи с «Новым журналом для всех». Возможно, только к весне 1914 года эти поиски, наконец, увенчались успехом, когда Зенкевич устроился в Управление по сооружению казенных железных дорог в Петербурге по адресу ул. Фонтанка 117. Так, в 1916–1917 годах он занимал там должность старшего бухгалтера с окладом 1800 рублей³². Служащие железнодорожных компаний, как и неблагонадежные, освобождались от призыва, и, возможно, по одной из этих причин Зенкевич не был мобилизован на фронт.

В 1913–1916 годах Федотов продолжал учиться на магистерской программе. В армию он не попал и на войну мобилизован также не был благодаря учебе в университете. После защиты диссертации в ноябре 1916 года его оставили приват-доцентом на кафедре всеобщей истории, но возможности преподавать он так и не получил. В декабре 1916 года он начал работать вольноотрующимся в Публичной библиотеке, где возобновил знакомство со своей будущей женой Е.П. Нечаевой³³.

Обе революции 1917 года Федотов и Зенкевич встретили в столи-

це. После октябрьского переворота, с ухудшением ситуации и условий жизни в столице, Зенкевич уехал в Саратов, по его словам, «в конце декабря 1917 года» (Зенкевич, 2004. С. 283). Однако из газетного анонса известно, что 26 января 1918 года он должен был выступать на «Вечере поэтов» в «Привале комедиантов»³⁴. Федотов, который после 20 ноября 1917 также отправился в Саратов с надеждой найти там работу, к 20 января 1918 года вернулся обратно в Петроград (Федотов, 2008а. С. 208-211), где продолжал жить до своего временного переезда в родной город в 1920 году. Несмотря на отъезд Зенкевича, связь друзей по-прежнему не ослабевала, что подтверждается двумя последними письмами Федотова от 17/4 апреля 1918 года (письмо 8) и от 23/10 апреля 1918 года (письмо 9). Еще летом 1917 года Зенкевич представил в издательство «Гиперборей» свой второй сборник стихов «Четырнадцать стихотворений». Революция и переезд отложили издание этой книги на неопределенный срок. В марте 1918 года Федотов помогал Зенкевичу в подготовке ее к изданию при непосредственном участии М.Л. Лозинского³⁵. В результате совместных усилий Федотова и Лозинского новая книга Зенкевича была издана, и тираж послан Лозинским автору в Саратов.

Кроме того, Федотов хлопотал и о служебных делах Зенкевича в Петрограде. После переноса большевиками столицы в Москву весной 1918 года туда было переведено и Управление по сооружению казенных железных дорог, где ранее работал Зенкевич. В письме от 23/10 апреля 1918 года Федотов сообщал ему о возможности возобновления его прежней работы в новой столице. Этим шансом Зенкевич так и не воспользовался, оставшись в Саратове.

Последнее упоминание Федотовым приезда Зенкевича в Петроград в начале октября 1918 года находим в его (Федотова) письме Дмитриевой от 3 октября: «Миша З[енкевич] написал, что приезжает ко мне 6-го. Его хозяйка передала квартиру, так что корабли его сожжены» (Федотов, 2008а. С. 229).

СНОВА САРАТОВ, 1918–1923

Пребывание Зенкевича (1918–1923) и Федотова (1920–1922) в Саратове было, скорее всего, временем их последних встреч. Федотов переехал в Саратов из Петрограда с семьей, получив возможность преподавания в Саратовском университете и в Институте народного хозяйства. Он также возобновил свою связь с ИСТАРХЭТ.

Зенкевич в Саратове проявил себя во многих ипостасях. Согласно его личному листку по учету кадров, заполненному «3 января 1936 года» для приема на временную работу в Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ)³⁶ редактором отдела поэзии, с «июня 1918 по 1923 г.», т.е. в течение почти всего времени его пребывания в Саратове, он служил в Красной Армии. (До этого

Зенкевич также работал в ГИХЛе редактором отделов иностранной литературы и поэзии (с 1929-го по 1933 год). Следуя авторской датировке, указанной в личном листке, одновременно с армейской службой он занимал должности лектора и редактора в отделе искусства саратовского Пролеткульта («окт[ябрь] 1918–1920»), клубного преподавателя пехотно-пулеметных курсов (1920–1922) и заведующего отделением, а также губернского корреспондента телеграфного агентства РОСТА (1920–1922). Из другого источника известно, что он был секретарем полкового суда и секретарем-протоколистом трибунала при штабе Кавказского фронта (Зенкевич, 1994. С. 676). Свои стихи Зенкевич публиковал в «Художественных известиях», саратовских «Известиях» и в других саратовских изданиях. Здесь им была написана (но не опубликована) драматическая поэма «Альтиметр»³⁷ и издан сборник стихов «Пашня танков»³⁸.

Из родного города друзья разъехались, и данных в вышеперечисленных архивах о том, виделись они или нет после отъезда, пока не обнаружено. Федотов вернулся в Петроград в 1922 году с надеждой преподавать в университете, но в отсутствие преподавательской вакансии он вынужден был заниматься переводами. В 1925 году Федотов смог выехать в Германию для научной работы. При поддержке своего научного руководителя по Петербургскому университету профессора И.М. Гревса (Бон, 1998. С. 236) осенью того же года эмигрировал в Париж, куда Зенкевич и писал ему публикуемые здесь письма. В 1926 году в эмигрантском журнале «Версты» Федотов опубликовал статью «Три столицы», запрещенную в Советской России³⁹ (Федотов, 1967. С. 49–70. Бон, 1998. С. 244). С 1926-го по 1940 год он преподавал в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, много печатался и приобрел широкую известность как философ и публицист и, конечно же, как открытый противник большевиков. Дальнейшая переписка двух друзей в таких условиях вряд ли оставалась возможной. В начале войны, вскоре после оккупации нацистами Франции, Федотов уехал в Америку, проделав трудное путешествие длиной в год. Преподавал в Йельском университете и в Свято-Владимирской православной семинарии. При финансовом содействии Бахметевского фонда занимался исследовательской работой и публиковал свои знаменитые труды.

Зенкевич переехал в Москву весной 1923 года, где и прожил более пятидесяти лет, до конца жизни. Издавал книги своих стихов до 1937 года, пережил гонения на акмеизм, балансируя между требованиями времени и желанием творить. В годы террора потерял троих соратников по акмеизму и многих других своих коллег. Стал автором и соавтором целого ряда сборников поэтических переводов и постепенно укрепился в сознании читающей публики преимущественно как переводчик, в числе многих других литераторов его поколения.

Во время войны выезжал на фронт военным корреспондентом и неустанно переводил, чтобы содержать жену и двоих детей в эвакуации⁴⁰. Следующий авторский сборник стихов смог выпустить только через двадцать пять лет, в 1962 году. За границу Зенкевича выпустили первый раз в составе группы писателей весной 1960 года в США. Жоржа Федотова там он увидеть не успел.

О ПИСЬМАХ Г.П. ФЕДОТОВА

Федотов дорожил дружбой с Зенкевичем в силу ее интеллектуальной ценности и своей с ним духовной близости. Судя по письмам Федотова, пик этой дружбы пришелся на годы в Йене и в Петербурге-Петрограде. В центре дискуссий двух друзей – историко-политические и философско-религиозные вопросы, а также проблемы личного характера.

Одна из двух главных тем настоящего собрания писем Федотова, как и всего его наследия, – русское христианство. Эта тема особенно ярко звучит в его недатированном письме «с Волги, за Чебоксарами» (письмо 4). Участие в археологической экспедиции, путешествие на пароходе по Волге с посещением церквей в городах Русского Севера и наблюдения, сделанные в ходе этой экспедиции, натолкнули Федотова на размышления и выводы о канонах русского православия, отображенных в деталях и особенностях иконографии древних церквей Углича и Ярославля, об общностях и различиях восточного и западного христианства с опорой на сравнения русской иконописи с религиозным искусством Возрождения. Федотов подошел к критическим выводам о несовместимости постулатов официальной религии с сутью истинного христианства, сохранившегося в северной глубинке и выражающего народную духовность. Заключительная фраза этого письма указывает на неприятие автором московского типа православия как одного из столпов абсолютистской государственной власти, в отличие от истинно народного, «ярославского», исполненного духом Св. Софии, христианства: «<...> легко и радостно в Ярославских церквях, не то, что в Москве, – я убедился, что нельзя Успенский собор делать Св. Софией православия». Эти выводы – важный этап в развитии философско-религиозного мировосприятия Федотова, предтеча целого ряда его будущих публикаций, среди которых «Лицо России» (1918) (Федотов, 1967. С. 1-7), «Три столицы» (1926), «Будет ли существовать Россия?» (1929) (Федотов, 2008с), «Республика Святой Софии» (1950) (Федотов, 2004), одна из самых значительных публикаций американского периода, и, наконец, фундаментальный труд *The Russian Religious Mind: Kievan Christianity: The Tenth to the Thirteenth Centuries* (Fedotov, 1946. Федотов, 2004. Федотов, 2015).

Вторая, не менее важная тема, неразрывно связанная с первой, –

историческая судьба России – также четко определена в нескольких письмах Федотова. В письме от 20 июля 1914 года (письмо 6), в день объявления Россией войны Германии, он не скрывает от Зенкевича своего критически-апокалиптического настроения: «Точно одурел и почти радуюсь гибели цивилизации. Конец убогому шутовству нашей жизни». Примечательно, что в такой переломный момент жизни и истории он обращается именно к Зенкевичу. Спустя год, в его письме от 16 июля 1915 года (письмо 7), одновременно и с новой силой звучат вера и тревога за судьбу России на фоне глобальных катаклизмов, в которые она оказалась втянутой. С одной стороны, осознание трагизма грядущего и неизбежности его последствий вызывает у Федотова чувство собственного бессилия, почти обреченности, с другой – обнажает в нем дар провидца:

Впечатления здесь кругом не из веселых. Но у меня такой маленький угол зрения, я сижу, как в норе, ничего не вижу. А ведь то, что сейчас делается в России в деревне, гораздо важнее генеральных сражений. Здесь клич к будущему. Россию никто не может погубить, если она сама себя не погубит. Но кажется, что она хочет гибели.

Более того, в этом письме Федотов не просто раскрывает свои чувства своему другу – он просит Зенкевича приехать и укрепить его веру в Россию на фоне драматически развивающихся событий, поражений на фронте, отступления русских войск, утраты веры в победу в тылу и ухудшающегося положения дел в глубинке. Он прямо заявляет, что нуждается в прочности веры самого Зенкевича в Россию, особенно в такой критический момент неустойчивости собственной:

Приезжай, Миша. Мне надо поговорить с тобой о России, на этот раз не за тем, чтобы спорить, а чтобы опереться на твою веру. Моя малодушествует.

В этих словах Федотова содержится не только характеристика Зенкевича как высоко ценимого им верного друга, его моральных устоев, но и возможное объяснение, почему Зенкевич после революции не покинул Россию. Идентичный по смыслу ответ о Зенкевиче был дан и другим его товарищем и земляком, писателем Львом Гумилевским в двух его сочинениях – романе «Эмигранты», опубликованном в Саратове в 1922 году (*Гумилевский*, 1922), и в одноименном рассказе, напечатанном в Москве в 1928-м. (*Гумилевский*, 1928)

Духовный перелом у Федотова происходит через стремление укрепиться в вере в возрождение России через веру в Христа. Это не просто слепая вера в догматы, но зачатки его философско-религиозной концепции. Его духовное возрождение происходит через страдания, вызванные последствиями войны и Октябрьского переворота, и через интеллектуальный поиск, подпитанный растущей любовью к России и, в итоге, через обретение им новой жизненной цели – ее спасения.

С отъездом Зенкевича из Петрограда присутствие новых единомышленников становится особенно важным для Федотова. Неудивительно, что к концу 1917 года Федотов совместно с А.А. Мейером⁴¹ организует философско-религиозный кружок «Воскресение» (Федотова, 1967. С. IX–XIV). Именно об этих преобразованиях в своей жизни, связанных с новым духовным подъемом, обретением веры и объединением усилий представителей разных религий во имя общей цели в духе философии Вл. Соловьева, он пишет Зенкевичу 17/4 апреля 1918 года:

Моя жизнь теперь связана с кружком (не знаю, говорил ли я тебе о нем) – как бы определить его? – религиозного социализма. Теперь мы выпускаем маленький журнал⁴². Когда выйдет, пришло тебе. Ты не можешь представить себе в Саратове, какая теперь всюду идет подземная, но горячая работа. Сколько братства, религ[иозных] обществ, кружков живут, сколько зарождаются. Зреет мысль о религиозном ордене, связанном с церковью. Здесь тоже великий ледоход.

После отъезда в эмиграцию в 1925 году в статье «О Русской Церкви» Федотов писал, подводя черту под событиями тех лет:

Страшные годы 1917–1918 были для многих временем обращения к Церкви. С тех пор обращения не часты. Оставшаяся вне Церкви интеллигенция теперь не увлекается к ней общим потоком; она зарылась в старых окопах позитивизма или поглощена погоней за материальными благами». (Федотов, 2008b⁴³)

В ретроспективе роль Зенкевича в процессе развития религиозно-философских воззрений Федотова начинает проследиваться уже в первом по хронологии публикуемом здесь письме от 15 сентября 1912 года. Находясь в ссылке в Ассерне, он сообщает Зенкевичу о своем неприятии основ теософии, приглашая его к диалогу («Мне кажется, что это тебя интересует»). Теософия, согласно Федотову «...страшно дорожит своим характером ‘научности’ (вот как «научный социализм») и презирает сердце, мечтательность», что «...всё это крайне опасно; что я нужно быть сильным и уравновешенным для этого искусства, что я могу сойти с ума, расстроить и погубить свою нравственную личность» и что, в общем, она есть не что иное, как «нравственная банальность». Понимание чуждости этой теории усиливается на фоне объяснимого в его обстоятельствах собственного пессимистичного настроения, апатии и моральной угнетенности:

<...> следы моего теперешнего состояния. Давно я не помню себя в таком. Чувствую, что обращаюсь в животное, только в дурное. Может быть, это пройдет? Апатия почти ко всему, но главное, ощущение нравственной тяжести, всё теперь к Земле, т. е. не к Земле, а в грязь.

Федотову крайне необходимо общение с его другом, и он сожалеет о невозможности их скорой встречи из-за заточения в ссылке и предполагаемого перевода в Киев. В конце письма он предельно откровенен с Зенкевичем: «Хочешь, я скажу тебе правду? Мне никого так не хочется видеть, как тебя. Ты единственный, с кем я могу быть, как с самим собой».

В «предпарижском» письме, написанном после 9 мая 1913 года (б/д, письмо 2), он также не перестает уверять своего друга: «А я из-за границы буду писать: у меня кроме тебя нет корреспондентов, а для путешественника писать – необходимость».

Федотов не раз высоко оценивал и поэтический талант Зенкевича. Под впечатлением от его первой книги «Дикая порфира», сразу после ее выхода, в письме от 11 марта 1912 года к Дмитриевой Федотов хвалит талант своего друга:

Зенкевич, наконец, выпустил свою книгу, и я без ложного пристрастия скажу, что это самая замечательная книга за последние годы. Впрочем, не я один так думаю. Он теперь *persona grata* (Федотов, 2008а. С. 182).

«*Persona grata*» – о моментально взлетевшей славе, во многом определившей место Зенкевича в русской поэзии двадцатого века.

В письме от 17 (4) апреля 1918 года Федотов впечатлен яркой, почти осязаемой образностью и оригинальностью стихов второй книги Зенкевича «Четырнадцать стихотворений», которую он готовил к печати вместе с Лозинским («твои стихи я могу вполне воспринять одновременно и ухом и глазом»). С искренним чувством восторга он пишет об этом сборнике, приводя в поддержку мнение Лозинского:

Прежде всего хотел выразить тебе свой восторг, когда прочел твои стихотворения. Пусть они мне большею частью были знакомы <...> Он (Лозинский. – С.Ш.) сделал очень высокую, но справедливую оценку твоего таланта, и просил у тебя разрешения поставить на обложке фирму Гиперборея.

В следующем – и последнем публикуемом здесь – письме, от 23/10 апреля 1918 года, Федотов с не меньшим энтузиазмом делится деталями подготовки этого сборника к публикации:

Ты, может быть, станешь ругать меня, но поверь, что мною руководит только желание видеть твою книжку безупречной и обеспечить ей самое широкое распространение. Поэтому-то я и вступил в переговоры с Лозинским, увидав с его стороны большой интерес и уважение к твоему творчеству.

Смысловым центром новой книги Зенкевича для Федотова прежде всего являются два стихотворения – «Сибирь» и «Россия»:

Твой Сибирско-Русский цикл должен быть и политическим событием. Во всяком случае, я буду указывать на него, где только смогу.

Федотов не мог не оценить острый социально-политический заряд этих стихотворений, особенно сильно и своевременно прозвучавший на фоне поражения России в Первой мировой войне и трагических последствий двух революций. В «России», вслед за мастерским описанием ее тысячелетнего прошлого, громогласно звучит обличение растерзавших ее врагов, призыв к борьбе, вера в победу и в будущее возрождение страны:

Так под страдою кровавой и тяжелой –
Всколосить океана иссякшего дно –
По десятинам мирскою запашкой
Собиралась Россия веками в одно.
А теперь... победивши, ты рада ль,
Вселившаяся в нас, как в стадо свиней,
Бесовская сила, силе своей?
Ликуй же и пойлом кровавым пьяней.
Россия лежит, распластавшись, как падаль. <...>
И вновь над миллионами истлевших гробов,
Волнуясь, поднимется золотая целина,
По океанам тоскующий океан хлебов, –
Единая, великая, несокрушимая страна!

Зная, со слов Федотова, о высоком мнении о «России» Лозинского, еще раз находим подтверждение тому и в письме самого Лозинского Зенкевичу, в котором автор характеризует это стихотворение как «лучшее» во всей книге, а саму книгу как «превосходную»⁴⁴.

Во время работы над книгой Зенкевича весной 1918 года Федотов, возможно вдохновленный его «Сибирско-Русским циклом», продолжает начатый ранее эпистолярный диалог со своим другом о судьбах России, но уже в открытом литературно-публицистическом пространстве. В журнале «Свободные голоса» он публикует три статьи – как собственный отклик на происходящие события, включая «Лицо России», «С. Петербург, 22 апреля – 5 мая 1918» и «Мысли по поводу Брестского мира» (Федотов, 1967). В первой статье, делаясь собственным опытом изгнанника о том, «что значит тоска по р о д н е» («<...> И мы томились <...> по суровым просторам степей, по безбрежной Волге и дыханию восточных песков»), Федотов идет еще дальше в своей оценке стихов Зенкевича, ставя его в один ряд с Некрасовым и цитируя, как доказательство, отрывок из стихотворения Зенкевича «Князь» из «Дикой порфиры»:

А в полях в страду, как прежде, шумно
И скрипят возы с поникшей рожью,
И под солнцем златоверхи гумна,
И вихриста пыль по придорожью.

Этими примерами подтверждается как влияние поэтики Зенкевича по меньшей мере на одну из упомянутых статей Федотова, так и обоюдная ценность их долговременного и взаимообогащающего творческого общения. И поскольку, судя по письмам Федотова, судьба России была одной из главных тем их дискуссий, «Сибирско-Русский цикл» Зенкевича можно трактовать как поэтическую квинтэссенцию его идей, которые могли быть выражены в его утраченных письмах Федотову.

В другом письме (б/д, после 9 мая 1913 года, письмо 2), предвидя будущее Зенкевича в литературе, Федотов нисколько не сомневается и в его способностях создать большое биографическое произведение, планами о котором Зенкевич с ним поделился еще в 1913 году. Осведомленность о начале работы над таким масштабным произведением, в котором будет описана их молодость, где и ему (Федотову) может быть, найдется место, говорит не только об их доверии друг другу и о взаимно обогащающем общении, но и об интересе и любви Федотова к литературе. Литература видится ему как часть их общего философско-исторического и жизненного поиска:

А о твоих планах скажу, что я всей душой с ними, и не только за тебя рад, что тебя посетила большая идея, а и за себя прежде всего, потому что ты обещаешь воскресить полосу жизни, забываемую для меня, просто единственную, когда и я жил. Я знаю, что мы во многом иначе воспринимали ее, и это будет твоя жизнь, но что-нибудь и моего найдется... <...> Я понимаю, что тебя заботит финал, и думаю, что дать его, т.е. по-настоящему, всё равно, что самому возродиться. Для тебя, мой милый, это значило то же самое, что написать великую вещь. Не знаю, свершится ли это, но во многом уверен, и в детстве особенно.

«Большая идея», как мы теперь знаем, – это большая проза Зенкевича, включающая биографическую повесть «На стражень» и беллетристические мемуары «Мужицкий сфинкс» (Зенкевич, 1994. С. 361-624), впервые опубликованные полностью только в 1994 и 1991 году (соответственно), замысел которых родился более, чем за полтора десятка лет до своего завершения в конце 1920-х. Федотовская фраза «во многом уверен, и в детстве особенно» воплотилась в героях биографической повести. Финал беллетристических мемуаров прозвучал, как и предвидел Федотов, «по-настоящему». Верой в него друга и своей собственной верой в самобытность и вечность России, этого скифского «сфинкса» с лицом мирского исповедника Семен Палыча, «высеченным» из «серого булыжника», «возродился» и сам автор:

– Все мы можем производить по-нашему, по-крестьянскому, а вот с железом нам трудно... Для чего-нибудь и живет человек и удумывает, как лучше быть... От мертвой пчелы кануна не будет... (Зенкевич, 1994. С. 624).

Спустя почти десять лет после письма Федотова (после 9 мая 1913 года), 22 декабря 1922 года, на литературном вечере в Саратовском университете, где Зенкевич читал свои стихи из «Дикой порфиры», Федотов выступил с лекцией о его творчестве, озаглавленной «Поэт 'Дикой порфиры'». Он выполнил свое обещание, данное четырьмя годами ранее, в письме другу от 17/4 апреля 1918 года:

Хотя мне опять представилась соблазнительной мысль написать о тебе – в каком-н[ибудь] журнале или хотя бы в газете. Нет у меня для этого данных, но, м[ожет] б[ыть], я это и сделаю.

В заметке об этом вечере в «Новом художественном Саратове» приводилось начало лекции Федотова:

Я долго ждал, чтоб кто-нибудь в России поднял голос о замечательном, молодом и уже так странно-скоро забытом поэте, – никто этого не сделал. Поэтому-то я, не специалист в вопросах литературы, и выступаю с нынешним докладом⁴⁵.

В этой публикации также говорилось о том, что докладчик выделил темы поэзии Зенкевича, главной из которых была «материя, косность ее, груз веков, лежащих на всем мире и давящих наше сознание каждую минуту». Подчеркивалась научность, сила и оригинальность его творчества. Мнение Федотова, что Зенкевич на тот момент оставался «поэтом одной <...> книги 'Дикая порфира'», уравнивалось выражением надежды на скорое появление его новых сборников.

В эпистолярном наследии Федотова этого времени отчетливо выделяются два параллельных нарратива, отражающие его общение с Зенкевичем и с Дмитриевой. Некоторые их темы перекликаются. Но если в письмах к Дмитриевой преобладают личные мотивы на фоне обсуждения текущих политических и литературных новостей, то в посланиях к Зенкевичу на передний план выступают более масштабные, философские и исторические, вопросы. Постепенное охлаждение отношений с Дмитриевой проявляется, например, в одном из недатированных писем к ней из Петербурга, в котором Федотов довольно сдержан по сравнению со своими предыдущими посланиями к ней: «чужие, это – весь мир, кроме 2-3, и ты, конечно, близкая» (Федотов, 2008а. С. 190). Одновременно с отдалением от Дмитриевой происходит духовное сближение с Зенкевичем, и если теперь Дмитриева, по выражению Федотова, «конечно, близкая», то Зенкевич – «единственный», с кем он (Федотов) мог «быть, как с самим собой» (15 сентября 1912 года). В письме Зенкевичу из Парижа (б/д, после 29 мая 1913 года) также слышится отголосок ссоры с Дмитриевой, произошедшей на Пасху 1913 года, в результате которой

Федотов отказался взять ее с собой в Париж, ссылаясь на планируемую там занятость научной работой: «<...> прошу тебя не ездить. Мне там нужно очень много работать <...> и мы всё равно должны были бы разъехаться» (Федотов, 2008а. С. 185).

Совершив десятидневное путешествие через Германию, в «парижском» письме Федотов с энтузиазмом рассказывает Зенкевичу о первых днях своей парижской жизни, оглушивших его неожиданными впечатлениями и чувством необычайной свободы. Париж он описывает ярко и эмоционально, на одном дыхании, но, несмотря на все прелести этого города, он, одинокий среди незнакомых людей молодой человек, уже почти тоскует по своему другу, вдумчивому собеседнику и компаньону в сердечных делах:

Как жаль, что тебя нет здесь! Мы бы с тобой познакомились с какими-нибудь милыми девочками и ездили бы за город, по Сене. А один я на это никогда не осмелюсь! Да и поговорить хочется часто с тобой! Помнишь теорию «собеседника»? Я всегда придерживаюсь единственного.

На пятой странице поверх текста письма следующее описание юных парижанок автор проиллюстрировал портретом одной из них, сделанным фиолетовым карандашом в духе импрессионистов, подчеркивающим ее прозрачную, «болезненную» «хрупкость»:

Я люблюсь женщинами и нахожу, что кокеток все-таки не так много, как я себе представлял. Наивных я не вижу, и маленькие девочки имеют вид первых любовниц, но эти хрупкие, часто болезненные личики очаровательны.

Однако, в противоположность парижскому, романтически-возвышенному восприятию «прекрасных дам», в «предпарижском» письме (б/д, после 9 мая 1913 года), написанном по следам процитированного выше письма к Дмитриевой, автором было довольно однозначно сформулировано иное мнение об интеллектуальных и литературных способностях женщин, сообразное его настроению и воззрениям той эпохи. Судя по контексту, Федотов, отвечая на послание Зенкевича о разочаровании спадом революционного движения 1905–1908 годов, так размышляет о недавно вышедшем романе, вызвавшем громкую дискуссию в петербургском обществе: «Без тебя тут вышел роман Григорьева ‘На ущербе’ – это социал-демократия в 1908 г., написано женщиной и слабо, хотя интересно очень». Не похоже, чтобы автор письма хотел просто уточнить, что автор этого романа – новый Антон Крайний (в прозе).

«Женскую тему» Федотов продолжает и годом позже, в письме от 4 июля 1914 года (письмо 5), где упоминаются некоторые имена и описываются малоизвестные подробности в жизни обоих корреспондентов:

А вечером печальная необходимость ухаживать за В.М.⁴⁶ – впрочем, от этого я уклоняюсь, но это не способствует общему удовольствию. Наш кружок сжался до 5 человек, пятая барышня, подруга В.М., в которую я чуть не влюбился.

Эти события происходят на фоне полного отсутствия писем к Дмитриевой в 1914 году (Антощенко, 2008а. С. 292).

В этом же письме, в ожидании приезда Зенкевича в Саратов, Федотов делится с ним важной новостью о том, что некие Ларисса (sic!) и Муся туда не приедут по причине болезни последней, предпочтя южный берег Франции. Можно предположить, пока только гипотетически, что речь идет о воронежской родственнице Федотовых Лариссе, именины которой (26 марта) упоминаются в дневнике-календаре Бориса Федотова за 1902–1903 годы (Федотов К., Митрофанова, 2021. С. 18-19) и которая продолжала навещать Федотовых в Саратове после их переезда туда. Фраза Федотова, обращенная к Зенкевичу в письме: «Южная Франция – это твой рок, Миша», говорит о проблемных отношениях Зенкевича, скорее всего, с Лариссой, а не с Мусей, поскольку именно о Лариссе Федотов снова более детально пишет в следующем письме Зенкевичу от 20 июля [1914 года]:

Что тебе было бы всего интереснее знать? Приезжай, если можешь, сюда. Ларисса только что приехала, совершенно неожиданно <...> У нее уже был взят паспорт в Германию на какие-то воды. <...> Она выглядит болезненно, у нее что-то с печенью.

Такое повторное и подробное упоминание Лариссы указывает на понимание Федотовым важности ее приезда для Зенкевича. В силу этого личность загадочной Лариссы становится небезынской для исследователей биографии и творчества Зенкевича, о романтических увлечениях которого в молодости при отсутствии ранних дневников и писем практически ничего не известно.

Более того, благодаря меткой обрисовке Федотовым предполагаемых отношений Зенкевича и Лариссы («это твой рок, Миша») разговор о конкретной женщине в биографии поэта неизбежно перетекает в сферу обсуждения женских персонажей в его творчестве. Саратовско-южнофранцузская *femme fatale* Ларисса могла послужить прототипом как минимум двух одноименных и не менее роковых героинь его произведений – персонажа стихотворения «Лора» («Вы – хищная и нежная...», 1916), открывающего «Любовный альбом» (Часть II) неизданной на то время книги стихов «Под мясной багрянницей» (впервые как сборник – Зенкевич, 1994), и Ларисы, «бывшей возлюбленной» короля поэтов Мстислава, протагониста драматической поэмы «Альциметр», наделенного некоторыми чертами ее автора. Тип роковой женщины остается центральным и в других произведениях

Зенкевича 1920–1930-х годов, включая таких героинь, как Эльга Густавовна в «Мужичком сфинксе» и Титулованная леди в частично опубликованной поэме «Торжество авиации» (Зенкевич, 2018)⁴⁷.

Завершая обзор посланий Федотова Зенкевичу, особенно хочется отметить их язык и литературный стиль. Свообразие, выразительность и искренность этих писем, отсутствие боязни поделиться самым заветным с другом-конфидентом отражают многогранный дар Федотова, философа и художника слова. Отдельно возникает здесь и сложнейшая тема Федотова-поэта, детальное изучение которой видится нами на стыке его философско-религиозных, исторических и литературных изысканий.

По значению и разнообразию тем письма Федотова Зенкевичу – не просто часть его эпистолярного наследия, но конспекты его будущей публицистики и собрание провидческих идей свободного интеллектуала. Среди самых ярких его высказываний – мысли о вере и о России, в которых авторское озарение рождается одновременно с поиском путей ее спасения. Первое высказывание, личное и доверительное, отражает процесс возвращения к России: «<...> я занят новой любовью – как бы ты думал, к кому? К России». Второе описывает путь собственного воцерковления через колебание и неприятие: «Церковь влечет меня и отталкивает одновременно». И третье, самое емкое – «Россию никто не может погубить, если она сама себя не погубит» – являет собой фундамент философского мировоззрения Федотова. Как и заключительные слова большой прозы Зенкевича, раскрывающие его собственный философский замысел.

О ПИСЬМАХ М.А. ЗЕНКЕВИЧА

Три письма Зенкевича принадлежат другой эпохе. Между ними и письмами Федотова – революция и Гражданская война, переезд из Петрограда в Саратов, отъезд Федотова обратно в Петроград и его эмиграция во Францию, переезд Зенкевича в Москву. Они написаны Зенкевичем – редактором издательства, не Зенкевичем – поэтом. Но, несомненно, Зенкевичем – другом.

НЭП еще разрешает переписку с бывшими друзьями, оказавшимися по другую сторону границы. Зенкевич трудится в нарбутовском «ЗиФе». Издательство процветает, опережая по объемам и темпам публикаций многих своих конкурентов. Переводы зарубежных писателей, произведения которых приемлемы в идеологических рамках системы, чрезвычайно востребованы для быстрого и масштабного тиражирования. Старые литературные связи еще не исчезли и, как явствует из писем Зенкевича, с Федотовым они продолжали поддерживаться.

Как редактор отдела иностранной литературы и серии «Библиотека сатиры и юмора» «ЗиФа» и, после вхождения «ЗиФа» в ГИХЛ, как заведующий секциями иностранной литературы и поэзии

на новом месте, Зенкевич не раз давал своим друзьям-акмеистам, включая Мандельштама, Нарбута, Ахматову и многих других из «бывших», возможность заработать переводами. Помнил он и о Федотове, который уже был в Париже. В заказе, который Зенкевич ему предложил выполнить, им как редактором были соединены именно те требования к переводам, которые гарантировали их публикацию и, соответственно, заработок переводчику, – небольшой объем, новизна и, самое главное, – жанр: сатира и юмор.

В начале первого письма, от 8 ноября 1926 года, Зенкевич делится со своим другом главной новостью о недавнем выходе своей новой книги «Под пароходным носом». Во втором письме, написанном вслед за первым, 2 декабря 1926 года, он сообщает, что эту книгу он Федотову выслал. Но обещание написать «письмо о себе и своих делах» подробнее, данное в первом письме, ни во втором, ни в последнем, третьем, посланном через четыре месяца, 30 марта 1927 года, исполнено не было. Из третьего письма также понятно, что между вторым и третьим были еще письма, не дошедшие до нас.

В своих более поздних письмах к родственникам и коллегам Зенкевич всегда был сдержан в выражении чувств и эмоций, предпочитая высказываться в стихах. Со временем, по известным причинам, и этот способ самовыражения стал мало реализуем в произведениях, предназначавшихся для печати. Даже в письмах к жене из командировок по городам Союза или из Москвы в Чистополь Зенкевич не изменял своему кредо. Скупко повествуя о своих чувствах, описывал он ежедневный изматывающий труд переводчика в нетопленной квартире и детали материальной стороны жизни в военной столице, перечисляемые с дотошностью бухгалтера, изредка нейтральным тоном вставляя значимые для будущих исследователей детали о столичных литературных делах или о собственной поэзии, и всегда неизменно с любовью беспокоясь о детях.

Содержание трех его писем Федотову – это чистый бизнес, говоря современным языком, без каких-либо рассуждений на темы морали, философии, религии или судеб России, столь значимых для друзей в молодости («Сейчас же хочу поговорить с тобой о деле и предложить тебе переводы»). Цензура Главлита, о которой автор открыто предупреждает своего друга («<...> конечно, за целостность книг при пересылке ручаться трудно (ведь они идут еще в Главлит)»), означала цензуру писем. Боязнь, что неосторожно пророненное слово может навредить, незримо сковывает каждую его фразу. Главное – глубоко потаенное и личное – остается за текстом, проявляясь на ткани посланий крошечными вкраплениями.

Из постскриптума первого письма видно, что личная жизнь друга и его творчество безразличны Зенкевичу («Как движется твоя работа? Как твои научные занятия? <...> Привет твоим»). Он поддержива-

ет связь с младшим братом Федотова Борисом Петровичем, который живет в Москве с семьей и матерью, предлагая Федотову оформить договор на получение гонорара за переводы на имя брата, чтобы избежать проволочек с переводом денег в Париж. Детали же собственной личной жизни Зенкевич дает кратко и сжато. Он сообщает о своей женитьбе, не называя имени жены и не вдаваясь в подробности, за исключением одной фразы: «Отношения с молодой женой (ей 25 лет) пока дружные⁴⁸». Описание безрадостного тяжелого быта, повторяющиеся во втором и третьем письмах («...живу врозь, т.к. комната одна и со мной мама» и «Живу врозь с женой, комнаты найти трудно»), проецируются не только на способность к творчеству («Пишу изредка, но мало»), но и на жизнь общества в целом. Но несмотря на полуофициальное-полудружеское обращение в последнем письме («Дорогой Георгий Петрович» и «ты»), по сравнению с двумя предыдущими («Дорогой Жорж»), как и на казенное окончание этого последнего послания («Жму руку, желаю успеха в работе») в сравнении с неформальным («Привет твоим»), связь друзей в марте 1927 года всё еще не прерывалась.

Помог ли Зенкевич Федотову заработать, пока документально не подтверждено. Хотя, по его словам, две книги переводов Федотова были приняты «ЗиФом», в каталогах 1927–1930 годов они не значились. В 1927 году в Ленинградском издательстве «Мысль» вышел сборник трех рассказов Пьера Мак Орлана «Порт мертвых вод» в переводе с французского Г. Н. Федотова (Курсив мой. – С. III.). Был ли это Г.П. Федотов, и в отчество переводчика вкралась опечатка, могут показать дальнейшие исследования. В этом случае не совсем юмористическое содержание рассказов этого сборника не позволило Зенкевичу выпустить их в серии «Библиотеки сатиры и юмора».

Публикуемые письма Г.П. Федотова и М.А. Зенкевича, сохраненные и пронесенные друзьями «сквозь грозы лет»⁴⁹ и океан утрат, ценны как свидетельство их дружбы длиною в жизнь, несмотря на разлуку, и как еще один источник для понимания их творчества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эсер-террорист С.В. Балмашев (1881–1902), убийца министра внутренних дел Д.С. Сипягина.
2. Государственный архив Одесской области. Ф. 45. Оп. 5. Вязка 5028.
3. Дмитриева, Татьяна Юльевна (1884–1971?), первая саратовская любовь Г.П. Федотова, оказавшая на него значительное влияние и вовлекшая его в революционную деятельность. Состояла с ним в долговременной переписке (1905–1920 годы).
4. Прошение было зарегистрировано под номером № 4592. Государственный архив Одесской области. Ф. 45. Оп. 5. Вязка 5028.
5. В 1903 году А.О. Зенкевич был переведен в Гореецкое сельскохозяйственное училище, Горки Могилевской губернии. В биографическом очерке

«Зенкевич Александр Осипович» М.А. Зенкевич пишет, что его отец был переведен в Горки по доносу саратовского губернатора Энгельгардта в Министерство внутренних дел за отказ проводить обыски среди студентов зимой 1902–1903 гг. РО ИРЛИ. Ф. 773. Оп. 2. Ед. хр. 68, л. 1.

6. О знакомстве Зенкевичей с Николаем Федотовым документальных данных нет, но оно вполне очевидно.

7. РГАЛИ. Ф. 2943, оп. 4, ед. хр. 253 [Личное дело Зенкевича Бориса Александровича]. Приводятся данные из архивной справки № 295/1-17 от 25.02.2021.

8. См. также РО ИРЛИ, Ф. 773. Оп. 2. Ед. хр. 87 [Зенкевич Борис Александрович, брат М.А. Зенкевича, художник. 13 п.], 1907 год.

9. РГАЛИ. Ф. 2943, оп. 4, ед. хр. 253 [Личное дело Зенкевича Бориса Александровича]. Указанная архивная справка.

10. Письмо М.А. Зенкевича С.А. Зенкевичу незадолго до гибели того на фронте, послано по адресу: «Действующая армия / Полевая почтовая контора № 19 / 3 Артиллерийская бригада / 4 батарея / Вольноопределяющемуся Сергею Александровичу Зенкевичу» и возвращенное адресанту. РО ИРЛИ. Ф. 773. Оп. 2. Ед. хр. 80.

11. Н.Ф. Березов (1891–1953), член ЦК ПСР, делегат III съезда ПСР. Преподавал в Саратовском университете одновременно с Г.П. Федотовым до ареста и высылки в Ташкент в 1922 года. Умер в 1953 году в ссылке за антисоветскую деятельность. «Обвинительное заключение по делу члена эсеровского подполья Н.Ф. Березова», г. Тюмень, 30 июня 1949 г.» / Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985: Документы и материалы в 6 тт. Свердловская область. Т. 2. 1942–1985. С. 282–285.

12. Барцевы, Сергей (1884–1961), Николай (1888–1958), Татьяна (1887–1985) и Мария (1891–1983) – дети управляющего Саратовским пароходством С.И. Барцева (1850?–1919), бывшего народника, и Т.В. Филипповой (1854–1934). Т.Ю. Дмитриева хотела, чтобы Т. Барцева стала невестой Г.П. Федотова, еще до того, как она вышла замуж за философа С.Л. Франка (1877–1950) (См. *Федотов*, 2008а. С. 174. Комментарии Антощенко А.В.)

13. Лейтенант О.Ю. Шмидт был казнен 20 февраля (6 марта) 1906 г. за участие в ноябрьском Севастопольском восстании 1905 года.

14. Universitätsarchiv Jena-UAJ. Bestand VA. Nr. 882, 2 Seiten.

15. Упоминание М.А. Зенкевича на с.105; отсутствует в Именном указателе (*Федотов*, 2008а. С. 489).

16. Упоминание М.А. Зенкевича на с. 120; отсутствует в Именном указателе (*Федотов*, 2008а. С. 489).

17. После возвращения из Италии осенью 1911 года Федотов писал Т.Ю. Дмитриевой: «Но я видел Тосю, Мишу и Штейна, и на первое время не так уж одиноко» (*Федотов*, 2008а. С. 172). В примечании к этому письму «Миша» трактуется как «неустановленное лицо» (Там же). Однако, вполне вероятно, что здесь «Миша» – это М.А. Зенкевич, поскольку «Миша З[енкевич]» снова упоминается вместе с Тосей («Вяльцевой Анастасией Дмитриевной, подругой Т.Ю. Дмитриевой»). Там же. С. 174) в одном из ближайших по времени писем Федотова Т.Ю. Дмитриевой как люди, «которые мне (Федотову. – С.Ш.) ближе других» (Там же. С. 179).

18. В письме Т.Ю. Дмитриевой в Саратов из Петрограда 15 (2) мая 1918 г. Федотов пишет: «‘Свободные голоса’ я тебе послал, как и маме, и Мише,

- казанной бандеролью» (*Федотов*, 2008а. С. 222). «Миша» – М.А. Зенкевич. Отсутствует в Именном указателе (*Федотов*, 2008а. С. 489).
19. Упоминание М.А. Зенкевича на с. 229; отсутствует в Именном указателе (*Федотов*, 2008а. С. 489).
20. РО ИРЛИ. Ф. 773. Оп. 2. Ед. хр. 88.
21. Universitätsarchiv Jena, Bestand VA. Nr. 883. Bl. 116.
22. Л.-К. Дюпарк (1866–1932) – профессор минералогии, геологии и палеонтологии, аналитической и прикладной химии университета Женевы.
23. Archives de l'Université de Liège, Fonds du Secrétariat Central. Registres des inscriptions des étudiants 1908-1913. Université de Liège, Belgique. См. прим. 5 к «К постановке вопроса».
24. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53466. Л. 2.
25. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53466. Лл. 21–24.
26. РО ИРЛИ. Ф. 773. Оп. 2. Ед. хр. 88.
27. Бывшее название станции Асапе (Асари, Asare) в Юрмале, Латвия.
28. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53466. Л. 2. Л. 18.
29. 3 апреля 1912 года канцелярией Университета было отправлено в Саратовский призывной участок письмо за № 3292 о том, что Зенкевич «выбыл из университета по вып[исному] св[идетельству] 072 17 марта 1912 г.». ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53466. Л. 16.
30. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53466. Л. 2. Л. 44.
31. Современный Даугавпилс, Латвия.
32. Список личного состава Министерства путей сообщения. Центральные и местные учреждения. Издание Канцелярии Министра. Петроград, 1916. С. 165.
33. Нечаева (Федотова) Елена Николаевна (1885–1966), жена Г.П. Федотова, сотрудница Публичной библиотеки, писательница, переводчица. Опубликовала биографический очерк о Федотове (*Федотова*, 1967), библиографию его работ, воспоминания о нем и другие материалы.
34. «В пятницу, 26 января, в 'Привале комедиантов' (Марсово поле, 7) состоится 'Вечер петербургских поэтов'. Участвуют: Анна Ахматова, Г. Адамович, М. Зенкевич, Рюрик Ивнев, Георгий Иванов, М. Кузмин, О. Мандельштам, Вл. Пяст и др. Т. П. Карсавина, О. А. Глебова-Судейкина и Габриэль Иванова прочтут стихи Н. Гумилева, М. Цветаевой и Фр. Жамма. Нач. в 8 час. веч. (Новые ведомости. Вечерняя газета. 25 янв.)» Цит. по *Конечный, А.М., Мордерер, В.Я., Парнис, А.Е., Тименчик, Р.Д.* 1989. С. 143.
35. Лозинский, Михаил Леонидович (1886–1955), поэт, переводчик, соратник Зенкевича по Цеху поэтов, в 1918 г. редактор издательства «Гиперборей». В неопубликованной переписке Зенкевича с Лозинским также обсуждаются детали подготовки этого сборника к выпуску. ГМИРЛИ. Ф. 247. Оп. 1. Д. 20.
36. РГАЛИ. Ф. 613. Оп.1. Ед. хр. 57. Лл. 2, 2 об., 3, 3 об. [Зенкевич Михаил Александрович. Личный листок по учету кадров. 3 января 1936 г.].
37. Впервые: *Михаил Зенкевич*. Альтиметр: Трагорельеф. Публ., подг. текста и предисл. С.Е. Зенкевича. / В.Я. Брюсов и русский модернизм. Ред.-сост. О.А. Лекманов. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 274-341.
38. Саратов: Тип. Проф.-техн. курсов Губполиграфорд, 1921.
39. *Федотов, Г.П.* Три столицы. / «Версты». 1926. №1. С. 147-163. (Подписано: Богданов Е.).
40. См. письма к жене, А.Н. Зенкевич. РО ИРЛИ. Ф. 773. Оп. 2. Ед. хр. 77.
41. Александр Александрович Мейер (1875–1939), участник революции

- 1905–1908 гг., впоследствии религиозный философ и общественный деятель. Преподавал в Обществе народных университетов, на курсах П.Ф. Лесафта, в Институте живого слова в Петербурге; был одним из основателей Вольной философской ассоциации (Вольфила). В 1928 г. вместе с другими членами кружка «Воскресенье» арестован за создание контрреволюционной организации, приговорен к расстрелу. Приговор был заменен десятью годами на Соловках. Освобожден в 1935, умер в 1939 году.
42. Кружком был выпущен один номер журнала «Свободные голоса», редактором которого и автором одной из статей был Федотов.
43. Первые: «Путь». 1925, № 2.
44. Неопубликованное письмо М.А. Лозинского М.А. Зенкевичу от 22 апреля 1918 года. ГМИРЛИ. Ф. 247 [М.А. Зенкевич]. Оп 1. Д. 20.
45. (Б/п) «Поэт ‘Дикой порфиры’» / «Новый художественный Саратов». 1923. № 2. С. 7.
46. Неустановленное лицо.
47. Об Ахматовой как «прообразе» Эльги из «Мужицкого сфинкса» см.: «Слово свидетеля» (Зенкевич, 1994. С. 658). Об ахматовских чертах в образе Титулованной леди из «Торжества авиации» было впервые отмечено в моих докладах на конференциях: *S. Cheloukhina. «The Triumph of Aviation» (Torzhestvo aviatsii, 1937) by Mikhail Zenkevich. The 9th World Congress of International Council for Central and East European Studies (ICCEES), Tokyo, Japan, August 3-8, 2015; S. Cheloukhina. Zenkevich's Femme Fatale: Akhmatova, Elga, and the «Golden Triangle». 47th Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES), Pittsburgh, PA, 2015.*
48. 29 октября 1926 г. Зенкевич женился на Александре Николаевне Гусиковой (1899–1979), театральной актрисе (Зенкевич, 1994. С. 676).
49. «Сквозь грозы лет» – название сборника стихов Зенкевича, вышедшего в Москве в 1962 году в Гослитиздате.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антощенко, А.В.* Последний приезд Г. П. Федотова в Саратов / «Известия Саратовского университета». Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2020. Т. 20, вып. 1. С. 96-101.
- Антощенко, А.В.* Годы магистерской подготовки Г.П. Федотова / «Ученые записки Петрозаводского государственного университета». Февраль № 1, 2014. С. 7-11.
- Антощенко А.В.* Послесловие / *Г.П. Федотов. Собрание сочинений* в 12 томах. Т. 12. М: Мартис. Sam & Sam, 2008а. С. 240-256.
- Антощенко А.В.* Студенческие годы Г.П. Федотова (по новым документам) / «Всеобщая история и история культур». Петербургский историографический сборник. СПб: Лики России, 2008b. С. 157-168.
- Бон, Д.* Неизданное письмо Г.П. Федотова И.М. Гревсу. (Публикация и комментарии Даниэль Бон) / «Вестник Русского Христианского Движения». №177. I-II 1998. С. 236-244.
- Брюсов, Валерий.* Сегодняшний день русской поэзии / «Русская мысль». Книга VII. 1912. С. 17-28.
- Гумилевский, Лев.* Чортова музыка. Рассказы (1917–1924). М.: Кооперативное Издательство Писателей «Никитинские субботники». 1928. С. 125-152.
- Гумилевский, Лев.* Эмигранты: Роман. Саратов: Курганы. 1922.

- Гусакова, З.Е.* Штрихи к биографии члена ИСТАРХЭТ Г.П. Федотова / «Краеведение и архивное дело в провинции: исторический опыт и перспективы развития. Материалы межрегиональной научной конференции к 120-летию Саратовской губернской ученой архивной комиссии». Труды Саратовского областного музея краеведения. Вып. 9. Саратов: Локатор, 2006. С. 76-79.
- Гусакова, З.Е.* Братья Зенкевичи / Заметки архивиста. Саратов, 2017. С. 39-48.
- Гусакова, З.Е.* Саратов в биографии Георгия Федотова / О тех, кто жил, о том, что было: заметки архивиста. Саратов, 2012. С. 142-158.
- Гусакова, З.Е.* Из биографии философа, историка и публициста Г.П. Федотова / «Советские архивы». М., 1991. № 6. С. 87-89.
- Зенкевич, Михаил.* Торжество авиации: Драматическая поэма (Первая публикация. Фрагменты). Публ. С. Зенкевича / Журнал ПОэтов ДООС. 2018. № 2-3 (78). С. 48–50.
- Зенкевич, Михаил.* Альтиметр. Публикация, подготовка текста и предисловие С.Е. Зенкевича / В.Я. Брюсов и русский модернизм. Ред.-сост. О.А. Лекманов. Москва: ИМЛИ РАН, 2004. С. 274-341.
- Зенкевич, Михаил.* Сказочная эра: Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары / Сост., подготовка текстов, прим., краткая биохроника С.Е. Зенкевича. М.: Школа-Пресс, 1994.
- Конечный, А.М., Мордерер, В.Я., Парнис, А.Е., Тименчик, Р.Д.* Артистическое кабаре «Привал комедиантов» / Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1988. М.: «Наука», 1989.
- Нарбут, Владимир.* 16 писем к Михаилу Зенкевичу / *Владимир Нарбут. Михаил Зенкевич.* Статьи. Рецензии. Письма. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 238–263.
- Сергеев, А.* OMNIBUS. М.: «Новое литературное обозрение», 1997. С. 371-375.
- Федотов, Г.П.* Собр. соч. в 12 томах. Т. 9, 2004. С. 352-359.
- Федотов, Г.П.* Письма Г.П. Федотова к Т.Ю. Дмитриевой / Собр. соч. в 12 томах. Т. 12. 2008а. С. 7-256.
- Федотов, Г.П.* О русской церкви / Собр. соч. в 12 томах. Т. 2. 2008b. С. 5-16.
- Федотов, Г.П.* Будет ли существовать Россия? / Собр. соч. в 12 т. Т. 2. 2008с. С. 127-139.
- Федотов, Г.П.* Русская религиозность. Часть I. Христианство Киевской Руси. X–XIII вв. / Собр. соч. в 12 т. Т. 10. 2015.
- Федотов, Г.П.* Русская религиозность. Часть II. Средние века. XIII-XIV века. / Собр. соч. в 12 т. Т. 11. 2004.
- Федотов, Г.П.* Историческая публицистика. Вступ. ст. и комм. Вадима Борисова / «Новый мир», 1989. № 4. С. 207-230.
- Федотов, Г.П.* Лицо России. Сборник статей (1918–1931). Paris: YMCA-Press, 1967.
- Fedotov, G.P.* The Russian Religious Mind: Kievan Christianity: The Tenth to the Thirteenth Centuries. Harvard University Press, 1946.
- Федотова, Е.П.* Георгий Петрович Федотов (1886–1951) / *Г.П. Федотов.* Лицо России. Сборник статей (1918–1931). Paris: YMCA-Press, 1967. С. I-XIV.
- Федотов, К., Митрофанова, Е.* Г.П. Федотов. Жизнь русского философа в кругу его семьи. «Издательские решения», 2021.
- Шелухина, С.В.* «Братья Райт» Михаила Зенкевича: переписка с Орвиллом Райтом и другими корреспондентами (1932–1933 гг.): новые архивные разыскания / «Сюжетология и сюжетография». 2021. №1. С. 48-78. DOI 10.25205/2410-7883-2021-1-48-78.

Письма Г.П. Федотова к М.А. Зенкевичу

1.

15 сент[ября]
[1912 г., ст. Ассери]

Дорогой Миша!

Не знаю, когда и где найдет тебя это письмо. Моя лень виновата в том, что потерял тебя из виду и не знаю, в Саратове ли ты еще. Из письма брата я знаю, что ты 1) отделался от солдатчины, 2) признан неблагонадежным и 3) посылал мне письма, которых я не получал. Второе меня радует только отчасти: я понимаю, что это тебе может сильно затруднить поступление, скажем, в банк (кстати, что с ним) и обречь тебя на судебное красноречие. Но третье меня уже совсем не радует. Впрочем, чтобы быть правдивым, я должен сказать, что получил одну открытку от тебя, но отнесся к ней так же, как к письмам всех моих друзей. Не подражай мне в этом, прошу тебя, и извести меня о своих делах.

Не знаю, умеешь ли читать почерки, прочтешь ли в моем то, что я вижу в нем с несомненною ясностью: следы моего теперешнего состояния¹. Давно я не помню себя в таком. Чувствую, что обращаюсь в животное, только в дурное. Может быть, это пройдет?

Апатия почти ко всему, но главное, ощущение нравственной тяжести, всё теперь к земле, т. е. не к Земле, а в грязь.

И это несмотря на относительное одиночество, чистую осень и море. – Мне живется тут прекрасно.

Вместо того, чтобы жаловаться, я хотел тебе рассказать, Миша, то, что я считаю самым серьезным, случившимся со мной за это лето. Я выяснил свое отношение к теософии. Мне кажется, что это тебя интересует. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что прочел Steiner'a², но я приступил к нему с сознанием, что это самое веское, что оккультизм может сказать³ о себе. И читал я его не замыкаясь, с открытой душой. Некоторые вещи меня даже потрясли. Но тем печальнее общий итог. Возможно ли это? Да, возможно, но маловероятно. А главное, для меня почти безразлично. Узнав это, я не спасу своей души; не зная, не теряю надежды спасти ее. Это очень рассудительная религия, два ада, два Бога, основанная на одном любопытстве. Это астрофизика с⁴ интересами и языком естествознания⁵, конечно, не 20-го, а 16 столетия. Теософия страшно дорожит своим характером «научности» (вот как «научный социализм») и презирует сердце, мечтательность, то, что мы назвали бы мистикой. Ее «опыт» – это в буквальном смысле психологическое экспериментирование. Я не сомневаюсь, что, следуя ее методу, я переживу или «увиджу» всё то, что она обещает мне, но без малейшей уверенности в том, что это истина. Я

должен отдать годы жизни на упорный и одинский труд⁶, на сложную гимнастику духа, подойти к порогу безумия, испытать раздвоение личности, встретиться со своим двойником, и для чего? Чтобы узнать прошлое солнечной системы? Меня предупреждают, что всё это крайне опасно; что нужно быть сильным и уравновешенным для этого искусства, что я могу сойти с ума, расстроить и погубить свою нравственную личность – это убеждает меня только в серьезности и правдивости этих любознательных людей. Поразительнее всего для меня их нравственная банальность. Они серьезно убеждены (как Бокль⁷ когда-то), что нравственные понятия не изменяются, что добро и зло для всех ясно, причем эти добро и зло представляют как современный англичанин, а *business man*⁸: трезвость, золотая середина во всем, труд, справедливость, поменьше дряблости и фантастики. Право, я думаю, что теософия – настоящая религия для человечества 20 века, религия радиоактивности, X-лучей, и т. д. Ни одно искусство не стоит в такой связи с практическим оккультизмом, как фотография. Эти оттиски, клише, астральные отображения, всё это несомненно навеяно, если не Рентгеном, то Даггером. Они говорят только о духе, отрицают телесность на словах, но обращаются со своим духом, как с невесомой жидкостью, говорят о духовных цветах, звуках и запахах. И все-таки она ничуть не более чудесна или нелепа, чем Конт и Спенсер⁹. Я думаю, что много из ее идей войдет в науку будущего, но не в таком беззвучном виде, как теперь, когда она стремится дать окрошку из Парацельса, Платона, Веда, ап[остола] Павла и Маркони (телеграф)¹⁰.

Всё это грустно, Миша, потому что отнимает еще одну надежду – позолотить дерево жизни. Помнишь – «*Gran Iede Theorie*»¹¹... Я не хочу еще новых серых паутин. Мы с тобой в них путались достаточно.

Хочешь я скажу тебе правду? Мне никого так не хочется видеть, как тебя. Ты единственный, с кем я могу быть, как с самим собой. Но этот год мы, вероятно, не встретимся. Я просил о «переводе» в Киев. Пока мой адрес: Ассерн Лифл[яндской] г[убернии]. Санатория Красн[ого] Креста.

15 сент[ября]

Г. Федотов

Письмо на восьми страницах черными чернилами. Датировка ГМИРЛИ: до 1917 года. КП 56195/56. РОФ 6151/3. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 13-16.

1. Письмо написано из ссылки в Ассерне, где Федотов находился до декабря 1912 года.
2. Рудольф Штейнер (Rudolf Joseph Loz Steiner, 1861–1925), австрийский эзотерик и оккультист, основоположник антропософии. Подчеркнуто в тексте.
3. Подчеркнуто в оригинале.
4. В оригинале зачеркнуто «приемами».
5. В оригинале в слове «естествоиспытателя» перечеркнута часть «-испытателя» и сверху исправлено на «-знанья».

6. Одинский труд – здесь: бесконечный, упорный философский поиск.
7. Бокль, Генри Томас (Buckle, Henry Thomas, 1821–1862), английский историк, последователь Конта. Считал моральные законы неизменными, применял научные методы к изучению законов развития общества.
8. В оригинале зачеркнуто «busyman», исправлено на «business man».
9. Конт, Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье (Comte, Isidore Marie Auguste François Xavier, 1798–1857), французский философ, основоположник позитивизма и социологии. Спенсер, Гербер (Spencer, Herbert, 1820–1903), английский философ, психолог, социолог, один из основоположников эволюционизма.
10. Парацельс (Paracelsus, 1493–1541, наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim), швейцарский ученый эпохи Ренессанса, врач, алхимик, теолог, натурфилософ. «Ведь» – собрание древнеиндийских сакральных текстов на санскрите, средоточие абсолютной истины. Маркони, Гульельмо Джованни Мария (Marconi, Guglielmo Giovanni Maria, 1874–1937), итальянский предприниматель и радиотехник.
11. «Великая Теория». Здесь – аллюзия на Теорию Форм Платона.

2.

Б/д [после 9 мая 1913 г., Петербург]

Дорогой Миша!

Если бы ты знал, как меня обрадовало твое письмо! Конечно, оно было первое, полученное мною, – иначе мое молчание нельзя было бы приравнять и к свинству, не оскорбляя бедного животного. Не то, чтобы я ждал от тебя первого известия – я собирался писать каждый день, – но ничего не мог выжать из себя: даже поздравительных карточек на Пасху не мог послать никому. Ты прав: мервинги¹ тут ни при чем. Но на Страстной были неприятности, которые меня расклеили, не хочется говорить о них.

Чтобы кончить о себе, через несколько дней еду в Париж. Зачем, и сам не знаю. Какой-нибудь маленький городок Италии больше соответствовал бы моему настроению. Я не могу без ужаса думать о шуме и грохоте, который меня ожидает. Даже французы начинают заранее казаться ходячими трупами. Ведь это моя последняя ставка на Европу. Англосаксы всё равно – по ту сторону моего понимания. Если не Франция, то остается Глухов², и может быть, мы тогда встретимся с тобой.*) Зачем же я еду? Я напоминаю себе о Лувре и Библиотеке, но может быть, тут сильнее говорит Волошин и воспоминания о Notre-Dame³. Во всяком случае, лучше было бы ехать со свежими силами.

А о твоих планах скажу, что я всей душой с ними, и не только за тебя рад, что тебя посетила большая идея, а и за себя прежде всего, потому что ты обещаешь воскресить полосу⁴ жизни, незабываемую для меня, просто единственную, когда и я жил. Я знаю, что мы во многом иначе восприняли ее, и это будет твоя жизнь, но что-нибудь и моего найдется...

Ты говоришь о Ропшине⁵. Без тебя тут вышел роман Григорьева «На ущербе» – это социал-демократия в 1908 г., написано женщиной и слабо, хотя интересно очень⁶. Но это Петербург, и я с трудом, убеждая себя, читал, что это не Христиания: так похоже на Гамсуна⁷. Я понимаю, что тебя заботит финал, и думаю, что дать его, т.е. настоящему, всё равно, что самому возродиться. Для тебя, мой милый, это значило то же самое, что написать великую вещь. Не знаю, совершится ли это, но во многом уверен, и в детстве особенно.

Пиши мне, как будет складываться, – а я из-за границы буду писать: у меня кроме тебя нет корреспондентов, а для путешественника писать – необходимость. Впрочем, месяца через 1½ думаю вернуться.

От Манделъштама слышал, что Нарбут купил Н.Ж.Д.В., а не С.М.⁸

*) P.S. т.е в русских чувствах, а не в Глухове, конечно⁹.

[Б/п]

Письмо на четырех страницах черными чернилами. ГМИРЛИ: б/д, до 1917 года. КП 56195/61. РОФ 6151/8. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 5-6.

1. Федотов писал диссертацию о епископах меровингской эпохи (См. *Антощенко*, 2014. С. 8).

2. Имеется в виду место рождения Владимира Ивановича Нарбута – с. Хохловка, Глуховского уезда, Черниговской губ. ЦГИА. Ф.14. оп. 3, д. 46750, Л. 6.

3. Волошин, Максимилиан (1877–1932), долгое время проведенный в Париже, в литературных кругах был известен как «парижанин». Автор стихотворения «Notre-Dame» и других, упоминающих Собор Парижской Богоматери.

4. В оригинале зачеркнуто «часть».

5. В. Ропшин – литературный псевдоним Бориса Викторовича Савинкова (1879–1925), литератора, известного как руководитель Боевой организации партии эсеров (БОПСР), террорист и участник Белого движения.

6. Так в оригинале. Рафаил Григорьев – псевдоним Раисы Григорьевны Лемберг-Лифшиц (1833– ?). Ее роман «На ущербе» вышел в Петербурге в 1913 году (написан в 1907–1909 гг.). Изображавшийся в нем раскол в среде интеллигенции после неудач революции 1905 года вызвал полемику в критике, в частности, сопоставление с романом Ропшина-Савинкова «То, чего не было» (1913).

7. Христиания – городок, в котором жил главный герой романа «Голод» (Sult, 1890) норвежского писателя Кнута Гамсуна (Knut Hamsun, 1859–1952).

8. «Н.Ж.Д.В.» – «Новый журнал для всех». В. Нарбут стал его редактором в марте 1913 года. Предприятие потерпело финансовое фиаско, и он вынужден был продать журнал, выпустив всего два номера. См. *Тименчик, Р.* Владимир Нарбут. Русские писатели. 1800–1917. Т. 4: М-П. С. 229. «С.М.» – «Современный мир», ежемесячный литературный, научный и политический журнал, издавался в Санкт-Петербурге-Петрограде с 1906 по 1918 год.

9. Приписка в конце первой страницы.

3.

*Б/д [После 29 мая 1913 г., Париж]
Paris*

Дорогой Миша!

Это значит, что я уже не могу делиться с тобой дорожными впечатлениями, описывать красоты Рейна и Кельнский собор – я пробыл в Германии около 10 дней – теперь я весь полон Парижем. Право, я не считал себя способным увлекаться такой современной вещью, как Париж. Я говорю о современном Париже, п[отому] что ни его музеи, ни старые церкви не произвели на меня такого сильного впечатления, как его улица, живая толпа. В первый раз, когда я утром вышел из своего отеля, меня охватила беспричинная радость и легкость, от которых я отвык давно. Этот ужасающий шум и безпердел (sic! – С.Ш.) не имеет в себе ничего страшного, американского. Это не машина, а живое море. Никакие архангелы в касках не управляют его волнами. Всё движется само собою, каким-то чудом избегает смертельной опасности, которая иногда кажется неминуемой.

Я в первый раз за границей не чувствую себя отчужденным от людей, хотя и не могу говорить с ними свободно. Сегодня я поймал себя на том, что положил руку на плечо почтальона, у к[ото]рого спрашивал дорогу. И я радуюсь, как мальчишка, когда вывертываюсь из-под колес трамваев и омнибусов. Ничего в отдельности прекрасного, что бы заставляло заглядываться и вызвало волнение, как в Риме, как в Петербурге. Груды старых домов без всяких претензий на стиль, но почему-то стройных; двойная линия деревьев – это называется здесь бульварами! – вдоль тротуаров, и море огней, живых, движущихся, бумажных, электрических, всевозможных по вечерам: вот и всё. Но л[ю]ди! Если возможна абсолютная простота, культура, которая совершенно утратила тяжесть своих цепей, п[отому] что стала совершенно естественной, так это только здесь. Пет[ербург], в сравнении с Парижем, город чопорных немцев. Мне кажется, что выйди я здесь на улицу в одних кальсонах, никто не обратил бы внимания. Рабочие ходят гордо в изодранных и донельзя засаленных блузах, и я, кажется, в первый раз в жизни не стыжусь своего костюма (п[отому] что я все-таки стыжусь его). Я люблю женщин, и нахожу, что кокеток не так много, как я себе представлял. Наивных я не вижу, и маленькие девочки имеют вид первых любовниц, но эти хрупкие, часто болезненные личики очаровательны.²

Живу я в одной французской семье на полном пансионе, немного беседую с ними за столом, часов 5 провожу в библиотеке, а остальное время уходит на бродяжничество. Впрочем, я только третий день в Париже, чтобы описывать мой нормальный день. Как жаль, что тебя нет здесь! Мы бы с тобой познакомились с какими-нибудь милыми

девочками и ездили бы за город, по Сене. А один я на это никогда не осмелюсь! Да и поговорить хочется часто с тобой! Помнишь теорию «собеседника»³? Я всегда придерживаюсь единственного.

Перед отъездом из Пет[ербурга] я зашел к Нарбуту Егору и показал рисунки брата⁴. Он сначала сказал «выразительно», потом отказался выразить определенное мнение и просил прислать еще образцы. М[ежду] прочим, он может устраивать рисунки в детских книгах. Пусть Борис⁵ спишет с ним.

Пиши мне поскорее и подробнее.

Твой Жорж Ф.

Письмо на восьми страницах карандашом. ГМИРЛИ: б/д, до 1917 года. КП 56195/57. РОФ 6151/4. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 17-20.

1. В оригинале оторван правый верхний угол. Буква «ю» в слове «люди» восстановлена по смыслу.

2. Поверх текста в середине страницы рисунок девушки, сидящей на стуле, фиолетовым карандашом, в три четверти оборота.

3. Федотов ссылается на теорию немецкого философа, теолога и протестантского проповедника Фридриха Шлейермахера (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher; 1768–1834), согласно которой общение между людьми – это прежде всего общение между двумя равными индивидами.

4. Нарбут, Георгий (Егор) Иванович (1886–1920), художник-график и иллюстратор, член объединения «Мир искусства», брат В. Нарбута. Федотов по просьбе М. Зенкевича показывал Георгию Нарбуту рисунки Б. Зенкевича, брата Михаила, в будущем известного художника-графика. Мать Зенкевичей, Е.С. Зенкевич, неоднократно просила Михаила помочь Борису устроиться в Петрограде и показать его рисунки издателям («Зачем нести непременно Нарбуту?»). 20 февраля 1917 года. РО ИРЛИ. Ф. 773. Оп. 2. Ед. хр. 88.

5. Борис Зенкевич.

4.

Б/д [ок. Чебоксар]

Дорогой Миша!

Пишу тебе с Волги, за Чебоксарами где-то. Утро, на реке свежо и всё голубое. Хорошо, я в первый раз сегодня вздохнул легко. Первые три дня моего путешествия были слишком археологическими. А это самая утомительная из всех наук – археология, в буквальном смысле. В Ярославле, в Костроме я был на ногах целый день, на пароходе едва успевал отдохнуть и выспаться. Это не значит всетаки, что я ничего не вынес для души. Напротив, очень много. Но это были минуты просветления, за которые приходилось платить часами усталости. Зато эти минуты меня во многом примирили с Русью (но не во всем). Я не хочу обобщать. Ярославская Русь – это не вся Русь, да, пожалуй, и не самая глубокая. Но мне хотелось бы отдать себе

отчет в том, что такое Ярославское православие. Это, прежде всего, что-то очень легкое, радостное, земное, – но умиленное. В сущности, тут у меня сталкиваются два разнородных впечатления: от Угличских куполов и от Ярославских фресок. Синие луковицы на хрупких шейках способны вызвать слезы у того, кто не утратил еще этой способности. Мне показалось, что я нашел слово, которое идет только к этому, русскому христианству (никак не католичеству): умиление. Эти шейки и шатры не могут значить ничего другого, как томление по небу (синему, синему) сквозь сосновый бор. Эти формы идут с севера, в Вологде, Архангельске они еще, должно быть, трогательнее. Ну, а Ярославль? Снаружи это пряничное, или куличное пасхальное тесто. Изразцы, пестрая раскраска, тройные ряды закомар¹, прелестные крыльца с переходами. Внутри всё расписано, не оставлено буквально квадратного аршина чистым. Всё кричит, всё яркое (или было ярким), синее, зеленое, красное. Рисунок приятный, хотя наивный и маловыразительный. Он напомнил мне Джоттовскую школу² (но здесь это конец XVII в[ека]!). Только вместо Джоттовской душевности здесь чистый рассказ, сказка, ненасытная любовь к подробностям. И какие истории, занимательные, иногда глубокие. Паперть, т. е. галерея вокруг всей церкви, расписана из Ветхого Завета и аллегорическими композициями. Сотворение мира по дням – чудесно, как и история Иосифа (жена Пентефрия очень реальна)³. Восточный вход – апокалипсис – тут и всадники на конях, и конь бледный (увы, говорят, перевод с немецкого), не страшен страшный сад⁴, «зверь» вызывает интерес, как в зоологическом саду.

Но сколько тут тем, уже утраченных церковью. Песнь песней, хотя и аллегоризированная, София. Я видел совсем незнакомые мне образы Софии и убеждался, что ключ к ней потерян в народной вере. Ни один сторож церковный не мог мне сказать, что такое София, т. е. я должен был явиться пропагандистом нового культа. Даже дьякон в Костроме упорно говорил о Софии Премудрой и не знал, где она у них нарисована. Иконы Софии принимаются народом за изображения Христа-отрока, и даже буквы на них (позднейшие?) «IC XC» подтверждают такое толкование. Но я подумал, что идея Софии и Логоса – одна, что они сливаются не в иконописном предании только, а и в теологии. Трубецкой⁵ сказал бы, что тут вещий инстинкт народа.

Я же с грустью констатировал, как обеднела даже в своей догматической жизни православная церковь. Авторы наших катехизисов просто переводили с немецкого или латинского и выбрасывали вся и всё, что не укладывалось в римско-католические схемы. И здесь западничество! Но католическая догма не умирает и после Тридентского собора⁶. Иезуиты создали культ сердца Иисусова – м[ожет] б[ыть] самый пламенный на католич[еском] Западе. Ну вот, видишь, начал за здравие, кончил за упокой. Повторяю, легко и

радостно в Ярославских церквях, не то, что в Москве, – я убедился, что нельзя Успенский собор делать Св. Софией православия.

До свидания, Миша, приезжай поскорей в Саратов. Твой Жорж.
Часовенная 141.

Письмо на восьми страницах черными чернилами. ГМИРЛИ: б/д, до 1917 года. КП 56195/60. РОФ 6151/7. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 21-24.

1. Закомара – верхняя полукруглая или килевидная часть внешней стены церкви.
2. Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone, 1266 (1267? –1337), итальянский художник и архитектор, один из основателей Флорентийской школы живописи.
3. Безымянный отрицательный персонаж из Ветхого Завета, жена Потифара (Пентефрия), хозяина Иосифа в Египетском рабстве.
4. В оригинале «сад».
5. Трубецкой, Сергей Николаевич (1862–1905), религиозный философ, последователь Вл. Соловьева, в 1905 г. – ректор Императорского Московского университета.
6. Тридентский собор (13 декабря 1545 – 4 декабря 1563) – один из важнейших Соборов Католической церкви, проходивший в г. Тренте (Тридене, Tridentum, Италия), созданный для отпора Реформации.

5.

4 июля [1914 г., Саратов]

Дорогой Миша!

Я в самом деле ужасно долго не писал тебе, сам знаю, что нехорошо, и даже причин подыскать не умею: так, по врожденному свинству – *suitas innata*¹. Что тебе было бы всего интереснее знать? Ларисса, вероятно, не приедет совсем. Она написала, что у Муси² скарлатина – правда, в очень легкой форме, и что по окончании срока изоляции они думают поехать куда-нибудь в южную Францию. Южная Франция – это твой рок, Миша. Но я все-таки надеюсь увидеть тебя в Саратове. Ольга Андреевна³ в этом году – верх нелюбезности (не по отношению ко мне, а к гостям). Я не думаю, чтобы она пригласила тебя погостить. Но если ты будешь в городе, мы бы придумали что-нибудь, и ты мог бы проводить у нас время. Ты ведь хотел повидаться с мамой⁴? Только одно: в конце июля, числа 27, я, кажется, поеду в Тамбов, на открытие мощей⁵. Хотел бы, чтобы ты приехал пораньше. Моя жизнь беспокойная. Хорошо еще, что днем за книгами. А вечером печальная необходимость ухаживать за В.М.⁶ – впрочем, от этого я уклоняюсь, но это не способствует общему удовольствию. Наш кружок сжался до 5 человек, пятая барышня, подруга В.М., в которую я чуть не влюбился.

В конце концов я даже бросил Затишьё⁷, и целую неделю живу в Саратове (ездил на археологические раскопки⁸). Сегодня возвра-

щаюсь; здешняя пыль немножко повыбила дурь из головы. И все-то это я весной предвидел. В результате я не прибавил ни фунтика, да и работа продвигается очень медленно. Не увидишь, как и лето пройдет. Приезжай, Миша.

Твой Жорж.

Никольская 7.

4 июля.

Письмо на четырех страницах черными чернилами. ГМИРЛИ: датировка частично соответствует авторской, 4 июля [1914 г.]. КП 56195/58. РОФ. 6151/5. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 7-8.

1. Врожденное желание, стремление (*лат.*).

2. Неустановленное лицо.

3. Родная сестра матери Г.П. Федотова Ольга Андреевна Буковская (урожд. Иванова, 1854 –?).

4. Е.С. Зенкевич в то время жила в Саратове.

5. Открытие мощей Святого Питирима, епископа Тамбовского, должно было состояться в Тамбове 25-29 июля 1914 года.

6. Неустановленное лицо.

7. Вероятно, речь о даче Буковских в окрестностях Саратова, где Федотов бывал в июле 1914 г. и раньше. Затишье также упоминается Федотовым в письме Дмитриевой 20 мая 1909 г. из Саратовской тюрьмы: «Ты, верно, освободилась пока от экзаменационной страды, и мы могли бы гулять в Затишье» (Федотов, 2008а. С. 139). В примечании 7 к этому письму (Федотов, 2008а. С. 140) Затишье описывается как «село в Бугурусланском уезде Саратовской губернии». Однако Бугурусланский уезд с 1781-го по 1928 год был частью Самарской губернии и находился пригл. в 490 км от Саратова.

8. Федотов был членом Саратовской губернской ученой архивной комиссии (СГУАК/СУАК) с 1914 года. В 1913–1915 годах в Саратове под эгидой СГУАК велись археологические раскопки, в которых он принимал участие. См. Антоценко, 2020; Гусакова, 2006.

6.

20 июля [1914 г., Саратов]

Дорогой Миша!

У нас в деревне привезли известие, что война объявлена¹. Не знаю, ты может быть уже в добровольцах. Я не удивился бы этому, зная твое настроение. Я сам как-то не имею сил протестовать. Точно одурел и почти радуюсь гибели цивилизации. Конец убогому шутловству нашей жизни. Под [неразб.]² будет легче дышать.

Приезжай, если можешь, сюда. Ларисса только что приехала, совершенно неожиданно. У нее уже был взят паспорт в Германию на какие-то воды. Вдруг в Варшаве крепость горит и паника³. Она выглядит болезненно, у нее что-то с печенью. Я писал тебе, Миша, но

в Стрельну, в какую-то колонию⁴. Мне очень жаль, если письмо пропало. Там было о разных вещах, которые теперь отошли далеко.

Я завтра, вероятно, уезжаю в Тамбов. Теперь, право, не до сухевого угодника, которого там открывают⁵. Но я все-таки поеду на несколько дней, если только спектакль не отменен. К 1-му августа буду в Саратове. Очень хотел бы тебя видеть.

Вспоминаю наши с тобой разговоры весной. Думали ли мы, что мировая война так близко? У меня такое ощущение, что от Парижа осталась груда пепла. А Йена, Нюрнберг, милые городки по Рейну... Мне их немного жаль. О России как-то не думается. Не верится, что она будет театром. Менее всего думаю о людях, стал совсем бесчувственным. Приезжай, милый.

Твой Жорж Ф.

Письмо на четырех страницах черными чернилами. ГМИРЛИ: датировка частично соответствует авторской, 20 июля [1914 г.]. КП 56195/59. РОФ 6151/6. Ф. 247. Оп.1. Ед. хр. 26. Лл. 11-12.

1. 20 июля (1 августа) 1914 г. был издан Высочайший манифест Николая II о вступлении Российской империи в войну с Германией.

2. Возможное прочтение: «грозой».

3. Варшавская (Александровская) цитадель построена после восстания 1830 года по приказу Николая I как часть оборонной линии Российской империи.

4. Пригород Санкт-Петербурга, популярное дачное место, где с начала 19-го века существовало поселение немецких колонистов.

5. Имеются в виду мощи Святого Питирима, епископа Тамбовского.

7.

16 июля [1915 г., с. Татищево, Саратовской губ.]

Дорогой Миша!

Сейчас я не собираюсь говорить с тобой по душе – о многом, о чем хотелось бы, особенно в наше тяжелое время. Но у меня есть некоторая надежда на то, что вскоре мы могли бы увидеться. Ты ведь знаешь, что 28 июля слушается дело Бориса, и ты вызываешься в качестве свидетеля¹. Конечно, дальность расстояния освобождает тебя от обязательной явки; не думаю также, чтобы ты мог быть полезным для брата. Но это дает тебе право на отпуск, и почему бы тебе не воспользоваться им? Приезжай, Миша. Мне надо поговорить с тобой о России, на этот раз не за тем, чтобы спорить, а чтобы опереться на твою веру. Моя малодушествует.

Впечатления здесь кругом не из веселых. Но у меня такой маленький угол зрения, я сижу, как в норе, ничего не вижу. А ведь то, что сейчас делается в России в деревне, гораздо важнее генеральных сражений. Здесь клич к будущему. Россию никто не может погубить, если она сама себя не погубит. Но кажется, что она хочет гибели.

Не так я живу здесь, как хотел весной. Думал я оставить себе

хоть час свободный на каждый день, чтобы писать – всё равно о чем, п[отому] что опротивело читать чужие книги. Но теперь я ничего не делаю, кроме как читаю.

Лето почти прошло, а я не сделал и половины работы. Одно только эгоистическое преимущество дает эта зубрежка: настигается какой-то туман между мной и жизнью, и от него не так страдаешь.

Живем мы в Татищеве, в лагерном поселке, здесь ничего, в такое прохладное лето². Если приедешь, ходим в Николаевский Городок³. Буковские здесь, П.П.⁴ сейчас в Москве, не приезжал сюда. Адрес мой: «Татищево. Лагерная. Мне».

Жду тебя или скорой открытки.

Твой Жорж.

МЗ письма. Федотов Георгий Петрович⁵.

Письмо на четырех страницах черными чернилами. ГМИРЛИ: датировка частично соответствует авторской, 16 июля, до 1917 года. КП 56195/54. РОФ 6151/1. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 9-10.

1. Дело Б.А. Зенкевича в суде слушалось 28 июля 1915 года. См. также письмо матери Е.С. Зенкевич Михаилу Зенкевичу от 27 июня 1915 года. РО ИРЛИ. Ф.773. Оп. 2. Ед. хр. 88.

2. Татищево – поселок под Саратовом, где Федотов в это время находился на военных сборах. См. *Федотов*, 2008а. С. 201-202.

3. Николаевский Городок – поселок под Саратовом, где родился М. Зенкевич. Основан в 1829 г. по решению императора Николая I для поселения воспитанников Московского воспитательного дома (колонистов).

4. Буковские – семья тети Федотова по матери, Ольги Андреевны Буковской. П.П. – неустановленное лицо.

5. Приписка синим карандашом почерком Зенкевича на последней странице.

8.

17/4 апреля [1918 г., Петроград]

Дорогой Миша!

Давно должен был написать тебе и поговорить обстоятельно. Но странно сказать, веду такой образ жизни, что с трудом находишь час для письма...

Прежде всего хотел выразить тебе свой восторг, когда прочел твои стихотворения¹. Пусть они мне большею частью были знакомы. Но ты знаешь, какой я тяжелый на восприятия в искусстве – консерватор. Мне нужно перевоспитываться для всего нового. И потом, твои стихи я могу вполне воспринять одновременно и ухом, и глазом. Иначе многое пропадает. Теперь уже первое впечатление остыло: не стану писать. Хотя мне опять представилась соблазнительная мысль написать о тебе – в каком-н[ибудь] журнале или хотя бы в газете. Нет у меня для этого данных, но, м[ожет] б[ыть], я это и сделаю.

Вторую корректуру я еще не получал. Ее просил для правки –

такой точный и внимательный корректор – Лозинский. Я надеюсь, ты не сердись, что я сказал ему о твоей книге, зная, что ты убежден в его абсолютной корректности. Он сделал очень высокую, но справедливую оценку твоего таланта, и просил у тебя разрешения поставить на обложке фирму Гиперборея. Не знаю, как ты отнесешься к этой марке, м[ожет] б[ыть], она тебя не удовлетворяет, но без твоего согласия, конечно, она поставлена не будет.

Между прочим, ты ошибся, внутренний заглавный лист будет, и нет надобности начинать первую страницу с заглавия.

О твоих служебных делах говорил с Варей Васильевной². Управление переведено в Москву, и большинство служащих, в том числе она и Навашин, остались за штатом³. О тебе она не могла сказать наверное, но говорила, что кто-то видел твою фамилию в списках принятых. Передают, кроме того, что все, согласные переехать в Москву, там будут приняты. Во всяком случае, это разговоры. Бесспорно то, что твой ближайший начальник – в Москве, и что тебе полагается получить около 1000 р[ублей] денег – тоже в Москве. За январь (забастовку) ничего не дадут, но за усеченный февраль и 1½ месяца вперед при расчете выдают всем. Вывод, тебе надо ехать в Москву.

О себе скажу, что я занят новой любовью – как бы ты думал, кому? К России. Поздно, скажешь. Что делать? Медлителен я и косен, но шел к России вот уже 10 лет. Всё какой-то лед оставался, но теперь всё растаяло. Как новообращенный, не могу удержаться от слов. Моя жизнь теперь связана с кружком (не знаю, говорил ли я тебе о нем) – как бы определить его? – религиозного социализма⁴. Теперь мы выпускаем маленький журнал⁵. Когда выйдет, пришлю тебе. Ты не можешь представить себе в Саратове, какая теперь всюду идет подземная, но горячая работа. Сколько братства, религ[иозных] обществ, кружков живут, сколько зарождаются. Зреет мысль о религиозном ордене, связанном с Церковью. Здесь тоже великий ледоход. Но я здесь упираюсь, не отдаюсь течению всецело, хочу сохранить личное отношение. Церковь влечет меня и отталкивает одновременно. Постом я часто бываю в церкви, это очищает и дает силы. Но черта остается непреходимой, и я с болью думаю о том, что не могу говеть и причащаться. Без этого Пасха – не полный праздник.

Я послал в Саратовский Унив[ерситет] свою кандидатуру на кафедру всеоб[щей] истории⁶. Карсавин⁷ не едет. Кажется, для нас с тобой окончился Петербургский период истории. Поближе к Азии, к Сибири. Но Европа не умерла для меня – всё еще святая.

Юлия Николаевна⁸ в Финляндии в санатории. У нее было сильное кровотечение, и она сильно испугалась. Надежда Артуровна пережила безработицу, но теперь вернулась в свой банк и в дом Исаковых, т.к. Анна (?)⁹ вернулась из Оптиной Пустыни. Иногда она заходит ко мне, изредка.

Я останусь здесь всю весну и лето. Нужно много работать напоследок. Напиши мне побольше о твоём внутреннем состоянии.

Твой Жорж.

Письмо на четырех страницах черными чернилами. ГМИРЛИ: датировка частично соответствует авторской, 17(4) апреля [1914 г.]. КП 56195/55. РОФ 6151/2. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 1-3.

1. Имеются в виду стихи из подготавливаемой Федотовым и Лозинским второй книги Зенкевича «Четырнадцать стихотворений».
2. Так в оригинале. Неустановленное лицо, судя по контексту, сослуживица Зенкевича по Управлению железных дорог в Петрограде.
3. Неустановленное лицо, по содержанию письма сослуживец Зенкевича по Управлению железных дорог в Петрограде
4. Кружок «Воскресение», организованный Федотовым с А.А. Мейером.
5. Кружком «Воскресение» был выпущен один номер журнала «Свободные голоса», редактором которого и автором одной из статей был Федотов.
6. Федотов работал в Саратовском университете с 1920-го по 1922 год.
7. Карсавин Л.П. (1882–1952), профессор историко-филологического института, ученик И.М. Гревса.
8. Неустановленное лицо.
9. Надежда Артуровна, Исаковы, Анна – неустановленные лица.

9.

23/10 апр[еля] [1918 года, Петроград]

Дорогой Миша!

Ты, может быть, станешь ругать меня, но поверь, что мною руководит только желание видеть твою книжку безупречной и обеспечить ей самое широкое распространение. Поэтому-то я и вступил в переговоры с Лозинским, увидав с его стороны большой интерес и уважение к твоему творчеству. Присланная тобой несправленная корректура содержала несколько таких орфографических ошибок, с к[оторы]ми ее всё равно нельзя было бы выпускать. Но где граница допустимых с моей стороны исправлений? Я не решился взять всё на мою ответственность, мы обсуждали все вопросы по интерпретации твоего текста с Лозинским (по всем правилам классической филологии). В результате посылаем тебе проект нашей корректуры, с к[оторо]й ты можешь, конечно, распоряжаться, как тебе угодно. Самым крупным новшеством является идея Лозинского в «Проводах Солнца» ввести 2 абзаца, вместо твоего вступительного¹.

Второе – внешность издания². Мы пришли к убеждению, что, сложивши лист в 32 страницы, мы могли бы дать книге действительно приличный вид, с титульным листом, оглавлением, и т.д. Места хватит, толщина книжечки удвоится, цену соответственно с этим можно тоже повысить: Лозинский предлагал 2 р[убля], я хотел бы дешевле, – но во всяком случае теперь цены на книги страшно возросли.

Третье: проект обложки, начерченный Лозинским по шрифтам «Четок»³. «Четырнадцать» буквами выглядит и красиво, и монументально, в соответствии с тяжестью твоих ритмов. 14 цифрами может дать впечатление отрывного календаря. Цвет обложки будет или малиново-красный, или кирпичный (других красных образцов у Лаврова⁴ не осталось).

Четвертое: марка Гиперборея – вопрос твоего самоопределения, исключительно. Если тебе не хочется, не стесняйся ответить отказом. Лозинский поймет мотивы.

Мне очень хотелось раньше выпустить книжку к Пасхе – я уже и Над[ежде] Артур[овне] обещал вместо яичка. Но вчера, после тяжелого колебания, решил отложить до Фоминой недели, чтобы подождать твоего решения. Принимая во внимание медленность почты, ты не задерживай долго своего ответа. Вот беда только, если ты уехал в Москву. Надеюсь, что Пасху-то ты проведешь в Саратове. Праздники не за горами, и, рассчитывая на большое опоздание письма, я тебя поздравляю со Святым Христовым Воскресеньем. Никогда еще этот праздник не был так дорог и нужен. Все измучились, хотим верить в Воскресение – России. Надеюсь на Пасху же прислать тебе № «Свободных голосов» с мыслями о России. Твой Сибирско-Русский цикл должен быть и политическим событием⁵. Во всяком случае, я буду указывать на него, где только смогу. Христос Воскресе!

Четыре вопроса в P.S.

Твой Жорж

P.S. 1. Последняя строка «Аполлона»: «под» или «над»⁶?

2. «Конец Сибири»: нельзя ли поставить «воскресший»? М.Л.⁸ доказывает, что «воскреснувший» неправильно.

3. Пунктуация в начале Мамонта очень важна для смысла⁹.

4. В № V утаивала или ло¹⁰?

Письмо на четырех страницах черными чернилами. ГМИРЛИ: датировка частично соответствует авторской, 23 (10) апреля 1914 года. КП 56195/62. РОФ 6151/9. Ф. 247. Оп. 1. Ед. хр. 26. Лл. 3-4.

1. Стихотворение «Проводы Солнца» Зенкевич посвятил погибшему на фронте брату Сергею.

2. Подчеркнуто в оригинале.

3. Сборник стихов Анны Ахматовой, вышедший в издательстве «Гиперборей» (СПб.: Тип. А. Лавров и К^о) в 1914 году.

4. В типографии А. Лаврова в Санкт-Петербурге-Петрограде, ул. Гоголя, 9, печатались книги издательства «Гиперборей».

5. Имеются в виду стихотворения М. Зенкевича «Сибирь» и «Россия», впервые напечатанные в сб. «Четырнадцать стихотворений».

6. Постскрипtum в оригинале письма расположен внизу 2-й и 3-й страницами. «Грядущий Аполлон» было впервые напечатано в сб. «Четырнадцать стихотворений». Последняя строка: «Над поваленным мамонтом радостный крик».

7. Название стихотворения в печатном варианте «Сибирь». Автором было

учтено замечание Лозинского («воскреснувший» изменено на «воскресший»). В печатном варианте: «Как мамонт, воскресший алою льдиной».

8. М.Л. Лозинский.

9. Название стихотворения М.А. Зенкевича «Мамонт» (без кавычек), впервые опубликованного в сб. «Четырнадцать стихотворений». Очевидно, имеется в виду тире после первого слова стихотворения: «Смотри – / Солнечную гирию тундрового мая...»

10. «№ V» – нумерация стихотворения «Тигр в цирке» при подготовке сб. «Четырнадцать стихотворений». Имеется в виду строка «От себя до времени утаивала страсть» (авторский вариант «-ла»).

Письма М.А. Зенкевича к Г.П. Федотову

1.

8/XI 26. [Москва]

Дорогой Жорж!

Давно собираюсь написать тебе и послать свою, вышедшую весной, книжечку стихов¹. Сделаю это и пошлю ее бандеролью, а также напишу и письмо о себе и своих делах. Сейчас же хочу поговорить с тобой о деле и предложить тебе переводы. У нас в изд[ательстве] «Земля и фабрика» выходит «Библиотека сатиры и юмора» (небольшие книжечки по 13 коп[еек] в 1¼ (50 тыс[яч] знаков печ[атных]), кот[орую] я редактирую. Книжек этих мы выпускаем 8 каждый месяц и 1-2 больших (4-8 листов авт[орских]). Нужны нам и иностранные современные юмористы. Ты, находясь сейчас в Париже, легко можешь ознакомиться с книгами и подобрать авторов. По части фр[анцузов] у нас хуже всего (англичане и амер[иканцы] есть), правда, и юмористов и сатириков у них маловато, но если поискать, найдешь. (У нас пока только есть «Желт[ый] смех» и «Горж[ественная] свинья» Мак Орлана²). Желательна литература новая, послевоенная, гл[авным] обр[азом], неизвестная у нас (авторы типа Аверченко, Зоценко, Тэффи и т.д.) – чтоб было смешно, остроумно, не очень пошло, литературно; хорошо, если с социальным уклоном (напр[имер], сатира, как М[ак] Орлана, на войну и т.д.). Образцы нескольких книжек иностр[анных] я тебе посылаю. За перевод такой книжечки 1¼ листа (50 тыс[яч] зн[аков]) мы платим обычно 50 руб[лей]; за книги, особенно интересные и трудные по переводу, несколько больше. Может быть, из-за одной книжечки возиться не очень стоит, но серия их (10-12 выпусков) составит уже солидный заработок. К книжечкам желательно предисл[овие] в 1-2 стр[аницы] или сведения об авторе и книге, по которым можно набросать предисловие. Уплата по приеме книги (для тебя удобнее их давать сразу – по 2-3), будем производить Бор[ису] Петровичу³, а он вышлет их тебе.

Если есть удачные остроумные большие книги (вроде, напр[имер], «Желтого смеха» М[ак] Орлана), то можно сговориться и о их переводе. Что касается перевода вещей не юмор[истических], то можешь предложить и их, хотя они идут уже не по моей линии.

Итак, думаю, что ты найдешь что-нибудь для перевода – мне, конечно, нужны глав[ным] обр[азом] «Сат[ира] и юмор» (их можно и быстрее всего провести).

Напиши, получил ли письмо и сможешь ли взять работу на 10-12 книжечек (или меньше). Можем заключить и договор, хотя авансов никаких не выдаем и деньги платим только по приеме книги.

Привет твоим.

М. Зенкевич.

Москва, центр. Мясницкая 17 кв. 14.

P. S. Мама прихварывает, но пока держится. Как движается твоя работа? Как твои научные занятия?

Письмо на четырех страницах.

1. *Зенкевич, М.А.* Под пароходным носом. М: Узел (Л.: тип. им. Ивана Федорова), 1926.

2. Мак Орлан, Пьер (Pierre Mac Orlan, Pierre Dumarchey, 1882–1970). Роман «Желтый смех» вышел в переводе на русский в 1927-м в издательстве «Круг».

3. Очевидно, речь идет о младшем брате Г.П. Федотова Борисе Петровиче Федотове.

2.

2/XII 1926.

Москва, центр. Мясницкая 17 кв. 14.

Дорогой Жорж!

Посылаю тебе книжки для образца и свою книгу. По-моему, ознакомься с ними, ты приблизительно сможешь составить мнение, какой материал нам нужен и сколько. Думается, что небольшие книжечки лучше не присылать на просмотр (это очень долго, да и пропасть могут), а сделать на пробу 1-2 вроде наших и прислать. Можешь брать не только французов, но и англичан и американцев и немцев, – но т[ак] к[ак] англ[ийские] и амер[иканские] юмористы у нас уже имеются, лучше предварительно списаться (автор, название вещей). Старые вещи (Мопассан и др[угие]), уже переводившиеся, давать избегаем, т[ак] к[ак] новинки идут лучше. Можно дать сборник анекдотов остроумных и т.д. Посмотри, что можешь найти и скомбинировать, и напиши. Большие книги, конечно, лучше переводить, сговорившись или списавшись. Сейчас погоня за новинками среди переводчиков, – конечно, за целость книг при пересылке

ручаться трудно (ведь они идут еще в Главлит). Подумай, что можешь дать, и напиши.

Привет твоим.

Твой Мих. Зенкев[ич].

Я недавно женился – живу врозь, т[ак] к[ак] комната одна и со мной мама. Семейным счастьем наслаждаюсь очень мало, т[ак] к[ак] больше бегаешь и работаешь. Отношения с молодой женой (ей 25 лет) пока дружные.

1926

2/ХІІ 1926.

Письмо на двух страницах.

3.

30/ІІІ 27. [Москва]

Дорогой Георгий Петрович!

Я был болен и не ответил тебе сразу. Обе книги твои приняты (для Фишер желательно получить 1-2 очерка дополнительно, т[ак] к[ак] два («Лакей», «Соревнование») не подходят). Задержалось дело с заключ[ением] договора. Не ожидая от тебя доверенности, я велел выписать их на имя Бор[иса] Пет[ровича] (как будто он сам перевел), иначе дело затянется до получения твоей формальной заверенной в полпредстве доверенности, или же дого[во]р придется посылать тебе для подписания в Париж. Деньги, 100 руб[лей] (по подписании договора[а]) получит Бор[ис] Петр[ович] и перешлет тебе. Тебе следует дать ему доверенность на все твои литер[атурные] полочки и договоры на будущее.

Теперь о переводах. Шли маленькие книжечки по юмористике, только – подбирай поострей (теперь мне разрешено поднять цену, в случае хорошего подбора и перевода, до 60-75 руб[лей] за выпуск) и четче пиши (чернила очень плохи, нечетко, – это портит впечатление (не у меня, а в редотделе)). Можешь, если составишь списочек, – написать мне авторов (фр[анцузских], нем[ецких] или англ[ийских] и др[угих]), – мы сможем заключить договор на несколько книжечек (с правом замены, если не подойдет, рассказов). Это удобней для получения денег – Бальзак, как писал я, приемлем.

Теперь вообще о переводах. М[ожет] б[ыть], ты сможешь давать иностр[анные] книги (фр[анцузские], нем[ецкие], англ[ийские], ит[альянские], исп[анские]) для перевода – я сейчас привлечен для участия в иностр[анном] отделе. По-моему, придется делать так – ты посылаешь предложение, с книгой и аннотацией (содержание, почему стоит перевести), нам (на мое имя или в «З[емлю] и фаб[рику]»). Если мы согласны, заключаем договор (с Бор[исом] Пет[ровичем] от

твоего имени), – чтобы не терять времени на пересылку, можно тебе перевести по второму купленному экземпляру.

Только имей в виду, что наши переводчики юркие, и книги получаются быстро, – т[ак] ч[то] нужно по возможности раньше закрепить перевод за издательством. Можно и не последние новинки, то, что не переводилось. Уклон в социальную сторону нужен, в то же время нужна и художественность.

Я последнее время (2 недели) болен, – слабость, головокружение, но чем – не знаю, делаю анализы, пока ничего не нашел.

Живу (врозь с женой), комнаты найти трудно. Пишу изредка, но мало. Привет твоим.

Жму руку, желаю успеха в работе.

Твой

Мих[аил] Зенк[евич]

30/III 27 г.

Адрес «З[емли] и фабр[ики]» теперь другой: Москва, Зарядье, Псковский пер., д. 9.

Письмо на четырех страницах.

Подготовка текстов писем и примечания – С.В. Шелухина

Алла Ранская

«Неисказенный лик души»

Памяти Наталии Крандиевской-Толстой
1888–1963

Шестьдесят лет назад, 17 сентября 1963 года, ушла из жизни замечательная русская поэтесса Наталия Васильевна Крандиевская-Толстая. Яркий поэтический дар позволил ей войти в плеяду лучших поэтесс Серебряного века. Еще в ранней юности ее стихи получили высокую оценку таких признанных мастеров, как И. Бунин, К. Бальмонт, В. Брюсов, В. Ходасевич. На формирование поэтессы оказала влияние творческая атмосфера, окружавшая ее с детства. Для дочери книгоиздателя и писательницы было естественным общаться в своем доме с друзьями семьи – видными литераторами того времени.

Наталия Крандиевская пережила и годы Серебряного века, и революционные, и эмиграции, и советские. На ее долю выпала блокада Ленинграда, сталинские репрессии, в старости ее настигла слепота – но даже и тогда она не потеряла своего природного оптимизма.

Старший внук Наталии Васильевны – Михаил Никитич Толстой – в настоящее время живет в городке Менло Парк, штат Калифорния; он хорошо помнит бабушку – еще со времен своего послевоенного детства.

Алла Ранская

Алла Ранская (А.Р.) Михаил Никитич! Какой Вам запомнилась Ваша бабушка?

Михаил Толстой (М.Т.) С бабушкой было всегда очень спокойно и весело. После войны мы (мои сестры и я) жили с ней на даче и каждый день гуляли в лесу. Она велела нам ходить и петь: «Черничный дедушка, пошли нам ягодку». Ягодка при этом находилась. Свидетельство бытия черничного дедушки было неопровержимым.

Позже, когда пришла пора поступать в школу, врачи запретили отдавать меня учиться, сказав, что после эвакуации этому туберкулезному дистрофику нельзя напрягаться, слишком худ. Я плохо ел, не было аппетита. Бабушке было сказано, что меня можно будет отдать в школу, если я за лето прибавлю четыре кило. И она проявила чудеса кулинарного искусства – кормила меня, как рождественского гуся, и справилась с задачей. Меня приняли сразу во второй класс.

Помню дождливые дни на даче, когда мы играли с бабушкой в

буриме. Она придумывала четыре смешные рифмы, как можно более несурзные, а мы, дети, должны были каждый написать к ним стихи так, чтобы получилось складно. Читали, что получилось, и хохотали, бабушка смеялась больше всех и всех хвалила. Она рассказывала, что в ее детстве, когда у родителей были гости, чтобы дети не мешали и не путались под ногами, мама говорила им: «Ну подите, займитесь чем-нибудь, стихи попишите хотя бы».

Когда мы чуть подросли, бабушка научила нас играть в покер. Это была ее любимая игра после того, как она на пароходе, который вывозил ее с Алексеем Толстым и детьми в эмиграцию из Одессы в 19-м году, от безденежья и отчаяния села играть в карты с богатой компанией. К ужасу и удивлению Толстого, она выиграла огромные по тем временам деньги, получив в покере редчайшую, непобедимую комбинацию из четырех одинаковых карт с джокером. Мы очень любили этот ее рассказ, восхищались бабушкиной беспшашностью (она села играть, не имея ни франка). Играя с бабушкой в покер, как будто сами ехали на корабле в Париж, – и мы выигрывали!

У бабушки на пароходе был с собой талисман – сушеный морской конек, которого она называла коньком-горбунком, и считала, что он ей принес удачу. Конек давно исчез, и потому, видимо, в картах ей не везло.

Ее большую квартиру, где мы все жили до войны и где я родился, занял высокопоставленный сосед, служивший в Смольном и исчезнувший впоследствии в пучинах «Ленинградского дела». Бабушка переехала в маленькую квартирку, стены которой были обиты, как ей нравилось, красивой синей материей, а не оклеены обоями, и куда она любила приглашать внуков в гости. Мы попадали в другой мир – спокойный, без суеты, где чувствовали себя ее друзьями, и только у нее я пил чай из красивых чашечек тончайшего фарфора на таких же блюдечках. (В доме моих родителей быт отходил на последнее место, во главу угла ставили образование и творчество, бабушке же удавалось удивительным образом объединять эти начала с эстетикой ее мира, это оставалось неотъемлемой частью ее повседневности.)

Бабушка окружала внуков (их накопилось двенадцать) любовью и уютом, но, к несчастью, наступающая слепота не давала ей возможности разглядеть лица младших, о чем написано в ее стихах.

Она никогда не жаловалась на трудности жизни, обладала какой-то «не-от-мира-сегосинкой», называла милиционера «городовой» и не умела правильно определить время, глядя на часы. Но ей это не мешало, а нам не мешало ее обожать.

А.Р. Известно, что первая встреча Н.В. с Алексеем Толстым произошла в художественной студии, где они обучались у Добужинского и Бакста. Получили ли дальнейшее развитие ее художественные способности наряду с музыкальными и неоспоримым литературным талантом?

М.Т. Обучение в студии для обоих было расширением их художественного взгляда на мир, но не овладением профессией. Бабушка хорошо играла на рояле, рисовала, знала языки, сама писала музыку – например, ее «Колыбельная Никите» была напечатана с ее же нотами в первом номере журнала «Зеленая палочка», вышедшем в Париже в 1920 году. А.Толстой не знал языков, не владел игрой на музыкальных инструментах, хотя у него был музыкальный слух, и, говорят, он был хорошим актером. Оба они были совершенно литературоцентричными людьми. Литература была их жизнью, а жизнь состояла в литературе. Их дети обладали абсолютным слухом, сын Митя стал композитором, закончив консерваторию по классу Шостаковича. В последние годы Митя написал цикл романсов на стихи своей матери. Ее сестра Дюна (Надежда) Крандиевская-Файдыш стала художницей и скульптором, а племянник А. Файдыш стал архитектором, он – автор знаменитого памятника космонавтике: титановая взлетающая ракета с огромным хвостом – на ВДНХ в Москве, напротив гостиницы «Космос».

А.Р. Как Алексей Толстой относился к творчеству Н.В.?

М.Т. Известно, что А. Толстой в ответ на похвалы себе, ответил: «Что я? Вот Туся – это действительно мастер». Он знал наизусть ее стихи, любил цитировать их наряду со стихами Сергея Есенина, Веры Инбер, постоянно советовался с ней в литературных вопросах.

А.Р. Делилась ли Н.В. с Вами воспоминаниями о годах, проведенных ею с А. Толстым в эмиграции, и что заставило их вернуться в Россию?

М.Т. Толстой никогда не принадлежал ни к какой партии и никакой идеологией не был заражен. Ближе всего к мировоззрению А.Толстого были взгляды на историю и революцию М. Волошина, его друга, выраженные им в поэме «Россия», – преображение через ад и катастрофу. Возвращение в Россию не было отказом от каких-либо своих прежних убеждений. Сам А.Толстой выразил это во фразе: «Я хочу вбить свой гвоздь в расшатанный бурями корабль российской государственности». В глубине души он был, скорее всего, державником. Советская власть, правда, смотрела на всё это по-своему, как всегда эксплуатируя чужую искренность.

Толчком к возвращению послужила угроза потери детьми русского языка. В Берлине мой пятилетний отец, увидев чуть было не столкнувшиеся машины, сказал родителям: «Мог быть маленький катастроф». В бабушкиных воспоминаниях записано: «В этот день Толстой принял окончательное решение вернуться». Без русского языка они не представляли себе своего существования. Что касается комментариев к этому поступку, то их авторы не остаются без работы по сей день.

А.Р. После литературных успехов в молодости и появления ее сборника «От лукавого», изданного в Германии в 1922 году, Н.В. перестала печататься, и следующие стихи появились только в конце 30-х годов. Почему?

М.Т. Действительно, досадно, что молодая талантливая поэтесса перестала печататься после возвращения в Россию. Как известно, Н.В. не была счастлива в первом браке, с адвокатом Ф. Волькенштейном, именно в тот период ее поэтический дар достиг апогея – в 1913 году выходит ее первый сборник стихов, получивший высокую оценку поэтов-современников. Не только поэтическим талантом отличалась Н.В., она была удивительно хороша собой; и Бунин, и Бальмонт были влюблены в нее. Но только Алексей Толстой смог завоевать ее сердце. В 1915 году она ушла к А.Толстому. К сожалению, встреча с ним отодвинула поэзию... Как отмечает А. Варламов в книге об А. Толстом, она «принесла себя и свой дар в жертву дому», создав все условия, способствующие *его* творчеству. Она жила творческими интересами мужа, вела переписку с издателями, вычитывала корректуры, перебивала новые рассказы Толстого. Только в эмиграции начала писать стихи для детей.

Мы с сестрами любили бабушкины стихи, изданные в Германии, – «Гришкины путешествия», приключения с картинками про мальчика, путешествующего по миру на самокате. Там было, например, про нападение на Гришку людоедов в Австралии. Он залез на дерево и ждал смерти: «А на дереве удав, / Ничего не разобрав, / И, давненько не обедав, / Съел обоих людоедов...» Гришка был спасен, а мы полюбили удава на всю жизнь.

Счастливая в замужестве с А. Толстым, сожалела ли она о том, что ее собственное творчество отложено так надолго? Возможно. Думаю, подсознательно она понимала масштаб самоотречения. 20 лет спустя, уже после разрыва, Н.В. напишет: «Нет, это было преступленьем, / Так целым миром пренебречь / Для одного тебя, чтоб тенью / У ног твоих покорно лечь». Вообще, чем больше испытаний выпадало на ее долю, тем ярче она проявлялась как поэт.

Обида была, однако ее достоинство оказалось выше. Даже когда А.Толстой, в сердцах, на посвященной Н.В. сказке «Буратино», в которой остались написанные ею кукольные стихи (в том числе великолепные «Карабас-Барабас, / Не боимся очень вас»), сменил свое посвящение на имя другой, она с грустным юмором ответила ему в стихах: « Разве так уж это важно, / Что по воле чьих-то сил / Ты на книге так отважно / Посвященье изменил? / Тщетны все предохраненья, – / В этой книге я жива, / Узнаю мои волненья, / Узнаю мои слова. / А тщеславья погремушки, / Что ж, бери себе назад. / Так ‘Отдай мои игрушки!’ / Дети в ссоре говорят».

А.Р. Что, по-Вашему, стало главной причиной ее разрыва с Толстым?
М.Т. Для стороннего наблюдателя всё просто – молодая энергичная секретарша вытеснила привычную и стареющую жену. Как всегда, всё было гораздо сложнее, и причин было много. Бескомпромиссность и самопожертвование, присущие Н.В., были противопоказаны

надвигающемуся порядку вещей в стране и окружению А.Толстого. Душевный контакт исчезал, А.Толстой был в моральном и творческом кризисе. Приняв мироощущение Н.В., А.Толстой погубил бы и себя, и ее, отказавшись от выполнения требований власти и своего круга общения. Шел вопрос о выживании. Расстрелянные в 1930-х деятели искусства оставили после себя выбитые из них показания о заговоре. Кольцо сжималось, но А.Толстой вовремя умер – к концу войны уже было подготовлено «дело писателей», где «паровозом» должен был идти «английский шпион А.Толстой».

Разрыв фиксировал новый status quo, новый порядок и новый мир, неприемлемый для Н.В. Она первая почувствовала это, покинула их совместный дом в Детском (бывшем Царском) Селе, стала жить с детьми в Ленинграде: «Нет. Уходи. Святотатства / Не совершу над любовью. / Пусть – монастырское братство, / Пусть – одиночество вдовье».

Толстой перебрался в Москву. Н.В. отказалась от любимого мужа, не проявив ненависти, – напротив, ее стихи по-прежнему наполнены любовью, но уже смешанной с чувством горечи: «Милый, бедный, глупый! Только смерть научит / Оценить, оплакать то, что не ценил. / А пока мы живы, пусть ничто не мучит, / Только бы ты счастлив и спокоен был».

А.Р. Замечательные стихи написаны Н.В. в блокадном Ленинграде. Почему она приняла решение остаться в осажденном городе?

М.Т. Было что-то, что можно назвать гордостью, нежеланием покоряться никакому насилию, и это выразилось в таком парадоксальном, самоубийственном решении. Тем оно ценнее. «Я не покину город мой, / Венчаный трауром и славой...» И – «Утешусь гордою мечтою / За этот город умирать...» Любопытно, что город в блокаде прославили не поэты, а поэтессы – Берггольц, Ахматова, Инбер, Крандиевская. Однако Берггольц и Ахматова ненавидели советскую власть, Крандиевской на власть было наплевать, а о любви к ней вообще нечего говорить.

Власть отомстила непокорным. В 1946 году расправились с Ахматовой, заодно и Крандиевскую запретили печатать, разобрали набор уже подготовленной книги. Берггольц спилась, реверансы власти ее не размягчили. Ныне цикл блокадных стихов Н.В. удивляет оптимизмом и отсутствием пафоса – такое присуще только внутренне свободному человеку, он остается самим собой в любых нечеловеческих условиях, и это дает ему силы выжить.

Цензурное око не дремало еще сорок лет – даже в сборнике «Дорога», изданном в 1985 году, были запрещены ее строки, посвященные смерти Цветаевой: «И всё та же российская сжала петля / Сладкозвучной поэзии горло...» Там они звучат в искаженном виде: «И всё та ж захлестнула и сжала петля / Сладкозвучной поэзии горло...» Цензура не заметила, что осталось «же», оставляя читателя догадываться, какая же еще была подобная петля.

Только в 1992 году это стихотворение опубликовано полностью в сборнике «Грозный венок», название которого взято, как цитата из этого стихотворения: «А уж тучи свивали грозный венок / Над твоей головой обреченной».

А.Р. Известны посмертные сборники стихов Н.В. – «Вечерний свет» (1972) и «Дорога» (1985), «Лирика» (Библиотека «Огонек», № 8, 1989), «Грозный венок» (1992). Существуют ли прижизненные издания, кроме дореволюционных и сборника «От лукавого», изданного в Берлине в 1922 году?

М.Т. В начале «оттепели», в 1959 году, в журнале «Прибой» была опубликована часть прозы Н.В. – ее воспоминаний, которые полностью вышли отдельной книгой лишь в 1977 г. в Ленинграде.

А.Р. Удивительно, что цикл «блокадных» стихотворений Н.В. не был опубликован, в отличие от стихов Ольги Берггольц и Маргариты Алигер. Чем это объяснить?

М.Т. Сразу после войны начался идеологический поход против людей искусства, которые, по мнению партийного руководства, были слишком независимы в своем творчестве и не готовы были в едином строю прославлять политику партии и правительства. Трагедию и ужасы Ленинградской блокады требовалось подавать исключительно как героизм советского народа. В стихах Н.В. нашли отражение трагедия повседневности блокады, простые радости жизни выживших ленинградцев и не находилось места для официального торжества. После «Ленинградского дела» стало совсем невозможным писать о блокаде в том личностном, интимном, сочувственном, спокойном и достойном стиле, который характерен для блокадных стихов Н.В.

А.Р. О чем писала Н.В. в послевоенное время?

М.Т. В последние годы жизни в ней крепло, хотя и никогда не исчезало, философское отношение к жизни и смерти. Примером этого служит «Венок сонетов», написанный Н.В. в середине 1950-х годов. Смерть – это не конец, жизнь переходит к следующим поколениям; так, в частности, звучит ее «Эпитафия» самой себе, выбитая на могильной плите: «Венок любви, и радости, и муки / Подхватят снова молодые руки, / Когда его мы выроним из рук...»

Много стихов Н.В. обращено к детям и внукам. Единственные стихи, где звучит непоправимая грусть, посвящены моему брату-близнецу Алеше, умершему в младенчестве («Упадут перегородочки...»). Нас называли в честь дедов – Михаил и Алексей. Алексей умер от голода – врожденное сужение пищевода у новорожденных тогда не умели оперировать. В чем роковой смысл, что именно его называли Алешей?

Даже наступившая слепота не останавливала ее, она продолжала сочинять, не видя текста. Ее стихи, посвященные одной из младших внучек – Шурочке, лица которой она не может разглядеть, пронизаны ощущением горького, но всё же счастья: «Черт лица твоего я не вижу, /

Слышу голос любимый твой. / Подойди ко мне, стань поближе, / Дай коснуться тебя рукой...»

Жизнь Н.В. подтверждает слова, сказанные ею в одном из ранних стихотворений: «И есть ли что мудрее, люди, / Так, молча, пронести в тиши / На приговор последних судей / Неисказенный лик души».

А.Р. К сожалению, в США не так просто найти книги Н. Крандиевской-Толстой. В библиотеке Русского Центра Сан-Франциско есть только небольшой сборник «Дорога». В библиотеке Стэнфордского Университета наряду с изданиями 1970–80-х годов есть даже первый сборник «Стихотворения», изданный в 1913 году в Москве. Можно ли надеяться, что в ближайшие годы появятся новые сборники стихов и воспоминаний Н.В.?

М.Т. Сестра Татьяна готовит полное собрание стихов и прозы бабушки, а также воспоминания ее матери – Анастасии Романовны, которая жила в Царском Селе вместе с Толстыми до конца 30-х годов, и большая часть ее архива сохранилась.

А.Р. Спасибо, Михаил Никитич, за Ваш рассказ.

М.Т. Спасибо редакции «Нового Журнала», предоставившей возможность опубликовать в юбилейные дни избранные стихи Наталии Васильевны Крандиевской-Толстой.

Калифорния

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ Н.В. КРАНДИЕВСКОЙ-ТОЛСТОЙ

1906–1921

* * *

Ах, мир огромен в сумерках весной!
И жизнь в томлении к нам ласкова иначе...
Не ждать ли сердцу сладостной удачи,
Желанной встречи, прихоти шальной?

Как лица встречные бледнит и красит газ!
Не узнаю свое за зеркалом витрины...
Быть может, рядом, тут, проходишь ты сейчас,
Мне предназначенный, среди людей – единый!
1915

* * *

Что мне милей тебя, мой мальчик тоненький,
Милее рук твоих в смешных царапинках!
На пляже радостном совсем ты голенький,
Несешь мне ракушку в красивых крапинках.

Обоим нам с тобой находка нравится,
 Обоим нам с тобой светло и весело.
 Барашки по морю бегут, курчавятся,
 Над нами тень свою кабинка свесила.

На грудь раскрытую ко мне ты валишься
 Теплом разнеженный, светло-усталенький,
 И засыпаешь вдруг, и забываешь всё,
 Такой беспомощный, комочек маленький...

1913

* * *

Проходят мимо неприявшие,
 Не узнают лица в крови.
 Россия, где ж они, кричавшие
 О милосердии любви?

Теперь ты в муках, ты – родильница.
 Но кто с тобой в твоей тоске?
 Одни хоронят, и кадильница
 Дымит в кошунственной руке.

Другие вспугнуты, как вороны,
 И стоны слыша на лету,
 Спешат на все четыре стороны
 Твою окаркать наготу.

И кто в безумье прекословия
 Ножа не заносил над ней!
 Кто принял крик у изголовья
 И бред пророческих ночей?

Но пусть. Ты в муках не одна еще.
 Благословенна в муках плоть!
 У изголовья всех рождающих
 Единый сторож есть – Господь.

Октябрь 1917

* * *

Мороз оледенил дорогу.
 Ты мне сказал: «Не упади»,
 И шел, заботливый и строгий,
 Держа мой локоть у груди.
 Собаки лаяли за речкой,

И над деревней стыл дымок,
Растянут в синее колечко.
Со мною в ногу ты не мог
Попасть, и мы смеялись оба.
Остановились, обнялись...
И буду помнить я до гроба,
Как два дыханья поднялись,
Свились, и на морозе ровно
Теплело облачко двух душ.
И я подумала любовно:
– И там мы вместе, милый муж!

Январь, 1918. Москва

* * *

Алексей – Человек Божий,
С гор вода.

Календарь, 17 марта

Алексей – с гор вода!
Стала я на ломкой льдине,
И несет меня – куда? –
Ветер звонкий, ветер синий.
Алексей – с гор вода!
Ах, как страшно, если тает
Под ногой кусочек льда,
Если сердце утопает!

1918

* * *

Надеть бы шапку-невидимку
И через жизнь пройти бы так!
Не тронут люди нелюдимку,
Ведь ей никто ни друг, ни враг.

Ведет раздумье и раздолье
Ее в скитаньях далеко.
Неузвимо сердце болью,
Глаза раскрыты широко.

И есть ли что мудрее, люди, –
Так, молча, пронести в тиши
На приговор последних судей
Неисказенный лик души!

ИЗ ЦИКЛА «РАЗЛУКА»
1935–1938

Больше не будет свидания,
Больше не будет встречи.
Жизни благоухание
Тленьем легло на плечи.

Как же твое объятие,
Сладостное до боли,
Стало моим проклятием,
Стало моей неволей?

Нет. Уходи. Святотатства
Не совершу над любовью.
Пусть – монастырское братство,
Пусть – одиночество вдовье,

Пусть за глухими воротами
Дни в монотонном уборе.
Что же мне делать с вами,
Недогоревшие зори?

Скройте вы за облаками,
Больше вы не светите!
Озеро перед глазами,
В нем – затонувший Китеж.

* * *

Люби другую, с ней дели
Труды высокие и чувства,
Ее тщеславье утоли
Великолепием искусства.

Пускай избранница несет
Почетный груз твоих забот:
И суеты столпотворенье,
И праздников водоворот,
И отдых твой, и вдохновенье, –
Пусть всё своим она зовет.

Но если ночью иль во сне
Взалкает память обо мне
Предосудительно и больно,

И, сиротеющим плечом
Ища плечо мое, невольно
Ты вздрогнешь, – милый, мне довольно,
Я не жалею ни о чем!

* * *

Так тебе спокойно, так тебе не трудно,
Если издалёка я тебя люблю.
В доме моем шумно, в жизни – многолюдно,
В этой жизни нежность чем я утолю?

Отшумели шумы, отгорели зори,
День трудов окончен. Ты устал, мой друг?
С кем ты коротаешь в тихом разговоре
За вечерней трубкой медленный досуг?

Долго ночь колдует в одинокой спальне,
Записная книжка на ночном столе...
Облик равнодушный льдинкою печальной
За окошком звездным светится во мгле.

Милый, бедный, глупый! Только смерть научит
Оценить, оплакать то, что не ценил.
А пока мы живы, пусть ничто не мучит,
Только бы ты счастлив и спокоен был.

* * *

Нет! Это было преступленьем,
Так целым миром пренебречь
Для одного тебя, чтоб тенью
У ног твоих покорно лечь.

Она осуждена жестоко,
Уединенная любовь,
Перегоревшая до срока,
Она не возродится вновь.

Глаза, распахнутые болью,
Глядят на мир, как в первый раз,
Дивясь простору и раздолью,
И свету, греющему нас.

А мир цветет, как первозданный,
В скрещенье радуги и бурь,
И льет потоками на раны
И свет, и воздух, и лазурь.

* * *

Памяти внука Алеши

Упадут перегородочки,
Свет забрезжится впотьмах.
Уплывет он в узкой лодочке,
С медным крестиком в руках.

Будет всё как полагается, –
Здесь, на холмике сыром,
Может, кто-то разрыдается,
Кто-то вспомнит о былом.

И вернуться все трамваями
В мир привычной суеты.
Так умерших забываем мы.
Так его забудешь ты?

1938–1941

* * *

Мите

Как формула, вся жизнь продумана,
Как труп анатомом, разъята.
Играет сын сонату Шумана,
Мою любимую когда-то.

И снова, музыкой взволнована,
Покою жизнь противоречит.
И всё, что волей было сковано,
Взлетает музыке навстречу.

Играй, мой сын! Все были молоды.
И ты, как все, утраты встретишь
И на бесчисленные доводы
Страданью музыкой ответишь.

* * *

Памяти Марины Цветаевой

Писем связка, стихи да сухие цветы –
Вот и всё, что наследуют внуки.
Вот и всё, что оставила, гордая, ты
После бурь вдохновенья и муки.

А ведь жизнь на заре, как густое вино,
Закипала языческой пеной!

И луна, и жасмины врывались в окно
С легкокрылой мазуркой Шопена.

Были быстры шаги, и движенья легки,
И слова нетерпеньем согреты.
И сверкали на стиге девичьей руки,
По-цыгански звенели браслеты!

О, надменная юность! Ты зрела в бреду
Колдовских бормотаний поэта.
Ты стихами клялась: исповедую, жду! –
И ждала незакатного света.

А уж тучи свивали грозový венок
Над твоей головой обреченной.
Жизнь, как пес шелудивый, скулила у ног,
Выла в небо о гибели черной.

И Елабугой кончилась эта земля,
Что бескрайние дали простерла,
И всё та же российская сжала петля
Сладкозвучной поэзии горло.

1941

Сыну моему Мите посвящаю

В ОСАДЕ

Недоброй славы не бегу.
Пушай порочит тот, кто хочет.
И смерть на невском берегу
Напрасно карты мне пророчат.

Я не покину город мой,
Венчанный трауром и славой,
Здесь каждый камень мостовой –
Свидетель жизни величавой,

Здесь каждый памятник воспет
Стихом пророческим поэта,
Здесь Пушкина и Фальконета
Вдвойне бессмертен силуэт.

О память! Верным ты верна.
Твой водоем на дне колышет

Н. КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ

Знамена, лица, имена, –
И мрамор жив, и бронза дышит.

И променять за бытие,
За тишину в глуши бесславной
Тебя, наследие мое,
Мой город великодержавный?

Нет! Это значило б предать
Себя на вечное сиротство,
За чечевицы горсть отдать
Отцовской славы первородство.

1941

НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА

III

После ночи дежурства такая усталость,
Что не радует даже тревоги отбой.
На рассвете домой возвращалась, шаталась,
За метелью не видя ни зги пред собой.

И хоть утро во тьме уже ртутью сквозило,
Город спал еще, кутаясь в зимнюю муть.
Одиночества час. Почему-то знобило,
И хотелось согреться, хотелось уснуть.

Дома чайник вскипал на железной времянке,
Уцелевшие окна потели теплом,
Я стелила постель себе на оттоманке,
Положив к изголовью Диккенса том.

О, блаженство покоя! Что может быть слаще
И дороже тебя? Да святится тот час,
Когда город наш, между тревогами спящий,
Тишиной утешает недолгою нас.

Февраль 1942

НА УЛИЦЕ

II

На салазках, кокон пряменький
Спеленав, везет
Мать заплаканная, в валенках,
А метель метет.

Старушонка лезет в очередь,
Охает, крестясь:
«У моей, вот тоже, дочери,
Схоронен вчерась».

Бог прибрал, и, слава Господу,
Легше им и нам.
Я сама-то скоро с ног спаду
С этих со ста грамм».

Труден путь, далек до кладбища,
Как с могилой быть?
Довезти сама смогла б еще, –
Сможет ли зарыть?

А не сможет – сложат в братскую,
Сложат, как дрова,
В трудовую, ленинградскую,
Закопав едва.

И спешат по снегу валенки, –
Стало уж темнеть.
Схоронить трудней, мой маленький,
Легче – умереть.

VII

Идут по улице дружинницы
В противогазах, и у хобота
У каждой, как у именинницы,
Сирени веточка приколота.

Весна. Война. Всё согласовано.
И нет ни в чем противоречия.
А я стою, гляжу взволнованно
На облики нечеловечии.

VIII

Вдоль проспекта, по сухой канавке,
Ни к селу ни к городу цветы.
Рядом с богородицыной травкой
Огоньки куриной слепоты.

Понимаю, что июль в разгаре
И что полдень жатвы недалек,

Если даже здесь, на тротуаре,
Каблуком раздавлен василек.

Понимаю, что в блокаде лето,
И как чудо, здесь, на мостовой,
Каменноостровского букета
Я вдыхаю запах полевой.

Лето, 1942

* * *

Внучке Наташе Толстой

Вот карточка. На ней мне – десять лет.
Глаза сердитые, висок подпёрт рукою.
Когда-то находили, что портрет
Похож, что я была действительно такою.

Жар-птицей детство отлетело вдаль,
И было ль детство? Или только сказка
Придумана* о детстве? И жива ль
На свете девочка, вот эта сероглазка?

Но есть свидетельство. И не солжет оно.
Ему, живому, сердце доверяет:
Мне трогательно видеть и смешно,
Как внучка в точности мой облик повторяет.

9 декабря 1948

* * *

Будет всё, как и раньше было,
В день, когда я умру.
Ни один трамвай не изменит маршрута.
В вазах ни один не отменят зачёт,
Будет время течь, как обычно течет.

Будут сыны трудиться, а внуки учиться,
И, быть может, у внучки правнук родится.

На неделе пасхальной
Яйцо поминальное
К изголовью положат с доверием,
А быть может, сочтут суеверием
И ничего не положат.
Попусту не потревожат.

* Так в рукописи. При издании изменено на «прочитана».

Прохожий остановится, читая:
«Крандиевская-Толстая».
Это кто такая?
Старинного, должно быть, режима...
На крест покосится и пройдет себе мимо.
1958. Больница Эрисмана

* * *

Внучке Шурочке

Черт лица твоего я не вижу,
Слышу голос любимый твой.
Подойди ко мне, стань поближе,
Дай коснуться тебя рукой.

От волос твоих – запах теплый.
Чтоб тебя разглядеть как-нибудь,
Протираю очков своих стекла...
Надоела в глазах эта муть!

Говоришь: «Не хочу уходить».
И к плечу прислонилась невольно.
Разве этого мне не довольно,
Чтобы всё же счастливою быть?

1958. Репино

ЭПИТАФИЯ

Уходят люди, и приходят люди.
Три вечных слова: БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ,
Не замыкая, повторяют круг.

Венок любви, и радости, и муки
Подхватят снова молодые руки,
Когда его мы выроним из рук.

Да будет он, и легкий, и цветущий,
Для новой жизни, нам вослед идущей,
Благоухать всей прелестью земной,

Как нам благоухал! Не бойтесь повторенья:
И смерти таинство, и таинство рожденья
Благословенны вечной новизной.

1954

Публикация – М.Н. Толстой

КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ

Сергей Бычков

Свободы сеятель пустынный...

*Жизнь и труды русского мыслителя Георгия Федотова**

Глава пятнадцатая. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

За три недели до начала войны, летом 1939 года, Федотов вернулся из Англии и продолжил преподавательскую работу в Богословском институте. События надвигавшейся войны отодвинули на задний план те проблемы, которые были подняты профессорами института. Приходилось думать о выживании. Как обычно, в каникулярное время он предпринял одну из регулярных поездок на велосипеде по французской провинции. Узнав о начале войны, возвратился в Париж. Французская армия терпела одно поражение за другим. Началось повальное бегство из столицы, которая могла стать ареной боевых действий. Федотов вместе с семьей отправился в Аркашон, где в это время уже осели Бердяев и Илья Фондаминский, однако на время задержался на острове Олерон вместе со своим спутником Вадимом Андреевым, сыном известного русского писателя Леонида Андреева. После перемирия, заключенного между разгромленной Францией и нацистской Германией, Федотов вернулся в Париж. Время, проведенное на Олероне, употребил для перевода Псалтыри на русский язык, поскольку всегда был сторонником ведения богослужений по-русски.

Писатель Василий Яновский оставил портрет Федотова тех лет, одновременно дав характеристику нравов, которые царили в те годы среди парижских эмигрантов:

«Внешне Федотов со своей бородкою всегда выглядел профессором среднего возраста, серьезным мыслителем, публицистом. И одевался он совсем не романтически: даже, вернее, скверно, неряшливо одевался. Новое платье мы все в Париже редко себе покупали. Главным местом снабжения являлся Блошинный рынок, где иногда попадались замечательные вещи из богатых и спортивных домов. Но Георгию Петровичу и это не подходило. А

* Заключительные главы из книги российского исследователя, историка религии С.С.Бычкова о жизни и научном наследии Г.П. Федотова (1886–1951), религиозного мыслителя, историка, русского эмигранта первой волны, автора «Нового Журнала» с 1942 года. Начало см. № 311-312, 2023. © С.С. Бычков.

костюмы, которые ему дарили добродушные меценаты, были все, как на подбор, темные, скучные и, главное, не по мерке. Вообще, я бы сказал, в нашей среде царил стиль добровольной бедности (или чего-то близкого к этому). Даже некоторые, имевшие деньги, как бы стыдились своей материальной обеспеченности. В том, что деньги – грех, никто в русском Париже не сомневался. Так, Фондаминский наконец появился в новеньком коверкотовом костюмчике и долго виновато объяснял: ‘Друзья заставили заказать... Мне это совсем не нужно, но они говорят: “Стыдно вам щеголять в рубищах!”»¹.

В предвоенном Париже над Федотовым нависла угроза предания остракизму со стороны «правых» кругов русской эмиграции, обвинявших его в симпатиях к большевикам. Вторая мировая война развела идейных противников по двум противоположным лагерям. Черносотенная и монархическая часть эмиграции восприняла начало боевых действий как возможность расправиться с большевиками; многие из них служили в армии вермахта. Другая часть эмиграции встала в ряды Сопротивления и выступила против оккупации Франции. В нацистских лагерях погибли организаторы и вдохновители «Православного дела» – монахиня Мария (Скобцова), священник Димитрий (Клепинин), религиозный деятель Илья Фондаминский. Был расстрелян нацистами активный участник французского Сопротивления Борис Вильде, один из основателей и редактор газеты Résistance (Сопротивление); в тюрьме была гильотинирована кн. Вики (Вера) Оболенская, активная участница Сопротивления.

Общественными организациями эмиграции стали составляться списки желающих получить выездные визы в США – с тем, чтобы при содействии американских благотворительных комитетов помочь уехать из Франции. Фондаминский, Бердяев и мать Мария наотрез отказались покинуть Париж. «Неужели Вы не понимаете, что лучшая участь для писателя — это быть расстрелянным за то, что он писал?» – вопрошал Бердяев. Фондаминский вторил ему, убеждая жену Георгия Петровича: «Неужели Вы не понимаете, что то, о чем мы писали, хотя могло называться демократией, социализмом, но всё это делалось во имя Христа, для христианства. Почему Вы не хотите, чтобы Георгий Петрович пострадал за Христа?»²

Колеблющегося Федотова неожиданно поддержал митрополит Евлогий. Он благословил его на отъезд: поведение значительной части русских эмигрантов в оккупированном Париже сломило митрополита. Ему казалось, что дело его жизни – создание духовного центра в эмиграции – погибло. Федотов подал в отставку. Отныне он не являлся профессором Богословского института. Нелегально перейдя демаркационную линию в конце ноября 1939 года, философ оказался на территории, свободной от немцев. Его жена и дочь также покинули Париж и перешли демаркационную линию в другом месте. Добравшись до Марселя, где можно было получить американскую

визу, Георгий Петрович был арестован за нелегальный переход границы и отправлен в концентрационный лагерь, но благодаря заступничеству Д.И. Лаури, представителя Американского Красного Креста на юге Франции, вскоре был освобожден. Чтобы ускорить отъезд из Франции (жена и дочь добирались до Америки другим путем), Федотов решил плыть на пароходе «Альсина», который отправлялся в Бразилию через Дакар.

15 января 1941 года пароход отплыл из Марселя, но в Дакаре был задержан англичанами для досмотра. Представители французского правительства Виши оказали сопротивление. Итог – задержка в порту на четыре месяца. В этот период Федотов после шестилетнего перерыва возобновляет дневник. Он записывал:

«Целый день я приучал себя к мысли о лагере. Я убежден, что скоро освоился бы с нею. Теперь ‘реальная’ земная опасность для меня утратила много своей остроты. О, я не мню себя стойком или аскетом. Старый трус еще жив. Но точно совершающееся со мною не доходит до глубины сознания. Во всем вокруг появилось что-то призрачное, что-то свойственное или воспоминанию, или воображению. Это не рост духовности, но угасание времени. Как таковое, скорее отрицательное явление: начало смерти. Весь вопрос в том, что переживет? Что воскреснет? Есть ли чему воскресать?» (*Федотова, ХХХ*)

Во время вынужденного пребывания в порту Дакара почти всем пассажирам запретили сходить на берег. Благодаря ходатайству ученика Фердинанда Лота, директора Африканского музея в Дакаре, Федотову разрешили бывать на берегу. Он использовал это время для научных занятий в музее. Он настолько хорошо изучил историю экваториальной Африки, что по приезде в Нью-Йорк прочел лекцию, посвященную этому предмету.

Утро философа начиналось с присутствия на доминиканской мессе, затем он изучал португальский язык и совершенствовался в древнееврейском. В дневнике отмечал:

«Сколько раз море, вернее, стоянки в портах, огни судов и берега, звездные ночи переносили меня на Волгу. И сердце вспоминало – слабый намек на прежний трепет – ощущение таинственной полноты жизни, притаившегося ожидания любви, которая придет. Знаю, здесь уже не придет. Но будет ли ответ там? Здесь, в этом моменте, всё доступное мне в религиозном опыте. И как мало в нем христианского! Рассветы и закаты над морем для меня подлинно ‘творятся’ (Пильняк) каждый день. И это моя мистерия, которая каждый день возвращает мне веру в Бога более несомненно, чем ежедневная месса доминиканцев, на которой я присутствую. Туда, на мессу, я должен

что-то принести с собой и бороться – эти короткие полчаса, – чтобы не расплескать совершенно. А от зари и звезд в меня нисходят токи сил (благодать или природа?), которых хватает на полдня» (*Федотова*, XXXII).

Спустя четыре месяца французское правительство поняло бесплодность переговоров, и пароход вернулся в Марокко. В порту Касабланки пассажиры выгрузили и отправили вглубь пустыни, в казармы военного лагеря. Здесь Федотова настигло известие о нападении Гитлера на СССР. Многие пассажиры злополучного парохода застряли в Марокко до конца войны, а некоторые погибли на строительстве дороги через Сахару. Федотову повезло и на этот раз – в лагерь прибыли билеты на испанский пароход, присланные Еврейским рабочим комитетом. Через две недели философ из Кадикса отплыл в Испанию. Последние недели перед отбытием он провел в Севилье, испанской провинции, не тронутой Гражданской войной.

На крохотном пароходе со зловещим названием «Nevermore», напоминающим о знаменитом стихотворении Эдгара По, разместилось свыше тысячи пассажиров, а также скот. Здесь же плыл художник Федор Рожанковский, который позже стал мужем приемной дочери Федотова. Интересно прочесть ежедневные скупые записи Федора Рожанковского о путешествии на пароходе «Nevermore» через Атлантический океан в августе-сентябре 1941 года. Они сделаны карандашом на титуле французского издания «Калевалы»:

«Лиссабон, 16 августа 1941 года, суббота. Вчера, в субботу кругом повсюду горизонт. В 9 вечера вышли курсом на Азоры.

Воскресенье 17 августа. В 5 часов вечера первый встреченный пароход. Последние птицы.

Понедельник 18 августа. До 9 вечера полдня дождь.

Вторник 19 августа. Полдня солнце.

Среда 20 августа. В 7 утра справа Азоры. Серый день.

Четверг 21 августа. В 6 утра кашалоты, 6 летучих рыб. Солнце.

Пятница 22 августа. Умер старичок. Продолжался дождь.

Суббота 23 августа. Рыбы. Гроза в 2 часа дня.

Воскресенье 24 августа. Портрет капитана. Серый день.

Понедельник 25 августа. Дождь. Радуга.

Вторник 26 августа. Спокойно.

Среда 27 августа. Солнце и ветер.

Четверг 28 августа. В 6 утра клипер обогнал.

Пятница 29 августа. Огни Бермуд. Чайка в 12 ночи. Ливень. Острова.

Суббота 30 августа.

Воскресенье 31 августа. В 6 утра нет птиц. Пошли на Кубу.

Понедельник 1 сентября. Снова летучие рыбки. Тишина.

Вторник 2 сентября. Все отсырело. Птицы. Тепло.

Среда 3 сентября. Тепло.

Четверг 5 сентября. Флорида. Берег.

Пятница 6 сентября. Опять море. В 6 часов вечера Куба. В 8 часов вечера порт.

Суббота 7 сентября. Брали провиант. Ссадили 300 пассажиров.

Воскресенье 8 сентября. В 6 утра курс на Нью-Йорк. В 9 вечера ночная радуга.

Понедельник 9 сентября. Берег скрылся. Конец тропического пояса.

Вторник 10 сентября. Птичка капитана. Зеленый луч Жюль Верна.

Среда 11 сентября. В 4 часа утра берег США. В 5 часов исчез»³.

Путешествие продолжалось ровно месяц – десять дней пароход вынужденно простоял в Лиссабоне. Во время плавания вспыхнул сыпной тиф, первыми умирали истощенные старики. Елена Николаевна позже вспоминала, со слов мужа, его рассказ о мучительном плавании:

«Среди беженцев русских было мало, преобладали немцы. Центром русской группы пассажиров был художник Рожанковский, который в спасательной лодке устроил нечто вроде ‘русского уголка’ и своими неисчерпаемыми затеями поднимал настроение уставших путешественников. Г.П. был им очарован, и по прибытии в США познакомил его со своей семьей...»⁴

Пароход причалил в Нью-Йорке 12 сентября 1941 года, спустя восемь месяцев после того, как Федотов покинул Марсель.

Жена Федотова Елена Николаевна и дочь Нина уже ожидали его в США. Они добрались гораздо быстрее, хотя покинули Европу позже. Первые три года Федотов прожил в Нью-Хейвене. В этот период он завершил работу над первым томом большого труда – «Русская религиозность», который писал на английском языке, адресуя его культурной элите Запада. В 1943 году он принял предложение Русской Православной семинарии, начал преподавать и оставался ее профессором до конца жизни.

Свято-Владимирская семинария была образована в 1938 году. Ее появлению предшествовало решение VI Всеамериканского церковного Собора, который проходил в 1937 году в Кливленде. В решении Собора говорилось: чтобы обеспечить Американской Православной Церкви будущее, необходимо создать духовную школу. 3 октября 1938 года митрополит Феофил (Пашковский) отслужил молебен в храме Святой Троицы в Бруклине и торжественно освятил открывшуюся Свято-Владимирскую семинарию. Вскоре было найдено временное помещение на территории епископальной семинарии в Челси, в Манхэттене. Преподавателей катастрофически не хватало, на первый курс за несколько лет поступило всего несколько человек, за плечами у которых было среднее образование. В конце Второй мировой войны положение резко изменилось: в США хлынули эмигранты из Европы, в том числе и русские. Начали приезжать и крупные ученые-богословы.

После войны резко разошлись пути Федотова с друзьями, оставшимися в Париже. В первую очередь – с Бердяевым, который склонялся к тому, чтобы признать высшую миссию СССР, сыгравшего решающую роль в победе над нацизмом. Федотов внимательно следил за визитом митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича) в Париж и за переговорами о возвращении парижан под юрисдикцию Московского патриархата. Выступая с балкона советского посольства на рю де Гренель, митрополит Николай призывал парижан возвращаться в Советский Союз и щедро разбрасывал с балкона горстями привезенную русскую землю. Для многих эмигрантов, поверивших его призывам и вернувшихся в Советский Союз, это обернулось трагедий – арестом, ссылкой или заключением в сталинский концлагерь.

Федотов из-за океана анализировал данные об открытых храмах и монастырях на территории СССР, которыми оперировал митрополит Николай. Всё это вызывало у Георгия Петровича резкий скепсис. Карандашом он записывал:

«...м. Николай заявил в Париже 29.VII.1945 года: 20000 приходов. 30000 священников. 10 богословских-пастырских школ и семинарий, Богословский институт в Москве, 87 монастырей (3 в Киеве), Киево-Печерская лавра (70 человек), Троицкая лавра...»⁵

Он не доверял официозной пропаганде, памятуя о годах, проведенных в Советской России, и зная об искусстве лжи, которым в совершенстве владели большевики. Параллельно Федотов продолжал работать над вторым томом «Русской религиозности». В это же время, вместе с профессором Е. В. Спекторским, он создал проект устава Свято-Владимирской семинарии, который сохранился в его архиве.

Федотов внимательно следил за тем, как развиваются военные события не только в Европе, но и на территории СССР. В статье «Как бороться с фашизмом?» он анализирует события начала Второй мировой войны:

«Да, было время, когда разделение между воюющими народами проходило довольно четко по политическому водоразделу. В 1939 году, действительно, демократия объявила войну фашизму. Это создавало необыкновенно чистую политическую атмосферу, в которой самые трезвые и ответственные государственные люди мечтали вслух о федерации свободных народов. За эту чистоту мы заплатили дорожкой ценою. Фашизм оказался сильнее демократии. Франция пала его жертвой – пала прежде всего потому, что сама не готова была к ‘чистой’ войне. Она сама разрывалась внутренним фашизмом и скрытой классовой войной. Ее верхи были за Гитлера, низы – за Сталина – тогда шедших вместе. Ее демократия оказалась без защитников»⁶.

Его мысли тех лет сегодня воспринимаются как пророчество, как предупреждение нам, потомкам, живущим в XXI столетии и ставшим свидетелями беспощадной и бессмысленной бойни, угрожающей не только демократическим странам, но и самому понятию демократии:

«Демократия должна напрячь все силы своего ума, воображения и воли в борьбе со своим страшным врагом. И прежде всего отказать-ся от иллюзий, всё еще соблазняющих ее, – эти иллюзии стоили уже нам так дорого. Видеть правду, видеть истинное лицо врага – самое элементарное условие победы. Дон-Кихоты не побеждают; всего менее – Дон-Кихоты, жаждущие покоя. У демократии сегодня слишком много льстецов, убаюкивающих ее, по рецепту Горького, ‘золотыми снами’. Но ей нужны прежде всего беспокойные и бестактные оводы, жалящие ее, как Сократ афинян. Если народные массы будут по-прежнему отравляться иллюзиями военного времени, то к моменту мира они будут неспособны к политическому действию. Или же действие их сведется к новому самоубийству демократии...»⁷

Вторая мировая война, бушевавшая в Европе и в СССР, уносила миллионы жизней. Сведения о зверствах нацистов достигали и США. Всё это не внушало оптимизма. В дневнике Федотов записал:

«14 февраля 1941 года. Прошло 6 лет, а мир всё тот же. Обвал гуманизма. И я всё тот же. Нemoшь, бессилие. Постепенная убыль творческих сил. Знаю, что собственное растрение отдаляет от Бога, убивает молитву. Но мысль хочет искать оправдания. И она права, поскольку догмат определяет веру. Вот что она внушает, мысль. Трудно молиться, потому что мое представление о Боге так далеко от церковного и от, можно сказать, общехристианского. Люди, которые слагали молитвы, молились другому Богу. Их Бог – всемогущий и карающий, мой Бог – всепрощающий и умаляющий Себя пред свободой человека. Спасающий изнутри. С ними – все поколения христиан и все исповедания (и англиканство, и Барт). Со мной – горсть интеллигентов, большей частью не церковных. Как найти силу поверить в свою правду?»

В этом ключ ко всему. Я отталкиваюсь всеми силами души от Бога традиций, церковного Бога, убеждаю себя – убеждал, – что это клевета на Бога, что Бог иной... Но бессознательно во мне детская моя вера, все поколения предков, говорят, что правы они, а не я. А если так, то мое восстание против Церкви превращается в восстание против Бога. Повторяя слова нечестивых молитв, я ловлю себя на противлении не Церкви, их сложившей, не Византии, не Риму, а Тому, Кто принимает эти молитвы. Какое безумие... разве я не знаю, что большинство всегда не право, разве я не изучил, как глубоко, в самых мистических недрах, искажена чистота и святость Церкви. И вот нет сил на простое и легкое отрицание. Как будто бы легче бунт против Бога.

Насколько легче – а главное, достойнее, праведнее было жить в чаянии Третьего Завета, Новой Церкви. (Мережковские оправданы!?) Насколько чище, благороднее жизнь Пеги⁸, лишившего себя утешения таинств и сохранившего свободу – прежде всего свободу молитвы. Ужаснее всего, что против меня не только традиция двух тысячелетий, но и Евангелие. Т.е. многое в Евангелии... и большее в Евангелии – против них. Но это сознание релятивности откровения затемняет земной образ Иисуса, отнимая последнюю почву под ногами. Тут может быть лишь один исход. Такая связь с Ним, нерушимая, духовная, против которой ни Церковь, ни Евангелие не властны. Ибо Он, Живой Христос, больше и Церкви – и Евангелия, буквы своего слова.

Но как найти такую любовь к Нему? Мне ясно, что путь один. Полное отречение от себя, отдача Ему. И здесь мои немощи и мои силы одинаково противятся Ему. Вспоминаю Августина... Когда сознаешь всю силу и тяжесть традиций, начинаешь больше уважать о. Сергия. Противопоставить ей свою собственную мысль, свою позицию! И при этом сознавать, что ты не разрушаешь предание, а развиваешь его. Да, для этого нужно быть сильным. А чем он заплатил за свою дерзость? Косматыми волосами и безобразием языка. Поистине дешевая цена за огромную внутреннюю свободу»⁹.

Мать Мария, священник Дмитрий Клепинин, Илья Фондаминский, Константин Мочульский и многие другие остались во Франции. Многие члены «Православного дела» окончили свою жизнь мученически. Федор Пьянов был заключен в нацистский концлагерь, но сумел выжить. Флоровский оказался в годы войны в Чехии и чудом после окончания войны сумел вырваться из оккупированной Красной армией зоны. Б.П. Вышеславцев, публиковавшийся во время войны в немецких печатных органах и в антикоммунистических сборниках, смог перебраться в Швейцарию, где провел послевоенные годы.

После окончания Второй мировой войны проблемы, поднятые конфликтом 1939 года, получили свое развитие. Их отголоски то и дело встречаются в послевоенной переписке Георгия и Елены Федотовых.

Несмотря на многолетние дружеские отношения, на то, что во многих ключевых вопросах Федотов, и Бердяев были единомышленниками, когда Бердяев в конце войны стал «большевизанствовать», опыненный победами Красной армии, Федотов писал Елене Николаевне в Париж: «...Выяснила ли грехи Вышеславцева? Я бы хотел, чтобы ты повидалась со Спасским. Он держится прямой дороги, а вокруг Бердяева попутчики. А сейчас во Франции быть со Сталиным то же, что с Гитлером при немецкой оккупации»¹⁰. Чуть позже добавляет: «...Кроме того, должен писать статью о Бердяеве в ‘За свободу’. Чувствую и внутреннюю потребность. Очень уж он много зла делает, и некому сказать всей правды»¹¹. В статье «Ответ Бердяеву», которая

была опубликована в США в 1946 году, Федотов вскрывает истоки «патриотических соблазнов» Бердяева:

«Чтобы понять умонастроение русской эмиграции во Франции, необходимо помнить о двух вещах. Во-первых, пять лет под фашистской властью не прошли бесследно. Тоталитарные режимы нашего времени умеют ‘перековывать’ людей. Нельзя безнаказанно годами дышать отравленным воздухом рабства. Человек, даже преданный свободе, начинает терять веру в нее. Ему кажется, что она ушла из мира навсегда, что демократия доказала свою немощь. Единственно, на что можно надеяться, – это на смену одного тоталитарного режима другим, противоположным ему по идеологии. Выдерживают это испытание лишь немногие, сильные духом.

Во-вторых, если не русские войска освободили Францию, то их героическая борьба сделала возможным ее освобождение. Отсюда угар советофильства, издали непонятный. Он, прежде всего, питается военными триумфами России. Мало кто сумел сохранить трезвость ума и сердца. Увы, Бердяев поддался общему психозу. В своих первых статьях, еще в ‘Советском патриоте’, он славил революцию за то, что она вернула русской армии ее былую непобедимость, утраченную в последние годы монархии. Читая, не веришь своим глазам. Бердяев судит политический строй по его мощи!»¹²

Но Федотов умел подниматься над негодованием и обидами. В 1948 году, узнав о смерти Бердяева, он первым откликается на утрату и публикует в «Новом Журнале» статью «Бердяев-мыслитель», в которой отдает должное заслугам философа. Он пишет Елене Николаевне, которая не была склонна с пониманием относиться к чужим заблуждениям: «...Грехи, особенно общественные, имеют свои сроки, свою амнистию. Нельзя прощать того, что совершается сейчас, – прощать Николая Александровича, Евлогия, Софиева. Скоро ты получишь мой ‘Ответ Бердяеву’. Вряд ли будешь довольна. Но я в нем не отчаиваюсь и ожидаю обращения»¹³.

Митрополит Евлогий попал в этот список неслучайно. 24 августа 1945 года в Париж прибыл митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич). Он пробыл в Париже вплоть до 5 сентября, активно агитируя эмигрантов возвращаться в СССР. На аэродроме, кроме официальных советских дипломатов и военных, его встречали и представители Русской Церкви в эмиграции. Митрополит Евлогий направил в аэропорт архиепископа Владимира (Тихоницкого) и протопресвитера Николая Сахарова. После того, как митрополит Николай посетил ряд православных храмов, 29 августа в храме Святого Александра Невского на рю Дарю состоялось пастырское собрание, в котором принял участие митрополит Евлогий. Он заявил, что вопрос о возвращении «парижан» в лоно Матери-Церкви «практически стоит накануне

разрешения», что уже прошли консультации со Вселенским патриархом. Выступили на собрании профессора Свято-Сергиевского богословского института А.В. Карташёв и протоиерей Василий Зеньковский, указавшие на необходимость соблюдения всех канонических требований при переходе из-под омофора Вселенского патриарха. Тогда казалось, что вопрос об объединении эмигрантской Церкви «парижской» юрисдикции с Московским патриархатом уже решен. Именно поэтому так резко отреагировал Федотов на эти известия из Парижа.

Год спустя после визита митрополита Николая, в Париже в 1946 г. под редакцией М. Курдюмова (псевдоним М.А. Каллаш) и Н.А. Полторацкого был издан сборник материалов «Дни примирения. Митрополит Николай в Париже». Очерк Полторацкого из этого сборника был перепечатан «Журналом Московской патриархии». Однако воссоединение не состоялось, поскольку митрополит Евлогий в 1946 году скончался. Его преемник, митрополит Владимир (Тихоницкий) счел необходимым прислушаться к тем авторитетным членам парижской православной общины, которые, несмотря на бурную агитацию митрополита Николая о небывалой свободе для христиан, трезво смотрели на угнетенное положение Церкви в СССР.

Николай Куломзин, один из преподавателей Свято-Сергиевского богословского института, позже вспоминал:

«Сразу после войны, когда митрополиту Евлогию показалось, что сношения с Москвой могут быть возобновлены, он захотел снова присоединиться к Московской патриархии и сделал в этом направлении некоторые шаги, не порывая, правда, с Константинополем. Духовенство, ему подчиненное, во главе с архиепископом Владимиром старалось всеми силами отвлечь своего Владыку от этого пути. На похороны митрополита Евлогия из Москвы прибыли два иерарха и предъявили требование архиепископу Владимиру подчиниться Москве. Смиранный, но твердый владыка Владимир принял их ходатайство 'к сведению, но не к исполнению'. Очень быстро, по стопам своего предшественника, архиепископ Владимир стал экзархом Патриарха Вселенского в сане митрополита»¹⁴.

Противостояние, возникшее между Федотовым и членами Правления Богословского института, можно оценивать по-разному. Некоторые характеристики, данные Федотовым профессорам института, сегодня могут показаться излишне резкими. И всё же Вторая мировая война расставила все точки. Удар, нанесенный этим конфликтом, оставил тяжелый след в душе Георгия Петровича. Но он сумел подняться над личными обидами. В письме от 19-20 августа 1949 года он пишет жене:

«Что меня огорчает, это твое неумение (и принципиальное нежелание) прощать. Ты же знаешь, что этим ты себя отлучаешь от Христа. Мое презрение к тому роду церковности (применительно к подло-

сти), которое определяло их (Профессоров Свято-Сергиевского Богословского института. – С.Б.) поведение по отношению ко мне, возможно, не менее твоего. Но именно поэтому, что они обидели меня, я не считал бы себя вправе помнить об этом. Мстить за свои обиды мне кажется низким. У меня другие формы реакции: я мщу той подлой экклезиологии, которая приводит к таким поступкам. Я считаю, моя статья об этом в 'Пути' (1939)* и моя печатающаяся книга** достаточно мстят за меня. Я предпочитаю разоблачить Кирилла Туровского, чем Зеньковского. Читаю последний (июньский) выпуск Зандеровского журнальчика. От него тошнота почти физическая. Постным маслом и слюной он смачивает все жестокие вопросы и подготавливает новое предательство – на этот раз своих коллег ради московских чекистов в рясах. Интересно одно: будет ли отец Василий (Зеньковский. – С.Б.) преданным или предателем?»¹⁵

Немало точек соприкосновения, несмотря на разницу взглядов и темпераментов, было между Флоровским и Федотовым. Они одинаково, хотя и в разное время, оценивали «софиологию» отца Сергия Булгакова. Флоровский еще в 1926 году писал Булгакову из Праги:

«...Как уже давно я говорил, есть два учения о Софии и даже – две Софии, точнее сказать – два образа Софии: истинный и реальный и – мнимый. Во имя первого строились святые храмы в Византии и на Руси. Вторым вдохновлялись Соловьев и его масонские и западные учителя, вплоть до гностиков и Филона. Церковной Софии Соловьев вовсе не знал: он знал Софию по Бему и бемистам, по Валентину и Каббале. И эта софиология – еретическая и отреченная... Знаю, что своими суждениями я порождою немало недоразумений и вопросов. Но вот что важно: всех этих вопросов Соловьев не видел и даже не подозревал. Думаю, что Евгений Николаевич Трубецкой верно заметил главный провал Соловьева, но у него не хватило ни опыта, ни богословского развития для того, чтобы ясно выразить свое наблюдение. Скажу резко, у Соловьева всё – лишнее, а с тем вместе главного нет вовсе. Просто всё на другую тему и потому не на тему. Всё лишнее. Думаю, что и Вам Соловьев долго мешал отыскать главное... Настаиваю на одном: есть два русла – церковное софиесловие и гностическое. Соловьев – во втором, а до этого второго церковному богослову никакого нет дела»¹⁶.

При всей резкости и порой неоправданно огульной критике философского и богословского наследия В.С. Соловьева, Флоровский по сути верно оценил как «гностические» софиологические построения Соловьева и Булгакова. Федотов, оставшийся в стороне от споров 1935–1936 гг. по поводу софиологии, значительно позднее точно так же оценил эту часть богословского наследия отца Сергия Булгакова.

*Речь идет о статье «В защиту этики», опубликованной в № 60 ж. «Путь» в 1940 году.

**Речь идет об издании на английском языке первого тома «Русской религиозности».

Прибыв в США, Федотов получил приглашение участвовать в заседаниях Богословской дискуссионной группы, созданной в 1933 году. Она объединяла ведущих богословов США, принимавших активное участие в экуменическом движении. Очередное ежегодное собрание группы в 1941 году было намечено на 7-9 ноября и должно было проходить в Богословской школе Йельского университета. Намечалось заслушать и обсудить доклады Дж. Нокса «Этика Ветхого Завета», Х. Бранскомба «Этические принципы Евангелий», Г. Ван Дюсена «Нравственный авторитет Иисуса», Э. Обри «Христианская и философская этика». Федотов считал, что проблемы христианской этики недооценивались представителями «школы парижского богословия», его бывшими коллегами по Свято-Сергиевскому богословскому институту, поэтому охотно принял приглашение принять участие в дискуссиях группы. Заседания прошли в начале ноября 1941 года. Федотов остался доволен уровнем докладов.

Возвращаясь к работам отца Сергия Булгакова, Федотов писал:

«...Но чем больше я знакомлюсь с Византией, тем меньше удивляюсь ересям отца Сергия. Я теперь ясно вижу, что христианство наших катехизисов было на три четверти, если не на девять десятых, западное, и при всей схоластике оно мне ближе Востока. Главное, что в центре его – Христос, и во Христе не убит человек, а у Дамаскина ловко прикрытое монофизитство. Отец Сергий и прикрывать не хочет: Аполлинарий и Прокл, и Ямблих – вот учителя его, да и всей Византии. Я вижу ясно теперь, что без Рима Византия не осталась бы православной, да и так Православие было лишь на бумаге. Я уверен, что если бы был найден трактат Ямблиха ‘О кумирах’, то в нем были бы все мысли отца Сергия об иконах...»¹⁷

Многие проблемы, поднятые преподавателями Свято-Сергиевского богословского института в 1939 году, остались неразрешенными. Для Флоровского, к примеру, деятельность матери Марии (Скобцовой) и возникшего по ее почину «Православного дела» казалась далекой от проблем Православия. Ему казалось, что богословие, возврат к патристике может дать новое дыхание христианству. Поэтому он так активно принимал участие в экуменической деятельности в предвоенный и послевоенный периоды. Необходимо отдать должное – ему удалось сделать немало, чтобы сблизить позиции протестантов и православных. Но христианство – это не только богословие. Это еще и дело помощи ближним. Мать Мария (Скобцова) каждый день спускалась в ад, стремясь накормить голодных, одеть нищих, поддержать больных. И в этом делании ей активно помогали ее сотрудники – Илья Фондаминский, священник Димитрий Клепинин, сын Юра, Георгий Федотов, Константин Мочульский,

Федор Пьянов, монахиня Екатерина (Медведева). Они не считали, что христианин должен замыкаться лишь в стенах богословского института только потому, что он является членом этой ученой корпорации. Они считали возможным выступать на страницах эмигрантской прессы, высказывая свое мнение, рассказывая о своем видении того, что происходит вокруг них. Они могли ошибаться, но собравшись по вере вряд ли имели право строго судить их. Счастье «парижан», что во главе епархии стоял столь глубокий и мудрый человек, как митрополит Евлогий, который не дал в обиду ни священника Сергия Булгакова, ни Георгия Федотова. Изучение эмигрантского опыта парижской юрисдикции может дать немало сегодняшним российским христианам. Важно знать о накопленном опыте – он остается актуальным для сегодняшней России, мучительно пытающейся освободиться от коммунистического прошлого.

Конфликт в Богословском институте выявил опасные тенденции, которые наметились не только в этом духовном учреждении, но и в Русском христианском студенческом движении. Об этих опасностях в середине 30-х годов предупреждал Бердяев:

«Сейчас в мире есть два типа молодежи: одна ищет прежде всего христианской правды в полноте жизни личной и социальной, другая ищет прежде всего силы и власти. Второй тип можно было бы назвать фашистским, хотя термин этот требует уточнения. Но пора, наконец, решительно сказать, что фашизм, особенно немецкий, носит резко антихристианский характер. Фашизм по своей идеологии есть языческий натурализм, возврат к языческому, дохристианскому обоготворению государства и национальности... Националистические же инстинкты, сопровождающиеся жаждой насилия, должны быть просветлены, с их грубыми проявлениями необходимо беспощадно бороться. Соловьев достаточно выяснил, что между национализмом и национальностью такое же различие, как между эгоизмом и личностью. Национализм несоединим с христианством, он противоположен христианской вселенскости, не знающей различия между иудеем и эллином. Воинствующий национализм есть сейчас величайшая опасность для самого существования человечества... Уклон к милитаризации в работе с молодежью может быть совершенно бессознательным, он может быть незаметным потакиванием непросветленным инстинктам молодежи... когда перед руководителями и главными деятелями Движения встанут вопросы о сознательном отношении православия, христианства ко всей полноте жизни, ко всем сферам жизни, когда лозунг 'оцерковление жизни' перестанет быть формальным и означать лишь формальную верность православной церкви, а станет творческим раскрытием христианства на всем поле жизни культурной и социальной. Тогда невозможным станет совмещение внутри Движения православно-благочестия с языческими инстинктами плоти и крови, принявшими обличье бессознательной традиции... Хождение в церковь по воскресным и праздничным дням не есть еще оцерковление жизни. Борьба за ценность и достоинство человеческой личности, которые сейчас подвергаются осмеянию и со всех сторон подвергаются угрозе, борьба за свободу духа и духовность

жизни есть христианская задача и христианский лозунг. Также христианская задача есть борьба за духовную культуру и ее ценности и за социальную справедливость в отношении человека к человеку...»¹⁸

Глава шестнадцатая. В АМЕРИКЕ

Первые три года Федотов проработал приглашенным профессором в Богословской школе при Йельском университете¹⁹. В надежде закрепиться в университете Федотов обратился к Георгию Вернадскому, преподававшему в Йеле:

«Мы когда-то встречались с Вами в Петербурге, вернее, в Царском Селе у общих друзей – Штейнов. На основании этого обстоятельства, а также общности наших интересов в работе позволяю себе обратиться к Вам со следующей просьбой. Я только что приехал в Америку после трудного почти годового путешествия. Вижу, что устроиться здесь будет нелегко. Но сейчас мне представляется возможность некоторой временной передышки. New School for Social Research предлагает мне просить о стипендии (Fellowship) при Divinity School Йельского университета, дающей право жить в Колледже и работать в библиотеках, на положении, среднем между студенческим и профессорским. Впрочем, Вы, вероятно, лучше это знаете. Необходимые документы уже посланы. Из Йеля пришел ответ, что прошение едва ли не запоздало, но что есть еще надежда. Если, действительно, не поздно, не могли ли бы Вы посодействовать мне? Ваше положение как профессора Йельского Университета и как историка делает Ваше вмешательство особо авторитетным»²⁰.

После встречи с профессором Богословской школы Йельского университета Роландом Бейнтоном Вернадский обратился за рекомендацией к Михаилу Карповичу, который подтвердил высокую оценку коллеги. Сообщая об этом Георгию Петровичу, Карпович указывал на то, что предлагаемое положение не предполагает жалования. Выход он видел в возможности предоставления стипендии Гуманитарным фондом для написания Федотовым книги о русской религиозной духовности, проект которой Георгий Петрович обсуждал во время встречи с Борисом Александровичем Бахметевым²¹ 1 октября 1941 года:

«В связи с этим, пока совершенно доверительно, хочу сообщить Вам, что Б.А. Бахметев, по-видимому, готов постараться достать для Вас некоторую сумму денег (он пишет о 500-600 долларах), чтобы дать Вам возможность написать Вашу книгу. Может быть, с этой поддержкой Вы уже могли бы рискнуть принять йельское предложение, если они его Вам сделают. Думаю, что для Вас было бы и приятно и полезно провести эту зиму в американской университетской среде»²².

Так через месяц после прибытия в США, благодаря поддержке Б.А. Бахметева и М.М. Карповича и содействию американских коллег, Г.П. Федотов оказался в Нью-Хейвене, где прожил почти два года, получая стипендию Гуманитарного фонда и занимаясь подготовкой книги по истории русского религиозного сознания. Характеризуя свой замысел в письме Карповичу от 13 октября 1941 года из Нью-Хейвена, Георгий Петрович писал:

«Книга, о которой мы говорили с Б.А. Бахметевым, по-английски могла бы называться 'History of the Russian Religious Mind' (а по-русски 'религиозности'). Я имею в виду дать очерк отдельных духовных течений, характеристику разных религиозных слоев и групп, выяснение оригинальности или связанности с греческой традицией. Для новой, петербургской эпохи задача осложняется необходимостью проследить религиозные следы в светских и даже антихристианских направлениях. Сквозь всё тысячелетие мне видится некоторое единство, хотя и не сводимое к одной формуле, конечно. Материалом должны служить жития святых и памятники литературные. Вы видите, задача дерзкая. Я принялся за нее в Лондоне в 1939 году и представлял себе первый том, обнимающим домонгольский период. Теперь речь идет (т.е. шла у нас с Бахметевым) не о такой аналитической книге с научным аппаратом, а о более популярной, для американского читателя. Это будет черновой очерк – резюме, к сожалению, ненаписанной книги, или книг. Но и как резюме это должно быть довольно плотным томом»²³.

Первыми впечатлениями Георгий Петрович делился с женой:

«Ну вот я и обосновался в Нью-Хейвене и сижу в библиотеке. Только чувствую себя несчастным. Старость ли это, но только приспособление к новому быту мне дается с трудом, и всякие мелкие неудачи раздражают. Особенно трудности с языком, которые рожают всякие недоразумения. На американцев я не могу пожаловаться. Они очень радушны и гостеприимны. Divinity School расположена за городом, в парке, и выстроена в чудном 'георгианском' стиле: кирпично-белая. Еда – первый класс. Но мучит сомнение, хорошо ли я сделал, приехав сюда. Заниматься я должен в Большой Университетской Библиотеке – около получаса ходьбы. Русских книг, нужных для меня, очень мало. В Университете нет курсов английского языка и стилистики, и я не знаю, как мне быть с языком. Профессор Bainton обещал найти студента для обмена на французские уроки – чего мне не хочется. Порядки в Библиотеке (по-моему) отвратительные. Я должен дожидаться у прилавка каждой книги и работаю, запертый в крошечный, жарко натопленный чулан... Получил от Карповича сообщение, что мне будет дана (почти наверное) стипендия в 600 долларов в

год (это зависит и от него). Итак, я мог бы работать и в Нью-Йорке. Но... остается но. Здесь я принудительно прикован к письменному столу, и для меня это важно. И еще проблематичное – будущие связи. Со студентами они завязываются легко. Главное мое препятствие – в моей нелюдимости. Вывод: надо подождать, осмотреться»²⁴.

В Соединенных Штатах Федотов прожил последние десять лет своей жизни. Они оказались весьма продуктивными. Кроме публицистики, ему удалось завершить работу над первыми томом «Русской религиозности», который был издан в США в 1946 году, написать более двух третей второго тома, а также подготовить, по просьбе американских католиков, солидный том «Сокровища русской духовности», который вышел первым изданием на английском языке в 1950 году, а затем был переиздан в 1969 году. В этот том Федотов включил не только очерки о древнерусских святых, но и очерк о «Духовных рассказах странника своему духовному отцу», а также очерки о протоиерее Иоанне Кронштадтском и своем современнике священнике Александре Ельчанинове, с которым был дружен. Так он продолжал миссионерское служение, знакомя западных христиан с сокровищами русской духовности.

Среди соотечественников Федотов в первые годы американской жизни отметил прежде всего Вернадских, Толлей, Паниных и Саркисовых. И хотя не со всеми знакомыми отношения были приятны («Ростовцев тяготееет, как кошмар», – язвил он о своем бывшем преподавателе), всё же они скрашивали его одиночество. Позже он подружился с семьей Ивасков и Микуловских. Возникли знакомства с американскими коллегами, несмотря на проблемы с английским языком. Для преодоления языковых трудностей пригодился тот же метод, что и много лет назад, во время первого пребывания в Германии, когда Георгий Петрович слушал многочисленные лекции немецких профессоров. И если на первых порах он был недоволен результатами слушания лекций на английском языке, то через некоторое время мог вполне общаться с американцами и даже сам читать лекции по-английски.

Однако чтение лекций не оправдало надежд, которые на них возлагались. Федотов так и не смог найти постоянного места преподавателя ни в одном американском колледже. Только летом 1942 года он согласился на преподавание интенсивного курса русского языка, от которого отказался Владимир Набоков. Небольшой заработок, полученный за время преподавания, и доброе отношение одного из студентов, предоставившего семье Федотовых на время каникул свою квартиру с примыкающим к ней садом, позволили Георгию Петровичу провести лето еще одного военного года вместе с Еленой Николаевной и Ниной. В письме от 30 сентября 1942 года он признавался Карповичу:

«Теперь всё кончилось: и дом, и сад, и йельское инструкторство. Мой контракт не возобновили на зиму, 'за отсутствием средств'. Нина уехала в Нью-Йорк, мы переехали в одну комнату, и Елена Николаевна ищет себе работу в Нью-Хейвене. Я пробовал тоже, но пока ничего не вышло. Ей, конечно, найти гораздо легче, потому что я не могу взять такой работы, которая отняла бы у меня возможность продолжать мою книгу.

Книга, к несчастью, мало подвинулась за лето, а начала идти лучше лишь тогда, когда наше благополучие окончилось. Кажется, уроки русского языка отнимали время, но не так уже много. Словом, я слишком много отдыхал и не хочу искать оправданий. В последнее время написал около 130 моих листов, что равняется приблизительно тому же количеству страниц на машинке (в 37-38 строк). По содержанию, это 1. Введение. 2. Русское язычество. 3. Византинизм. 4. Русский византинизм. 5. Русский кенотизм. К тому, что Вы уже видели, прибавились 2 главы – по величине равные первым 3. Здесь я разбираю Климента Смолятича, Кирилла Туровского, Илариона, Бориса и Глеба, Феодосия Печорского. По намеченному плану это половина Киевского периода. Т.е. сделано ужасно мало – сравнительно с тем, что осталось.

Ввиду этого я стесняюсь просить о продолжении стипендии, хотя предоставляю этот вопрос на Ваше усмотрение. За лето я скопил небольшую сумму, которая даст мне возможность в течение нескольких месяцев посвятить себя исключительно работе. А дальше найду какую-нибудь работу на 'part time'* . Конечно, стипендия создает чувство обеспеченности – security, которого я сейчас лишен. Но, как показал пример Франции, *securité* очень обманчивый идеал. Впрочем, если он будет, я приму с радостью»²⁵.

Учитывая положение Федотова, Бахметьев и Карпович пошли ему навстречу, возобновив выплату Гуманитарным фондом гранта для написания книги, с условием, что рукопись будет завершена в течение года. Федотов поначалу мечтал найти какое-нибудь светское, а не церковное применение своим силам. Но в период войны преподавание русской литературы в американских университетах не имело того широкого распространения, которое оно приняло впоследствии. Немногие кафедры были прочно заняты. Он выжидал два года, живя на небольшую субсидию, великодушно предоставленную Бахметевским фондом. В конце концов принял предложение духовной семинарии в Нью-Йорке. Живя в США и трудясь вместе с Е.В. Спекторским над Уставом будущей Свято-Владимирской семинарии, Федотов счел необходимым пригласить из Парижа для преподавания в ней Флоровского, хотя их отношения продолжали оставаться непростыми.

* На неполную ставку (англ.)

Федотов же, при всей антипатии к коллеге, положительно оценивал участие Флоровского в жизни Свято-Владимирской семинарии.

В письме к жене от 7 июля 1946 года он признавался:

«Огорчила меня твоя идея борьбы с Флоровским. Ты знаешь, как он мне противен. Но думаю, что ты вдвойне неправа в поводе к борьбе. И потому, что ты не умеешь относиться к вещам иначе, как лично (т.е. для тебя не существует культуры). Как бы я ни любил Женю*, его поступок есть преступление против культуры, что требует возмездия. Было бы ужасно, если бы оксфордские степени давались за такие мошеннические проделки. Поэтому Флоровский, Вейдле и другие правы в своей реакции»²⁶.

Находясь в США, будучи загружен преподавательской работой в семинарии и работой над вторым томом «Русской религиозности», Федотов внимательно следил за тем, что происходит в духовной жизни русской эмиграции в Европе:

«Христос воскрес! Надеюсь, что мое поздравление дойдет до тебя хотя бы на Пасхальной неделе. Я рад за тебя, что эти дни ты в Париже. На Страстной – это почти что в России. Может быть, в эти дни ты найдешь силы простить политических преступников и дашь пасхальную амнистию... Пока мне всего туманнее атмосфера ‘Православного Дела’. Видела ли ты Мочульского, Медведеву? В какой мере они сохранили ясность и трезвость? Очень ли дурно влияет Бердяев на них? Кто те честные люди, отзываю которых ты доверяешь? Я в переписке со Спасским и пока ему верю. Хочу через него проверить слухи о пронемецкой позиции Карташёва и др. Боюсь, что обвинители – профашисты и коллаборанты (московские)»²⁷.

Более того, он принимал непосредственное участие в организации жизни православной Церкви в США:

«...Если сказать правду, то сейчас не до скуки. Я еду в Кливленд на Собор. А в ожидании пришлось писать и подписывать декларации, читать брань в газетах и даже удостоиться осуждения ‘малого епископского собора’. На верхах вокруг митрополита настроение карловацкое, а мы хотим развязаться разом и с Москвой, и с Карловцами. Мы, т.е. Карпович, Тимашев, Зубов, Новицкий и я (так называемые ‘пять’). Ты возмущена, что я влип в помойную яму. Яма, действительно, помойная, но у меня свое понятие о долге. Никогда сам не начал бы борьбы, но если друзья дерутся, я их не брошу.

* Евгений Ламперт, бывший студент Свято-Сергиевского Богословского института, который защитил диссертацию в Оксфорде.

Голова моя, кажется, лучше, но простуда (грипп) по-прежнему мучит через день. Понемногу пишу книгу, читаю лекции (публичные). В этом году аудитория увеличилась, с меня, видимо, снята опала, я стал популярен. С большим удовольствием констатирую, что ни бранные письма, ни епископские осуждения на меня не действуют: уж очень они здесь мелкопробные, не то, что в Париже. Разрыв с Академией мне стоил седины и нескольких лет жизни. А здесь, хотя бы из Церкви выгнали, перенесу спокойно»²⁸.

Осенью 1946 года Федотов был приглашен на 7-й Всеамериканский Церковный Собор в Кливленд, на третьем заседании которого 28 ноября он выступил с докладом об открытии Духовной Академии в Северной Америке. Охарактеризовав меры по превращению семинарии в высшее богословское учебное заведение, Георгий Петрович отметил:

«Ввиду двуязычного характера нашей паствы и преимущественно английской культуры наших студентов, преподавание в Духовной Академии должно быть тоже двуязычным, так, чтобы некоторые курсы читались на английском языке. Это дало бы возможность слушать их и православным других национальностей, и инославным друзьям – американцам. Это важно и в смысле материальной поддержки Академии, и в смысле духовного влияния Русского православного богословия в Американской жизни»²⁹.

Выступивший вслед за Федотовым Петр Зубов³⁰ обосновал возможности финансового обеспечения богословского образования, что позволило Собору принять одобрительную резолюцию по этим докладам.

За первые четыре года, проведенные в Америке, Федотов завершил работу над первым томом большого труда – «Русская религиозность», который писал на английском языке и который был адресован прежде всего культурной элите Запада. В 1943 году он принял предложение и начал преподавать в Православной семинарии, в которой с небольшим перерывом оставался профессором до самого конца жизни.

В Кливленде в ноябре 1946 года во время работы VII Всеамериканского Церковного Собора Федотов вместе с Петром Зубовым по поручению митрополита Феофила составил памятную записку. В ней авторы обосновывали необходимость реорганизации семинарии. Они рекомендовали Собору пригласить для преподавания русских ученых с мировым именем и прилагали список возможных кандидатов. Среди них были Н.О. Лосский, Н.С. Арсеньев, протоиерей Георгий (Флоровский), приглашенный по настоянию Федотова, Е.В. Спекторский, А.А. Боголепов. Собор принял рекомендации, и в июле 1948

года на основе решения об укреплении преподавательского состава Синод американских епископов переименовал семинарию в Свято-Владимирскую академию. 18 июня 1948 года университетский совет штата Нью-Йорк выдал академии временное удостоверение, признав, что она является высшим духовным учебным заведением.

Первую попытку организовать для Федотова лекционный курс по истории Русской Церкви в Union Theological Seminary Поль Андерсон³¹ принял летом 1944 года, обратившись с письмом к профессору Генри Ван Дюсену³², который познакомился с Федотовым на собрании Богословской дискуссионной группы в Нью-Хейвене в ноябре 1941 года. Ван Дюсен поддержал предложение и представил его президенту семинарии, предупредив Поля Андерсона, что надежды на успех мало. Как он и ожидал, эта попытка оказалась неудачной. В 1945 году Ван Дюсен стал президентом семинарии и через два года вернулся к этой идее, поскольку она соответствовала его представлениям о необходимости расширения влияния семинарии и, соответственно, круга предметов, преподаваемых в ней. Возможность для финансирования курса лекций предоставил фонд Эли (The Elie Wiesel Foundation), попечители которого проголосовали за использование средств для организации годичного курса лекций по христианским институтам.

В письме к Федотову от 5 июня 1947 года Ван Дюсен отмечал, что в первом семестре желательно сосредоточить внимание на историческом развитии Восточной Православной Церкви, в особенности – Русской Церкви, во втором семестре – на ее современном состоянии. Оплата лекционного курса определялась в 1500 долларов за академический год. Особенно в письме подчеркивалась

«...важность участия в жизни семинарии, а не отбывание лекционных часов, поскольку студенты семинарии обогащаются в ходе неформального общения с профессорами помимо занятий – на общественных мероприятиях и специальных собраниях. Мы надеемся, что Вы изъясните желание появляться в семинарии настолько часто, насколько это возможно, и что, в общем, Вы будете рассматривать семинарию как Ваш академический дом в течение предстоящего года»³³.

В США постепенно перебирались друзья Георгия Петровича из Франции. В Нью-Йорке они группировались вокруг «Нового Журнала», где часто происходили их встречи. Знакомство, возникшее на пароходе «Nevermore» с художником Федором Рожанковским, продолжилось и в Нью-Йорке. Художник еще во время продолжительного морского путешествия поразил его тем, что, читая книгу, он вдруг начинал рисовать прямо на ее листах. Федотов познакомил Рожанковского со своей семьей, и Федор Степанович начал ухаживать за Ниной. Позднее их дочь Татьяна вспоминала:

«На самом деле он был неунывающим, полным света и юмора человеком. Со стороны могло показаться, что всё ему дается легко. Однако это не так. Он много работал. Рисование было центром его жизни. Трудно сказать, что ему более удавалось. Он был превосходным художником-анималистом. Звери у него не просто живые, но очень похожи на людей. Мама часто его упрекала, что он ребячески относится к своей дочке, что он опускается на детский уровень. На что папа отвечал, что должен ‘оставаться ребенком’, чтоб иллюстрировать книги для детей. И часто показывал свои работы мне, чтобы услышать мое мнение. Он любил путешествовать, у него было много друзей, причем не только художников. Дружил с Мстиславом Добужинским, которого высоко ценил и даже называл в письмах ‘учителем’. Огромная работоспособность и талант позволяли ему жить на широкую ногу, что было необычно для русской эмиграции. При этом всегда стремился помочь другим. С огромной теплотой о нем вспоминает художник Алексей Оболенский, которого он пристрастил к собиранию ‘габрияков’ – обточенных морскими волнами кусков дерева. Он сам в Фавьере мастерил из них подобия морских чудовищ или рыб. Из корня дерева сделал великолепный подсвечник, который до сих пор хранится в нашем доме»³⁴.

Знакомство переросло в дружбу. Поэтому Федотов ничего не имел против, когда Рожанковский сделал предложение Нине:

«В 1946 году он сделал предложение моей маме, Нине Федотовой, и в этом же году они поженились. Брак был счастливым. Дедушку я мало помню, а вот бабушка часто приезжала к нам погостить. В 1960 году мы переехали в Париж и прожили там пять лет. Единственные ‘театральные’ декорации и костюмы в Париже в 60-е годы он сделал для балетной школы Нины Тихоновой, у которой я занималась. Но продолжал много работать как иллюстратор для американских издательств. У него появился дом в Фавьере. Даже после того, как мы вернулись в США, отец часто проводил время в Европе.

Его друг, художник Фриц Эйхенберг, отметил весьма важную черту творчества отца: ‘У Рожанковского – искусство, а не искусственность. Художник обращается к ребенку не свысока, снижаясь до его уровня, а относится к нему, как к равному, по-товарищески – и дети чувствуют и любят его. В его искусстве не надуманная “детскость”, а детское понимание их маленького мира. Искусство Рожанковского универсально, и он сам принадлежит всему миру. Художник чувствует себя дома всюду, где, окруженные деревьями, в своем зеленом мирке живут белки и лисицы, совы и ящерицы, всюду, где играют и поют дети, где среди полей пшеницы растут цветы, где волны взбегают на прибрежный песок, оставляя на память обломки дерева и раковины’.» (Там же).

Судьба Рожанковского была во многом типичной для русских эмигрантов. Но испытания не сломили, а, наоборот, закалили его, шлифуя его талант. Его дочь, Татьяна Рожанковская-Коли, вспоминала:

«Отец родился в 1891 году в городе Митава (сегодняшняя Елгава на территории Латвии). Город известен тем, что там до сих сохранился путевой

дворец императрицы Екатерины II. Его отец работал учителем. Семья была большой – пятеро детей. Вскоре после рождения Федора семья перебралась в Ревель, нынешний Таллинн, столицу Эстонии, куда отец получил назначение директором Ревельской Александровской гимназии. После неожиданной смерти отца, когда Федору исполнилось лишь пять лет, семья перебралась в Петербург, но прожили там недолго – всего четыре года. В десять лет он впервые предпринял серьезное издание – проиллюстрировал для себя ‘Робинзона Крузо’. В Петербурге семья прожила недолго, затем снова вернулись в Ревель, где Федор завершил гимназическое образование в той же Александровской гимназии. Много времени проводил в лесу и на берегу моря. Природа была его первым учителем рисования. Еще в детстве он начал собирать камешки и бабочек. В 1911 году уехал в Москву и поступил на трехмесячные подготовительные курсы, готовясь к поступлению в Училище живописи и ваяния. В 19 лет он твердо был уверен, что хочет стать художником. Однако на вступительных экзаменах провалился. Но рук не опустил – начал учиться в студии известного художника Федора Рерберга. А спустя год вновь пошел на штурм Училища живописи и ваяния. И занял 1-е место в своем классе, состоявшем из 25 студентов, отобранных, в свою очередь, из 300 кандидатов. Из педагогов всегда отмечал Аполлинария Васнецова, который был во главе ландшафтной студии МУЖВЗ, и Константина Коровина. Однако завершить учебу ему не удалось из-за начавшейся войны <...> После краткой учебы ему присвоили офицерский чин и поручили командовать моторизованной частью*. Он был дважды ранен. Один раз после разрыва снаряда был полностью засыпан землей. Его спас денщик – Иван Дубина, русский богатырь, извлек буквально из-под земли. Но и на фронте отец не оставлял рисования. Он посылал свои рисунки в столичные журналы, которые охотно их публиковали. Думаю, что отец был прирожденным художником – он работал в любых условиях... Окончание войны застало его в Полтаве. В Полтаву он поехал к старшей сестре Александре. У ее мужа Папчинского было там имение – они с детьми уехали из Петербурга, когда в столице начались беспорядки. Папчинский был членом Государственной Думы. В Полтаве отец год, с 1918-го по 1919-й, работал художником при Полтавском Земстве: иллюстрировал новый перевод литературной антологии для местных школ и проиллюстрировал новое украинское издание романа Флобера ‘Саламбо’. Вскоре вступил в ряды Белой армии. Но это был уже 1920 год – закат Белого движения. После поражения белых отец недолгое время жил во Львове, который находился тогда на территории Польши. На несколько месяцев в начале 20-х годов приезжал к друзьям в Берлин. Вероятней всего, поехал навестить друзей – русских эмигрантов в Берлине. А может, ознакомиться с возможностями работы там для художника. Затем перебрался в Познань. Там он работал как сценограф и театральный художник, рисовал политические карикатуры для журналов, обложки для книг. Но не только. Там он проиллюстрировал одну из книг детской классики – ‘Маленького лорда Фаунтлероя’ и вновь ‘Робинзона Крузо’, но уже по заказу издательства. Создал обложки для серии путеводителей по польским провинциям – ему был дан заказ на 9 акварелей из 18-томной серии. Кстати, в Польше до сих пор помнят Рожанковского как автора 30 акварелей исторических достопримечательных мест в Польше –

* Рожанковский был призван в действующую армию.

акварели были литографически отпечатаны в виде полноцветных почтовых открыток» (Там же).

Довольно скоро Рожанковский понял, что новые возможности открываются в Париже, и переехал туда:

«В середине 20-х годов он перебрался в Париж и вплоть до 1941 года работал во Франции. Во всю полноту развернулись его таланты – он рисовал для газет и журналов, занимался сценографией, был одним из исполнителей эскизов постановщика Бориса Билинского для немого фильма ‘Казанова’ у Волкова. Именно здесь к нему пришла слава иллюстратора не только детских книг. В течение трех лет, начиная с 1927 года, он получил постоянную работу, став художественным директором (art director) Lecram Press – парижского ателье рекламного искусства, где работали 11 художников-графиков. Ателье специализировалось на дизайне журнальных реклам, афиш, брошюр, каталогов для французских бизнесменов. Для этой работы папа начал пользоваться псевдонимом ‘Рожан’. Известны его иллюстрации к произведениям Вольтера, Дидро и Прево. Здесь он создал серию эротических рисунков. Здесь же в начале 30-х годов, познакомившись с американкой Эстер Аверилл, проиллюстрировал альбом для детей об охотнике Даниэле Буне. Эти иллюстрации принесли ему известность. Александр Бенуа в своей статье ‘Новая детская книжка’ в 1933 году высоко оценил эту работу художника. Аверилл основала в Париже ‘Домино-пресс’. После Буна он проиллюстрировал альбом ‘Путешествия Жака Картье’. Эстер Аверилл и папа планировали книгу о знаменитом конкистадоре Кортесе, папа завершил все иллюстрации, но она так и не была издана в ‘Домино-пресс’. Много лет спустя Аверилл продала иллюстрации американскому издательству Random House, которое издало книгу в 1947 году под названием ‘Кортес конкистадор’. В ‘Домино-пресс’ в Париже вышло еще 3 книги с иллюстрациями отца: ‘Powder (Poudre)’, ‘Flash (Eclair)’ и ‘Tales of Poindi (Les Contes de Poindi)’. Книги, как и ‘Даниэль Бун’, были изданы одновременно на английском и французском. Много отец работал для английских издательств. Рисовал афиши для лондонского транспорта, зоологического сада, железнодорожных компаний» (Там же).

Работоспособность его была велика, он не гнушался никакой работой и был замечен видными издателями уже в Париже:

«В Париже его заметил Поль Фошье, владелец издательства ‘Фламарион’. И поручил ему работу, которая сразу же приобрела мировую известность, над серией ‘Пэр Кастор’. Это были недорогие, прекрасно изданные книги в папочках с литографиями ручной работы. В эту серию вошли лучшие произведения отца – ‘Утка Плуф’, ‘Медведь Буррю’, ‘Зимородок Мартин’, ‘Тюлень Скаф’, ‘Заяц Фру’. Для отца важно было, что его иллюстрации были прекрасно отпечатаны. Полиграфическая культура во Франции была высокой» (Там же).

Поэтому, оказавшись в США, Рожанковский быстро понял, что его талант востребован и здесь. И продолжал плодотворно работать. Его дочь Татьяна вспоминала:

«Назвать его только иллюстратором детских книг было бы ошибкой. Он был многогранным талантливым художником. Мне удалось сохранить большую часть его работ, которые еще ждут своих поклонников. Его рисунки поражают точностью и завершенностью. Портреты воскрешают давно ушедших людей. В нашем доме хранится немало акварелей, которые широкая публика еще не видела, в том числе созданных в то время, когда он воевал на фронтах Первой мировой войны. На протяжении жизни отец часто участвовал в различных художественных выставках. Единственная персональная выставка его работ прошла посмертно в Нью-Йорке в 1973 году в галерее 'Фар'. Рецензент 'Художественного журнала', побывавший на выставке, метко подметил важную черту творчества отца: 'Он вносил изысканность в любую тему, будь то пейзаж, коровы у ручья, кошка, с жадностью заглядывающая в банку с рыбой, или иллюстрация с животными. Он схватывал сущность предмета, мгновенное впечатление определяет дух всей картины. Рожанковский придавал яркое качество всем предметам, которых касался'» (Там же).

Жизнелюбие и неистощимая энергия переполняли Рожанковского. Когда в 1948 году родилась дочь Татьяна, он был вне себя от радости. Она стала моделью для многих его рисунков. Он искренне и глубоко любил ее. Любовь к дочери прочитывается во многих его работах. Его отличала и деловая хватка. Дочь вспоминала:

«Папа проиллюстрировал серию любовных романов французских классиков. Проиллюстрировал 27 детских книг для известного издателя Поля Фоше. Неудивительно, что он еще во Франции заключил выгодный контракт с крупным американским издательством 'Artists & Writers Guild'. Только это дало папе возможность получить визу в Америку. Здесь, в США, папа проиллюстрировал несколько книг для детей. По-английски эти книги называются 'Tall Books' (т.е. 'высокие') из-за удлиненного формата. Считается, что необычный формат отчасти стяжал им популярность. Первая книга, которую отец проиллюстрировал в Америке, это 'The Tall Book of Mother Goose' – она вышла в 1942 году. А позже, в 1944 году, 'The Tall Book of Nursery Tales'. Здесь он проиллюстрировал 'Золотую Библию' и 'Книгу сказок о животных', которые неоднократно переиздавались. Но, в конце концов, разорвал контракт с издательством. Контракт был кабальным: во-первых, агент забирал себе слишком много, а издательство не давало отцу возможности иллюстрировать книги для других издателей. Оплатив долги, отец всё же продолжал делать иллюстрации для этого издательства до самой смерти, но мог свободно работать и с другими издательствами» (Там же).

Не забывая Рожанковский и свою родину. Как только произошло потепление в отношениях между США и СССР, он начал приезжать в Москву и Ленинград:

«Я прекрасно помню, что едва ли не ежегодно, начиная с начала 60-х годов (не так уж важно, но первая поездка была в 1958 году), мы с отцом и матерью приезжали в СССР. Он сумел разыскать уцелевших после сталинских репрессий родственников (сестра Александра и брат Сергей с женой Зиной погибли от голода во время блокады Ленинграда). Как его сестра

Татьяна оказалась в Архангельске, я точно не знаю. Быть может, из-за мужа Бориса Романовского, которого искала. Скорее всего, он был репрессирован. А сестра Татьяна разыскала папу в 1926 году, увидев его подпись под иллюстрацией на обложке парижского эмигрантского журнала 'Иллюстрированная Россия'. С того времени у них переписка не прерывалась до конца жизни. Мы много путешествовали. Конечно, в пределах дозволенного тогда иностранным туристам. Я хорошо помню тогдашний Ленинград, сокровища Эрмитажа и Русского музея, красавицу Москву, 'Золотое кольцо'. Отец сумел привить мне любовь к России, хотя я родилась и выросла в США» (Там же).

Не забывал Рожанковский и Францию, которая так много дала ему:

«В детстве почти каждое лето мы приезжали во Францию. Папа несколько раз в 20-х и 30-х годах бывал летом в Ла Фавьере. А в начале 50-х годов выстроил на побережье Средиземного моря в небольшой деревушке Ла Фавьер дом, который он сам снаружи и изнутри расписал. Туда часто приезжали Гончарова и Ларионов. Там в довоенное время образовалась небольшая русская колония – Наталья Гончарова и Ларионов, Марина Цветаева, Иван Билибин, Саша Черный, Семен Франк. Многие из русских эмигрантов знали об этом местечке и обживали его. Началось паломничество с купеческой семьи Швецовых, баронессы Врангель и математика Когбетлянца. Отец построил дом не на 'русской горке', а чуть подалее от 'русского гетто', чтоб можно было общаться с выбором!» (Там же)

Семья Рожанковских была далека от политических и творческих исканий Федотова. Несмотря на то, что он очень привязался к ним и полюбил внучку, их американский стиль жизни, буржуазные взгляды, стремление к успеху претили ему. В одном из писем жене 28 мая 1948 года Федотов пишет:

«Рожанковский не разрушает, но проматывает свой талант. Бедняга работает не покладая рук над халтурой за доллары, которых им не хватает. Его дурацкие идеи ничуть не изменились, но в Америке сейчас так обозлены против коммунистов, что его позиция становится рискованной. Нина чувствует себя прекрасно, но я не очень часто у них бываю. 1 июня я переезжаю на другую квартиру, через улицу, в помещение русской семинарии. Комната будет поменьше, и соседи будут мешать. Но это вообще только на лето. Мой учебный год почти закончен. Остались только литературные долги, с которыми не могу справиться из-за обычной весенней усталости (или давления)»³⁵.

Федотов искал единомышленников. В том числе и среди парижских учеников, часть которых перебралась в Америку. Но уже два года спустя, в 1950 году, он пишет недавно обретенному другу Зое Микуловской, упоминая внучку Таню:

«Жизнь моя устроена так, что половину дня я провожу у себя, половину у Рожанковских. У себя я пока наслаждаюсь полным оди-

ночеством, т.к. сейчас ни Тимашевых, ни Добужинских, моих будущих сожителей, еще нет. Живет здесь еще русский священник с матушкой, очень старый и добрый, совершенно похожий на Santa Claus. Я люблю его службу; церковь здесь в двух шагах – к сожалению, «карловацкая». У Рожанковских единственное утешение Танюша. Она, действительно, очаровательна, хотя ко мне довольно холодна. Но ее возраст – 2 года – самый неблагоприятный. Страшно шаловлива, но не зла. Смотреть за ней нужно беспрестанно. Нину это очень утомляет и раздражает, так что атмосфера там малоприятная – как, впрочем, во всех почти семьях. Но художник работает не покладая рук и выбирается опять на настоящую дорогу. Его новые вещи (Андрокл и лев) мне очень нравятся. У них теперь большая тяжесть свалилась; продали дом во Флориде. Очень дешево, себе в убыток, но все-таки на руках будут деньги, а не долги. Зимой они уже не поедут во Флориду, а будут устраиваться под Нью-Йорком. Мы с Рожанковским еще ни разу не поссорились и ни разу не говорили о политике. А так он очень милый»³⁶.

В письме от 28 мая 1948 года он признается жене, приоткрывая семейную трагедию: «Как не решил я выкинуть тебя совершенно из своей жизни, как ты заслуживаешь, но теперь, когда свидание приближается, не могу думать о тебе без волнения. Сколько было вместе пережито, в добром товариществе, что никакая семейственность не может всего разрушить. Восстанавливать ее бессмысленно, но забыть, как я забываю парижских приятелей, невозможно». Он был глубоко несчастлив в семейной жизни и в письме от 20 июля 1948 года писал Елене Николаевне:

«Последние дни я думал о тебе с большой жалостью и даже нежностью. Если мы не можем жить вместе, то так трудно, в сущности, невозможно выбросить тебя из моей жизни. Столько пережито вместе, столько перевидано, передумано. Когда-то ты была моим верным товарищем, к которому я, быть может, относился недостаточно бережно, но для тебя я принес и большие жертвы – о которых ты никогда не узнаешь.

Письмо твое совершенно безумно, как все твои письма и твое поведение. Но в нем много правды. Как ты не понимаешь, что гипербола – фигура дурного вкуса, что если ты называешь национализм Корякова ‘гнусным’, а нашу жизнь с тобой звериной, то ты топичь ту правду, которая есть в этих высказываниях. Если все вещи в твоих глазах вырастают в 10, в 100 раз, то ты живешь в нереальном, чудовищном мире, от которого сходишь с ума. Это всё того же порядка, что твои куренье и непрерывное радио (когда-то). Я не имею никакого мнения по вопросам кормления младенцев, но читая

тебя, я соглашаюсь с тобой. Ты, вероятно, была права, но твою правду ты выражаешь такими безумными словами и жестами (я был отчасти свидетель), что никак не могла внушить доверия и Нине. Она, для которой здравый смысл и сдержанность (даже understatement) заменяют всё, как она может смотреть на тебя? Как на помешанную. Но ты не помешанная еще, хотя сознательно сама разрушаешь свой разум. (А его еще много: как я оценил, что ты пишешь о любви – атог – и о старости!)»³⁷

Отношения между супругами осложнились еще и отношением Нины к матери. Об этом Федотов пишет в том же письме:

«Мне страшно больно за тебя, что ты должна подвергаться бесперывным оскорблениям Нины. Ты отдала ей всю жизнь, любила ее звериной любовью (но не только звериной), и вот такой финал! Я тоже сказал себе (после последнего гощения в Palm Beach), что я никогда не буду жить вместе с Ниной (хотя она меня не оскорбляла). В ней крепко сидит гувернантка – как я думаю, от душевной или умственной пустоты. Но ты можешь понять, что не одну Нину должна раздражать твоя рассеянность, неловкость и ‘анархизм’, который ведь выражается в каждом жесте. Ты несешь вокруг себя вихрь разрушения, когда приехала помогать, вносить мир и уют. Подумай, что в Нинином положении (кормящей матери) ей всего нужнее спокойствие и постарайся не ссориться с ней это время. Я бы хотел быть поблизости от тебя, чтобы ты могла отводить душу. Ведь я знаю и цену твои качества (а не одно безумие)»³⁸.

Глава семнадцатая. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Писатель Василий Яновский, также перебранный в США после войны, вспоминал:

«Нам представлялось, что после такого светлого подвига* в паре с Европою что-то неминуемо тронется с места, сдвинется даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Европа опять сольется с Россией. Именно это Федотов желчно отрицал. Он умолял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше исторических границ: иначе конец западной культуре! По мнению Федотова, даже этнический тип русской толпы в больших городах уже изменился, судя по кинорепортажам и снимкам в журналах. Азия изнутри перерождала Россию – пожирала часть Европы... Подобно Черчиллю, но значительно раньше, Федотов утверждал, что Советскую Россию надо держать подальше от Европы, а Европу целиком временно заморозить, иначе все прогнившие части развалятся и не будет больше Европы!

* Имеется в виду победа СССР над нацистской Германией.

Я с ним спорил. Но теперь вынужден признать, что основная его интуиция была правильной. Вообще, всей своей правды о России, о ее истории, Церкви, даже народе Федотов, по-видимому, не решался высказать. Россия должна надолго вернуться в Европу школьницей, младшей сестрою, или ее спеленают, отбросят на Восток, расчленят!»³⁹

После войны резко разошлись пути Федотова с друзьями, оставшимися в Париже. В первую очередь – с Бердяевым, который склонялся к тому, чтобы признать высшую миссию СССР, сыгравшего решающую роль в победе над нацизмом. Федотовское непримиримое отношение к СССР и Сталину вызывало отторжение даже у молодежи, которая любила и ценила его. Когда парижская молодежь – В. Яновский, Е. Извольская, И. Манциарли и А. Лурье – начала издавать в США журнал «экуменического и пореволюционного толка» «Третий час», в нем не нашлось места для работ Федотова. Молодым казалось, что отказывать СССР в несомненных добродетелях, приобретенных за время Второй мировой войны, – проявление слепоты. Яновский вспоминал, как огорченный Федотов говорил издателям «Третьего часа»: «Теперь между нами настоящих расхождений еще нет. Вы хотите разгрома немцев и торжества сил демократии, того же и я жажду. Наши расхождения начнутся на следующий день после победы»⁴⁰.

Тем временем в США появились друзья, бывшие во многом единомышленниками Федотова, – среди них Георгий Вернадский и Михаил Карпович. В это время оба Георгия, Вернадский и Федотов, работали над книгами по истории Древней Руси, поэтому часто встречались для бесед и обсуждений. В 1943 году вышла книга Вернадского «Древняя Русь», мнение о которой он попросил высказать Федотова. Несмотря на сдержанную оценку Федотова, Вернадский помогал ему не только советами. Возможность более тесного личного общения появилась летом 1945 года, когда Федотов жил у Карповича в его летнем доме в Вермонте. Вернадские снимали «чудный домик» поблизости. Взаимоотношения между ними в это время осложнились из-за различия в оценках вклада СССР в победу над нацистской Германией. Вернадский был увлечен «советским патриотизмом», а Федотов предвидел и опасался распространения режима «сталинокрации» на Восточную Европу. Деликатность супругов Вернадских помогала историкам много общаться. Федотов завершал работу над своей книгой «Русская религиозность». Ему было важно, чтобы книгу прочитали знающие люди, и не только прочитали, но и поправили его не очень хороший английский. «Очень мне не хочется встречаться с Вернадскими сейчас (из-за России), ну да они люди корректные»⁴¹, – писал он жене 27 июня 1945 года, накануне поездки в Вермонт, а через три недели с удовлетворением отмечал: «...с Вернадскими постоянное общение. Они очень ласковы, и о политике не поминают». Наконец, 31 июля 1945 года: «Сам я не знаю, сколько

пробуду в Вермонте. Я здесь работаю, исправляю книгу. Ее читают и Карпович, и Вернадский, и их советы мне очень полезны»⁴².

Начало 1946 года оказалось сложным для Георгия Петровича – источники финансирования иссякли. Контракт с богословской школой в Нью-Йорке не был продлен. Выплаты в Свято-Владимирской семинарии, где он начал преподавать, были нерегулярными и недостаточными. Федотов обратился за стипендией в фонд Гугенхайма и вскоре получил ее. Фонд выделил 3000 долларов, так что Федотов получил возможность начать работу над вторым томом «Русской религиозности». Первый том в 1946 году был опубликован на средства Гуманитарного фонда издательством Гарвардского университета. О том, что книга была принята с интересом, свидетельствует запрос о ее присылке из далекого Шанхая.

Формулируя свое научное кредо, Федотов писал, предваряя свое исследование:

«И всё же я взялся за этот труд в убеждении, что в исторической науке отправной точкой является не анализ, а синтез, некоторого рода предварительное обобщение, пусть хотя бы интуитивное или субъективное. Анализ приходит позднее и служит для проверки и уточнения синтеза. Наука о русской религии еще не достигла аналитической стадии. Более ста лет лучшие специалисты по истории литературы и Церкви занимались изучением источников, накоплением материалов и публикацией превосходных монографий, однако при этом проблемы истории духовной жизни не были даже поставлены. Если же не поставлены вопросы, неоткуда взяться и ответам. Исторические проблемы обнаруживаются только при наличии гипотетичного, но четко го и рождающего вопросы синтеза»⁴³.

Говоря о целях, которые он ставил перед собою, затеяв это фундаментальное и качественно новое исследование, Федотов отмечал:

«Духовная жизнь и этика, хотя и укоренены в традиции, более динамичны, нежели объективные элементы, и это сближает их с религиозным искусством. Степень субъективности различных сфер религиозной жизни определяет их ценность как исторических источников. Расхождение между объективными и субъективными элементами достаточно велико у христианского народа, который верит в догматы, святыни и обряды, воспринятые у чуждой и давно угасшей цивилизации. В таком обществе, как Древняя Русь, не имевшем своего богословия и сохранившем без изменений чин литургии и молитвы, заимствованные из Византии, богословие и литургика практически бесполезны как исторические источники для исследователя русского религиозного сознания. Духовная жизнь, этика, искусство и рели-

гиозно значимые общественные нормы являются поэтому основным предметом наших исследований»⁴⁴.

В «Введении» Федотов писал о поставленных задачах:

«Я намеревался описать субъективную сторону религии, а не объективные ее проявления: то есть установившиеся комплексы догматов, святынь, обрядов, литургики, канонов и т.д. Мой интерес сосредоточен на сознании человека: религиозного человека и его отношении к Богу, миру, собратьям; это отношение не чисто эмоциональное, но также рациональное и волевое, то есть проявление всего человеческого существа. Целостность религиозной личности – тот невидимый источник, из которого берут свое начало и получают значение основные проявления не только религиозной, но и всей культурной жизни. История богословия, литургики и канонов перестает быть просто набором древностей лишь в том случае, когда на нее падает свет, исходящий от религиозного человека или его религиозного сознания. В центре нашего внимания, разумеется, прежде всего ‘духовная жизнь’ в смысле мистико-аскетической жизни и религиозной этики – религиозный опыт и религиозное поведение, по отношению к которым богословие, литургика и каноны могут рассматриваться как внешнее их выражение и форма...»⁴⁵

Подобный подход к проблемам религиозной жизни, церковной истории и богословия до сих еще не развит в жизни Русской Церкви. Существуют глубокие исследования, посвященные различным областям церковной и религиозной жизни, но они напоминают скорее разрозненные фрагменты, собирая которые, смутно догадываешься о существовании цельной прекрасной картины. Обосновывая необходимость нового подхода, Федотов убеждал:

«Вера рассматривается как призыв Бога к человеку, а не как отклик человека на этот призыв. Такая установка подчеркивает объективные, неизменные элементы религии. Гуманистическая сторона религии с легкостью выбрасывается на свалку вместе со всякой психологичностью. Я не отрицаю сверхъестественного, божественного характера христианства как религии Откровения. Однако я полагаю, что реальность христианства начинается с человеческого отклика на даруемую ему Благодать. История христианства – хроника этого отклика; культура христианства – культура этого опыта. История и культура по сути человечны. История духовной жизни – молодая отрасль исторической науки. Она появилась в начале нашего столетия в чрезвычайно благоприятной атмосфере католического модернизма. Аббат Бремон стал первооткрывателем в новой области исследований, выпустив свою монументальную ‘Histoire Littéraire du Sentiment Religieux en France’. Католический модернизм умер или

был задушен; но католическое богословие подхватило его историческое наследие, и в настоящее время как католическими, так и протестантскими учеными плодотворно развивается новое историческое изучение духовности, религиозной мысли и религиозной этики»⁴⁶.

Признавая ценность истории и культуры, Федотов отводил им место в Вечности. Он считал, что подлинные шедевры займут подобающее место в Небесном граде Иерусалиме, о котором пророчески говорит Апокалипсис.

Какова судьба культуры? Найдется ли для нее место в Царствии Божием? «В полноте царствия Божия нет места культуре», – отвечал в 1932 году Федотов. А уже в 1938 году утверждал: «Ничто подлинно ценное в этом мире не пропадает. Культура воскреснет, подобно истлевшему телу, во славу. Тогда все наши фрагментарные достижения, все приблизительные истины, все несовершенные удаchi найдут свое место, сложившись, как камни, в стены вечного Града»⁴⁷. Этому утверждению вторил священник Георгий Флоровский, всегда полемизировавший с Федотовым:

«...Что войдет в вечность (то есть в рай) из истории? Я установил принцип: человеческая личность в полноте ее конкретных данных, и, стало быть, все личные соотношения: дружба, любовь... В этом смысле и культура, так как отпадание культурного облика в человеке его бы обезличило, личность без конкретного культурного облика была бы только обломком человека»⁴⁸.

Трудно не согласиться с этими утверждениями. Культура, формируя личность, становится ее частью. Более того, всё, что создано личностью, если, по словам апостола Павла, пройдет испытание огнем (I Кор. 3, 13–15), становится частью Царствия Божия, которое с момента пришествия Мессии стало Богочеловеческим и создается уже здесь, на Земле. Отдавая должное заслугам Федотова, протоиерей Александр Мень отмечал:

«...из русских мыслителей, наряду с Владимиром Соловьевым, Николаем Бердяевым и Сергеем Булгаковым, Федотов больше всего сделал для глубинного осмысления природы культуры. Корень ее они видят в духовности, в вере, в интуитивном постижении Реальности. Всё, что производит культура: религии, искусства, социальные институты, – так или иначе восходит к этому первичному источнику. Если психофизические свойства человека – дар природы, то его духовность – дар, обретенный в запредельных измерениях бытия. Этот дар позволяет человеку прорвать жесткий круг естественного детерминизма и создавать новое, небывшее, идти навстречу космическому единству. Какие бы силы ни тормозили это восхождение, оно будет совершаться вопреки всему, реализуя заложенную в нас тайну.

Творчество, по Федотову, имеет личностный характер. Но личность – не изолированная единица. Она существует в живых взаимосвязях с окружаю-

щими личностями и средой. Так создаются сверхличностные, но индивидуальные облики национальных культур. Принимая их ценность, Федотов стремился увидеть их неповторимые особенности. И в первую очередь эта задача стояла перед ним, когда он изучал истоки русской духовной культуры, стремился найти вселенское в отечественном и одновременно – национальное воплощение вселенского в конкретной истории России»⁴⁹.

Неизвестно, был ли знаком Федотов с трудами католического богослова и культуролога Кристофера Даусона, который, по инициативе протоиерея Георгия Флоровского, в середине 1950-х годов был приглашен преподавать в Гарвард. Но многие интуиции Федотова относительно взаимоотношений культуры и религии, роли религии в развитии национальных культур совпадали со взглядами английского богослова, изложенными еще в конце 1920-х годов. В «Введении» к первому тому «Русской религиозности» Федотов отмечал:

«Означает ли это, что следует отказаться от попытки описания русской религиозности как вымышленной и мифической? Напротив, по религиозным и культурным соображениям я полагаю, что явления русской мысли и русской религиозности вполне реальны. Но чрезвычайно трудно приступить к их научному исследованию, то есть описать их с помощью четких концепций. Всякая коллективная жизнь – это единство многообразия; она проявляется только через отдельные личности, каждая из которых отражает лишь некоторые черты общего бытия. Нельзя исследовать индивидуума как представителя целого; не можем мы просто суммировать противоречивые и порой несовместимые отличительные черты. Единственный путь преодоления этих трудностей заключается в том, чтобы выбрать такие типы, которые репрезентативны для различных духовных групп и которые в их совокупности – если они выбраны надлежащим образом – могут отражать коллективное бытие. Интеллектуальное стремление к единству подталкивает исследователя к уменьшению числа типичных групп до одной целокупности, а это приводит к утрате четкости и точности общей картины. При этом процессе редукции можно дойти до двойственности, но здесь-то и следует остановиться. Только в двойственности может быть уловлена суть реальности со всеми ее противоречиями»⁵⁰.

Впервые этот метод, и весьма удачно, Георгий Петрович применил при написании книги «Святые Древней Руси». За прошедшие со времени ее создания годы расширился его кругозор и существенно увеличился багаж знаний. Обогащенный интеллектуально, умудренный жизненным опытом, Федотов к концу 40-х годов почти завершил работу над двухтомником. Первыми его рецензентами были профессора-историки Михаил Карпович и Георгий Вернадский, а также лингвист Роман Якобсон. Их советы, правка недостаточно совершен-

ного английского помогли Федотову завершить работу над первым томом фундаментального труда, который увидел свет в 1946 году.

Постепенно начала налаживаться жизнь в США. Помимо Union Theological Seminary Георгий Петрович возобновил лекции в Свято-Владимирской семинарии. Он писал Елене Николаевне 24 октября 1947 года:

«В обеих семинариях у меня четыре курса, и ко всем приходится готовиться. А кроме того, social и half-social life. Но жаловаться грех. Живется мне прекрасно, относятся ко мне хорошо и профессора, и студенты. Мои заслуги преувеличивают, но зато стараются запрягать и эксплуатировать, заставляют читать доклады в разных кружках и собраниях. А мне сейчас, дай Бог, со своей работой справиться.

Мне всё еще странно, что я через шесть лет оказался вдруг (во второй раз) в Америке, и мне еще трудно приспособиться. Но, в отличие от тебя, я подхожу к Америке с открытой душой, и она отвечает мне тем же. Правда, это Америка первый сорт. Ни намек на пошлость, даже речь у всех, с самых отдаленных штатов, понятная и чистая, вроде английской. И много идеализма. Юнион – центр экуменического движения, сюда приезжают постоянно профессора и пасторы из Европы (на днях был лютеранский епископ из Берлина), и все студенты живут Европой»⁵¹.

Важным для Федотова было то, что семинария предоставила ему общежитие. «Живу в веселом монастыре среди молодежи обоего пола, – продолжал он в том же письме в Париж. – Масса студентов женатых, есть и с детьми. Два раза в день ‘чапель’*, что мне очень нравится. Но, конечно, всё это милое общество не заглушает чувства одиночества. Только работа помогает забыть».

В 1947 году Федотов познакомился с эмигрантской семьей Микуловских. Он был очарован их дочерью – Зоей⁵². Между ними завязываются непростые отношения. Их переписка – достоверный источник основных событий последних пяти лет жизни Федотова в США. Все значимые события этих лет – преподавательская работа, выступления с публичными лекциями, работа над последней книгой, политическая активность, дружба и противоборство с коллегами и окружением, сложные отношения с женой и приемной дочерью, жизнь и смерть друзей и знакомых, воспоминания о детстве, о значимых лицах из более ранних периодов жизни, чтение любимых книг, упоминание различных последних статей и их интерпретация – в этой переписке отражены. Она – бесценный источник последних лет его жизни.

Зоя Микуловская родилась в 1922 году в семье Иосифа (Осипа)

* Федотов упоминает общую молитву в часовне.

Микуловского и Елены Раковской. Осип был участником Белого движения, а после Гражданской войны эмигрировал в Польшу, семья жила в Бресте-над-Бугом – так в период, когда город находился под властью Польши после окончания Первой мировой войны, назывался Брест-Литовский. Здесь у Микуловских родились и росли две дочери, Зоя и Валерия (обе стали профессорами-славистами в США). Обе успешно учились в Русской гимназии, оставившей заметный след в истории Бреста. В ней ученики не только получали образование – издавался свой журнал, ставились театральные постановки, был создан духовой оркестр, хор, оркестр мандолинистов, кипела спортивная жизнь. Гимназисты переписывались с Федором Шаляпиным, который даже прислал им свой фотопортрет.

По приглашению гимназического руководства в Брест приезжала Елена Ивановна Казимирчак-Полонская, астроном и философ, духовная дочь и исследовательница творчества протоиерея Сергия Булгакова. Выпускник гимназии Митрофан Зноско, в будущем православный епископ, рассказывал в мемуарах:

«В 1928 году приветствовали мы в нашей Гимназии прибывшую представительницу РСХД (Русского Студенческого Христианского движения) Елену Ивановну Полонскую. Очаровательный человек и блестящий докладчик, Елена Ивановна выступила перед преподавателями гимназии-школы и русской общественностью с докладом о Достоевском. Доклад слушали и ученики двух последних классов Гимназии, с которыми провела она несколько бесед. В результате этих встреч возник в стенах Гимназии религиозно-философский кружок, и я был избран его руководителем»⁵³.

В 1940–1941 годах Зоя Микуловская училась во Львовском университете, но война между Германией и СССР прервала занятия. Вместе с семьей в период фашистской оккупации жила в Бресте. Это были страшные годы, когда семья подвергалась опасности как со стороны нацистов, так и со стороны советских войск. Требовалась немалая выдержка главы семьи, чтобы найти верный путь. Иосиф Микуловский прекрасно понимал, что в СССР его ждет концлагерь. Поэтому семья перебралась на Запад. Нелегко приходилось и девушкам в условиях ожесточения и военной разрухи. Трудно представить, что пришлось пережить сестрам – кочевая жизнь, голод, постоянные угрозы, паспортные проверки. Зоя продолжала обучение сначала в Западной Германии, а затем семье удалось – как польским эмигрантам – перебраться в Англию. Зоя подрабатывала литературоведением и переводами. После окончания войны Микуловские перебрались в США, где и произошло знакомство с Федотовым.

Личная жизнь Микуловской-Юрьевой сложилась удачно (как предсказал в одном из последних писем Г.П. Федотов). Вскоре после смерти Федотова она вышла замуж за русского эмигранта, врача

Юрьева, умного, интеллигентного, доброго человека, в браке с которым была счастлива. У них родилось дети: Георгий и Михаил. Она стала профессором славистики, воспитала многих известных американских ученых. Признание получило и ее поэтическое творчество (она известна как переводчица русской и польской поэзии). Большинство ее учеников и знакомых вспоминали прежде всего ее личные качества: доброту, дух служения русской культуре, неиссякаемую энергию, тонкий вкус в оценке мировой литературы и искусства, готовность оказать помощь, умение вдохновить и ободрить чужого человека. Известны ее гостеприимство, кулинарное искусство, а также знаменитый «русский салон», устроенный Зоей Осиповной в своем доме во Флашинге, где перебивали сотни эмигрантов различных национальностей. Последние годы она страдала болезнью Паркинсона и, к сожалению, многие творческие начинания не смогла завершить.

К незавершенным замыслам относятся воспоминания о Федотове. В ее архиве сохранились лишь разрозненные страницы этих воспоминаний, а также текст выступления на вечере памяти Федотова, проведенном в Нью-Йорке русской эмиграцией, вероятно, к 10-летию юбилею со дня смерти. Говоря о стиле своих работ, Федотов сказал однажды Зое, «что стиль его был определен стилем блаженного Иеронима». Интересен также ее конспект выступлений других участников вечера: Ю.П. Иваска и о. Александра Шмемана.

Основной частью рукописного наследия Г.П. Федотова, сохранившейся в ее архиве, являются 142 письма Федотова к ней, написанные за период с января 1947-го по август 1951 года, и среди них – последнее письмо, которое он написал 29 августа 1951 года, за 3 дня до смерти. Сохранены и 95 ответных писем Зои. Содержание почти всех писем Федотова к Микуловской-Юрьевой – интимное. Многие письма сопровождаются не только цветами, но и любовной лирикой. За эти годы он посвятил Зое более 20 стихотворений!

Свои письма и статьи он, по свидетельству Зои, писал набело, и при этом они почти не требовали поправок. «Георгий Петрович писал по-русски почти без поправок (мне не раз приходилось переписывать его рукописи)», – позже вспоминала Микуловская.

Вчитываясь в переписку Федотова, поневоле вспоминаешь тютчевские строки:

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.

Федотов в общении с очаровательной, полной сил и обаяния, жизнерадостной девушкой, но уже вполне зрелым человеком, предпочел эпистолярный жанр. Зое на момент их знакомства было 25 лет,

и она в страшные годы войны полной чашей хлебнула лиха. В письме от 1 марта 1948 года – оно является ключевым, поскольку в нем он попытался объясниться с Зоей, – Федотов признавался:

«Чтобы сказать всё сразу, наши встречи и наши беседы с каждым разом теряют в своей содержательности. Мы давно уже не беседовали серьезно, по душе. И я всё чаще раздражаю Вас или попыткой противоречить Вам, или так, без причины. Вам всё чаще приходится в чем-то просить прощения, когда Вы ни в чем не виноваты. Чем это кончится? Вы отказываетесь сами найти причину, ссылаетесь на что-то в Вас самих, иррациональное, но я много думал и вижу целый ряд причин, которые отчасти в нашей власти. Скажу заранее, что ни одна из них мне не кажется роковой. Если бы когда-нибудь Вы чувствовали ко мне влюбленность, то она могла бы, даже должна была бы кончиться, оставив после себя горький осадок. Но этого не было. А в дружбе Вы верная, я много раз имел случай в этом убеждаться. Моя же любовь не слабеет, скорее напротив. Вот те причины, которые для меня ясны. Во-первых, частота наших встреч. По неравенству наших чувств, то, что для меня является постоянной, неутолимой потребностью – близость к Вам, – не может быть такой же для Вас. И я должен был бы с этим считаться. Тут всецело моя вина...»⁵⁴

В 1948 году жизнь Микуловских постепенно начинает налаживаться. Зое удалось устроить приезд в США родителей и сестры. Несмотря на необходимость постоянно трудиться, Зоя продолжала учебу в колледже. Это отдаляло ее от старшего друга. Видимо, ее пугала не только разница в возрасте, но и чрезмерно открытое выражение Федотовым своих чувств к ней:

«Но есть, мне кажется, и третья причина, более серьезная. Она – в некоторой противоестественности моего отношения к Вам. Моя любовь, или обожание, заставляет меня стоять на коленях. О чем бы я ни говорил с Вами, даже спорил, даже говорил неприятности, я чувствую, что я стою на коленях. Не можете не чувствовать этого и Вы. Но это разрушает ценность той дружбы, которая могла бы существовать между учителем и ученицей. Простите, что я называю себя Вашим учителем. Ради истины я должен сказать это, как только что назвал себя Вашим рабом. Вы для меня не только роза, над которой поет соловей («а роза милая не чувствует, не внемлет»). Я верю, что у меня есть долг по отношению к Вашей душе. Я для себя определяю его так. Тебе дан чудный по природе алмаз. Но он еще не отшлифован. Ты должен ограничить его. Чтобы это было возможно, Вы должны признать мое право на это. О, я много раз слышал от Вас о какой-то пропасти, которая нас разделяет. Пропасти нет, но есть расстояние культуры, может быть, столь же большое, как разница лет нашей

жизни. Университет (особенно американский) сам по себе не даст Вам этой культуры. Не вижу я здесь и той культурной среды, которая некогда была в России и воспитывала людей самым фактом общения. Без ложной скромности, думаю, что лучше меня Вам не найти учителя или проводника. По крайней мере, на первых порах...» (Там же)

В отношениях с Зоей Федотов сознательно избегал какой-либо двусмысленности. Себя он видел воспитателем, хотя и не скрывал влюбленности. Учитывая нагрузку в университете, он предлагает Зое следующую ритм их встреч:

«А сейчас надо прежде всего что-то изменить в характере наших встреч. Встречаться реже, но более содержательно. Вот что я предлагаю Вам. Уделить мне один вечер в неделю (т.е. 2-3 часа, лучше всего за обедом). Фиксировать этот день, как фиксировать часы Ваших лекций, и внутренне приготовиться к нему. Я буду отмечать для себя те мысли, которыми я хочу поделиться с Вами, из того почти непрерывного разговора, который я веду с Вами мысленно. Если же это Вам покажется слишком большой жертвой (боюсь, что покажется, при Вашей перегруженности), то остается героическая мера. 15 марта начинается наш Великий Пост. Я предлагаю не видеться с начала поста до Пасхи, чтобы этим воздержанием купить себе действительный праздник свидания. К тому времени, вероятно, и Ваш студенческий голод будет утолен, и я, может быть, в этой аскезе найду некоторое равновесие. Моя любовь безгрешна, и ей нечего жертвовать даже постом. Но мои отчаяния действительно грешны, и их надо преодолеть. Впрочем, во всем, что я писал, я старался иметь в виду Вас одну, Вашу пользу и сохранение нашей дружбы, которая и для Вас может быть полезна, и для меня бесценна» (Там же).

Ознакомившись с системой преподавания в американских колледжах и университетах, Федотов невысоко ставит их уровень и пытается всеми силами поделиться знаниями с Зоей, которая из-за чрезмерной нагрузки (кроме учебы ей приходилось подрабатывать) вынуждена отказываться от встреч с Федотовым. Он же, как настоящий педагог, указывает ей:

«Нельзя же делать из каждой работы смертную муку. Надо занять такую (более высокую) позицию к жизни, с которой все жизненные дела и делишки займут настоящее место. Позвольте мне еще раз повториться: иерархия ценностей! Не жертвовать подлинно важным, хотя и как будто далеким, ради текущей дребедени. Она, как песок, слепит глаза, обливает душу, убивает жизненные силы. Возьмем хотя бы книги, которые дают Вам в колледже. Я допускаю, что среди массы хлама, рекомендуемого дурами, есть и действительно хорошие

книги, которые могут обогатить Вас, воспитывать Ваш ум. Но для того, чтобы они стали частью Вашей личности (а только это и ценно в культуре), нужно не только проглотить их, а и подумать над ними, поспорить с ними, кое-что записать. Иначе и они обращаются в песок. Впрочем, это Вы и сами знаете. Вывод такой: оставьте себе только такие книги для изучения. А остальные перелистывайте и не очень беспокойтесь об отметках. Конечно, здесь тоже нужна мера, опыт научит, в какой мере следует считаться или не считаться со школой: читать ли половину, три четверти или четверть. Отметки укажут практический предел Вашей свободы. Подумайте и о том, что, помимо научных книг, для Вашей культуры Вы нуждаетесь и в другом: поэзия, музыка, искусство, общение с людьми... Главное, не теряйте мужества, когда Вы вышли на большую дорогу, когда Ваша цель уже близко» (Письмо от 4 марта, 1948).

Кроме Зои и ее семьи, Федотов помогал и опекал семью Ивасков⁵⁵, недавно перебравшихся в США из Европы. К его сожалению, между ними и Зоей возникла непреодолимая антипатия, которая его искренне огорчала. Яновский вспоминал:

«К тому времени из Мюнхена прибыла чета И., которым Федотов усиленно помогал устроиться, и они быстро подружились. Федотов часто выводил И., протезировал ему, возвращался поздно ночью и, видимо, уставал. Объяснялось это, главным образом, жаждой учеников. В России к словам Георгия Петровича прислушивались бы два поколения студентов, что и составляет секрет удачи любого властителя дум. От нас, парижских своих друзей, Федотов такого признания не мог ожидать. Наши отношения, всегда вообще, будь это Бердяев, Шестов или Мережковский, были основаны на обмене: каждый из нас имел свое мнение и норовил его протолкнуть. Получалась здоровая циркуляция, залог живой культуры: give and take*... Одни давали меньше и брали больше, но всё же участвовали в круговой творческой поруке. И. был учеником Федотова, и это должно было утешить профессора на последнем этапе жизни»⁵⁶.

В письме к Елене Николаевне 6 октября 1949 года Федотов писал:

«Не отвечал сразу на твои добрые письма, потому что ждал со дня на день приезда Ивасков, чтобы рассказать тебе о них. Начиная с субботы (сегодня четверг) это было для меня 'неделя об Ивасках'. Я их встречал, снял для них комнату, возил всюду по городу, снабдил деньгами, потому что у них не было ни гроша. Чувствую большую усталость, т[ак] к[ак] теперь для меня даже поездка в метро утомительна, да еще легкая простуда. Но зато имел много приятных часов.

*Давать и брать (англ.)

Прежде всего эгоцентрически; говоря словами Пушкина: 'Зачем на Бога мне роптать, когда...' А потом он на редкость культурный и интересный человек. Теперь он будет в Нью-Йорке моим (скажу нахально, единственным) собеседником.

Оба они худые, щупленькие, страшно голодные, неспособные, кажется, ни к какому труду... природные baby sitters. Но еще полные надежды и веры. Он всё еще восхищается Нью-Йорком (такой эстет!). Его главная ценность, что он всё время живет в мире высоких идей и стихов, и окружающая действительность почти не задевает его. Она совсем другая: восторженная, перечувствительная, переходящая поминутно из одного настроения в другое. Думает о жертвоприношении, чтобы, работая на фабрике за двоих, дать возможность мужу ничего не делать, и в то же время постоянно обижается. В ней много милого, птичьего, детского. Но я думаю, ты не выносишь таких женщин. Меня она до вчерашнего дня обожала, но я уверен, скоро меня возненавидит. А он просто и искренне дорожит общением со мной. Пока она устроена к русской еврейке смотреть за ребенком, а он получил (от меня) переписку и урок. Теперь я уже бросил бегать с ними, они достаточно оперились, и буду получать от них чистое удовольствие».

Христианство для Федотова никогда не было отвлеченной идеей. Он был воцерковленным человеком. На Западе всегда отличали клерикализм от церковности. К сожалению, в русской традиции это разделение отсутствует. Понятие «клерикализм» включает в себя всё негативное, что за века существования накопила христианская Церковь. К клерикалам Федотов всегда относился отрицательно. 30 апреля 1948 года он пишет Зое:

«Надеюсь, что Вы лучше чувствуете себя сегодня. Постарайтесь, прошу Вас, на одну ночь забыть обо всех делах и заботах и думать только о том, что Христос воскрес. И что это значит для всех нас! Пишу Вам потому, что завтра в 12 часов я буду в церкви (у Христа Спасителя⁵⁷) на обедне, а потом поеду за куличом. Во всяком случае, буду дома в 6 часов. А увидимся в церкви. Будем радоваться вместе. До свидания, радость моя, с наступающим праздником»⁵⁸.

Регулярно посещая храм, Федотов часто испытывал высокое религиозное чувство близости к Творцу и ощущал потребность благодарить Его. В одном из писем к Зое он запечатлел благодарственную молитву:

«Но и вчера, в день Благодарения, еще смиренно ожидая этого письма, я повторял, как всегда в этот день, свою молитву – приблизительно так:

Боже, благодарю Тебя за то, что Ты послал мне, так поздно и так

незаслуженно, дружбу Зои; благодарю Тебя за то, что Ты послал мне и новых друзей (Ивасков), которые так любят меня – больше, чем я их могу любить;

благодарю Тебя за то, что кругом я всюду вижу людей, которые любят или уважают меня незаслуженно;

и за то, что я не вижу кругом себя ни одного врага;

благодарю Тебя за то, что Ты дал мне еще при жизни собирать щедрую жатву всего немногого, что мной посеяно;

за то, что Ты спас меня на краю смерти, чтобы дать мне возможность закончить труд моей жизни;

за то, что Ты сохранил во мне способность любоваться Твоим миром и любить красоту везде и во всем...

(Я никогда не кончил бы этой литании, которую всегда ношу в сердце.)

Многое в этой молитве вызвано почти ежедневным общением с Ивасками, кое-что – вечером Литературного Фонда, в среду, где я встретил столько друзей, и старых, и новых. Между прочим, была Ваша мама и сестра. К сожалению, я был посажен за другой стол и мог видеть их только урывками»⁵⁹.

Влюбленность в Зою пробудила в мыслителе поэта. Он был счастлив и поэтому к письмам часто прилагал стихи, выплеснувшиеся из глубин души:

Мне снилось: сквозь дождь и ненастье
Брожу я, паломник седой,
В глухих переулках, где счастье
Когда-то играло со мной.

Напрасны молитвы и слезы,
Мне дома того не найти,
И тщетно я желтую розу
Стараюсь от бури спасти.

Безумца никто не услышит.
Но чую я в смертной тоске,
Что роза согрелась и дышит
В моей кочневшей руке.

Исчезли и город, и зданья,
Не видно ни зги впереди,
А я всё иду на свиданье,
И роза пылает в груди.

Лето 1948 года Федотов проводил в доме профессора Карповича в

Вермонте. В то время в Нью-Йорке стояла невыносимая жара, а в Вермонте было холодно, так что обитателям гостеприимного дома приходилось кутаться в свитера и фуфайки. В конце июля Федотов получил письмо от Елены Николаевны, выбившее его из колеи. В Вермонте он продолжал работу над вторым томом «Русской религиозности». Откликнулся на предложения журналов и писал статьи. Но основная тема этого периода – переписка с Зоей, которая трудилась в душном Нью-Йорке. В это время крепнет поэтический талант Федотова, он создает подлинные шедевры. Естественно, стихи посвящены Зое:

Черный кубок твоих волос
Источает струю
Аравийского нарда и мирры.
Черное пью
Вино с твоих лоз,
Пью забвение жизни и смерти и мира,
Черный кубок твоих волос

Черное солнце твоих волос
Встанет в пышном венце лучей,
И погаснет день,
И опустится ночь страстей
На страду серпов и на ярость кос,
И отбросит алмазную, звездную тень
Черное солнце твоих волос.

Серебро твоих волос
Как осенний полет паутинки,
На «багрянце и золоте» первый мороз,
Первые льдинки
На летеиских водах, уносящих в обитель блаженных
Серебро твоих волос.

В это время Нина, его приемная дочь, была беременна. Федотов всячески стремился оберегать ее. К сожалению, бурный характер Елены Николаевны проявился даже во Флориде:

«...Но на другой же день стало ощущаться накопившееся электричество, смягчаемое всеобщим писанием рождественских поздравлений. Наконец, в сочельник разразилась буря, захватившая, более или менее, всех в свой водоворот. Я должен был бы быть умиротворяющим началом, но, как всегда, поддался общему настроению. Носителем электричества была, конечно, Елена Николаевна, и, как всегда, за мелочами хозяйственных недоразумений лежит основная и серьезная драма: глубокое и справедливое, хотя преувеличенное, недовольство

матери Ниной, ее пассивностью и непониманием своих моральных обязанностей. Деньги утекают на вздор, а близкие друзья в Европе остаются без помощи. Весь сочельник прошел в обидах, и святая ночь пропала. А я так много думал о ней. Был я в церкви – по-Вашему, в костеле, – один. И, вместо молитвы, дремал за бесконечной проповедью. Зато после грозы воздух очистился, и мы живем в мире и согласии. Но сегодня завистливая природа вдруг озлилась. Небо в тучах, холод и ветер, совсем не летний. Море шумит угрожающе, и за ночь я успел простудиться в постели. Теперь мечтаем о возвращении солнца»⁶⁰.

Во Флориде его настигли две вести – печальная и радостная, которыми он поспешил поделиться с Зоей. Нина благополучно разрешилась от бремени и родила дочь Татьяну:

«Я решил сегодня поделиться с Вами грустной вестью, которая отчасти заденет и Вашу жизнь. Вы, может быть, не слышали еще о несчастье с Якобсоном. Его сбил автомобиль и переломил ему обе ноги. Ему придется лежать чуть не полгода, но доктора обещают, что он сможет ходить. Лекций читать в этом семестре, разумеется, не придется. Мне рассказали об этом вечером накануне отъезда, после нашего прощального обеда. Я мог бы сообщить Вам раньше, но всё откладывал. Не хотелось огорчать Вас, но Вам надо уже теперь строить планы на весенний терм. У меня странное чувство, точно я накликал эту беду, предупреждая столько раз о хрупкости его жизни. Теперь, когда беда пришла, я буду утешать Вас и себя, что не всё пропало, что он поправится, что Европа его не сманит и что осенью мы будем слушать его лекции в Колумбии.

Не знаю, в каком он госпитале, а то Вы могли бы навестить его и поговорить и о своих планах на будущее. Моя жизнь не очень печальна. Главное утешение – внучка, которая меня узнает и любит. Она, в самом деле, очень мила и полна жизни – вроде Вас. С Еленой Николаевной не ссоримся. Она очень мрачна, и мне ее бесконечно жаль. Любовь к Танюше нас объединяет. Рожанковский всегда весел, молод и работает с утра до вечера, мне живой укор. Живем мы в огромном аквариуме, с прозрачными стенами и на виду друг у друга. Отсутствие своей норы меня стесняет, я привык к подполью» (Письмо от 29 декабря 1948).

В декабре 1948 года Федотов отправляется во Флориду по приглашению супругов Рожанковских. Его жена, Елена Николаевна, уже была там. В письме к Зое он делится своими впечатлениями после холодного Вермонта:

«...утром, в 9 часов, в Jacksonville, – первый город Флориды – выйдя на станцию, вдруг вдохнул настоящий весенний воздух, уви-

дел пальмы и голубые цветочки в траве. Первое впечатление юга, Вы знаете, опьяняет. Через час было уже тепло, через два жарко. Приехал в совершенно летний, по-нашему, день. Тот же запущенный сад, вернее, джунгли капустных пальм, тот же океан, бушующий вдали, но смиренный у берега за порогом рифа. Но я решился искупаться только на третий день из-за легких остатков простуды. Удовольствие было большое. В личных отношениях первый день был безоблачный. Особенно мила была Танюша, которая стала вдвое больше, совсем осмысленная, живая, всё время в движении, в попытках подняться и сесть – в чем я украдкой помогаю, невзирая на запреты старших дам. За это я получаю нагоняи, но вознагражден прелестной улыбкой» (Письмо от 26 декабря 1948).

Несмотря на крайнюю загруженность по учебе, необходимость подрабатывать, семейные хлопоты, Зоя всегда охотно откликалась на письма Федотова. Она писала ему под Новый, 1948 год:

«Надеюсь Вы навестите нас, разделите нашу радость... Вам, вероятно, странно думать о елках, снеге, как фантастическими кажутся мне пальмы, море, шумящее под луной.

И пальмы тоскуют о елях,
И грозы о снежных метелях...

Все эти дни преследуют меня эти Ваши стихи. Что-то в их ритме напоминает мне шум моря, голос вечности. Сегодня дочитала 'Ultima Thule' Сирина. Задумалась о том же. Так хочется с Вами поговорить, Вас послушать. Как кратко и верно Вы выражаете мысли, 'прямым попаданием' в нужные определения, слова. К Вам неприменимо то, что можно сказать о миллионах других, неумело – порой от небрежности, порой от чрезмерной старательности – обращающихся со словом. А ведь – 'В начале было Слово'... Наверно, это красиво звучит по-гречески. Само 'λόγος' уже так величественно и прекрасно. Однако уже очень поздно...»⁶¹

В письмах Зоя предстает без какого-либо кокетства, волевой, целеустремленной девушкой. В XIX столетии в ходу был эпитет «жовиальный», который прилагался к жизнерадостным, неунывающим людям. Такой в жизни была Зоя Микуловская. Видимо, ее неистощимая энергия, живой ум пленили Федотова. В одном из писем она кается перед старшим другом:

«Дорогой, милый Георгий Петрович!

Не могу не написать Вам нескольких слов, которые, быть может, передадут Вам хоть частицу того, что я сейчас ощущаю! Мне стыдно, что я так огорчила Вас, – Вас, моего любимого и обожаемого Друга. Почему мы делаем больно именно самым близким, самым дорогим? – Не знаю. Есть в душе

какой-то накип, какой-то 'Trotz'* (а Вы говорите, что у меня нету недостатков!..), который велит говорить и делать совсем не то, что хочется, вопреки сердцу, вопреки желаниям. Этот накип всплывает совершенно неожиданно, а уходит неохотно, не сразу, борясь за свое нечистое существование. Простите меня. Или нет – рассердитесь на меня – тогда мне станет легче. Вашего одного взгляда недостойная Зоя»⁶².

Скорее всего, это искреннее раскаяние, неправильности речи – «накип» вместо «накипи» – растапливали сердце Федотова. Тем более, что в семейной жизни ему приходилось весьма нелегко. Особенность народничества – стремление «любить дальних», не замечая ближних, – были в огромной мере присущи Елене Николаевне.

Несмотря на рождение внучки, она, подобно грозовой туче, устраивала громкие скандалы. Редкие периоды затишья сменялись истериками, настоящими семейными бурями, которые вынуждали Федотова сбегать из дома:

«...Вечером произошла ужасная сцена, в которой я был одним из главных действующих лиц. Я убежал из дома и уехал бы немедленно в Нью-Йорк, если бы мой билет не был взят на 5-е января. Охладив свое бешенство в синематографе, я должен был, скрепя сердце, вернуться домой, к новогоднему ужину. По счастью, были гости, двое немецких беженцев, социал-демократы, которые здесь голодают без работы и почти каждый день бывают у нас. Вечер прошел кое-как, т.е. грустно, хотя мои дамы искали примирения. Так был испорчен второй роковой вечер здесь, только бы это не было предзнаменованием на весь год. Примирение пришло само собой, без объяснений, сегодня. Сейчас чувствую себя избитым, но отдыхающим. Половина вины была моей, не делайте себе иллюзий. Может быть, нехорошо разрушать Ваши, на мой счет, иллюзии, но у меня есть большая потребность делиться с Вами всем. Холода нас не оставляют. Два дня мы топим камин (т.е. небо) обломками кораблекрушений. Но солнце сияет над Флоридой (Florida frigida), и моя простуда прошла, назло природе. Тороплюсь домой, теперь уж скоро, к Вашему Тихому Свету»⁶³.

Преклоняясь перед Зоей, говоря ей о своем обожании, Федотов, тем не менее, оставался строгим наставником, напоминая о непреходящих ценностях, о необходимости выстраивать иерархию ценностей:

«Ваша чрезвычайная озабоченность экзаменами (за месяц до них) в этот приезд носила почти болезненный характер. Вы всё еще не научились стоять выше этого, и вот уже два года Ваша работа в высшей школе сводится к выполнению академических требований. – А

* Упрямство (нем.)

культура, а творческая мысль? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что за эти два года Ваших блестящих успехов Ваша культура осталась на той же точке: Варшавской, провинциальной. В последний Ваш приезд мне показалось, что и Ваш русский язык испортился. Признаюсь, что летом и Ваша работа о Пушкине меня разочаровала. О, если бы я мог эти два года беседовать с Вами на более высокие темы и поправлять Ваш русский стиль, вместо того, чтобы 'репетировать' Вас по всем предметам, которые мне известны хуже, чем Вам. Есть какая-то пословица, что нельзя приколачивать гвозди часами.

Без ложной скромности скажу, что Вы могли бы сделать из меня другое употребление, более полезное, в конце концов, даже для Вашей академической карьеры. Например, мои лекции по эстетике могли бы пригодиться для Вашей докторской работы, т.е. в будущем году. Но главное – не то. Нельзя относиться к культуре утилитарно, как к предмету преподавания. Проблемы культуры экзистенциальны. Люди отдают за них свою жизнь, они имеют для нас – гуманистов – религиозное значение. Вопросы научной истины или художественной ценности унижаются, когда делаются предметом зубрежки. Не думайте, что впереди у Вас будет больше свободного времени. Преподаватели в Америке нагружены, как вьючные животные. Сейчас для Вас наиболее благоприятное время всей Вашей жизни. И Вы отдадите его наименее нужному, наименее любимому, именно потому, что это наиболее уязвимое место с т[очки] зрения экзаменов» (Письмо от 13 января 1950).

К этой мысли Федотов в своих письмах к Зое возвращался неоднократно. Он надеялся, что будет услышан. Ее жизнь и деятельность после смерти наставника подтвердили его правоту. Она запомнила его наставления и неустанно претворяла их в жизнь. Она со вниманием прислушивалась к советам старшего друга:

«Одну только вещь я не хочу пропустить в Вашем письме – там, где Вы говорите о 'пробелах Вашей культуры'. Я, помню, и сам не раз выражался таким образом. Но это относится к низшему, условному смыслу культуры как общих требований данного общества к 'культурному' человеку. Это важно для общественного успеха, но не серьезно. И притом так изменчиво. При Пушкине от всякого требовалась греческая мифология, при Белинском немецкая философия и т.д. В мое время – философия + история искусства. Но есть другой, высокий смысл культуры, как ответ (или даже вопрос) на важные вопросы жизни и творчества. Например, что такое искусство? Что такое революция? Отчего гибнут цивилизации и т.д. Эти вопросы мучат нас не как пробелы, которые нужно заполнить, а потому, что без них жизнь теряет часть своего смысла. Не потеряйте, Зоя, благородную способность задавать эти вопросы – бескорыстные и непрактические. Без

них нет науки, а наука вообще есть средство или материал для ответов на них. Не знаю, есть ли у Вас привычка, когда думаете о чем-нибудь серьезном, занести в записную книжку вопросы, на которые хочется получить ответ. А потом когда-нибудь и почитайте, чтобы побеседовать о них с другими умами» (Письмо от 19 января 1950).

Неровные отношения с Еленой Николаевной, которая металась между США и Францией, в конце концов все-таки вошли в колею – она оставалась в Париже, опекая многочисленных подопечных. Рожанковские и Федотов прочно обосновались в США. В одном из писем Федотов пишет Зое:

«И еще, я примирился с Еленой Николаевной (Вы спрашивали меня, что она пишет). Последние месяцы она всё писала о продаже книг и упрекала меня в бездействии. Хотя я послал своих денег ее знакомой, которой эти книги принадлежали, Елена Николаевна послала мне письмо с такими оскорблениями, что я решил не отвечать. Я предчувствовал окончательный разрыв. Но вот пришло от нее письмо дружеское, с критикой на мою статью, которую она только что прочитала. Хотя критика была по обыкновению резкая, но я почувствовал за ней дружеские чувства и ответил хорошим письмом. Словом, всё было ясно и спокойно» (Письмо от 19 августа 1949).

В одном из писем Федотов напоминает Зое, что для него она стала не только Музой, но пробудила в нем отцовские чувства:

«То, что Вы пишете о возможности с моей стороны бросить Вас, так дико, что именно это место меня и наполнило преизбыточным ощущением счастья. Я живу и дышу только Вами. Если жизнь почти всегда имеет для меня бесценную ценность, то лишь потому, что Вы живете на свете и считаете себя моим другом. Милая, бесценная, родная моя девочка.

А теперь напишу Вам в утешение, что мое состояние всё улучшается. Сегодня в первый раз, ходя по улицам, я не чувствовал себя ‘стеклянным лицензиатом’ (Сервантеса), который боится, что разобьется от каждого толчка. Ходил и не чувствовал своего сердца. Впрочем, я не изменил своей осторожности. Хожу как улитка и всё езжу. Сегодня был в первый раз в церкви – правда, в католической, напротив моего дома. Я люблю их мессу, да и не утомляешься несколько. Обедал у Ивасков, но почти всё время лежал у них – не потому, что чувствовал себя плохо, а по новой привычке. Сколько любви и тепла они вносят в мою жизнь. Но всё это я отдал бы даже не за улыбку, а за один серьезный взгляд Ваших глаз»⁶⁴.

Зоя с благодарностью откликалась на письма и наставления

Федотова. Как прилежная ученица, она стремилась прочитать те книги, которые ей рекомендовал наставник, проявляя трогательную заботу о его здоровье:

«...Между прочим, читая Тьянянова ('Архаисты и новаторы' – прекрасная книга), я вдруг подумала, что Пушкин недоступен иностранцам не столько потому, что его трудно перевести, сколько потому, что у него развитое описание, картину заменяет слово, являющееся 'лексическим представителем целого ряда ассоциаций', что в семантике его стиха 'бездна пространства', как сказал Гоголь. Весь этот комплекс ассоциаций доступен только русским, да и то не всем, а ведь в этой совокупности, в этой символической цепи представлений и заключается главная сила стиха. Я знаю, что это не ново, но я это лишь вчера так остро почувствовала и, как всегда, не могу выразить как следует. Косноязычие меня преследует. Но мне кажется, Вы поймете меня.

Как Вы проводите осень? Гуляете по Riverside Drive? Устаете ли от лекций? Ах, если бы Вам можно было вовсе их не читать, а только писать книгу где-нибудь в таком месте, как, например, Castle Hill в Ipswich, о котором я Вам писала... Или даже в Си-Клиффе. Столько есть в Америке прекрасных мест, домов, которые стоят совершенно пустые, видов, которыми никто не наслаждается, парков и лесов, в которых никто не гуляет. Вечный вопрос распределения. Однако постарайтесь, дорогой Георгий Петрович, 'to make best out of everything' даже в существующей обстановке. Поберегите себя. Никто и ничто не может Вам так помочь, как Вы сами и Ваша забота о своем здоровье, которого Вы никогда не щадили. Право, это не грех хоть немножко теперь о себе подумать, отложив на время всякие другие попечения»⁶⁵.

Небольшую, но благодарную аудиторию Георгий Петрович обрел в США, когда Георгием Новицким, председателем американского Общества друзей русской культуры, были затеяны публичные лекции при Обществе друзей Богословского института в Париже. Изредка его статьи публиковались в «Новом Журнале», а также в эсеровском журнале «За свободу». В этот период он любил цитировать стихотворение поэта и участника творческого объединения «Круг» Алексея Эйснера, героя Гражданской войны в Испании, который накануне Второй мировой войны вернулся в СССР, был осужден на восемь лет лагерей, а затем на бессрочную ссылку в Карагандинской области, и был освобожден лишь в 1956 году:

Надвигается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части.
Человек начинается с горя. А ты
Простодушно хранишь мотыльковое счастье.

Человек начинается с горя. Смотри:
Задыхаются в нем парниковые розы.
А с далеких путей в ожиданьи зари
О разлуке ревут по ночам паровозы...

...Вот и всё. Только темные слухи про рай...
Равнодушно шумит Средиземное море.
Потемнело. Ну что ж. Уплывай. Умирай.
Человек начинается с горя.

Последние годы жизни Федотова были омрачены не только приступами гипертонии, из-за которой он должен был соблюдать строжайшую диету и подолгу находиться в постели, но и конфликтами со священником Георгием Флоровским, который с 1949 года исполнял обязанности декана Свято-Владимирской академии. В одном из писем он сообщает Зое об очередном заседании в Свято-Владимирской академии:

«Я теперь так берегу себя, что, боюсь, скоро совершенно постигну науку подлости. На днях я должен был присутствовать на заседании Педагогического Совета и сумел окутать себя такой ватой, точно смотрел с другой планеты. И хотя Флоровский устраивал истерики и убегал с заседания, я умудрился не быть даже взволнованным. Публичные лекции я пока отменил, но с понедельника начинаются курсы в Академии. С ними надеюсь справиться»⁶⁶.

Об этих столкновениях упоминает в своих мемуарах и Василий Яновский. Характер у отца Георгия Флоровского был тяжелый, и вряд ли он помнил, что в США был вызван по рекомендации Федотова.

«По болезни Георгий Петрович часто пропускал занятия в институте богословия*. Его непосредственный начальник о. Флоровский, единственный современный крупный русский теолог, вышедший из среды иереев, а не бывший 'интеллигент, писатель, общественный деятель', человек желчный и обиженный 'разными Бердяевыми', почему-то не доверял болезни Федотова, во всяком случае, не проявлял особой нежности и грозился его исключить. На этой почве между ними даже возникали распри, ничего общего с патристикой не имеющие. Так что когда о. Флоровскому пришлось отпевать Георгия Петровича, то некоторые восприняли это как временное торжество врага. Первые приступы болезни сердца Федотов ощутил еще в Париже, накануне Второй мировой войны. Это было заболевание коронарных сосудов сердца, которое в конце концов свело его в могилу. Первый серьезный приступ он перенес в январе 1950 года, но образ жизни менять не стал. Лето 1951 года он проводил в американской провинции, в Бэконе. Когда он почувствовал ухудшение, то сам пришел в местную больницу. Жене писал: 'Благодаря Синему Кресту** здесь почти бесплатно, и уютно, и чисто, и тихо...'

– Под вечер, – рассказывала медсестра, – он сидел на диване в общей гостиной, с книгой и обязательной чашкой чая.

* Так оригинально Яновский называет Свято-Владимирскую академию.

** The Blue Cross – организация медицинского страхования в США.

Это был некий чудесный и сложный акт в жизни Федотова: чай и книга – нераздельные. Сестра в последний раз видела его именно за этим занятием: пил глазами и губами, изогнувшись в халате. Когда она спустя пять минут вернулась в залу, Георгий Петрович был уже мертв. Осталось перевезти тело в Нью-Йорк и похоронить. Этим занялся один из новых друзей Федотова, Зубов, не знавший основных фактов биографии Георгия Петровича. Комнатка, где ютился профессор, при теологическом институте* оказалась запертою, а ключ застрял где-то в вещах покойного, между тем похоронное бюро настаивало на том, чтобы усопший был облачен в черную пару (как говорится, dignified**), и местный друг Федотова, ничтоже сумняшеся, купил в магазине готового платья новенький темный костюм для покойного. По американскому обычаю ему подкрасили щеки и губы, в гробу, посредине собора (на Ист Второй улице), Федотов полулежал, как-то неосновательно, почти порхал. Я знал, что за последнюю четверть века Георгий Петрович ни разу не обзавелся новым платьем по мерке. И было больно смотреть на этот добротный пиджак, в котором его собирались хоронить»⁶⁷.

Он был погребен на русском участке городского кладбища города Клифтон в штате Нью-Джерси (East Ridgelawn Cemetery, Russian Orthodox Section, могила № 6). На могиле была установлена гранитная плита с краткой надписью: «Георгий Петрович Федотов (1886–1951)». Могила сохранилась до наших дней, но плита почти ушла под землю, хотя надпись еще можно прочитать.

ЭПИЛОГ

Второй том «Русской религиозности» не был завершен мыслителем. Отдавая должное его трудам и понимая их значение, профессор-протоиерей Иоанн Мейендорф, преподаватель, а затем и декан Свято-Владимирской семинарии, предпринял непростой труд. В 1965 году увидел свет второй том «Русской религиозности». В предисловии он отмечал особенности подхода Федотова:

«В своем понимании религиозной истории России и в поисках, прежде всего, ‘человеческого отклика на Благодать’, Федотов опирался на фундаментальное убеждение православных христиан в том, что Бог продолжает действовать в истории, а человек является Его ‘соработником’, что с того момента, как Слово стало плотью, десница Божия принимает участие в истории через тех людей, которые свободно и ответственно откликаются на дар искупления. Отсюда особая роль в православном благочестии и вообще в религии святых – тех, кого Церковь почитает как людей, откликнувшихся на Божий призыв и реализовавших сверхъестественные возможности, дарованные им Богом. Именно этим личностям Федотов уделил особое внимание в первой книге этой серии – ‘Святые Древней Руси: X–XVII века’ и в краткой монографии о святом Филиппе, митрополите Московском, жертве жесточайшего подавления оппозиции царем Иоанном IV в XVI веке»⁶⁸.

* Имеется в виду Свято-Владимирская академия.

** Облагорожен (англ.)

Иоанн Мейендорф посвятил Федотову проникновенные строки, которые объясняют, почему он взялся после смерти мыслителя за столь нелегкий и неблагодарный труд:

«В этих двух исследованиях, так же как и в серии статей, публиковавшихся в эмигрантских русских журналах, Федотов проторил путь литературному и научному жанру, который в современной русской религиозной литературе представлен удивительно бедно. Этот жанр – агиография, понимаемая не как переписки средневековых житий святых, где переплелись история и легенды, и не как рационалистическая ‘демифологизация’, а как подлинное изображение людей Божиих, предстоящих пред своим Владыкой и своими ближними во всей целостности религиозной и исторической индивидуальности. Усилия Федотова увенчались успехом – он сумел сочетать отличное историческое образование, полученное им в Санкт-Петербургском университете, со способностью интерпретировать первоисточники и исключительной пронизательностью к проблемам религиозной жизни и человеческой жизни вообще. В своих научных трудах Федотов всегда оставался ‘гуманистом’, любящим людей, или попросту – настоящим христианином» (*Федотов*, Собр. соч. Т.11, 6).

Это не означает, что отец Иоанн во всем был согласен с выводами Федотова. Будучи прекрасным специалистом по истории Византии и оригинальным богословом, он отмечал недостатки второго тома «Русской религиозности»:

«Во втором томе ‘Русской религиозности’ показано развитие московской идеологии в России и приводятся свидетельства ее постепенного торжества над остатками киевской культуры. Речь идет о монгольском владычестве на Руси, об имперской централизации государства, о подавлении Новгородской республики, о победе иосифлянской партии над ‘нестяжателями’ и окончательной трагедии русской духовности. Конечно, многие не согласятся с некоторыми выводами автора. Я не думаю, например, что оценка Федотовым Византии вполне верна; не Москва, а Киев был истинным наследником византизма, который никак не может быть приравнен к восточному тоталитарному деспотизму и многие из духовных традиций которого, отчасти унаследованные Русью, были, по утверждению Федотова, впоследствии ею утрачены. Но историческое полотно духовного мира русского средневековья, начертанное автором, является наиболее глубоким и удачным из всех попыток подобного рода» (Там же. Т. 11, 7-8).

Мейендорф внимательно следил за развитием исторической науки в СССР, неоднократно принимал участие в различных научных конференциях, проходивших в Ленинграде, Киеве и Тбилиси. Он прекрасно понимал те искажения, которые были неизбежны в трудах советских историков, работавших под надзором советской цензуры. В предисловии ко второму тому он писал:

«Мы отсылаем читателя этого тома к нескольким кратким примечаниям о главных достижениях советской науки последних лет в областях, которых

касался Федотов во время написания этих глав десятков лет тому назад. Таким образом, читатель сможет сам продолжить, если пожелает, изучение затронутых вопросов. Однако очевидно, что подход Федотова настолько шире подхода современных советских историков, что его взгляды и до наших дней остаются оригинальными и представляют огромную ценность, даже если принять во внимание достижения современной науки. С исторической точки зрения, масштаб исследований Федотова настолько велик, что они охватывают материалы, которые в других исследованиях остаются нерассмотренными. Его исследование 'Измарагда', например, является исключительно оригинальным. Поэтому публикация настоящей книги, даже в менее полной форме, чем она задумывалась автором, является вкладом в современные знания о России, о самобытных чертах русского христианства и вообще о христианской вере» (Там же. Т. 11, 8-9).

Как и подобает настоящему ученому, Мейендорф не дописывал исследование Федотова, опираясь на оставленные им планы книги. В то же время он с сожалением отмечает лакуны:

«Три из задуманных глав, а именно 'Демократические города', 'Москва' и, что печальнее всего, 'Заключение', не были написаны вовсе. Главы вторая и третья были объединены в большой раздел под названием 'Христианская этика мирян'; глава 'Князья', получившая в данном томе название 'Феодальный мир', обрывается на середине. Очевидно, что заполнить все оставшиеся пробелы глубокого труда Федотова – вне нашей компетенции. Мы осмелились кое-что предпринять, используя только перо самого Федотова, дав английский перевод некоторых из его более ранних работ, соответствующих недостающим главам. Мы вполне сознаем тот факт, что литературная целостность книги страдает от такого метода, но нашей главной заботой было показать мысль автора и его общую историческую точку зрения. Последняя, действительно, вовсе не была бы ясна, если бы не было главы, посвященной 'демократическим городам' Новгороду и Пскову, которые автор справедливо считает последними прямыми наследниками в средневековой Руси древней киевской христианской цивилизации. Поэтому мы включили в качестве пятой главы настоящей книги перевод статьи 'Республика св. Софии', опубликованной за несколько месяцев до смерти Федотова. Очевидно, что эта статья написана для широкой публики и не соответствует общему научному уровню остальной части книги, но она дает представление о том, что Федотов думал о Новгороде, и о том, какой могла бы быть законченная глава на эту тему». (Там же. Т. 11, 9-10).

Эти строки отец Иоанн писал 7 июня 1965 года, предвзяв издание второго тома. Лишь спустя сорок лет труд Федотова «Русская религиозность» пришел к российскому читателю. Важно помнить слова отца Иоанна:

«И все-таки, сколь бы неполным ни выглядел этот том, представляющий собой, скорее, сборник независимых исследований по смежным темам, чем обобщающий труд, – работа Федотова, мы уверены, будет с радостью

встречена всеми теми, кто интересуется современным социальным и религиозным развитием в России, русским прошлым и вообще Православием. Чудесное выживание Православной Церкви в Советской России, ее отношение к государству в прошлом и настоящем, ее особая роль в экуменическом движении, ее самобытная духовность и этос русских христиан, стоящих перед лицом современного мира, могут быть объяснены только в свете исторического прошлого. Насколько я знаю, никто, кроме профессора Федотова, никогда не предпринимал попытки изучать русскую историю на основании оригинальных источников, имея в виду все эти вопросы» (Там же. Т. 11, 10-11).

Первый том собрания сочинений Георгия Петровича Федотова вышел в 1996 году, когда России следовало бы отмечать 110-летие со дня рождения выдающегося русского мыслителя. Настоящее прочтение его наследия еще впереди – Россия не раз будет обращаться к его книгам и статьям⁶⁹. В 1950 году, за год до смерти, Федотов опубликовал в нью-йоркском журнале «Народная правда» статью «Республика Святой Софии». Эта работа – своеобразное завещание Федотова сегодняшней России.

«История судила победу другой традиции в русской Церкви и государстве. Москва стала преемницей одновременно и Византии, и Золотой Орды, и самодержавие царей – не только политическим фактом, но и религиозной доктриной, для многих почти догматом. Но когда история покончила с этим фактом, пора вспомнить о существовании иного крупного факта и иной доктрины в том же самом русском православии. В этой традиции могут почерпнуть свое вдохновение православные сторонники демократической России... Всякая теократия таит в себе опасность насилия над совестью меньшинства. Раздельное, хоть и дружеское сосуществование Церкви и государства является лучшим решением для сегодняшнего дня. Но, оглядываясь в прошлое, нельзя не признать, что в пределах восточно-православного мира Новгород нашел лучшее разрешение вечно волнующего вопроса об отношениях между Церковью и государством»⁷⁰.

В своем докладе на конференции 2011 года профессор Жорж Нива, проследившая тесную связь первой книги Федотова об Абеляре с его последующими трудами, выделил особую роль мыслителя:

«Такая преамбула к творчеству Федотова выделяет его. И дает ему возможность по-новому осветить русскую святость и русскую историю. Увидеть парадоксы и страшные бои внутри Русской Церкви – стяжатели против нестяжателей – с полным разумением каждой стороны, не уменьшая роль побежденных. Или парадоксы мысли Пушкина, певца вольности и империи. Федотов различал свободу для государства (Афины) и свободу для каждого человека. «Наша свобода – социальная и личная одновременно».

Надо сказать, что в русской мысли редко встречается такое уравновешенное, мудрое в христианском и в гражданском смысле понимание челове-

ка в обществе и общества в человеке. Замечательно, что утверждая, что ‘свобода зарождается в средневековье и достигает своего полного развития в XIX веке’, Федотов приводит английскую Великую хартию и английское понятие ‘*Nabeas corpus*’ как первые ростки свободы.

Федотов видит в двоевластии (Церковь–империя) и в двоеподданстве (республика небесная – республика земная, как это блистательно определено в знаменитом анонимном ‘Послании к Диогнету’) залог настоящей свободы, христианской свободы. ‘Церковь брала себе душу, королевство тело’. Федотов видит зарождение свободы в современном, демократическом смысле этого понятия в феодализме, в отношении вассала к сюзерену, то есть в ограничении власти сюзерена. В современных обществах весь народ унаследовал права баронов, взбунтовавшихся за Magna Charta (Великую хартию).

В итоге Федотов видит два необходимых начала для осуществления свободы: плюрализм власти и абсолютный характер норм (религиозных норм). Это в русской историософии весьма редкий и оригинальный подход. Также оригинальна его хронология русской истории: Москва как ‘двухвековой эпизод русской истории, окончившийся с Петром’, с точки зрения культуры и политики, но продолжившийся еще до 1861 года для народа, купечества и духовенства.

Смелость этих взглядов, их независимость от общей шаблонной философии русской государственности и от навязчивой ‘мегаломании’, до сих пор, между прочим, бытующей у немалой части русского общественного мнения, выделяют Федотова как полезного первооткрывателя русской политической мысли и для русской религиозной мысли. Он стоит рядом с Владимиром Соловьевым и с Василием Ключевским. Но его мысль более целостна (и наверно, менее гениальна), чем мысль Соловьева; она более европейская, чем мысль Ключевского. Некоторые аспекты и ключевые понятия западной мысли и западного христианства использованы им и реабилитированы. В эмиграции его роль выделяется особенно... Нет сомнения в пользе Федотова для современной русской мысли»⁷¹.

Профессор Сорбонны Н.А. Струве в своем докладе отмечал:

«Ученик знаменитого Гревса, не оставившего после себя значительного труда, но вдохновившего целый ряд молодых выдающихся ученых, Федотов прежде всего, по образованию, историк-медиевист, а по призванию – агнограф. Самый большой его вклад, кстати, единственные его книги, как на русском, так впоследствии и на английском языке, – обновленное описание русской святости. Замечу сразу, что первые его статьи посвящены не русским, а западным святым, до разделения Церквей, святой Геновефе, покровительнице Парижа, и святому Мартину Турскому... Это красноречиво показывает универсалистическую перспективу Федотова в восприятии христианства...

‘Руководящей нитью’, как он сам пишет, были для него работы католиков-болландистов, чья задача была восстановить подлинную историчность святого. Но примечательно, что, отталкиваясь от них, Федотов выработал противоположный метод. Историчность ему показалась недостаточной, он считал существенным (цитирую его) ‘через легенду прозреть лик святого’. В этом тоже одна из основных черт мыслителя и историка Федотова: избегать односторонности, творчески сочетать в подходе к явлениям ‘да’ и ‘нет’.

Мысль Федотова всегда антиномична, чтобы ближе подойти к сути или точнее выявить лик. Небольшая книга 'Святые древней Руси' имела решающее влияние в историографии русской святости: она не была переведена на французский язык, но те, кто писал о русской святости после нее – православная француженка Елизавета Бер-Сигель или иезуит русского происхождения о. Кологривов, – целиком зависели от книги Федотова (впрочем, и в России покойный В.В. Топоров тоже следовал его методу)»⁷².

Настоящее прочтение наследия Федотова еще впереди – страдающая Россия, попытавшаяся в начале 90-х годов прошлого столетия освободиться от пут коммунистической идеологии, не раз будет обращаться к его книгам и статьям.

Работа над книгой завершена 14 июля 2022 года

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Яновский, В.С. Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 58.
2. Федотова, Е.Н. Георгий Петрович Федотов. В: Федотов, Г.П. *Лицо России: Статьи 1918–1930*. 2-е изд. Paris, 1988. С. XXVIII.
3. Архив автора.
4. Федотова, Е.Н. Георгий Петрович Федотов. Указ. источник. С. XXXII.
5. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Fedotov – correspondence.
6. Федотов, Г.П. Как бороться с фашизмом? / Собр. соч. Т. IX. М., 2004. С. 67.
7. Там же. С. 69.
8. Леги, Шарль Пьер (1873–1914) – французский поэт, богослов, философ, публицист.
9. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Fedotov. Correspondence. Letters of G.P. Fedotov to his wife.
10. Там же. Письмо Е.Н. Федотовой от 10 апреля 1946 года.
11. Там же. Письмо от 14 июня 1946 года.
12. Федотов, Г.П. Ответ Бердяеву / Собр. соч. Т. IX. М., 2004. С. 199. Статья была опубликована в журнале «За свободу», № 17, 1946.
13. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Письмо от 24 июля 1946 года. См. также IX том Собр. соч. Г.П. Федотова (М., 2004), в котором собраны статьи американского периода.
14. Куломзин, Николай. Церковное положение экзархата Патриарха Вселенского в Западной Европе. ВРХД № 197. Париж–Нью-Йорк–Москва, 2010. С. 276.
15. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Письмо к Е.Н. Федотовой от 19-20 августа 1949 года.
16. Письма Г. Флоровского С. Булгакову и С. Тышкевичу. Журнал «Символ». 1993. № 29 / Публикация А.М. Пентковского. С. 205-207.
17. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Fedotov – Correspondence – Letters of G.P. Fedotov to his wife. Письмо от 18 ноября 1941 года.
18. Бердяев, Н.А. Об идейном кризисе Движения (Задачи Движения и

грозящие ему опасности). ВРХД № 168, 1993. С. 56-59. Доклад был прочитан в середине 1930-х годов.

19. Наиболее полно американский период жизни Федотова освещен в работе доктора исторических наук А.В. Антощенко «Г.П. Федотов: в поисках академической карьеры в США» / «Мир историка» (историографический сборник). Издание Омского университета, 2014, № 9. С. 201-223.

20. Письмо Г.П. Федотова к Г.В. Вернадскому от 4 октября 1941 года. / BAR. Ms. Coll. Vernadsky. Box 2. Folder: Fedotov, Georgii Petrovich. New York & n.p., 1943–1946 & n.d. To George Vernadsky.

21. Бахметев Борис Александрович (1880–1951), посол Временного правительства России в США, русский эмигрант, американский ученый в области гидродинамики, политический и общественный деятель, профессор, .

22. Письмо М.М. Карповича к Г.П. Федотову от 7 октября 1941 года. BAR. Ms Coll Karpovich. Box 7. Subject file: Fedotov, Georgii Petrovich.

23. Письмо Г.П. Федотова к М.М. Карповичу от 13 октября 1941 года. BAR. Ms. Coll. Karpovich. Box 1. Folder: Fedotov, Georgii Petrovich (n.p., n.d.) to Michael Karpovich.

24. Письмо Г.П. Федотова к Е.Н. Федотовой от 15 октября 1941 года. BAR. Ms. Coll. Fedotov. Box 2. Folder: Letters of G.P. Fedotov to his wife, 1941–1942.

25. Письмо Г.П. Федотова к М.М. Карповичу от 30 сентября 1942 года. BAR. Ms. Coll. Karpovich. Box 1. Folder: Fedotov, Georgii Petrovich (n.p., n.d.) to Michael Karpovich.

26. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Fedotov – correspondence – Letters of G.P. Fedotov to his wife. Письмо от 7 июля 1946 года. Евгений Ламперт был близким другом Федотовых. Накануне войны он перебрался в Англию, женился на англичанке и защитил диссертацию, по сути компилятивную, научный уровень которой осудили Флоровский и другие.

27. Там же. Письмо от 16 апреля 1946 г., Нью-Йорк.

28. Там же. Письмо от 22 ноября 1946 г., Нью-Йорк.

29. Доклад профессора Г.П. Федотова по вопросу об открытии в Америке Русской Православной Академии. Протоколы 7-го Всеамериканского Церковного Собора, состоявшегося в Свято-Феодосиевском соборе, г. Кливленд, шт. Огайо, с ноября 26-го по 29-го 1946 года. Б. м., б. г. С. 17-19.

30. Зубов Петр Петрович (1893–1964), полковник русской армии, Георгиевский кавалер. После Гражданской войны эмигрировал в Эстонию. С 1931 г. в США. Окончил Колумбийский университет и защитил докторскую диссертацию о Вл. Соловьеве (1943). Один из основателей Свято-Владимирской духовной семинарии в штате Нью-Йорк. Неоднократно избирался делегатом от мирян на Всеамериканские Церковные Соборы.

31. Поль Андерсон (Paul V. Anderson, 1894–1985), американский представитель YMCA. Работал в России от YMCA с 1917-го; был арестован большевиками. После закрытия YMCA в Советской России, с 1920 года по 1924-й жил и работал в Берлине, был директором Russian Correspondence School по помощи и обучению русских эмигрантов; затем становится директором Русских издательских программ YMCA (Russian-language publishing programme). В 1922-м участвует в создании Религиозно-философской академии. В 1924-м вместе с YMCA переезжает в Париж; принимает активное участие в работе Св.-Сергиевского Института. В 1941-м возвращается в США, отхо-

дит от административной работы, но до конца дней сохраняет связь и помогает русским эмигрантам в Америке.

32. Генри Ван Дюсен (Henry Pitney Van Dusen, 1897–1975), экуменистический религиозный и общественный деятель, 11-й президент Union Theological Seminary (1945–1963).

33. H. Van Dusen to G.P. Fedotov, June 5, 1947. The Burke Library Archives (Columbia University Libraries) at Union Theological Seminary, New York. Union Presidential Records. Box 25: Fedotov, Dr. George P.

34. «Федор Рожанковский снова в России». Беседы с Татьяной Рожанковской-Коли. Первая публикация в журнале «Собрание. Искусство и культура». № 1 (55), март 2013. Архив автора.

35. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Fedotov – correspondence – Letters of G.P. Fedotov to his wife. Письмо Федотова жене от 28 мая 1948 года.

36. Письмо Зое Микуловской от 1950 г. Архив автора.

37. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Fedotov. Correspondence. Letters of G.P. Fedotov to his wife. Письмо Федотова жене от 28 мая 1948 г. В письме упоминается Михаил Михайлович Коряков (1911–1977), русский писатель-невозвращенец, литературный критик и журналист, военный корреспондент. Участник Великой Отечественной войны, служил в инженерных войсках, а с конца 1942 г. – военный корреспондент армейской газеты. В 1946 году, работая в Париже в редакции газеты, издаваемой советским полпредством, решил не возвращаться в СССР. С 1950 г. жил в Нью-Йорке, работал на радио «Свобода».

38. Там же. Письмо от 20 июля 1948 года. В одном из писем к Елене Николаевне 1949-го Федотов дает яркую характеристику Нине: «А к Нине ты несправедлива, действительно. Что она не понимает искусства и, вообще, смысла творческой жизни (как не понимает вообще никаких проблем и кризисов духа), это правда. Но ограниченность еще не есть вина. Сейчас она ведет честную трудовую жизнь. Без прислуги, готовит, стирает, поддерживает в чистоте большой дом, смотрит за девочкой, меняет пеленки, кормит, да еще всё время что-то шьет и вяжет. По вечерам даже читает. По-моему, она молодец, и я начал ее уважать. Хотя бы за то, что она не тянет денег с Рож[анковского], и пилит его не [за] нужду, а за неаккуратность за обедом и прочую ерунду. Вина ее, а больше его – в прошлом; они сорили деньгами, и это он соблазнил ее буржуазной жизнью, к которой она вовсе не привыкла».

39. Яновский, В.С. Поля Елисейские. СПб., 1993. С.55-56, 68.

40. Там же. С. 55.

41. Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture. Georgii Petrovich Fedotov Papers. Box 2. Fedotov – correspondence – Letters of G.P. Fedotov to his wife. Письмо Федотова жене от 27 июня 1945 года.

42. Там же. Письмо от 31 июля 1945 г.

43. Федотов, Г.П. Русская религиозность. Собр. соч. Т. X. М., 2011. С. 8.

44. Там же. С. 9-10.

45. В Федотов, Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 17.

46. Федотов, Г.П. Эсхатология и культура. «Новый град». Нью-Йорк, 1952. С. 330.

47. Федотов, Г.П. Русская религиозность. Собр. соч. Т. X. М., 2011. С. 9-10.

48. *Флоровский, Георгий, прот.* Письма к Иваску. «Вестник РХД». № 130. Письмо от 24.II.1972. С. 52.
49. *Мень, Александр, прот.* «Возвращение к истокам» [Предисловие]. В *Федотов, Г.П.* Святые Древней Руси. М., 1990.
50. *Федотов, Г.П.* Русская религиозность. Собр. соч. Т. X. М., 2011. С. 12-13.
51. Письмо Г.П. Федотова к Е.Н. Федотовой от 24 октября 1947 года. VAR. Ms. Coll. Fedotov. Box 2. Folder: Letters of G.P. Fedotov to his wife, 1947.
52. Зоя Осиповна Микуловская (в замужестве: Юрьева, 1922–2000), русская эмигрантка, американская славистка, аспирантка Д.И. Чижевского и Р.О. Якобсона в Гарвардском университете. Защитила в 1956-м под руководством Чижевского докторскую диссертацию об интерпретации творчества Гоголя русскими символистами. Профессор Нью-Йоркского университета (1959–1987), специалист по русской литературе XVIII века и русскому символизму; писала стихи и переводила поэзию, была многолетним научным секретарем, а затем членом редколлегии «Нового Журнала».
53. *Зноско-Боровский, Митрофан, епископ.* Хроника одной жизни: воспоминания, проповеди. Москва, 2006. С. 65.
54. *Федотов, Г.П.* Письмо Зое Микуловской от 1 марта 1948 года. Архив автора. Переписка хранилась в архиве Михаила Юрьева, сына Зои Микуловской-Юрьевой. Первая публикация переписки Георгия Федотова с Зоей Микуловской осуществлена автором в электронном журнале «Философические письма. Русско-европейский диалог». 2018. Том №1. Опубликовано 17 писем Федотова. Архив автора.
55. Иваск Юрий Павлович (1907-1986), русский эмигрант, поэт, критик, американский славист. Родился в Москве, в 1920-м с родителями переехал в Эстонию. Окончил юридический факультет Тартуского университета. В 1944 году иммигрировал в Германию, учился в Гамбургском университете. С 1949-го – в США. Диссертацию защитил в Гарварде. Преподавал в американских университетах, был заведующим кафедрой русской литературы Университета Амхерста. Был редактором ж. «Опытъ» (1955-58). Иваск был составителем антологии поэзии русской эмиграции первой и второй волн – «На Западе» (1953), подготовил к публикации книги Г.Федотова (1952) и В. Розанова (1956). Автор книг стихов и прозы. Жена – Тамара Георгиевна Иваск (урожд. Межак, ? –1982).
56. *Яновский, В.С.* Поля Елисейские. С. 69.
57. Храм Христа Спасителя располагался в Нью-Йорке на 121-й улице и Мэдисон авеню в здании бывшей епископальной церкви, которое было куплено православной общиной русских эмигрантов в 1927 году. В 1948 году он получил статус кафедрального собора.
58. *Федотов, Г.П.* Письмо Зое Микуловской от 1 марта 1948 г. Архив автора.
59. Письмо от 25 ноября 1949 года. Архив автора.
60. Письмо от 26 декабря 1948 г. Федотов в это время гостил у Рожанковских во Флориде. Архив автора.
61. Письмо от 16 февраля 1948 года. Архив автора. Речь в письме идет о рассказе В. Набокова «Ultima Thule», о котором сам Набоков писал следующее: «Первая глава, под названием ‘Ultima Thule’, появилась в печати в 1942 году... Глава вторая, ‘Solus Rex’, вышла ранее...» (*Набоков, Владимир.* Заметки к роману «Незавершенный роман», о последнем недописанном романе на русском языке «Solus Rex»).

62. Письмо Зои Микуловской Георгию Федотову от 28 декабря 1947 г. Архив автора.
63. Федотов Г.П. Зое Микуловской, письмо от 1 января 1949 г.
64. Письмо от 29 января 1950 года. В своей новелле «Лицензиат Видриера» (или «Стекланный лицензиат») Сервантес помещает своего героя у входа в церковь: «Лицензиат увидел, что мимо проходит крестьянин из числа вечно похваляющихся своим 'старинным христианством', а следом за ним идет другой, не имевший столь лестной славы; поглядев на них, лицензиат громко крикнул крестьянину: 'Эй, воскресенье, посторонись: дай место субботе!'»
65. Письмо Зои Микуловской Георгию Федотову от 13 октября 1950 г. Архив автора.
66. Письмо Зое Микуловской от 27 января 1950 года. Архив автора. 3 сентября 1947 г. Федотов писал Флоровскому в Париж: «...П.П. Зубов опять развивает успешную деятельность, добился обещаний от американских кругов и уверен, что с октября можно будет начать половинчатое существование – со Спекторским, Лосским и частью старого состава семинарии. В связи с этим Зубов просил меня запросить Вас, согласны ли Вы будете приехать как visiting professor на год, если план осуществится. Мы слышали, что греки тоже Вас ждут для своей семинарии. Не изменились ли Ваши планы после избрания Вашего на кафедру догматики? Очень прошу ответить мне поскорее. Надо теперь уже рассчитывать, кто будет у нас читать догматическое богословие. Я, повторяю, не уверен в успехе всей схемы. Но если оптимизм Зубова окажется оправданным, и деньги будут в октябре или хотя бы в ноябре (в ноябре приедет и Арсеньев), то можно ли ждать Вас?»
67. *Яновский, В.С.* Поля Елисейские. С. 71-72.
68. *Федотов, Г.П.* Собр. соч. Т. XI. М., 2004. С. 5-6.
69. Со времени выхода первого тома в 1996 г. издано Собрание сочинений Георгия Петровича Федотова в 12 томах. Издание 1-го тома было поддержано организацией «Russian Books for Russia» в США. Фонд «Религиозные книги для России» основала в 1982 году Екатерина Аполлинариевна Львова, после нее в фонде работала Лариса Волохонская, которую после ее смерти сменила Софья Сергеевна Куломзина. Автора этих строк связывали с ней давние дружеские и деловые отношения. Куломзина Софья Сергеевна (1903–2000) родилась в Петербурге. Эмигрировала из России в 1920 г. Училась в Берлинском университете (1922–1924). Окончила Колумбийский университет (1927). Замужем за Никитой Яковлевичем Куломзиным. Сотрудничала с РСХД по работе с детьми. Эмигрировала из Франции в Америку в 1948 году. Основала Комиссию по православному образованию, которая координировала образовательную деятельность среди православных общин различного этнического происхождения. Преподавала педагогику в Свято-Владимирской семинарии в Америке с 1954 года. Редактор журнала «Young Life». Софья Сергеевна, лично знавшая Георгия Петровича Федотова, охотно поддержала издание Собрания сочинений в России. Цель издания – дать новой России наследие одного из самых ярких мыслителей русского религиозного ренессанса. В начале 90-х годов, когда стали издавать отдельные труды мыслителей этой замечательной плеяды, появилось немало критиков, обвинявших их во многих «смертных грехах». Поскольку труды мыслителей-эмигрантов не были собраны в Русском Зарубежье, издателю показалось важным сделать это в России. Первой ласточкой, на предпоследнем году жизни СССР, было

выпущено стотысячным тиражом в издательстве «Московский рабочий» исследование Федотова «Святые Древней Руси». Эта книга, раскупленная в течение месяца, пробила брешь в «железном» занавесе. Важно было издать прежде всего малоизвестные и не переиздававшиеся труды мыслителя. Поэтому тома выходили не в прямом порядке. После первых трех томов в 2001 году был издан X том, в который вошла первая часть работы «Русская религиозность». Затем в 2004 году последовали XI и IX тома. XI том завершал публикацию второй части «Русской религиозности», а в IX том вошли статьи американского периода. В 2008 году вышел XII том, куда вошла неизвестная переписка с Татьяной Дмитриевой, найденная в архивах Государственной библиотеки и подготовленная к публикации доктором филологических наук Александром Антощенко. В этом же томе впервые был во всей полноте освещен конфликт в Свято-Сергиевском богословском институте, разразившийся в 1939 году. Последний, VII том, вышел в 2014 году. За это время был подготовлен дополнительный, XIII том, в который включены письма Федотова, а также письма к нему.

70. *Федотов, Г.П.* Республика Святой Софии. Собр. соч. Т. IX. М., 2004. С.358-359.

71. *Нива, Жорж.* О пользе Федотова. Доклад на конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Г.П. Федотова. М., 2011. Архив автора.

72. *Струве, Н.А.* Великий молчальник. Там же. Архив автора.

Максим МАКАРОВ

«РУССКИЙ ХОЛМ»

La Favière (1920–1960)

История русской колонии на юге Франции

Вещи и дела аще не написани бывают,
тмою покрываются и гробу безпамятства предаются,
написавши же яко одушевленіи.

Русская летопись XVIII века

Точно так же, как и простая человеческая жизнь – рождение, становление, расцвет, увядание и смерть, – возникают и уходят в прошлое города, страны, цивилизации, миры... Жизнь циклична, бесконечная смена эпох и поколений. Насколько последующее связано с предыдущим? Насколько последующее нуждается в предыдущем, интересуется им? Насколько вообще нужно интересоваться предыдущим, если: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки... Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем... Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после...» (Еккл. 2, 22).

Для тех, кого в начале 1920-х годов Русская Судьба разметала по всей Земле, память о прошлом оставалась зачастую единственным, что «держало на плаву», что объединяло, что питало душу. Кого-то *ностальгия* (как болезнь – тоска, апатия, алкоголь) так и не отпустила. Кого-то всецело поглотила будничная забота о хлебе насущном – нужно было выживать, и тут не до вздохов о прошлом... Те же, кто благодаря своему образованию, внутренней культуре или просто природной мудрости сердца сумел, каждый по-своему, переосмыслить и принять случившееся, продолжили Жизнь дальше и тем самым передали нам, сегодняшним, сбереженную память о прошлом.

А прошлое знать нужно хотя бы для того, чтобы избежать... си-

С этого номера мы начинаем публикацию глав из неопубликованной книги французского исследователя М. Макарова «Русский холм. *La Favière (1920–1960)*». Вся информация о книге находится на сайте НЖ: www.newreviewinc.com

ротства. Ощущать свое прочное место в бесконечной череде поколений – это важно, ибо успокаивает и примиряет не только с миром, но и с самим собой. И потом, в этом «ничто не ново под солнцем...» тоже ведь есть своего рода утешение – наши сегодняшние проблемы, сколь тягостными они нам ни кажутся, уже переживались – и не раз, а мир всё стоит, а жизнь всё идет...

Точно так же, как и простая человеческая жизнь, русский дачный поселок в приморской деревушке Ла Фавьер (La Favière) на юге Франции случайно родился, необыкновенно расцвел, стал свидетелем многих событий, постепенно состарился и умер, не оставив после себя ни единого следа. Сегодня в тех местах уже ничто не напоминает о «Русском холме» и его обитателях – нет ни тех камней, ни той атмосферы, ни того уединения... Лишь несколько русских могил на местном кладбище да всё то же солнце над ними.

Нельзя сказать, что о русском Фавьере ничего не известно. Но редкие упоминания о той эпохе, как горное эхо, повторяются в бесконечных «отражениях» (цитированиях), постепенно всё больше и больше удаляясь от истины, – так история плавно переходит в легенду. А легенды, как сказки, доносят до нас лишь то, что ярко и красочно: Цветаева, Бунин, Куприн, Саша Чёрный, Билибин, Гончарова, Ларионов... – строгое Время тщательно отделило зерна от плевел. О судьбах писателей, художников, артистов, чьи жизненные пути случайно пролегли через Фавьер, узнать несложно, их биографии на виду (хотя и там наполненные солнцем и негой русские каникулы у моря упоминаются редко и вскользь). А что говорить тогда о «простых» обитателях Холма?

Ведь реальная жизнь была много проще, будничнее, банальнее, чем нам видится издалека. Она была наполнена именами и событиями, сегодня практически никому и ничего не говорящими. Но ведь именно этот «шум бытия» и делает жизнь – правдой.

Швецовы, Врангель, Богдановы, Белокопытовы, Гольде, Крым, Метальниковы, Когбетлянц, Безсоновы... – кто помнит об этих первых колонистах Фавьера? А ведь «Русский холм» 1920–1930-х с его удивительной атмосферой – это прежде всего они.

Полные созидательной энергии люди высокой культуры – и откровенные «прожигатели жизни». Простые и сложные – каждый со своими недостатками, причудами, привязанностями. Рано умершие и прожившие долгую жизнь. Оставившие после себя многочисленное потомство и совсем одинокие. «Правые» и «левые», монархисты и «советские». Трудные и легкие характером. Хваткие дельцы и мечтатели «не от мира сего» ...

Глава 1. Предыстория Русского холма

Сегодня любой рассказ о русском дачном поселке в Фавьере неизменно начинается с упоминания о «сибирских купцах Швецовых». Однако мало кто знает, о ком идет речь. Тем более, что имеются-то в виду супруги Швецовы – собственно Швецов Борис Алексеевич и его жена, урожденная Лушникова Аполлинария Алексеевна, причем именно она и сыграла главную роль в фавьерской истории. Ну, а если копнуть поглубже, то всё началось даже и не с Аполлинии Алексеевны, а с ее родной сестры Екатерины...

А потому мы зайдем издалека; рассказать о «сибирских купцах» нужно, ибо по всему выходит, что именно они – люди в высшей степени неординарные – и задали тон всему тому, о чем далее пойдет речь (вог уж воистину: «нам не дано предугадать, как [имя] наше отзовется...»). Причудливые переплетения их судеб и приведут нас в конце концов на Лазурный берег – в Фавьер.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЛУШНИКОВА. «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»¹

<...> Дорогая доченька, ты просишь описать мое детство, как и где я когда-то жила. Это всё равно, что рассказать тебе сказку, потому что всего того уже давно нет. Даже страна моя и та исчезла, сожженная и порушенная тамерланами-большевиками. Сады вырублены, окна моего дома побиты, пустые, словно выколотые глаза. А как я любила эти наши окошки-глазки, всегда такие добрые, приветливые, немного меланхолические.

Маленькая, ты меня порой спрашивала, не с Луны ли я свалилась? А ведь ты была права, именно что с Луны, – я приехала из далекой волшебной страны, навсегда сохранив ее в своей душе, несмотря на то, что взрослая жизнь столкнула меня совсем с иным.

Я родилась в Забайкалье, в крошечной слободе Кяхте на монгольской границе. Тогда здесь жили пятнадцать семей очень богатых купцов, торговавших чаем. А в четверти часа пешком от Кяхты – китайский город Маймачен, населенный одними торговцами, ни женщин, ни детей.

Несмотря на то, что административно Кяхта относилась к военному Троицкосавску, что в четырех километрах, не город управлял слободой, но слобода – городом. Когда хорошо шла торговля в Кяхте, расцветал и Троицкосавск. Напротив, стоило делам пойти на убыль, как тут же зачахли оба города – и русский, и китайский.

Пятнадцать кяхтинских «Крёзов» жили на широкую ногу, в довольстве и комфорте, словно средневековые князья, с челядью, многочисленными родственниками, гостями – до полусотни человек, а то и более, – все вместе в громадных усадьбах со многими строениями.

Хлев с коровами и овцами, конюшни, свиарник, птичник, прачечная, две кухни (одна для хозяев, другая для работников), амбары, кладовые, каретник... – везде нужны люди, за всем нужно смотреть. Не говоря о том, что сами купеческие семьи были большие. Нас было одиннадцать детей, за нами следили три няньки, кормилицы, горничные, лакеи...

Обдуваемая всеми ветрами, Кяхта расположена на левом, чуть приподнятом берегу речушки с таким же названием – Кяхта. Как я любила нашу речку с ее песчаным дном и плакучими ивами по берегам, особенно весной, когда тающие снега наполняли ее водой (летом она практически пересыхала). Какие там замечательные были вёсны! Воздух теплый, душистый от набухших серебристых ивовых почек. Из-под только что сошедшего снега пахнет прошлогодней листвой, мокрой землей. Вода в реке журчит громко и радостно, а в ветвях поют птички, вернувшиеся из теплых стран, как будто приветствуют озябших за зиму домоседов-воробьев.

Тому, кто впервые оказывался в Кяхте, всё тут казалось необычным, странным, причудливым. Удивляли ее обитатели, их манера поведения, привычки. Поражали воображение и бескрайняя монгольская степь с голубоватыми горами на горизонте, и знойное дыхание пустыни Гоби, и казавшийся древним китайский город-сосед.

Вот по широкой песчаной улице бредут, поднимая тучи пыли, караваны быков, монотонно звякают их колокольчики. Мерно выступают верблюды с вытянутыми шеями и палкой в ноздрях, меж горбов покачиваются кочевники в шубах мехом наружу. Их заунывные бесконечные песни перемежаются пронзительными высокими криками китайцев в синих куртках, бегущих с длинными палками, к которым привязаны корзины с товарами. Здесь же бритые ламы в желто-красном одеянии. Верхом на низкорослых мохнатых лошадках едут суровые монгольские всадники – ни усов, ни бород, бронзоволицые, узкоглазые – точь-в-точь воины Чингиз-Хана, разве что вместо луков и колчанов кремневые ружья или карабины.

И тут же рядом – великолепный собор, большие комфортабельные дома с картинами на стенах, с богатыми библиотеками. Одетые по последней парижской моде хозяйки, из открытых окон доносится их пение, звуки рояля, скрипки – Моцарт, Бетховен, Чайковский...

Так, бок о бок, в мире и согласии жили здесь европейцы и кочевники, представители всех религий – христиане, иудеи, магометане, буддисты, язычники... На вершине сопки рядом стояли православная часовня и буддистская кумирня и тут же куча камней – шаманское обо. Во дворе нашей женской гимназии была врыта в землю доисторическая каменная баба с выбитыми загадочными письменами.

Лучшие сорта шампанского и кобылий кумыс, трюфеля и кусок сырого мяса, созревшего под седлом на спине потной лошади, – примеры кяхтинских контрастов можно приводить до бесконечности.

Слобода миллионеров на границе древних цивилизаций и перекрестке всех дорог, островок культуры у ворот пустыни Гоби, миллионные состояния и местное самоуправление², полувековое пребывание декабристов, иностранные миссии, путешественники, многочисленные научные экспедиции – всё это превратило Кяхту в место уникальное не только в России, но и, наверное, в целом мире.

Такой мне запомнилась Кяхта 80-х годов в эпоху ее расцвета, когда «чай из Кяхты» знали повсюду – магазины кяхтинских купцов торговали во всех крупных городах России, в европейских столицах, в Америке.

Большой красивый собор (с алтарем из позолоченного серебра и хрустальными колоннами), купеческие усадьбы, каждая со множеством пристроек, двор пожарной команды, начальная школа, дома доктора, повивальной бабки, аптекаря, ветеринара, священника и комиссара, исполнявшего обязанности консула, ну и, конечно, огромный чайный двор, где поступавший из Китая чай обрабатывался и зашивался для отправки в кожаные тюки цибики – такова была Кяхта тех лет. Ни лавок, ни магазинов, лишь небольшой базарчик и парикмахерская. Ни чиновников, ни полицейских, разве что сторож, в обязанности которого входил отстрел бешеных собак, забредавших из степи. Вся администрация располагалась в соседнем Троицкосавске, там же – мужская и женская гимназии, куда нас отвозили летом в экипажах, а зимой на санях.

Моих родителей в Кяхте очень уважали. Они принимали участие во всех благотворительных мероприятиях, часто были их инициаторами. Так, например, чтобы собрать средства на старший, седьмой класс женской гимназии, мой отец предложил собирать добровольный налог в несколько копеек с каждого цибика чая, провозимого через город, – у ворот сидел контролёр и вслух считал тюки на нескончаемых подводах. Благодаря этому местные девушки смогли получать полное среднее образование.

Все более-менее знатные приезжие всегда останавливались в родительском доме – гостеприимство и культура хозяев были известны далеко за пределами Сибири. У нас гостили иркутские генерал-губернаторы, немецкий адмирал Генрих Прусский (брат императора Вильгельма), французские ученые Жюль Легра (Jules Legras) и Поль Лаббе (Paul Labbé), путешественники Пржевальский, Обручев, Потанин...

Мой отец Алексей Михайлович Лушников (1831–1901) был родом из Селенгинска, что в трехстах километрах от Кяхты. Дед имел там небольшую торговлю, и семья жила довольно скромно, шестеро детей – три брата и три сестры. Сразу после начальной приходской школы отец поступил учеником приказчика в торговый дом. Недостаток образования восполнял чтением – отработав день, соби-

рал огарки свечей, забирался на чердак и читал там ночи напролет, в основном, русскую классику. Отец знал наизусть почти всего Пушкина, а уже в зрелом возрасте увлекся историей.

Своим духовно-нравственным воспитанием отец обязан декабристам, которые после каторги оставались на поселении в Восточной Сибири. Так произошло знакомство отца с братьями Бестужевыми, обосновавшимися в Селенгинске. Высшая знать, лучшие ее представители, образованнейшие люди, они принесли в Сибирь не только обширные познания и практические навыки, но главное – своим примером вдохновили целое поколение молодых сибиряков. Мой отец называл их апостолами, открывшими ему свет знаний. У него сохранилась большая коллекция карандашных портретов и рисунков, выполненных Бестужевыми. Но как-то раз один пройдоха взял рисунки для снятия фотографических копий и был таков. Отец очень горевал об утрате и клял себя за доверчивость.

Отец был от природы щедр и мягок характером. На нас, детей, он никогда не повышал голос. Наш шум его, похоже, совершенно не беспокоил, и только если уж мы совсем, бывало, распалимся, он начинал нам вторить, имитируя наши же крики.

В отличие от матери, отец всегда завтракал, обедал и ужинал вместе с нами в большой столовой зале на первом этаже. Мать же, страдавшая нервами, кушала в одиночестве у себя наверху.

По утрам отец вставал рано. Зимой со свечой в руках шел в туалетную комнату, потом спускался в залу с огромным туркестанским ковром на начищенном паркете, становился на колени перед иконами, смиренно смотрел на лики и долго молился, произнося вслух «Отче наш, сущий на небесах...» Весь дом спал, отец был уверен, что он совершенно один, и не замечал меня, маленькую, спрятавшуюся за комодом, – а я старалась проснуться раньше него, чтобы вот так же в одиночестве молиться, повторяя за отцом знакомые с детства слова.

Очень набожный, отец никогда не ходил в церковь. Возможно, из-за проблем с ногами (ревматизм), может, по каким иным причинам. Но нас, детей, заставлял посещать службы и при любой возможности повторял: «Любите друг друга!» Если случались ссоры, отец нас останавливал и мягким низким голосом увещевал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими, – это самая главная заповедь, ибо что может быть выше такой награды за миролюбие! Помните всегда об этом!» То было единственное нравоучение, которое мы когда-либо от него слышали.

Если кто из нас случайно попадался ему на пути, он ласково взъерошивал рукой нам волосы – его обычный жест. Меня отец звал Татьяной – я напоминала ему пушкинскую героиню. Молчаливая, замкнутая, диковатая и пугливая, как лесной олененок, я казалась чужой в своей собственной семье, не умела приласкаться к отцу,

редко смеялась, ребенком не любила общие игры и часто проводила целые дни одна, молча сидя у окна и думая о чем-то своем – именно так описывал позднее мой характер отец.

Предок моей матери Клавдии Христофоровны Кандинской (1847–1913) был польско-русских кровей и пришел в Сибирь старателем еще в екатерининские времена. У него имелась царская лицензия на промысел, сам он был молод, вот местный тунгусский князек и отдал за него свою дочь.

Мать родилась в Нерчинске. Ее отец был довольно состоятельным, носил звание почетного гражданина и имел сына и троих дочерей от двух браков. Однако жизнь он вел беспутную и со временем полностью разорился. Супруга вскорости умерла, и детей пришлось отдать в семьи более-менее близких родственников первой жены. Так моя мать оказалась в Кяхте, где и познакомилась с отцом. Едва встав на ноги и открыв собственное дело, он тут же ее просватал, и они повенчались. Ему было тридцать лет, ей – семнадцать. К себе она забрала жить сводную сестру Анну (Аничку), калеку по вине непутевого отца. Старшая ее сестра Аполлиария вышла замуж за инженера и уехала с ним в Петербург. Красавица, большая умница, обожаемая своим мужем, изъездившая с ним всю Европу, она страдала неврастеньем, бессонницей, головными болями и в возрасте тридцати трех лет покончила с собой, выпив большую дозу снотворного.

Моя мать тоже была красивой женщиной, довольно крупной, с сильным характером и чисто римским профилем – наш учитель древней истории приводил ее в пример как тип римской матроны.

Она любила элегантные вещи, вкус ее был безупречен. Большим домом правила с умом и содержала хозяйство в образцовом порядке. Успевала делать всё. Дети ее не обременяли – пользующиеся доверием няньки были искренне к нам привязаны, и матери оставалось лишь наблюдать издали, особо не вмешиваясь.

Каждое утро до обеда она проводила за бухгалтерией с двумя экономяками, отвечавшими за покупки, и обсуждала с кухаркой меню на день. Мать любила утонченную кухню, но кухарка опытом не отличалась. Тогда с полки доставалась поваренная книга, и мать подробно описывала рецепт того или иного выбранного ею блюда. Ежедневно после ужина кухарка поднималась к матери, и та либо хвалила ее за работу, либо указывала на недостатки и делала замечания на будущее.

Вторую половину дня мать проводила за вышиванием и чтением газет и журналов, – отец выписывал все наиболее значимые издания, каждый день ему приносили четыре толстые газеты разных политических направлений.

Мать обожала цветы и создала у себя в доме настоящий зимний сад с розами и пальмами. Причем всё делала сама – получала журна-

лы по садоводству, давала советы нашему садовнику, лично следила за семенами и пр. Точно так же она работала и с портнихой, занимаясь выбором моделей и кройкой. Наша мать умела делать буквально всё! Изучит что-то по книгам, а потом терпеливо обучит этому и других.

Французский мать освоила еще в Институте благородных девиц, который в свое время окончила. А когда мои братья поступили в коммерческое училище, она с ними вместе принялась за английский и немецкий.

По характеру мать была, скорее, замкнутой, не особо разговорчивой, хотя, случалось, могла и поболтать, и посмеяться от души. Но длинные разговоры ее всё же утомляли. Маленькой я ее побаивалась, несмотря на то, что меня никогда не наказывали. Я ее очень любила, но она была так далека, так недоступна, как царица, чей портрет висел на стене в зале. С матерью я сблизилась много позже, уже будучи взрослой.

Во всё, что касалось наших желаний, особенно нашего общего стремления учиться, мать выполняла роль посредника между нами и отцом – тот всегда уступал, соглашаясь с ее доводами, и наши мечты, как правило, сбывались. В результате половина детей уехала в Москву, Петербург, Париж учиться наукам и искусствам в университетах, инженерных школах, агрономическом институте, консерватории. Остальные остались в Кяхте, где, подобно своим состоятельным соседям, продолжали жить по-старому – журфиксы, вечера, балы, охота и карты по вечерам...

Не знаю, существуют ли в других странах няни, вроде тех, которых знали мы. То были женщины уже в возрасте, поставившие крест на своей личной жизни – старые девы или бездетные вдовы. Им отдавали трех-четырёхлетних детей, к которым, как к своим, няни привязывались всей душой. С нами возились три няни: «Большая», Марья Андреевна и Варя. «Большая» служила у Лушниковых издавна, и когда старшие дети выросли, осталась в приживалках. Старая дева, прозвище свое она получила за рост и внушительный объем. Бесформенная, вся какая-то расплывшаяся, она переваливалась при ходьбе словно утка. Будучи безграмотной, но от природы очень сентиментальной, обожала слушать чтение вслух дамских романов, только чтобы обязательно с хорошим концом. Спала она в одной комнате с Марьей Андреевной. Та, по старости, уже с трудом могла что-либо делать, разве что кое-как чинить бельё моим братьям, а потому проводила дни в постели или раскладывала пасьянсы. Вдова, она считала себя выше рангом и любила прихвастнуть своими прежними успехами. Марья Андреевна также обожала чтение романов, но, в отличие от соседки, предпочитала развязки драматические. Она знала много сказок (в которых почему-то обязательно фигурировал медведь), и мне нравилось их слушать.

Моя няня Варя была худощавая, гибкая, с бледным лицом и синими-синими глазами. Свои седые волосы она забирала под сетку и стя-

гивала черной бархатной лентой. Сравнительно молодая и незамужняя, косынку повязывала по-девичьи. Говорила мало, лишь при необходимости, и если мы с ней оставались дома, то сидела у столика и молча чинила мою одёжку. Характер у нее был не из легких, и она частенько ругалась с другими слугами. Однажды я случайно услышала болтовню слуг про ее прошлое, говорили что-то о ее давнем романе. Без всякой задней мысли я поинтересовалась: «Няня, а вот Марья Андреевна всё хвастается, что в молодости по ней все вздыхали, и еще говорит, что у тебя тоже были ухажёры...» Няня Варя тут же вспыхнула и в гневе ответила, как отрезала: «И что! Не она одна была хороша!..»

Она искренне меня любила и хорошо за мной ухаживала, но никогда не целовала. Помню, лет в девять меня должны были отвезти на воды в тайгу, и вечером, уже лежа в кровати, я мучилась вопросом: «Как же я попрощаюсь завтра утром с няней? Ведь нужно ее поцеловать, посмею ли?...» (При отъезде она сама меня поцеловала). Она любила, когда я оставалась с ней, играла рядом, и всё мне повторяла: «Не уходи, побудь со мной, там никто тебя не любит». Думала ли она так на самом деле, или же то была простая уловка, дабы удержать меня подольше возле себя? Но эта часто повторяемая фраза, безусловно, сыграла свою роль в том, что я росла нелюдимой, застенчивой, как чужая в своей семье.

В шесть лет меня отдали в школу, и, как только я научилась читать, книги тут же заменили мне кукол. Первой моей книгой был сборник молитв для детей с описанием жизни святых мучеников. На всю жизнь запомнила свои впечатления от истории Святой Варвары, которую тащили за волосы. Я читала вслух, захлебываясь от рыданий, а няня, расчувствовавшись, при этом громко сморкалась. Начитавшись жития святых, я, разумеется, смирилась с мыслью, что меня никто не любит.

Конечно, я любила и родителей, и братьев с сестрами, но в ту пору ближе и роднее няни Вари у меня никого не было. Вечерами, уложив меня в постель, она зажигала лампадку – натопленный в плошку воск от свечных огарков – и молилась за здоровье моих отца, матери, всех родных и близких, за меня саму, после чего желала мне спокойной ночи и, прикрыв дверь, уходила ужинать. Как же мне было страшно в кровати, занавешенной белым покрывалом, – одна в большой темной комнате с тенями от трепещущего огонька лампадки! Я боялась пошевелиться и с замиранием сердца прислушивалась, не идет ли няня. Часто среди ночи я вдруг просыпалась от беспричинного страха, выскакивала из кровати, бежала к няне, а та спокойно укладывала меня обратно и крестила со словами: «Не бойся, милая, с тобой ангел-хранитель...»

Зимой перед прогулкой нас тепло одевали: нитяные чулки, шерстяные гольфы, фланелевые панталоны, белая вязаная юбка, валенки из белого войлока, шуба на лисьем меху (или заячьем – в зависимо-

сти от погоды и времени года) с высоким воротником, черная меховая шапка, мягкий шарф, теплые варежки и муфта. Укутанные таким образом, мы еле-еле передвигались, зато, поскользнувшись на льду, ничем не рисковали.

Моя няня тоже носила валенки, а поверх бордовой шубы с подкладкой из волчьего меха накидывала серую пелерину, спускавшуюся чуть не до локтей. Голову повязывала теплой шалью, а руки без варежек прятала в рукава.

Самое любимое зимнее развлечение для нас было катание с гор на санках или медвежьих шкурах, что для малышей безопаснее. Катали друг друга на небольших салазках, иногда с помощью няни. Ну и наконец – большие взрослые сани, запряженные тройкой лошадей с бубенчиками.

Под Рождество устраивалось много интересного. Традиция шла еще с языческих времен, люди верили в дьявола и на Святках его изгоняли. Наряжались, ходили из дома в дом, а были и такие, кто во время Крестного хода окунались в прорубь при морозе в 30-40 градусов.

На Крещение все девушки гадали «на жениха», и способов тут существовала масса. Поздно вечером приносили со двора пригоршню свежего снега и ждали, пока он растает, надеясь разглядеть профиль суженого. Кидали за ворота ботинок и бежали смотреть, куда носок обращен, – оттуда придут сватать. Спрашивали у первого случайного прохожего имя – таковое будет и у милого. С зеркалом в руке вглядывались в отражение полной луны, где непременно должен появиться будущий жених. Девушки постарше запирались в полночь у себя в комнате, ставили два зеркала друг напротив друга и две свечи по бокам – бесконечные отражения уводили взгляд куда-то в глубину, где и возникал образ того, с кем тебя сведет судьба (во всяком случае, так уверяли наутро те, кому посчастливилось его увидеть). Всё это было настолько необычно и таинственно, что мы, маленькие, дрожали от страха, будучи уверены, что без черта тут никак не обходится.

То была пора домашних спектаклей, когда взрослые разыгрывали живые картины и небольшие пьесы. Из дома в дом ходили бродячие артисты и устраивали для детей китайский театр теней. Позади ширмы, затянутой бумагой, ставился фонарь, и кукловод с помощью длинных палочек передвигал искусно вырезанные из черной бумаги фигурки. Невидимый рассказчик озвучивал действие, всякий раз оканчивающееся диким танцем всякой чертовщины.

Приходил в гости к детям и Конек-Горбунук – чучело лошади, через дырку в спине надетое на человека, ряженого карликом с болтающимися по бокам ватными ногами. Он подпрыгивал, имитировал ржание, выделывал коленца, а мы, дети, в страхе выглядывали из-за юбок наших нянь.

На Святки пели много старинных песен про девицу-красавицу,

сидящую взаперти в высоком тереме и ожидающую своего жениха. Пели-перепевали друг друга по очереди юноши и девушки, и, как правило, всё это кончалось целованием. Из-за чего я эти игрища и не любила, не приученная к поцелуям (родители целовали нас в лоб утром и вечером). Вообще к поцелуям у меня было брезгливое отношение, особенно, если кто-то из сверстников пытался это сделать. Мне было всего-то лет семь, когда один мальчик поцеловал меня как-то во время игры, так я ему этого и десять лет спустя не могла простить. А про танцы прочла как-то, что они возникли как имитация брачного ритуала у птиц, и с тех пор я танцы возненавидела.

В первый день после рождественской всенощной к отцу приходили соседи – хозяева, мужчины. В зале накрывался стол с закусками, дорогими винами, шампанским, и в конце дня гости были довольно навеселе. На второй день приезжали официальные лица из Троицкосавска. Приходил поп, освящал дом, мы по очереди целовали большой крест, а он нас обрызгивал святой водой. По заведенному обычаю ему за это вручали несколько рублей, но не открыто, а тайком, из рук в руки, при прощальном пожатии, причем наловчившиеся попы проделывали это виртуозно и, беря мзду, говорили с хозяином о чем-то постороннем, при этом мило улыбались хозяйке, выпивали рюмку на посошок и, распрощавшись, отправлялись в следующий дом. Третий день Рождества, самый шумный, когда во дворе было не протолкнуться от экипажей, отводился для запоздалых гостей и дам, разъезжавших друг к другу с визитами.

Сестру Машу, брюнетку с большими серыми глазами, отец с улыбкой называл «моя бесприданница» – никакого приданого не требовалось, чтобы выдать замуж такую красавицу. А она, не понимая шутки, только плакала от обиды. Вообще, любая мелочь могла вывести ее из себя и довести до слез – такой уж взрывной характер. Но душа у нее была добрая, натура романтическая, даже сентиментальная. Воображением она обладала удивительным и, играя с куклами, сочиняла на ходу всякие истории, которые тут же вслух рассказывала – про ведьму, про великана... и я забывала о своих куклах.

Отчего-то запомнилось, как однажды на прогулке у реки она вдруг произнесла нежно и мечтательно: «Что-то с нами будет через десять лет...» А ей тогда еще и десяти не исполнилось. Вела дневник, куда записывала свои сердечные переживания, и в двенадцать лет влюбилась в мальчика, с которым познакомилась в школе, и позднее именно он стал ей мужем.

Меня с подругой она пренебрежительно звала «мальши» (хотя разница в возрасте у нас была совсем небольшая). Пребывая же в хорошем расположении духа, обращалась более ласково – «дети мои», и угощала конфетами. Она всегда верховодила, а я никогда не решалась чего-либо попросить или предложить.

Моя подруга была сиротой. Родителей она потеряла очень рано и воспитывалась няней. Светловолосая, с серо-голубыми глазами и глубокой ямочкой на одной щеке – ей говорили: «Это тебя Амур поцеловал». Детьми мы вместе играли в куклы, делали цветы из вощёной бумаги, плели кружева, вышивали, читали вслух. Читать она очень любила, особенно сказки «Тысяча и одной ночи» и Ветхий Завет. Лет в пятнадцать нас с ней стали волновать всякие религиозные вопросы. Моя старшая сестра Вера прочла нам «Евангелие» Толстого, что произвело на нас большое впечатление. Нам захотелось во всем подражать Толстому, утверждавшему, что человек должен жить своим трудом. Чтение Библии стало нашим любимым занятием. Мы решили жить только по заповедям и следовать друг за другом, чтобы наши слова и действия всегда были благими и искренними. Мы решительно восстали против того, чтобы нам прислуживали, и договорились всё делать самостоятельно. Но благие намерения лишь вызвали гнев горничных: «Если вы сами будете себе стирать и гладить, чистить ботинки, подметать и мыть полы... мы окажемся не у дел и нас уволят!» Нам оставалось лишь со вздохом соглашаться с Писанием, «что трудно богатому войти в Царство Небесное...»

Был у нас товарищ, Вадим, сын главного управляющего у отца. С ним мы отправлялись летом на вечерние прогулки, отвязывали лодку и, оттолкнувшись от берега, плыли без весел, дабы не потревожить отдыхавшую мать. Мы смотрели на звезды, отыскивали знакомые созвездия, задавали друг другу самые разные вопросы – о происхождении вселенной, о Боге, о религии...

Брат Саша рос драчуном. Беспokoйный, легко возбудимый, в приступе гнева он мог рухнуть на колени и биться головою об пол. В свои десять лет в компании таких же сорванцов совершал набеги на китайские огороды и устраивал драки. С возрастом он, конечно, остепенился, поумнел, но остался таким же энергичным. Его всегда влекли тайны, всякие загадки. Весной после школы он надолго уходил в горы на поиски подземных буддистских святилищ. По большому секрету он мне рассказывал, как находил лаз в пещеру, полз на животе по узкому проходу, опасаясь, что его обнаружат монголы. Иногда он приносил старинные обрядовые фигурки, рассказывал, что видел открытые деревянные гробы, поставленные вертикально, внутри которых остались лишь кости да волосы. Рассказывая, он весь дрожал от возбуждения. А рассказывать он умел! Вообще Саша родился очень одаренным – хорошо пел, играл на пианино, хотя никогда не учился, даже сочинял музыку, писал стихи, прекрасно рисовал. Позднее он организовывал домашние спектакли, сам создавал декорации. Очень нам нравилось устраивать цирковые представления. Саша упражнялся на трапеции, брат Миша громоздил целую кучу ступень и на самом верху становился на голову.

В юности мы с Сашей были очень близки, нас объединяли общие идеи. Нам было лет 15-17, когда мы гуляли с ним по окрестным холмам. Брели между невысоких сосен, разговаривали обо всём, делились друг с другом мыслями, надеждами. С вершины холма перед нами открывалась панорама гор на горизонте, и этот простор лишь усиливал наш юный энтузиазм, в голову приходили всякие светлые идеи, мы строили грандиозные планы...

Но два-три года спустя радостные мечты сменила тема смерти, только о ней мы с ним и говорили, не видя никакого смысла в нашей жизни. Что это было? Обычная славянская неприкаянность? Или реакция на явно ощущаемую пропасть между нашими идеалами и реальной жизнью вокруг? В этом возрасте юные души мечутся... Так было и с нами.

Отец, отправляясь на прогулку, часто брал меня с собой. Зима, сани мягко скользят по ровному снегу. Отец в черной собольей шапке, по своему обыкновению, молчит, уткнувшись в поднятый бобровый воротник. А я сижу, к нему прижавшись, и смотрю на причудливой формы горную цепь впереди, бледно-фиолетовую в закатной дымке. И, помнится, всё мечтаю: «Что же там дальше – за горами? О, как бы мне хотелось туда за них заглянуть...» Желание мое, видимо, было услышано, и я покинула свой край, уехав сначала в Петербург, а потом и за границу. Навсегда...

АПОЛЛИНАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛУШНИКОВА. «КАРТИНКИ ПРОШЛОГО»³

Тиха и однообразна моя жизнь. Когда-то, будучи девочкой, я смеялась над своим 75-летним дедушкой⁴, который с увлечением читал старые журналы, куря длинную-предлинную трубку... А вот и я теперь зарываюсь в прошлое. Одиночество в мои годы прокручивает ушедшие картины жизни, и видишь все ее недостатки. Так перелистываются страницы старой книги...

* * *

Отец мой, Алексей Михайлович, в 14 лет поступил на службу в Кяхте. Образование свое получил от дьячка, но был учеником Николая Бестужева, с которым переписывался. Был очень умный, начитанный, выписывал «Колокол». После 81-го года⁵ охладел к политическим делам, но материально всем помогал по-христиански.

Был верующий, любил простоту жизни, увлекся новыми [воспитательными] идеями графа Толстого: природа, мать и никаких бонн. Запретил иметь гувернанток в доме, и мы, младшие дети, остались без иностранных языков. Мне всегда обидно, что нас с детства не учили языкам. Но всё же успел до поворота своих взглядов выучить пятерых старших детей языкам, музыке и живописи.

А у матери, Клавдии Христофоровны, урожд. Кандинской, не хватало для нас времени. Передовая, общественная работница, основательница всяких научных и педагогических обществ, мать любила хорошо и красиво жить, но и других поднимала из нищеты. Я ее боготворила. Отец был тихий, задумчивый, но очень остроумный, мать мою обожал и снисходительно относился к ее любви к красоте жизни, ни в чем ей не отказывая. Мать всегда что-то чертила, проектировала, строили у нас всё по ее рисункам.

К старости отец ослеп.

Старше меня было три брата – Саша, Кена и Алеша, а младше два – Миша и Глеб. И я до семи лет ходила в штанишках с остриженной головой «под мальчишку» и участвовала на своем прутике в их общей кавалькаде. А так как я бегала быстрее даже старших братьев, то и прутик-лошадка мой назывался «Стрела».

Брат мой Алексей стал инженером. Но кем только он не был на своем веку! Строитель мостов, крупный подрядчик по постройке железной дороги в Сибири – это он строил вокзал и мост через Ангару в Иркутске, мост через Амур и др.; грузчик в Одессе, борец в цирке, декоратор-художник в театре, певец-солист народной оперы, инженер на Китайской дороге в Харбине и профессор пения в Шанхае (пел дивно, и всё от Бога). Могучий на вид, рост колоссальный. Здоровый, коньяк пил стаканами, пельменей съедал по две сотни. Во всем *en grand*⁶. И при этом детская веселость, доброта к людям. Мы, Лушниковы, все мечтатели, идеалисты. А Алеша самый кроткий был в нашей семье, от рождения Божий человек, необычайно добрый ко всем – какой-то богатырь Старой Руси. Всегда был без денег, всё раздавал. Говорил мне: «Я только тогда спокоен и радостен, когда в кармане пусто». Он хорошо зарабатывал на подрядах, но всегда спешил освободиться от капиталов. Жил скромно, но любил с товарищами и кутнуть, и выпить, но всё это в рамках демократических, а не как это водится у купеческих сынков. Все деньги уходили на революционную партию, хотя сам активным революционером не был. Из Петрограда его выслали на два года в Восточную Сибирь (то есть домой) потому, что, проходя по Казанской площади, увидел, как казаки бьют нагайками курсисток, и, недолго думая, выломил часть решетки у собора и нанес увечья городовым. Тут его и забрали, связали – и в Сибирь. Много ходило анекдотов о его выступлениях и тостах с городовыми за Бастилию и т.д. Полиция и жандармы его любили, смотрели на все его «дубинушки» в официальных собраниях сквозь пальцы.

* * *

В Усть-Киране, нашей дачной местности в Сибири, на горке сельского кладбища в селе Преображенском стояла часовня, выстроенная моим отцом. На ней был большой деревянный крест с

фигурой Христа примитивной работы местного умельца-бурята. На голове Христа был венчик из полевых цветов. Мы, молодежь, подростки, гимназисты и гимназистки почему-то избрали это место для наших вечерних посиделок. Устраивались на ограде кладбища на длинных сколоченных из досок скамьях и при свете небесного костра пели там наши народные песни: «У зари, у зореньки много ясных звезд, а у темной ноченьки им и счета нет...» Песня в наши года была спутником молодости. Пели песни, несоответствующие месту погребения душ. Шаляпин говорил, что он хотел бы быть похороненным недалеко от народных балаганов. Кто знает, м.б. и там, в Киране, были покойники, которые радовались тогда нашим молодым голосам.

* * *

Мы весело встречали Новый Год дома в Кяхте. День часто морозный, с большой луной. Костюмированный бал, поездки по знакомым, а под Новый год все были дома. Я помню, как мы в бальных платьях, сестры, подруги и братья – все в зале, освещенные лампой с массой свеч, – стояли возле рояля, а брат играл «Коль славен наш Господь». И мы хором дружно неслись своими голосами ввысь, чувствуя действительно славу Господню. Бьет полночь, отец выезжает на кресле, мама улыбается и говорит: «С Новым Годом, дети!» И уже Григорий-лакей подает на старинном подносе бокалы с шампанским. Целовали родителей, поздравляли всех, закусывали слегка, и начинались танцы. Открывали веселый бал с играми в фанты. Жизнь тогда казалась бесконечно счастливой и долгой. Благодарю Бога за то поэтическое время.

Вспоминается и всегда радостная Пасха, веселая, в цветах, в солнечных лучах. Чудное время! Особенно в детстве, когда в воздухе не умолкал Пасхальный звон, говор нарядной толпы, стук экипажей. А мы, детишки – девочки в белых кисейных платьях с бантами бабочкой на голове, мальчишки в шелковых рубашках всех цветов, как пасхальные яйца, – кружились по-праздничному без дел между взрослых, устремлялись к пасхальному столу.

Покров Св. Богородицы. «Покрой нас честным твоим Покровом и избави нас от всякого зла, молящи сына твоего Христа Бога нашего, спаси души наши...» У нас в Сибири Покров часто совпадал с «капусткой». В эти дни всё в доме принимало какой-то праздничный вид от блестящих почищенных самоваров, давленной облепихи да цветных нарядов женской прислуги. Горничные шмыгали из дома через широкий двор в каретник, а от каретника к эконому. Солнечные дни осени и бодрящий воздух поддерживали радостное настроение. Мы, подростки, вернувшись из школы, просим маму разрешить нам посмотреть «капустку». «Недолго, – отвечала мать, – и больше одной кочерыжки не есть!»

Перегоняя друг друга, влетали мы в широко открытые двери

каретника, куда на тележках подвозилась капуста. Белые атласные вилки лежали грудками друг на друге, а молодой дворник ловко бросал их в чаны и бочки. Женщины взмахивали сечками, ударяя с силой, и слышался смачный скрип резаных вилок. «Капуста плачет», – шепчу я тихонько на ухо брату Алеше. Постепенно удары становятся четкими, и рубка идет дружно под веселые песни девиц. Мужики-дворня держатся своим рядом, отдельно от баб, перебрасываются смешками и остротами, а иные, бросая сечку, идут выпить квасу – в углу каретника на импровизированном столе из пустых ящиков, покрытых чистой клеенкой, стоят кувшины с квасом, закуска из вареных омудей и картофеля. В воздухе запах свежей капусты вперемежку с дегтем, с запахом кожи от развешанных по стенам каретника сбруй, от тарантасов с загнутыми назад оглоблями, с запахом здорового человеческого пота.

Всё нам кажется чудесным, а хруст кочерыжек на зубах девиц вызывает пронзительные взгляды и улыбки с нашей стороны, и мы их тоже получаем от прислуги. Тщательно очищаешь ее от древесной оболочки и с радостью хрумкаешь длинные белые палочки, которые кажутся нам вкуснее всякого мармелада, который нам обычно дают после обеда. Вкусные-превкусные! Конечно, контрабандой уносим в кармане две-три палочки, втихомолку грызли их потом за приготовлением школьных уроков.

Какую массу вилок заготовляли для зимы! И квашеная капуста, и соленая, и мелко шинкованная – салатная, и залитая красным сладким уксусом. Забегала прислуга соседних домов «на помочь», а вечером в каретнике устраивалась «вечёрка», под гармошку и балалайку отплясывали веселую «барыню» с притопыванием и визгом, но нас, детей, на вечерку не пускали. Поставленное вино удесятерило веселье, и вечерка длилась за полночь.

* * *

Я очень любила десятилетней девочкой ночёвки у реки в балагане; пахло дымком от мошкеры, слышался плеск рыбежки в зарослях тальника. Нас отпускали на сенокос под надзором старших. Какой это был праздник! А забайкальская похлебка *таташин* из мелких рубленых кусочков мяса, сытная, наваристая, казалась вкуснее всех блюд домашнего повара! И засыпала тогда под отдаленное пение из деревни: «Эх, в Таганроге да убили казака!» Чудная пора отрочества, с неясными мечтами о будущем и не пережитой еще сказочной мистикой детских лет.

Лето уже на половине. Прошли Петровки. Скоро и 8-ое Казанской Божьей Матери. Пора сенокоса с запахом сена, с теплыми ночами у огонька на берегу реки, зарницами вдали, с ночными шорохами в тальнике и одиноким голосом из деревни: «Солу-чи-лася бя-да-а-а!..» Всё так знакомо, такое родное. Ночь тихая, журчит вода в водоподъемном колесе – падает в запруду. Ночи короткие, росистые зори...

Беглые каторжане и бродяжки жили у нас по соседству, на нашем сенокосе. Поэтично, на берегу реки, ловили рыбку, варили в котелке уху, пели грустные песни, а на зиму возвращались в остроги. Эти «каникулы» вошли в жизнь, в обычай, и начальство было довольное: меньше ртов кормить, и им летний отдых.

* * *

Часто думаю о нашей патриархальной сибирской обстановке и о людях, окружавших нас с детства. Какие это были верные слуги, свободные – не рабы, жили подолгу в наших домах. Хотя русского народа я не боготворила, так как я его не знала. Росла в «золотой клетке». Но доброжелательность к народу воспитывалась у нас в доме с пеленок. Умом, логикой сегодня я осуждаю это прошлое «оранжерейного цветка». А если и вспоминаю ласково дни детства, юности, то это, вероятно, оттого, что оно сохранилось в душе лишь лучшими сторонами.

До 15 лет я училась дома. Была воспитана в идеалах и принципах не по времени. Высшие курсы в Петербурге – тоже не повезло. Болела очень первый год, на второй год по дороге в Томске заболела аппендицитом и только к Новому году по настоянию матери вернулась домой. А на третий год не доехала – вышла замуж и застряла в Иркутске. Получилась какая-то неоконченная симфония моей жизни...

Несмотря на то, что купалась в миллионах, такие вещи, как танцы, кабаре, туалеты, флирты, – всё это не было в программе у нас, богатых девушек, во всяком случае в том окружении, где я росла. Все мы тогда стремились на Курсы, увлекались музыкой, книгами, лекциями. Тоже, конечно, веселились, но это были земляческие вечеринки со студентами. Шампани у нас не было, и без него весело. Устраивали пикники на лужайках с пельменями, вот и всё, никто об этом очень не заботился. А уже будучи замужем, я посещала Географическое Общество, библиотеку и со светской жизнью Иркутска мало соприкасалась.

* * *

Думаю часто о китайцах – я ведь выросла среди них. Правда, наш соседний с Кяхтой китайский городок Маймачен был только коммерческий пункт с людьми очень однородного класса, но все-таки общие национальные черты были те же. В детские годы я относилась к китайцам как к существам низшего порядка (конечно, по глупости). Помню, как мы с братом Алешей в детских шалостях подкрадывались к ним, стараясь дернуть китайца за косу, когда они сидели и как бы дремали на стульях в китайской приемной в ожидании очереди пройти к отцу в кабинет. Шалость никогда не удавалась. Китаец с опущенными глазами видел всё вокруг себя. На лице всегда одна и та же маска с улыбкой Джоконды. В их детских школах они проходят и гимнастику для глаз, чтобы видеть врага и за спиной (для охоты это

важно, против тигра), и просто гимнастику – уметь пролезать через узкие трубы (для войны, делать вылазки). Я помню первых китайских студентов, проезжавших через Сибирь в Петербург, ехали вольнослушателями. Русский язык их был очень корявым, как моя приятельница говорила: «Понимаю их с трудом, как Андрея Белого на его лекциях».

* * *

Мой зять И.И. Попов очень хорошо набросал типы кяхтинских купцов⁷, описал их жизнь рядом с китайцами. А сколько было интересных типов хотя бы в Иркутске, таких пионеров, как Пономарев, Белоголовый, Трапезников и другие⁸. У меня есть книжонка о старой администрации Сибири. Боже мой, какой там был административный хаос! Конечно, такие, как Муравьев-Амурский⁹, были исключительными звездами в этом царстве взяток.

Портрет Муравьева-Амурского висел у нас в женской гимназии в Троицкосавске, я особенно его помню – гимназисткой 6-го класса сидела под этим портретом на высокой кафедре со ступенями и читала свое конкурсное сочинение про эпос былин. Тема была дана старшим классам, и моя работа оказалась лучше, содержательнее и литературнее других. Муравьев-Амурский за спиной, впереди полукруг всех педагогов во главе с директором, потом старшие классы, за ними, как мелкие коричневые грибки, малыши-гимназистки. Говорила громко, уверенно, почти не читала по тетради. По окончании директор предложил старшим высказывать их возражения. Одна семиклассница начала что-то мямлить об Алеше Поповиче, но я ее быстро посадила в калошу. После этого начались хлопки. В конце учителя жали мне руку и советовали писать в будущем, но... Жаль себя, всё пошло не той дорогой. Еще в 5-м классе гимназии мое описание грозы тоже было прочитано публично перед всем классом. Очевидно, был язык литературный. Но вместо литературы потом выбрала физику – не то, что нужно было бы. Вот и прожита жизнь по кривой линии. Революционеры тоже в этом виноваты.

В этот же год перед экзаменами я получила двойку... по поведению и была исключена из гимназии (это при круглых пятерках) за мои знакомства с *политиками* в городе и за вредное влияние на гимназисток. Политиков было немного, и все они бывали у Кяхтинских коммерсантов. Пропагандой я не занималась – всё была ложь. Директор, негласное око 3-го Отделения, был не в ладах с отцом, который ушел из попечителей Гимназии и Реального училища, ссылаясь на расхождение взглядов на воспитание с директором. За это директор и отомстил ему на мне. Отец написал Главному инспектору с требованием судебного дела. Инспектор ответил просьбой не доводить дело до скандала (он только что наградил директора каким-то орденом), а прислать меня в Иркутскую гимназию, где я буду принята

без осложнений. Проучилась там год, а потом отец решил иначе, и я уехала к сестре Маше в Ташкент, где умудрилась кончить гимназию даже с медалью. А те политики, которых я видела с детства, не были террористами. Это были просто свободно мыслящие люди. И, на мое счастье, все были хорошими, скромными тружениками. Еще девочкой одиннадцати лет я слала через старшую сестру Веру свои сбережения Короленко, портрет которого стоял у нее на столе.

Я вспоминаю случай в Кяхте. Ехал как-то Попов, муж сестры Веры¹⁰, политический, и встретил тоже политика, а у того лошадь распрягалась. Стояли оба беспомощно на дороге, пока мой 12-летний братишка верхом им не повстречался. Спрыгнул с лошади, наладил упряжку, приехал домой и говорит мне: «Что за люди, запрячь лошадь не умеют, а говорят, хотят жизнь по-новому строить». Мы очень над этим смеялись. А ведь была и доля правды в этом.

В наше время мы знали наизусть Лассалья, его идею третьего сословия¹¹. А «Капитал» Маркса я не одолела, ограничилась популярным изложением – мне он был скучен. Хотя не читать Маркса тогда было у нас преступлением. Помню марксиста Вадима, друга моей сестры Кати. Мы тогда жили в Уфе, где он завел кузницу, чтобы вести пропаганду (хотя сам был сыном богатого инженера и учился в Англии), он-то и дал мне Маркса: «Обязательно прочитать!» Но я ему его вернула (взяла в библиотеке «Историю Соединенных Штатов» Лабулэ), за что на всю жизнь стала ему врагом. Смешно! А молодые споры с братом Александром – мне было 17 лет, ему 22, и был он гораздо умнее меня, более начитанный, увлекался Вл. Соловьевым, читал Достоевского и Леонтьева. А у меня были другие увлечения – Чернышевский, Герцен, тот же Лассаль, письма Миртова и всякие популярные издания революционного характера. Спорили до слез.

Молодость моя пришлась на годы реакции. Тогда царствовал Толстой¹², дававший все проблески свободной мысли. Я хорошо помню эти годы. Отец мой был верующий и крупный благотворитель, находился под негласным контролем. Старшая сестра Вера в Петербурге сидела в тюрьме и была выслана вместе с мужем Поповым. Да и я в 89-м году вылетела из гимназии за вольнодумство. Только мать наша не считалась ни с какими запретами и в своих деревенских школах, которые опекала, обходила все преграды. Школы-то были церковно-приходские, а священники в Сибири – либералы, предоставляли самим основателям и выбор учительницы, и книг для обучения и библиотек.

«Три сестры» – трагедия жизни. «Москва!..» – конечно, у всех у нас была мечта уехать. Но уехать без банковских чеков, без назначения (т.е. места учительницы в городской гимназии) было нелегко. Жизнь в глуши придушила героинь Чехова до потери личного счастья, а лучшие мечты улетели с музыкой уходящего полка... Моя старшая сестра Вера, видя, что я читаю вся в слезах и переживаю за них, спо-

койно мне тогда сказала: «Да о чем ты, Поля... всё же хорошо... всё у нас осталось по-старому...» А я тогда еще сказки читала, какой ужас!

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ – СУПРУГИ ШВЕЦОВЫ.

«А.В. ШВЕЦОВ И СЫНОВЬЯ»

Совсем юной, восемнадцати лет от роду, Аполлиария Алексеевна (А.А.) Лушникова «выскочила замуж» (как она сама про то говорила – «музыкальный брак») за Семена Николаевича Родионова.

Родионов Семен Николаевич (1865–1931) был сыном иркутского купца 1-й гильдии Н.Л. Родионова (1823–1903). Потомственный почетный гражданин, гласный Городской Думы. Окончил СПб Университет (1890), член Вост.-Сиб. отделения Государственного Русского Географического Общества. «У него часто останавливались многие знаменитые путешественники... Отличный охотник, любил природу, составил на редкость интересный энтомологический музей и подобрал богатую при нем библиотеку по энтомологии, куда приезжали работать из Томска, Петербурга и других городов. Американцы предлагали Родионову за музей большие деньги, но он заявил, что музей и библиотека будут переданы Иркутскому университету, когда он откроется.» (И.И. Попов) Член комиссии Городской Думы по вопросу открытия университета, на строительство которого пожертвовал 50 тыс. рублей и содействовал устройству астрономической обсерватории. Одним из первых в Восточной Сибири завел мотоцикл и автомобиль, первым в городе приобрел аэроплан и предоставил его аэроклубу «для ознакомления всех желающих». После революции остался в Иркутске. Всё имущество, включая коллекцию и библиотеку, было реквизировано. Арестован 19.2.1931 г. по ст. 58-10 и умер в заключении 8.8.1931 года.

В браке родились три девочки – Галина (1896), Юлия (1898–1919, Япония) и Елизавета (1901). Но брак не удался – при всей благополучной видимости, политические (sic!) взгляды супругов совершенно не совпадали. «...из-за революции в 905-м году разошлась с мужем Родионовым» – так писала сама А.А. Она оставляет мужа с дочерьми в Иркутске и в 1906 году уезжает в Москву.

Они, конечно же, были знакомы и раньше – между ними неполных четыре года разницы, родились и выросли рядом на кяхтинском бульваре миллионеров. Когда и как произошло вторичное «знакомство» Аполлиарии Алексеевны с Борисом Алексеевичем Швецовым не известно, но приблизительно с 1905–1906 гг. они были вместе. До конца.

«...В моих детских воспоминаниях особое место занимают походы в гости к моей бабушке Лене. Я не помню, какими блюдами она нас угощала, но в памяти навсегда осталось завершение обеда – чаепитие. Безупречно накрытый чайный стол, сервант, из которого доставались фарфоровые чашки и блюда, вазочки на длинных ножках и розетки для варенья, сахарница с кусковым сахаром и щипцами, желтый лимон, коробка конфет, пастила... И, конечно, сам чай – всегда черный, ароматный, крепко заваренный, другой

бабушка не признавала и 'брандахлыст' (по ее словам) никогда не пила. Я до сих пор помню, как приятно пахло в старинном шкафу, где за стеклом поблескивали чашки-блюдца, а слева на нижней полке стояла странная (для меня) «сахарная голова», завернутая во что-то шуршащее...»

– вспоминает Надежда Стоянова, чья прабабушка Елена Владимировна Варли (урожденная Швецова, 1904–1994) приходилась старшей внучкой кяхтинскому «чайному» купцу 1-й гильдии А.В. Швецову.

Алексей Васильевич Швецов (1842–1912) был родом из Московской губернии. Его отец Василий Алексеевич (1819–1897), московский купец 2-й гильдии, торговал чаем на Варварке и пристроил сына приказчиком в знаменитый столичный торговый дом «Петр Боткин и сыновья». Юноша оказался шустрым, и вскоре его отправили в Кяхту на китайской границе Забайкалья – следить там на месте за оптовыми закупками чайного товара.

А.В. Швецов был от природы энергичен, хорошо образован и талантлив по торговой части. Поднакопив денег (по слухам, не совсем законными методами) и выгодно женившись на купеческой дочери Екатерине Ивановне Спешиловой (1849–1932), он уже через пару лет начал самостоятельную торговлю, записавшись в Кяхте сразу в купцы 1-й гильдии, то есть официально задекларировал приличный капитал. Вскоре во всех крупных городах России открываются чайные магазины «А.В. Швецов из Кяхты», суммарный оборот от которых к концу 1880-х гг. перевалил за миллион рублей.

Прекрасно понимая важность рекламы, Швецов выпускает всякого рода сувениры: расписные чайные блюдца, подносы, подстаканники, зеркала, чайные коробочки, плакаты, календари – с целью сделать свой чай популярным среди широких слоев населения: дворян, мещан, солдат... Именно «швецовский» чай рекомендовался для широкого потребления в трактирах. «В подарок потребителям чая Алексея Васильевича Швецова» – гласит надпись на красивых расписных чайных блюдцах конца XIX века.

Одним чаем Швецов не ограничился. В Иркутске и Томске он возводит доходные дома. Вместе с другими кяхтинскими купцами основывает пароходное товарищество для перевозки пассажиров и товаров по Байкалу и сибирским рекам. На паях с первогильдийцами Молчановыми, Собениковым и Корнаковым строит в Троицкосавском уезде крупный кожевенный завод. К 1885 г. капитал А.В. Швецова составляет уже более 15 млн. руб. – это второе по величине состояние во всей Сибири (после Я.А. Немчинова).

А.В. Швецов неоднократно избирался предводителем кяхтинского купечества, городским судьей, гласным Троицкосавской Думы, возглавлял попечительский совет ремесленного училища, попечительствовал над Троицкосавской женской прогимназией, занимался

благотворительностью. В этом нет ничего исключительного, по тем временам такого рода публичная деятельность состоятельных купцов являлась «традиционной необходимостью». Результат не заставил себя долго ждать. Указом Правительствующего Сената в 1891 г. А.В. Швецов «возведен в сословие Потомственных Почетных Граждан вместе с семейством: женою Екатериной Ивановной и детьми – сыновьями: Владимиром, Борисом, Василием, Пантелеймоном, Иваном, Сергеем, Алексеем, Николаем, и дочерями: Елизаветой, Екатериной и Марией».

По натуре А.В. Швецов заметно выделялся из кяхтинского окружения. «А.В. Швецов был европеец, владел английским языком. Он приехал в Кяхту в начале 70-х гг. и не пустил там глубоких корней...» (И.И. Попов). И, видимо, именно к нему относится следующее, царившее среди томских купцов, мнение: «...а про Кяхту и говорить не приходится, там купцы – англичане».

В самом деле, в кяхтинском быте семьи Швецовых не было и тени провинциальности, это был даже не «столичный», но «европейский» дом в самом широком понимании этого слова. «Апартаменты кяхтинцев были обширны... Комнаты были всегда со вкусом меблированы... Картины, библиотека, музыкальные инструменты, бильярд, иногда зимний сад и всегда роскошные комнатные растения...» (И.И. Попов). На фотографии кяхтинского особняка Швецовых – парадная двойная зала анфиладой, арка проема убрана деревянными резными панелями, хорошо начищенный паркет, мебель тонкой резной работы, хрустальная люстра, много «экзотических» растений – в больших кадках высокие под потолок фикус и пальма. Комната залита солнечным светом, проникающим из сада через необычные для Сибири высокие, от пола до потолка, окна.

Фотографий в семейном архиве Швецовых много: бытовые сценки в доме, в саду, на прогулках, виды Кяхты и ее окрестностей... Причем это не просто любительские снимки, но «стереооткрытки» – наклеенные на толстый картон двойные фотографии, сделанные специальным сдвоенным аппаратом и предназначенные для просмотра в бинокляре. В начале XX в. это было модно в Париже, где специализированные магазины предлагали разные модели так называемых «стереоциклов» от 300 до 600 франков...

В конторе торгового дома Швецовых ведутся приходно-расходные книги, отпечатанные на французском и выписанные из Константинополя от *Zellich Frères*. На бамбуковых этажерках в комнатах дочерей стоят со вкусом сделанные фотоальбомы: каникулы в Китае – Шанхай, Пекин... На снимках веселится и дурачится молодежь – смешные позы, игривые подписи. У маленьких внуков и внучек – беззаботное счастливое детство.

Фотография у крыльца усадьбы: девочка лет шести щурится от солнца – белая панамка, короткое платьице, панталончики и спортив-

ные гетры, под мышкой – роскошная кукла с длинными черными волосами, двухколесный велосипед; сзади на крыльце стоит бонна, на раскладном стуле сидит улыбающаяся бабушка, с нею рядом пожилой мужчина в летнем костюме-тройке с галстуком и в канотье, белая клинышком борода...

Не только в Москву, но и вообще в Европу Швецовы ездят часто, по делам, на отдых и лечение, целым семейством. А путешествия, как и образование, сильно меняют отношение к сословным предрассудкам.

Как только пошли слухи о проекте транссибирской магистрали (было очевидно, что в Кяхту она не зайдет, а это означает конец чайной монополии), Швецовы стали расширять и, как теперь принято говорить, *делокализовывать* сферу своей деятельности.

В Средней Азии приобретаются огромные хлопковые плантации. В Москве за 5 млн рублей (причем без кредита, «в долг не брать!» – девиз Швецова-отца) покупаются дома № 34 на Софийской набережной и № 12 по ул. Болотной – так называемое «Кокоревское подворье» с окнами на Кремль. После капитального ремонта – лифт, электрическое освещение, телеграф, телефон – здесь открылся своего рода деловой центр для торговых людей – гостиница с рестораном и складские помещения под одной крышей.

В 1909 г. основывается товарищество на вере «А.В. Швецов и Сыновья» с заявленным капиталом в миллион рублей. Отец уже в возрасте, и распорядителями становятся сыновья – Борис, Сергей, Иван, Алексей, Пантелеймон, Николай и Иннокентий Алексеевичи. Очень скоро Торговый дом Швецовых, торгующий «пищевыми и вкусовыми продуктами», стал одним из крупнейших в России. Но главной сферой коммерческой деятельности Швецовых в начале XX века становится экспорт сибирской пушнины – прямые оптовые поставки ценных мехов из Восточной Сибири через Китай морем в Лондон, где для совершения международных торговых операций была специально учреждена акционерная Англо-Сибирская компания (Anglo-Siberian Co, Ltd).

В 1911 году граничащая с Забайкальем Монголия обрела независимость (от Китая), и Швецовы такой шанс не упустили, быстро и мощно развернув здесь свою торговую сеть. Во всех ближайших улусах – в Урге, Цзаин-Шаби, Трятах, Ван Курене, Улясутае, Кобдо – один за другим открылись отделения Торгового дома, принося хозяевам миллионы. Позднее, уже после революции, когда экономика края трещала по швам и местные купцы прогорали друг за другом, дольше всех продержался Торговый дом Швецовых.

К старости глава семьи А.В. Швецов стал слепнуть. Его безуспешно пытались лечить, возили за границу к мировым светилам. В 1912 году, будучи на курорте в Люцерне (Швейцария), А.В. Швецов скончался. После смерти отца и старшего брата Владимира вся ответственность за торговую империю Швецовых легла на плечи Бориса

Алексеевича, который из всех братьев был, безусловно, самой яркой и заметной фигурой.

Одними деловыми качествами человека, разумеется, не охарактеризовать. Это – канва, «набросок карандашом», тогда как для настоящего портрета необходимы «краски», свидетельства иного рода. И тем не менее, приведем несколько сухих выжимок о нашем герое.

Из справки Министерства торговли и промышленности (1914):

«Швецов Борис Алексеевич. Коммерции советник, потомственный почетный гражданин. Начал свою деятельность на торговом поприще в 1897 году в качестве главного доверенного своего отца по заведыванию торговлей чаем, сахаром, хлопком и каракулем в крупных торговых центрах Европейской и Азиатской России. С учреждением в 1909 г. торгового дома 'А.В. Швецов и Сыновья' Б.А. Швецов вошел в дело в качестве товарища-распорядителя, причем по его инициативе дела фирмы расширены, организована торговля в Монголии по скупке сырья и сбыту мануфактурных товаров, открыты отделения в Урге, Улясутае, Заиншаби (sic) и др. пунктах Монголии; в настоящее время обороты Торгового дома достигают 7 миллионов рублей. Не ограничиваясь чисто торговой деятельностью, Швецов охотно несет и общественную службу в качестве выборного биржевого общества и члена Общего Присутствия Казенной Палаты, внося свои знания и богатый опыт при разрешении разного рода вопросов, имеющих отношение к торговле...»

Авторитет Бориса Алексеевича высок, должностей у него много: директор Товарищества чайной торговли «Василий Перлов с сыновьями» (Москва), член совета Московского купеческого банка, член правления Московского коммерческого банка, член правления Северного страхового общества (Москва) и т.д. и т.п.

Еще в 1906 г. Швецовы стали владельцами Грибановского сахарного завода в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии. В 1916 г. было выпущено акций на 1,250,000 рублей, основным держателем которых стал Б.А. Швецов с супругой А.А. Лушниковой.

Уже после революции, в 1920 году, Б.А. участвовал в создании и деятельности «Лондонского и Восточного Торгового Банка» (London & Eastern Trade Bank), учрежденного, «дабы создать организацию, которая смогла бы в будущем при воссоздании России способствовать развитию торговых сношений между Россией и Англией и смогла бы одновременно восстановить деятельность в России Московского Купеческого Банка». Встречаются упоминания, что именно в этом банке были помещены суммы, по большей части полученные от продажи последней части колчаковского золота. Впрочем, это гипотеза...

А теперь добавим «красок». Очень душевно вспоминала о Б.А. Швецове его фавьерская соседка Л.С. Врангель, ей и слово¹³.

«В глухом углу Прованса, на каменной террасе сидел мой старый друг сибиряк, заброшенный судьбой сюда так же, как и я. Он поверял мне свои

думы, высиженные в одиноком кабинете, где он подсчитывал [убытки от] ликвидации своих контор в Нью-Йорке и Лондоне. Чужд был ему удивительный Прованс: всё ему здесь казалось 'ненастоящим', а 'настоящим' всё еще были его огромные предприятия хлопчатых плантаций в Туркестане, сахарный завод на юге России, меховое, а главное – чайное дело около Кяхты, на границе с Монголией. Это была его родина. И с грустной улыбкой он говорил:

– Во всех моих прибылях я заинтересовывал моих служащих и рабочих... 'Не дури!' – говорил мне отец, а вышло так, что рабочие сами отстаивали мои заводы от власти революционных комитетов 1905-го года.

Грузный, с расстегнутым воротом на своей могучей сибирской груди, он отхлебнул холодного чаю. <...>

– Вы спрашиваете о Кяхте, – обратился он ко мне. – Это особая статья: это и Сибирь, и Монголия, и как пограничная область была на особом положении. Мы, как пограничники, могли обращаться к высшему правительству, минуя канцелярскую волокиту. Вдали от центра Кяхта была либеральна, как вообще Сибирь, и богата чаеоторговлей. У меня были особые отношения с монголами. В те времена Монголия была под протекторатом Китая, и власть монгольского Ламы разделяли китайские чиновники. Главный Лама жил в столице Урге, а окружные ламы управляли своими округами. Я наладил в Монголии [отделения] банка 'Общества мелкого кредита'. Они хорошо пошли, и Лама дал мне титул Монгольского князя. Лама принимал меня в своем монастыре, сидя на желтом пуфе, с желтой митрой на голове. По ритуалу мы говорили по-монгольски, хотя Лама хорошо говорил по-русски. Спрашивал: как здоровье? нравится ли мне Монголия? – и угощал портвейном.

Мой друг замолчал, стряхнул осыпавшиеся цветы глицинии со стола и продолжал:

– А монастырь этот около Кяхты был большой, окруженный глиняной стеной, – раньше это была крепость. Внутри – храм Будды, дом Ламы и келья монголов, работавших на земле и учивших окружных детей буддийской мудрости. А кругом холмистая степь с высокой травой летом и солнечными снегами зимой.

– А что они сеют и садят? – спросила я.

– Кроме чеснока и лука у них нет никаких овощей, нет, конечно, и фруктов. Едят они баранину, пьют молоко. Народ коренастый, крепкий, белолицый, носы тонкие с горбинкой, как у кобчика. Женщины краснощечкие с мелкими белыми зубами, не знающие болезней. Но они иногда заболевают туберкулезом, если начинают жить по-русски в душных избах, непривычных для них. Их женщины допускаются в монастырь после 50-ти лет, но они должны обрить голову и ходить в мужском костюме. Около монастыря стоят столбики вроде фонариков, с мельничками. Монголы вертят ручку мельницы столько раз, сколько прочтут молитв, и шепчут: *мань, мань, мань*. Около монастырских стен происходят монгольские празднества. Амфитеатром на холмике сидят зрители, а внутри на сцене актеры в страшных масках изображают борьбу добрых и злых духов. <...>

У меня был один приятель-монгол, женатый на русской, – мы с ним вели чайное дело. Он мне подарил две великолепные нефритовые вазы – одну из них я отдал Горькому, собиравшему во время революции редкие

вещи и особенно фарфор. Так этот монгол купил у Японии островок, где водились олени, и ездил туда 'на дачу'.

Он задумался, и мы замолчали. За его виноградником у ручейка, заросшего камышами и фигами, пел соловей и где-то далеко пел и другой. <...>

– Я был молодым человеком, когда отец послал меня со своим доверенным в Китай учиться чайному делу. Я ехал с монгольским караваном, отвозившим русскую почту. Ехал мимо пикетов, улусов, через пустыню Гоби в Ханькоу, на верблюде, покачивался под его широкий мягкий шаг. Колокольчик под его шеей убаюкивал меня, а я читал Пушкина. Научился выбирать чай по запаху, вернулся в Москву и продолжал чайное дело отца.

– Да, – вспомнил он. – Ссылные, помните, еще со времени Меншикова, Сперанского, декабристов и последующих, встречали в Сибири хорошее отношение и оказывали большое влияние на умственный уклад жизни сибиряков. Так же, как жены декабристов, учившие местных детей, – жены кяхтинских чаоторговцев учили и жертвовали много на церковно-приходские школы, снабжая их прекрасными библиотеками, открывали гимназии, позднее – отделы Географического Общества. Сабашников первый пожертвовал 50 тыс. рублей на просветительные цели. Декабрист Николай Александрович Бестужев подарил моему тестю портреты декабристов, написанные маслом в романтическом духе, а также сцены их повседневной жизни. <...> Он же выписал семена цветной капусты, арбузов, дынь, которые хорошо привились, и ими торговало вскоре местное население. Н.А. Бестужев умер в Селенгинске подле Кяхты, и мой тесть похоронил его в 'Бестужевской пяди', где он любил бывать и ловить рыбу. Он же поставил памятник дочери декабриста Анненкова. <...>

Провансальская ночь окутала темным туманом нашу террасу и всё кругом и запела свою ночную песенку: где-то далеко сувушка-сплюшка затянула свое нежное: сплю, сплю, сплю, и кузенчики уютно застрекотали в траве. Прощаясь со мной, мой друг, улыбаясь, добавил:

– А известный бунтарь Михаил Бакунин, будучи племянником знаменитого генерал-губернатора Сибири Муравьева-Амурского и служа в его канцелярии в ссылке, задумав побег, получил деньги 'взаимы' от губернатора, и тот отвез его в собственном экипаже до Сретенска на Амуре, где Бакунин сел на пароход и затем доехал до Западной Европы...

Мы расстались...»

Вот такие они – «сибирские купцы Швецовы». До революции зимой жили в Москве, где дела, вечера и салоны, выставки и концерты, университет¹⁴. А на лето – как и большинство их знакомых писателей, художников, профессоров – уезжали в Крым, знакомый еще с детства.

1917 год застал Швецовых в Ялте. Интеллигентный Крым всё еще пытался жить прошлым (литературные чтения, лекции), хотя неизбежность пугающего будущего уже явно ощущалась.

«Сколько соловьев было у нас в парке в Ялте, как весело было в сиреневых кустах, и как особенно шумно распелись они в день ухода большевиков. Было раннее утро, когда ушел транспорт с остатками красных. То утро навсегда осталось у меня в памяти. Взошло солнце, было тихо-тихо. Я стояла на террасе среди цветущих слив и ждала Бориса Алексеевича, а он всё не воз-

вращался. Раздались шаги в саду, молодые люди с повязками скорой помощи окрикнули ‘Нет ли раненых?’ (после Варфоломеевской ночи) и прошли дальше. Борис Алексеевич пришел только к вечернему чаю. Всё ходил и ходил весь день, был в Ливадии – нервная прогулка...» (Из писем А.А.)

Весной 1919 года, не дожидаясь худшего, Швецовы выехали из Ялты на Кавказ и оттуда морем в Европу. Так Аполлиналия Алексеевна оказались на Лазурном берегу, где задолго до этого уже обосновалась ее родная сестра Екатерина Алексеевна, в замужестве Песке.

«БАСТИДУН» НА МЫСЕ ГУРОН

Екатерина Алексеевна Лушникова с детства проявляла способности к рисованию. И не только – у нее замечательно выходили разные фигурки, слепленные из глины или вырезанные из дерева. Выбравшись в Петербург, она поначалу выбрала для себя естественнонаучную стезю, но прислушалась к советам старшего брата Саши, уже известного художника, и, в конце концов, оказалась в Париже в мастерской Родена и Бурделя, у которых брала уроки ваiania.

Круг «служителей искусства» тесен, богема, все всех знают... Вскоре Е.А. знакомится с художником польско-украинского происхождения Жаном Песке (Jean Peské, Jan Mirosław Peszke, 1870–1949) и в 1901 году выходит за него замуж. Мать четырех детей Mirrha-Claudine (1902–1985), Marie-Madeleine (1906–1990), Jean (1908–1994) и Hélène (1910–1995), она постепенно отошла от творчества и полностью посвятила себя семье.

Профессиональный художник Жан Песке привык к блокноту в кармане – бумага и карандаш всегда должны быть под рукой. Неизменными спутницами были ему записные книжки, на страницах которых он оставлял короткие записи, размышления, цитаты из книг, мысли о вечном. Интересные мемуары оставила и одна из его дочерей. Нижеприведённые фрагменты их воспоминаний рассказывают нам о *предыстории* русского Фавьера.

Жан Песке: «В 1891 году, двадцати лет от роду, я приехал в Париж. Полгода проучился в академии Жюлиана, потом по совету новых друзей-художников стал работать сам. Небольшое наследство, оставленное мне отцом, вскоре кончилось, в 1895–1899 я практически ничего не создал – главной моей задачей было не помереть с голоду, где только мог, я подражался раскрашивать декорации – в 1900 в Париже намечалась Всемирная выставка, оформительских заказов хватало, и мне удалось отложить небольшую сумму, чтобы провести некоторое время в деревне, где я смог наконец-то спокойно заняться живописью. <...>

В 1901 году я женился на Екатерине Лушниковой. Она была очень способная, всегда легко училась, всегда была среди первых, после гимназии в Сибири окончила Петербургский университет, решила посвятить жизнь

науке и отправилась изучать химию в Лондон. По какой причине она выбрала именно химию да к тому же еще и в Лондоне, из-за чего решила оставить науку и приехала в Париж учиться скульптуре сначала у Родена, а затем у Бурделя, – я не знаю.

Она вышла за меня замуж и принесла с собой огромное приданое. Мы зажили богато и счастливо. Я работал очень много и в ателье, и на пленэре, но в 1905 году заболел и полгода не вставал. Меня прооперировали, я похудел почти на двадцать килограмм. Доктор, вытащивший меня с того света и видя мое ужасное состояние, велел жить в деревне, запретив работать до полного выздоровления.

Вплоть до 1910 года мы неоднократно переезжали с места на место – Барбизон, Буа-ле-Руа, Мелан, а зиму стали проводить в Борм-ле-Мимоза (На средиземноморском побережье недалеко от Тулона. – *М.М.*), где с 1910 по 1915 жили уже безвыездно. Я выстроил там себе небольшой домик-мастерскую у самого моря (На мысе Гурон – «Бастидун». – *М.М.*). В эти долгие месяцы уединения вдали от Парижа я работал как одержимый – ничто меня не отвлекало и не расхолаживало. Уже после того, как мастерскую мне пришлось продать, мы возвращались к морю ежегодно в течение многих лет...»

Детские воспоминания всегда яркие и сочные. О тех самых пер-вых годах, когда под фавьерскими соснами впервые раздалась русская речь, вспоминает Marie-Madeleine – дочь Екатерины Лушниковой и художника Песке:

«Мой младший брат Жан рос рахитичным <...>, и доктор посоветовал лечение солнечными ваннами где-нибудь на юге. Средиземноморское побережье папа знал еще с 1890 года и точкой назначения выбрал Борм. В первый раз Жан отправился туда с тетей Верой (Поповой, урожд. Лушниковой. – *М.М.*), приехавшей во Францию на наши крестины в 1909 году. Они остановились в отеле со всеми удобствами на центральной площади Борма. Сестры Faraud, державшие там бакалейную лавочку, до сих пор вспоминают: 'Представляете – русская дама в Борме! И при том говорит по-французски!...' <...>

Каждый год по осени, в октябре, мы всей семьей отправлялись на юг, чтобы провести там всю зиму. Путешествие из Парижа в Борм... Сколько раз мы его проделали за нашу жизнь! Причем церемониал всегда оставался неизменным – на вокзале нужно было быть как минимум за два часа до отправления поезда! Помню, всё во мне восставало против этого маниакального стремления приезжать заранее. То была чисто русская привычка – в той огромной стране всякий вояж становился Событием. Перед самым выходом из дома, когда все вещи уже сложены и все одеты, нужно присесть на несколько мгновений и помолчать. А если ты спешишь на вокзал за два часа до отхода поезда, то лишь потому, что там будут все твои друзья и родственники, так что проводы могут затянуться до самого свистка паровоза.

В те времена путешествовали не торопясь, днем. Первый этап: Париж – Марсель. Мы приезжали уже вечером и неизменно останавливались на ночь в отеле 'Belsunce' недалеко от вокзала. Второй этап: Марсель – Борм. Утренний поезд до Тулона, там пересадка до Йера, затем пешком до ботанического сада к другому вокзалу, от которого по узкоколейке ходил Мишеллин уже до Борма.

На вокзале нас встречал Гастон со своей старой лошадкой, запряженной

в небольшой экипаж, места в котором едва хватало для нашего багажа и мамы с малышами. Папа, сестра Клодин и я взбирались по склону до города по тропинке. Сегодня это асфальтовая дорога, а я до сих пор помню запахи сухой травы, кустов можжевельника, листьев деревьев, особенно сильный ближе к ночи. <...>

С 1910 по 1915 гг. мы снимали дом в Борме, [а после уже жили в папином домике у моря, там в] 'Бастидуне' мы проводили каждое лето с 1914 по 1924 год [и приезжали позже уже взрослыми со своими собственными детьми]*.

Школа Борма была слишком далеко от Фавьера, и я стала ходить в школу в Лаванду [да-да! если летние каникулы мы проводили дома на севере, то здесь, на юге, с октября по июнь исправно ходили в школу]. Дорогу тогда еще не провели, тропинка петляла сначала через сосновый лес, потом шла через тростники и затем вдоль моря. Небольшая речка, скорее даже ручеек, совсем узенький летом, зимой разливался, а моста не было. Со всей силы я перебрасывала на тот берег свой портфель, корзинку с завтраком, ботинки и перепрыгивала следом, зажав в руках снятые носки. Порой мой номер не удавался, и я приземлялась прямо в илестую грязь. И так каждое утро, когда я шла по берегу одна. Но после уроков мы возвращались вместе с девочками с соседней фермы и выбирали дальнюю дорогу. Шли не торопясь, спешить было некуда, уроки выучить всегда успеем, и мы собирали ягоды, вишню, дикую спаржу <...> Я окончила школу с моими подружками из Лаванду.»

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Именно сюда, в Фавьер, в «Бастидун» и захала навестить родную сестру («Ура! Тетя Поля приехала!») А.А. Швецова. Борм на горе был ей знаком еще с довоенных времен, а вот мыс Гурон, поросший сосновым лесом, она увидела впервые, и он очаровал ее с первого взгляда – совершенно пустынный, дикий уголок, как две капли воды напоминал только что оставленный милый горный Крым. Она немедленно поручает своему поверенному в делах Н.С. Красулину приобрести большой участок приморского соснового леса у самого основания мыса Гурон. Земля эта считалась бросовой, и местный нотариус лишь пожал плечами – пойдешь разбери этих странных русских... Купчая была составлена, а Швецовы тем временем обосновались в Ницце – «французской Ялте» (Чехов), навевая время от времени в Париж.

Однако жизнь диктовала свои условия. Коммерческие дела Бориса Алексеевича шли всё хуже и хуже, смерть одного брата, жульничество другого. Жить в дорогих отелях становилось накладно, и в 1923 году в Фавьере закладывается «большой дом» – в верхней части участка возле леса, сразу над виноградниками, с видом на море. Сюда супруги и переезжают годом позже на постоянное¹⁵ место жительства.

Фавьерское лето 1924 года выдалось удивительным. Не только погодой, она здесь всегда прекрасна, сколько новой атмосферой... рус-

* Вставки сделаны публикатором.

ского Крыма. Родных, друзей и знакомых у А.А. Швецовой было много, письма она писать любила и умела. Так что весть о прелестном уголке Прованса быстро разлетелась по всей русской Франции. И звалучал на пляжах Лаванду и Фавьера русский язык.

Первыми приехали дочери Аполлинарии Алексеевны – Галя и Лиля. Муж старшей, Гали, – Иннокентий (Кена) Алексеевич Швецов приходился братом Б.А. Швецову – мать и дочь вышли замуж за родных братьев, чем создали настоящую головоломку для будущих генеалогов. У них двое маленьких сыновей – Владимир (род. 1915) и Борис (род. 1917).

Затем к братьям Швецовым приехали их родные сестры. Екатерина Алексеевна, которую отец в свое время отправил в пансион в Швейцарию, назад в Россию уже не вернулась, вышла замуж за лидера украинского землячества журналиста Ярослава Федорчука, в 1916 году овдовела; отцовское наследство долго позволяло ей, ничего не делая, возвращаться в парижских культурных салонах, но деньги постепенно кончились, и она оказалась в Фавьере, чтобы больше его никогда не покидать. Именно Е.А. Федорчук сохранила уникальные фотографии русской колонии середины 1920-х годов.

Путь другой сестры – Марии Алексеевны – был много сложнее и страшнее. Ее мужа Николая Токмакова расстреляли в Иркутске в 1921 году, а сама она с четырьмя малыми детьми пересекла Монголию и Китай и затем морем добралась до Франции, где ей отказали в визе. Проведя два года в Германии и дождавшись, в конце концов, разрешения властей, она перебралась к родным в Фавьер.

Приехала навестить детей Швецовых и мать – Екатерина Ивановна. Несмотря на преклонный возраст – 75 лет, она совершила почти кругосветное путешествие, бежав из Кяхты через Тяньцзинь и Японию в Сан-Франциско, затем, погостив в Нью-Йорке у сына, села на паром до Гавра, поездом на перекладных добралась до Фавьера, чтобы, отдохнув немного, ехать потом дальше – в Польшу, к старшей дочери.

«ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ»

Тем же летом 1924 года оказалась в Фавьере и баронесса Людмила Сергеевна Врангель (1881–1969) с мужем и сыном.

Баронессой Врангель она, урожденная Елпатьевская, стала благодаря своему второму браку. Барон Николай Александрович Врангель (1887–1961), несмотря на титул и громкую фамилию¹⁶, был обыкновенным инженером-путейцем и сооружал железные дороги под началом Гарина-Михайловского, через которого в Крыму и познакомился со своей будущей женой. В 1913 году у них родился сын Сережа.

Несколько слов нужно сказать о первом муже Людмилы Сергеевны –

П.Е. Кулакове. Петр Ефимович Кулаков (1867–1937) был коренной крымчанин, учился в Петербурге, где двадцатилетним успел «побаловаться» политическим терроризмом, за что и угодил в сибирскую ссылку. В Иркутской губернии времени не терял, занимался статистическими и этнографическими исследованиями инородцев, написал несколько статей, вступил в члены Географического общества и даже был удостоен (1898) Малой серебряной медали за свои научные труды. После возвращения из ссылки вращался в столичных околотических кругах. В конце 1900-х участвовал в попытке возрождения издательства «Общественная польза». Основатель фирмы «Стереографическое издательство Свет» (это он издал открытку со знаменитым цветным фотопортретом Толстого). С начала 1910-х отошел от активной деятельности и, погруженный в хозяйственные заботы, жил почти безвыездно в своем крымском имении «Скели» у Чатыр-Дага. В браке с Людмилой Елпатьевской родилась дочь Елена (Люля), но... В крымской глуши «Людмила Сергеевна скучала без общества и подолгу гостила у своих родителей в Ялте. Хорошенькая, веселая, кокетливая молодая женщина, она была [почти на пятнадцать лет] моложе мужа – бесцветного и неинтересного человека. Он был очень большого роста и лицом похож на ‘унылого верблюда’, как удачно сказал о нем Бунин» (М.К. Куприна-Иорданская). Впрочем, имеются и противоположные свидетельства: «Петр Ефимович Кулаков был очень интересный, живой, общительный человек... старый знакомый Билибина, который часто бывал у Кулаковых...» (К.Н. Янович). Позднее П.Е. Кулаков жил в Алма-Ате, где тихо работал экономистом, но в декабре 1937 года (70 лет) был арестован и тут же расстрелян по 58-й статье. Реабилитирован в 1957 году «за отсутствием состава преступления».

Долог был путь изгнания семьи Врангель – большевистский террор в Крыму, Константинополь, Болгария, сербская провинция, Загреб, французская Бургундия... Так что приглашение А.А. Швецовой приехать отдохнуть в Фавьер было принято ими с радостью, а месяц у моря породил мечту... Отец Людмилы Сергеевны¹⁷ был давним близким другом Швецовых. Высокообразованный человек исключительных душевных качеств, он притягивал к себе людей – Чехов, Куприн, Короленко, Мамин-Сибиряк, Вересаев... В этой атмосфере долгое время жила Людмила Сергеевна, унаследовав от отца обаяние и... практическую сметку.

В 1911 году в Крыму она приняла самое деятельное участие в организации дачного поселка Бати-Лиман: «Однажды я узнала, что татары в Байдарской долине не знают, что делать с купленной ими... прибрежной скалистой полосой, негодной для их нужд. В несколько дней мы нашли среди наших знакомых желающих купить на паях эту скалистую землю... То были артисты Художественного театра, художники, профессора, общественные деятели...»¹⁸

Приморский Фавьер настолько напомнил потерянный рай Крыма, что Л.С. во что бы то ни стало решила тут закрепиться – купить землю и построить. Над Швецовыми, почти на вершине холма, вдова фермера продавала большой участок земли, но уступить

лишь небольшую его часть (на всё средств у Врангель не было) отказалась.

«Приехав по приглашению Швецовы в Ла-Фавьер всей семьей, мы были очарованы им, и мне захотелось устроить здесь второй Бати-Лиман. Знакомая фермерша продала нам целый холм за ничтожную сумму и так же, как в Бати-Лимане, я быстро нашла желающих принять участие в нашей покупке, и, конечно, в первую голову откликнулись на мой зов батилиманцы из Парижа: И.Я. Билибин, П.Н. Милюков, А.А. Титов, и крымчаки: С.С. Крым, Белокопытов со своей сестрой Ольгой Николаевной Мечниковой, проф. С.И. Метальников, а также наши общие знакомые: проф. Н.А. Безсонов, поэт Саша Черный с женой, писатель Г.Д. Гребенщиков, С.С. Воейков, продавший впоследствии свой участок земли С. Лукомской, проф. Когбетлянци, художник Околов, Я.Л. Рубинштейн¹⁹. Так появился на одном Ла-Фавьерском холме Cité Russe, как его называли местные французы...» (Л. Врангель).

Так летом 1925 года на Фавьерском холме появились русские. Л.С. вспоминала то прекрасное прошлое четверть века спустя, а потому сказала аберрация времени – в ее списке «основателей» колонии оказались и те, кто не имел к этому делу абсолютно никакого отношения (Гребенщиков – о нем мы расскажем дальше), и те, кто оказался тут позже (Черный). Саша и Маша Черные («двигателем» в этом тандеме была всё же Маша – Мария Ивановна Гликберг-Черная) купили себе участок лишь четыре года спустя после основания колонии – в 1929 году. Николай Станюкович вспоминал о своих средиземноморских каникулах так:

[В начале 1930-х годов] «мы проводили каникулы <...> в благословенном Фавьере, обратившемся после войны в шумный курортный поселок, а тогда состоявшем из немногих русских дачек, под соснами у моря, на великолепном песчаном пляже которого собирались и разбредались вдоль берега десятки два-три русских фигур – подлинное раздолье!

Саша и Маша Черные <...> проживали вначале вместе с Билибинными и нами на даче Милюкова.

Куприн ютился в сарайчике для рыбацких лодок на самом берегу. Тут же поблизости проживал милый старик Соломон Крым, бывший председатель крымского правительства, автор книжки сказок, вдохновленных татарским эпосом, а в эти времена обратившийся в официального 'дегустатора' вин, великим знатоком которых он – крымский винодел – почитался издавна.

С многочисленной и пестрой семьей в своей дачке отдыхал здесь и крупный ученый, а вместе с тем и взрослый ребенок, добрейший проф. Метальников. Рядом прилепилась на склоне приземистая дачка полковника Белокопытова, когда-то владельца великолепного имения на Украине, с домом-дворцом, сказочным парком, фотографии которых у него чудом сохранились. Этот стройный величественный старик, брат чудесной старушки художницы – вдовы Мечникова, – имел обыкновение при приезде любимых им дачников, к которым я имел честь принадлежать, подымать над домом, на высоком шесте, русский флаг, и когда, перевалив холм, отделяющий бухту

Фавьера от низменности Лаванду, я охватывал взором русские дачки и трепещущий над ними трехцветный флаг, мне казалось, что я вернулся домой <...>

Интересно, что французские власти, желая придать свободной русской колонии привычные им формы, официально почитали полковника Белокопытова нашим мэром и направляли на его имя все официальные бумаги общего значения.

В Ла Фавьер наезжали и поэты Борис Поплавский, который предавался на пляже атлетическим упражнениям с гириями, вернее, с одной гирей, заменяя недостающую консервной банкой, наполненной песком, Вадим Андреев и Антонин Ладинский, бывали и другие, художники, ученые – всех не перечислишь...»²⁰

То был Золотой век русского Фавьера – первая половина 1930-х годов. Взять хотя бы вскользь сказанное Ниной Берберовой: «С юга (Фавьер) приехала Е.К. и рассказала, что весь Фавьер (русское место) повторяет мою фразу о том, что я люблю трудную жизнь...»²¹ Тут «весь» отнюдь не случайно, но наоборот – показательно. В среде русских парижан Фавьер хорошо известен – он принадлежит уже не французской географии (La Favière), но – русской истории («русское место»): «Слава о нашем уголке разносится быстро, вот все и рвется к нам...» (из писем А.А. Швецово́й).

Что правда, то правда, в Фавьер тогда наведывались погреться на солнышке многие, из гостей и хозяев можно составить внушительный список (навверняка, неполный): Швецовы, Врангели, Милоковы, Мечниковы, Метальниковы, Черные, Когбетлянцы, Безсоновы, Куприны, Франки, Оболенские, Богдановы, Шиловские, Гольде, Гречаниновы, Цветаевы, Рожанковский, Кудин и де Планьи, Билибин и Щекатихина, Ларионов и Гончарова, Поплавский и Столярова, etc. И это только фамилии, что называется, «на слуху». А сколько «простых смертных», имена которых история не сохранила, всю зиму копили средства, чтобы вырваться сюда на пару августовских недель с детьми.

Часто о Фавьере упоминают как о *русской колонии*, что невольно создает образ некой общности, коммуны, своего рода Куоккалы–Коктебеля. Это не так. Фавьер – это пересечения (!) множества очень разных и большей частью совершенно не связанных между собой человеческих судеб, – встречи случайные, отпускные, мимо-летние (мимо-летние).

Даже топографически русский Фавьер сам собой как бы поделился на четыре довольно своеобразные «зоны обитания».

Наиболее привилегированное месторасположение занимало, разумеется, имение Швецовых – на границе прибрежного соснового леса и виноградников, поднимающихся вверх по склону. Измором «откушенный» еще в до-фавьерские времена клочок швецовской земли (о том мы расскажем отдельно), номинально принадлежавший «американцу» Гребенщикову, лежал заброшенным. Сей лакомый

кусочек долгие годы не давал покоя баронессе Врангель, в конце концов, на нем и построившей свой второй домик (в первом неказистом со «скворешной лестницей» – на *вилле Врангель* – провела месяц у моря Марина Цветаева в 1935 году).

Дальше по склону на самом верху раскинулся «кооператив Людмилы Сергеевны», от которого вниз к «русскому» пляжу вела нахоженная тропинка. Дачи порой сдавали близким знакомым, а вот комнатку в пансионе Богдановой «La Colline» нужно было резервировать за полгода вперед – в сезон (с конца июля до конца сентября) ее недорогие «стойла» пользовались спросом.

На мысе Гурон, что как нос корабля вдавался в море, изначально стоял среди сосен лишь «Бастидун» художника Песке. В 1924 году его купил банкир Рувье – сын бывшего премьер-министра Франции, а вслед за ним тут же рядом построились еще несколько состоятельных парижан. Поначалу «французские» дачи были по карману не всякому – живописное место по-над морем с великолепной круговой панорамой до горизонта, скалы с пеной прибоя и песчаные пляжи с обеих сторон... Позднее тут обоснуется С. Крым, а его жена откроет здесь первый фавьерский ресторан.

Наконец, у самого пляжа в лесу под соснами раскидывали летом свои палатки непритомливые дикие туристы, паломничество которых стало массовым с середины 1930-х годов, когда левое французское правительство Народного фронта приняло закон об оплачиваемом отпуске. Эти четыре «сектора» существовали бок о бок, но перемещивались мало, – социальные уровни их обитателей слишком отличались друг от друга. Жили разными интересами и поколения, стар и млад – каждому своё.

Дачники в возрасте проводили время за беседами, гуляли, вспоминали прошлое, закусывали и выпивали, раскладывали пасьянсы и по мере сил трудились: ученые прилежно писали книги, а вольные ремесленники – художники, писатели, поэты – служили музам под настроение. Жены и подруги тех и других, как водится, обеспечивали быт своим мужчинам да нянчились с малышами – те в какой-то мере пока еще просто сливались с окружающей природой: «Был у меня сын четырех лет, известный тем, что ходил на [фавьерском] пляже всегда голый, за что его прозвали ‘самовар’...» – имеется в виду один из внуков А.А. Швецовой, это как раз начало 30-х.

«Чудесное лето» фавьерских подростков замечательно описал Саша Чёрный²² – новые знакомства, совместные игры, путешествия по окрестностям, связанные с ними открытия... и, разумеется, море, песок, солнце – до одури, до изнеможения.

Ну, а молодежь – уже не дети, но пока не взрослые – держалась особо... Про то хорошо написал Поплавский в своем романе «Домой с небес»:

«Олег хорошо помнит свои первые пробуждения в Фавьере... Сперва поражало: как это вообще может быть, что над головой вместо пожелтевшего потолка рюют чистые, всегда как будто только что вымытые ветви сосны, краше которых не выдумаешь, а между ними, над ними такое синее, такое безупречно синее небо в неопишуемой своей утренней ласке, верности, покое <...>

Счастье началось седьмого августа за длинным столом без скатерти, где сидело целое почти голое общество. Таня в длинных матросских брюках, Надя, необычайно красивая и неуклюжая девушка, на которой буквально ничего не было надето, кроме двух каких-то приспособлений с ладонь величиной, коричневый человек-обезьяна с чуть покрытым стыдом, и еще один высокий мрачный молодой человек в футбольных трусиках.

Еще здесь были старшие, крепкие, невеселые бородатые люди, сумевшие остаться на поверхности жизни, но, несмотря на смутный страх перед ними, Олег почти не замечал их...»

О каждом из обитателей русского Фавьера хотелось бы рассказать подробнее, потому как судьбы их интересны и поучительны. Но этот отдельный и неспешный разговор пока отложим на будущее.

«ЗАКАТ»

Увядание, как это всегда и бывает, происходит незаметно. Кажется, что всё по-прежнему, как всегда. И только вдруг понимаешь, что «уже не то...»

Первыми ушли в мир иной мужчины – Саша Черный, С.С. Крым, В.Н. Белокопытов, Н.Н. Богданов, Б.А. Швецов, И.А. Швецов...

«Большая часть дач в Фавьере принадлежала вдовам от 60 до 85 лет, похоронившим на местном кладбище своих мужей» (*В.А. Оболенский. Дневник 1942-43 гг.*) «Я называю наш уголок ‘вдовый’ – М-м Мечникова (80 лет), ее невестка вдова Белокопытова (68), вдова Саши Черного (69), вдова Богданова (60), вдова Гольде (60), вдова Федорчук (56)...» (*А.А. Швецова. Из писем 1938-39 гг.*)

А потом над всей Европой стали сгущаться тучи. Но, странно, человеческое сознание устроено причудливым образом, словно Природа, заботясь о своих детях, специально вложила в нас этот «защитный» рефлекс (впрочем, отнюдь нас не защищающий) – отмахиваться от, казалось бы, очевидной опасности, гнать прочь мрачные предчувствия. Самые разумные из нас, самые предусмотрительные и осторожные, и те до последнего тешат себя надеждой, что всё обойдется. Даже будучи уверены, что нет – не обойдется... А когда к тому же живешь далеко в глуши (а Фавьер – это по-прежнему *далеко* и *глушь*), тревожные вести извне долетают с задержкой. Даже новостям по радио верится с трудом, настолько услышанное не вяжется ни с окружающей безмятежной природой, ни с мирными повседневными заботами, привычка к которым убеждает нас в незыблемости бытия.

Мировая война уже всю громыхала, две трети Франции под

оккупацией... Но к Фавьеру трагедия подступала исподволь, постепенно, незаметно. Здесь, на юге, в «свободной зоне», жизнь хоть и сильно усложнилась, но текла своим чередом. В Лаванду не прекращали работу рестораны и кафе. По воскресеньям народ ходил в кино, где показывали вполне приличные фильмы. В русских пансионатах не переводились постояльцы. Летние пляжи отнюдь не пустовали. Как положено, рождались дети, игрались свадьбы... Однако придя в конце концов на Русский холм, Война сначала выгнала вон его обитателей, а затем не оставила от него камня на камне, уничтожив подчистую, стерев его с лица земли.

Из письма сына философа С.Л. Франка – Василия, высадившегося с союзниками на Лазурном берегу (13 сентября 1944):

[В Фавьере] «...остались стоять 5-6 домов, один из которых дом Blanc'a. А дома Мечникова, Nonogat, дом, который стоял параллельно с Алешиным, ресторан – разрушены. <...> Все деревья срублены. Остались только невысокие да молодые деревья. <...> Дома можно опять выстроить, а деревья не вырастут так быстро. От деревни мало что осталось. Страшно мне от этого стало и грустно. Там почти что никто не живет. <...> вся русская колония уехала – кто в Париже, большей частью [возле Альп]. Оболенские где-то там, но все ли, не знаю. <...> Красиво тут. Издалека кажется, ничто не переменялось, всё в зелени, начинает желтеть, а как присмотришься, то всё разрушено и полуразрушено. Люди плохо одеты, плохо обуты, едят они уже лучше. <...> довольны – кончились для них те кошмарные четыре года. Под немцами жилось туго, их не любили, и немцы это чувствовали и вели себя поэтому нехорошо...»

А.Л. Оболенский вспоминает:

«...все были вынуждены покинуть берег, где жили впроголодь, питаюсь желудями, корнями, травами и, в случае удачи, ужами. У исхудавшей от недоедания мамы кончилось молоко и стало невозможно кормить младенца (моего брата Ивана). Когда [в 1942 году] немцы упразднили 'свободную зону' и появились на южном берегу Франции, жизнь обитателей Фавьера резко изменилась к худшему. К морю после заката и до восхода солнца было запрещено выходить, а морем ведь кормились. По карточкам выдавали продукты только в городах, надо было ездить в Йер, а бензина было не достать, вот и жили впроголодь. Через некоторое время оккупанты, опасаясь налетов со стороны моря, стали красить стены и крыши домов Фавьера в зеленый цвет (ребенком в конце 1940-х – начале 1950-х гг. я жил в таком зеленом доме, и это мне казалось нормой). Но эта мера не помешала аэропланам союзников разбомбить почти все прибрежные дачи. Был взорван дом Врангелей, малый дом Швецовых, Франка, Милюкова и многие другие. Уже после войны в солнечную погоду на уцелевших террасах я любил охотиться за ящерицами. Долгие годы дома не отстраивались, пострадавшим хозяевам полагалась компенсация от государства, но власти не спешили раскошиться...»

Помощь от государства, пусть небольшая и запоздавая, в конце

концов пришла. Вот только большая часть первых жителей Фавьера уже покинула этот мир, а оставшиеся вдовы-старушки, что называется, доживали век. Ушли все те, кто составлял «душу» Русского холма. «Русская колония распалась, кто умер (Крым, Оболенский, Мечникова, Безсонов, Метальников), кто уехал (Богдановы, Белокопытова, Когбетлянц). Остаемся мы, Врангели, Рожанковский, Леон Оболенский с семьей и договаривающая вдова Саши Черного. Закат...» (Из письма А.А., март 1953).

А новое поколение жило уже иначе. Бывшая молодежь выросла и вспоминала о Фавьере как о давних каникулах у моря, не более того. Большая часть детей и внуков основателей колонии органично вписалась в родную для них французскую среду. А те, кто продолжали считать себя русскими (*d'origine russe*), делали это как бы «по наследству» – в их чисто внешней, поведенческой «русскости» уже присутствовала неизбежная доля театральности. Сами-то они *той* России не знали, а вынесли из своего детства лишь некую ИДЕЮ *той* России, которая и заменяла им реальность. «Все русские – артисты. И обитатели Холма, по сути, все – актеры Театра Меланхолии. Реальность проживается ими как спектакль, когда каждый новый день – это новое действие, новая сцена. В этих простых декорациях незамысловатые второстепенные роли сливаются в некую бесконечную чисто русскую историческую мелодраму...» – так ощущали со стороны атмосферу позднего «русского Фавьера» французы²³.

В послевоенные годы в Фавьере появились Ди-Пи (*Displaced Person*), а в конце 1960-х – начале 1970-х годов его коснулась своим краешком и «третья волна» русской эмиграции. Но это уже совсем иная история...

(продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перевод с французского – автора. Глубокая признательность Anne-Marie Salin (*Sedan*, Франция) за любезно предоставленные материалы из семейного архива.
2. Кяхта являлась единственной в России самоуправляемой торговой слободой.
3. University of Minnesota, USA. – IHRC809 S3 SS4 B37 F1-7.
4. Кандинский Христофор Хрисанфович (1813–1890).
5. Имеется в виду конец периода либеральных реформ Александра II, убитого террористами 1 марта 1881 года, и начало периода реакции Александра III.
6. Здесь – велик (во всём) (*фр.*)
7. Попов, И.И. «Минувшее и пережитое по воспоминаниям за 50 лет. Сибирь и эмиграция». Ленинград, 1924.
8. Пономарев Павел Андреевич (1844–1883) – иркутский купец 1-й гильдии, крупный чаеоторговец, промышленник и меценат; не получивший практически никакого образования, всё свое состояние завещал на развитие народного образования Сибири. Белоголовый Николай Андреевич (1834–1895) – городской врач и основатель медицинского общества в Иркутске, общественный

деятель, писатель. Трапезников Иннокентий Никанорович (1830–1865) – иркутский купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, завещавший огромный капитал на нужды просвещения Иркутска, что позволило финансировать подавляющую часть учебных заведений города вплоть до революции 1917 года.

9. Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) – генерал-губернатор Восточной Сибири (1847–1861). Сыграл выдающуюся роль в истории Забайкалья и Дальнего Востока. За подписание «Айгунского трактата» с Китаем (1858), согласно которому всё левобережье реки Амур отошло к России, был удостоен графского титула и приставки «-Амурский» к фамилии.

10. Вера Алексеевна Лушникова (1866–1926?) училась на Высших женских курсах в Санкт-Петербурге, где познакомилась с народовольцем Иваном Ивановичем Поповым (1862–1942) и вышла за него замуж, утаив при этом свое происхождение. Когда в 1885 году муж был приговорен к ссылке, она добилась через отца, чтобы ссылка в Читу была заменена на ссылку в Кяхту. В 1894 году И.И. Попов переехал в Иркутск, где издавал газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник».

11. Фердинанд Лассаль (1825–1964) – немецкий философ, экономист, политик. Согласно одной из идей Лассаля, рабочий класс – представитель 3-го сословия – является носителем чистой идеи государства как нравственного единства индивидуумов, воспитывающего человечество для свободы.

12. Имеется в виду граф Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) – обер-прокурор Синода, министр народного просвещения (1865–1880), министр внутренних дел и шеф жандармов (1882–1889).

13. *Бар, Людмила (Врангель)*. Воспоминания и стародавние времена. Вашингтон: Victor Kamkin Inc. 1964. С. 152–157.

14. Из писем А.А.: «Вспомнилась наша Москва, Андрей Белый, символисты в живописи, в музыке, ‘вечера мерцания’, серьезные лекции в Университете Шаняевского – Б.А. был на историческом отделении, а я на философском у Хвостова...»

15. Согласно переписи населения, вплоть до конца 1920-х годов Швецовы будут единственными русскими *жителями* Фавьера.

16. С «черным бароном» Петром Николаевичем Врангелем его связывало настолько дальнее родство, что братьями не были даже их прапрадеды – род Врангелей еще в XVI веке распался на пару десятков независимых ветвей. Ветвь инженера-путейца Николая Александровича была отнюдь не военная, а вполне мирная. Дед Карл Федорович Врангель (1799–1875) был известным в Санкт-Петербурге акушером-гинекологом, а отец Александр Карлович (1850–1929) – крымским помещиком.

17. Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) – врач, беллетрист, в свое время активный участник народовольческого движения, за что сидел в Петропавловской крепости и был сослан в Восточную Сибирь. С конца 1890-х годов жил в Ялте, где создал первую в России общедоступную здравницу для легочных больных. В 1922–1928 гг. – врач-консультант Кремлевской больницы. Его жена Людмила Ивановна (урожд. Сокологорская, 1957–1937) политические взгляды мужа разделяла; вместе с детьми сопровождала его в Красноярскую ссылку.

18. Идеи такого рода были в то время в большой моде среди русской интеллигенции: «Купить хутор (землю, имение...), построить флигельки для

добрых знакомых, и будет летнее литературное (научное, художественное, театральное...) сообщество».

19. Рубинштейн Яков Львович (1879–1963) до революции служил присяжным поверенным Харьковского окружного суда и председательствовал в Харьковской Городской Думе (1917). В эмиграции жил в Париже. Председатель Объединения русских адвокатов во Франции. Член правления Нансеновского комитета Лиги Наций по беженским делам и многих др. общественных организаций. Воейков Сергей Сергеевич (1892–1969) служил в Государственной канцелярии, в войну командовал отрядом Красного Креста. В эмиграции с 1923 года. Работал в Париже бухгалтером и занимался активной общественной деятельностью – председатель Союза русских дворян, член правления Общества помощи русским беженцам и пр.

20. *Станюкович, Н.* Саша Чёрный. Париж: «Возрождение» (1966). С. 169.

21. *Берберова, Н.* Курсив мой. Часть 5-7.

22. *Черный, С.* Чудесное лето. Москва: «Логос»; Берлин-Париж (1929). 254 с.

23. *Kerorguen, Y. de.* La colline russe. Grasset, Paris. 1978.

Марк Уральский

Илья Троцкий – корреспондент газет «Сегодня» и «Заграничные отклики»

Илья Маркович Троцкий (1879, Ромны, Российская империя, – 1969, Нью-Йорк, США) – яркий публицист и общественный деятель Русского Зарубежья¹, в том числе работал иностранным корреспондентом газеты «Сегодня» в период с 1926-го по 1937-й. «Сегодня», крупнейшая русская газета Балтии, стала издаваться в Риге одновременно с созданием первого независимого Латвийского государства (1919) и прекратила свое существование вместе с ним – в 1940 году². Эта была вторая по значению – после парижских «Последних новостей» – и одна из лучших газет либерально-демократического направления Русского Зарубежья³, материалы которой часто перепечатывали другие эмигрантские издания 1920–1930-х гг., такие, например, как нью-йоркское «Новое русское слово» или шанхайское «Время».

Газета «Сегодня» позиционировала себя, в первую очередь, как культурно-просветительное и информационное издание. В отличие от других периодических изданий Русского Зарубежья, где тоже печатался И.М. Троцкий, – «Дни», «Руль», «Последние новости» – «Сегодня» не являлась «эмигрантской газетой», а предназначалась, прежде всего, для русскоязычных граждан новых государств Балтии. Если в Берлине и Париже русская эмигрантская среда была, по образному выражению Зинаиды Шаховской, «гетто зарубежной России»⁴, то в Прибалтийских республиках русские, при такой же примерно численности, имели иной статус – они представляли собой «национальное меньшинство».

Один из постоянных корреспондентов «Сегодня», впоследствии – главный редактор нью-йоркского «Нового русского слова», Андрей Седых⁵ писал:

Газета «Сегодня» была не только органом русского меньшинства в Латвии, Эстонии и Литве, но и фактически связующим культурным центром между тремя прибалтийскими странами. Единственным общим языком у латышей, эстонцев и литовцев оказался русский, и это обстоятельство превратило «Сегодня» в весьма влиятельный в Прибалтике орган печати. Его первым политическим редактором и передовиком был б[ывший] редактор петербургского «Современного Слова» М.И. Ганфман. После его смерти главным редактором был М.С. Мильруд, а редактором 'Сегодня Вечером' – Б.И. Харитон⁶, –

оба они стали жертвой журналистического долга; имели визы в Швецию, но не пожелали оставить своего поста, выпускали газету до последнего дня. В момент оккупации Латвии советскими войсками попали в руки НКВД и позже погибли в концлагерях. «Сегодня» велось по газетному живому, имело постоянных корреспондентов во всех европейских столицах и обширный состав сотрудников. В «Сегодня» работал[и] <...> экономист В. Зив, М.Я. Айзенштадт (Железнов, впоследствии выдвинувшийся в «Н[овом] Р[усском] Слове» Аргус)⁷, Лоло (Мунштейн)⁸. Писал из Берлина Гершон Свет⁹, который долгие годы провел в Палестине, впоследствии эмигрировал в С[оединенные] Штаты, [а затем] сотрудничал[л] в нескольких русских, американских и израильских изданиях. Парижским корреспондентом «Сегодня» был Андрей Седых (Я.М. Цвибак), берлинским – Н.М. Волковвысский¹⁰, женеvским – Л.М. Неманов¹¹, обслуживавший Лигу Наций. Газета прекратила свое существование с момента оккупации советской армией балтийских стран. <...> В «Сегодня» могли работать сотрудники разных политических направлений. В Париже обстановка была иная – здесь раздел шел не только по линии политической, но и национальной. В то время как в состав редакции милюковской газеты входили многочисленные русско-еврейские журналисты, на страницах правого «Возрождения» (за исключением, впрочем, И.М. Бикермана¹²) еврейские имена, как правило, никогда не появлялись.¹³

Парижские «Последние новости» и «Современные записки» считали своим долгом поддерживать дружеские отношения с газетой «Сегодня» и договаривались об очередности публикаций и взаимных услугах. Отмечая высокий удельный вес «Сегодня» в культурной жизни довоенного Русского Зарубежья, следует подчеркнуть еще одно важное обстоятельство: «единственным общим языком у латышей, эстонцев и литовцев оказался русский» (А. Седых), а поскольку газета привлекала к сотрудничеству самых именитых русских литераторов и журналистов, ее авторитет как русскоязычного печатного органа, которому можно и должно верить, был очень высок.

За одиннадцать лет сотрудничества с газетой «Сегодня» (с 1926 по 1937 гг.) И.М. Троцкий опубликовал в ней более 40 статей. В тематическом отношении их можно подразделить на три группы: «путевые заметки», «актуальные события литературно-художественной жизни» и «мемуарная публицистика».

География путевых репортажей Троцкого – Центральная и Северная Европа: Скандинавия, Голландия, Швейцария и Люксембург¹⁴. Из репортажей на актуальные темы исторический и культурный интерес представляют двенадцать корреспонденций из Стокгольма (октябрь – декабрь 1933 года), посвященных торжествам по случаю вручения Ивану Бунину Нобелевской премии по литературе¹⁵, а также стокгольмские интервью с новоиспеченными лауреатами Нобелевской премии Синклером Льюисом¹⁶ и Луиджи Пиранделло¹⁷.

Воспоминания относятся, естественно, к предреволюционной эпохе и касаются «государственных мужей» и политических деятелей –

кайзер Вильгельм II, граф Витте, Коллонтай, Фюрстенберг-Ганецкий, а также деятелей культуры: Шалапин, Сытин, Зудерман, Стриндберг.¹⁸

Импессионистический стиль статей И. Троцкого позволял ему ярко и убедительно очерчивать образы самых разных, но всегда «значительных» личностей, делать живые наброски «на местности», сообщать информацию о важных событиях. Его актуальные темы типичны для всех зарубежных корреспондентов «Сегодня» – это культура и быт, внешняя и внутренняя политика европейских стран, проблемы эмиграции и т. д. При этом он не претендует на «глубину», избегает обобщающих умозаключений аналитического или философского характера и не вдается в психологические тонкости при создании литературных портретов своих героев. Впрочем, и его собственное «я» никогда не выступает на видном месте.

В 1907–1914 годах Илья Троцкий работал в Берлине зарубежным корреспондентом московской газеты «Русское слово» – самым многотиражным периодическим изданием в Российской империи. Время жизни в кайзеровской Германии, наверное, было самым счастливым и беззаботным в биографии Ильи Троцкого. Как пишет Андрей Седых, «Влияние заграничных корреспондентов столичных русских газет в эти годы было очень велико, – с ними считались и министры, и дипломаты, и нередко через журналистов, неофициальным путем, в Петербург давали знать то, что нельзя было сказать в официальных нотах. И.М. Троцкий много раз участвовал в этой закулисной игре. Он лично знал германского премьер-министра фон Булова, встречался с канцлером Бетман Гольвегом и кайзером Вильгельмом II¹⁹ и, конечно же, с русскими министрами, приезжавшими в Германию»²⁰.

Сам Илья Маркович рассказывает в одной из своих статей-воспоминаний²¹ забавную историю на тему политического закулинья, связанную с визитом в 1912 году в Германию английского военного министра лорда Холдейна. По этой статье можно судить как о его личном авторитете серьезного журналиста, так и о внимании, с каким русское правительство относилось тогда к политическим новостям, публикуемым в «Русском слове».

И.М. Троцкий пишет, что, будучи тогда берлинским корреспондентом газеты, решил добиться свидания с Холдейном. Лорд, отлично говорящий по-немецки, стал рассказывать о своих заданиях в Берлине. Он «рассказывал такие интимные подробности, которые журналисту редко приходилось слышать от дипломата». Слушая Холдейна, Троцкий «решительно не понимал, чем ему обязан подобной откровенностью». Загадка, однако, скоро разъяснилась. На прощанье Холдейн, улыбаясь, сказал: «Пожалуйста, ни звука об этом в газете. Всё, что я сообщил, это только для Вашей личной информации». «Вот тебе и сенсационное интервью!» – огорчился было журналист и, чтобы выправить ситуацию, в ответ рассказал Холдейну историю об извест-

ном в те годы немецком газетном публицисте докторе Клаузнере и канцлере Отто фон Бисмарке: «железный канцлер» в частных беседах не раз сообщал журналисту сугубо конфиденциальные, по его уверениям, сведения. Спустя некоторое время он поинтересовался: почему журналист до сих пор не опубликовал ничего из им рассказанного? – «Вы же предупреждали меня о конфиденциальности и даже государственной тайне», – с достоинством ответил Клаузнер. – «Неужели, доктор, вы могли предположить, что государственную тайну я доверю журналисту?!», – ответил ему на это фон Бисмарк, не скрывая досады. На следующий день «газетная утка», к вящему удовольствию канцлера, была опубликована. Далее Илья Троцкий пишет, что, выслушав его историю, Лорд Холдейн посмеялся, но комментировать пикантный исторический анекдот не стал. Троцкий напечатал в «Русском слове» содержание их беседы, и его статья вызвала большой переполох в официальном Петербурге, чего, по всей видимости, и добивался его высокопоставленный собеседник. Однако при этом, как стало известно Илье Троцкому, английский министр специально поинтересовался – кем был подписан материал. – Узнав, что сведения сообщались лично от имени И. Троцкого, он удовлетворенно сказал: «Если джентльмен ставит свою подпись, значит, он отвечает за свои слова».

Тем не менее, политика не относилась к числу приоритетов журналиста И. Троцкого. Он отдавал ей дань по обязанности, по-настоящему интересуясь лишь миром культуры, главным образом – жизнью литературной среды. В Берлине он был вхож в закрытые для широкой публики литературные салоны, где заводил полезные для себя знакомства среди местных интеллектуалов. «Мы обменивались письмами, строили всякого рода издательские планы», – писал на закате жизни Илья Троцкий в одной из своих статей-воспоминаний²².

Один грандиозный проект – издание русскоязычной немецкой газеты, еженедельника «Заграничные отклики», – Илье Троцкому вполне удалось воплотить в жизнь. В этом начинании его «полезные знакомства» явно сыграли определяющую роль, о чем косвенно свидетельствует следующее: газета, будучи берлинской, продавалась по всей Германии, а на ее рекламных страницах красовались имена знаменитых и по сей день фирм Peck&Cloppenburg, C&A, издательства Ullstein и др. Всё это указывает на то, что у газеты имелся прочный финансовый фундамент.

8 июля 1912 г. Илья Троцкий писал из Берлина Осипу Дымову²³ – популярному в те годы в России беллетристу, сатирику и драматургу:

Дорогой Осип Исидорович! ...У меня даже наготове были два фельетона о Вашем романе «Томление духа» <...> Отыщу и пришло. Как видите, пишу на бланке «Заграничных откликов». Эта газета, отчасти, мое детище. Открыл

ее еще с двумя коллегами. Вышли уже шесть №№, которые Вы на днях получите. Прошу Вас, дорогой Осип Исидорович, прислать нам кое-что для печати. Мы платим как никто. Целых семь пфеннигов со строки. Не откажите в духовной поддержке²⁴.

В 1912 году за 10 немецких марок давали 4,6 рубля, стало быть, семь пфеннигов составляли 3,22 копейки. Много это было или мало по тогдашним русским расценкам для пишущей братии? Иван Бунин, вспоминая о своей встрече с поэтессой Миррой Лохвицкой, передает их разговор о литературных гонорарах: «Вам сколько платят? – Рублей семьдесят пять, восемьдесят за лист. – Боже мой! А за стихи сколько? – Полтинник за строчку. – Она даже приостановилась: Как? А почему же мне всего четвертак? – Не знаю. – Значит, я хуже вас? – Помилуй Бог, что вы! – Но в чем же тогда дело? – Вам сколько лет? – Двадцать четыре. – Ну, тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок...»²⁵

Итак, иностранный корреспондент газеты «Русское слово» Илья Троцкий, пользуясь своими связями в высших кругах берлинского общества, стал выпускать *первую* в истории многотиражную русскоязычную немецкую газету «Заграничные отклики» («Das ausländische Echo»). Это издание было рассчитано на самый широкий круг проживавших в кайзеровской Германии россиян. В «Зарубежных откликах» публиковалась, в первую очередь, актуальная информация, а также – в качестве развлекательного материала, различного рода слухи и сплетни. Газета выпускалась мало кому известным издательством Х. Крунника (Verlag Ch. Krünnik), чья контора и редакция располагались в центре Берлина на Фридрихштрассе, 120. Интересно также то, что имя И.М. Троцкого, как одного из издателей газеты, в ней не фигурирует, он выступает лишь как один из ее корреспондентов. Некрологов и светской хроники в еженедельнике не печатали, хотя такого рода информация для любой газеты – верная прибыль. В первом случае, по-видимому, издатели стремились не омрачать настроение своих читателей, а во втором – проявляя отсутствие интереса к жизни высших классов общества, демонстрировали т.н. «демократизм» и «левизну» еженедельника.

В полиграфическом отношении «Зарубежные отклики» – общественная, политическая, литературная и экономическая газета – выглядела солидно и регулярно выходила по воскресеньям с июня 1912 года по август 1914 года. Всё это время дела газеты шли отлично. Она продавалась по всей Германии, даже в привокзальных киосках. Издание было строго ориентировано на две русскоязычные группы германских читателей: оседлых россиян – студентов, коммерсантов, политических эмигрантов, – и приезжих курортников и путешественников. Из всех отечественных событий тех лет наиболее активно и страстно в газете

обсуждалось «Дело Бейлиса»²⁶, которое стало громким судебным процессом не только в России, но и для всей международной общест-венности. Большое место в еженедельнике уделялось повседнев-ной культурной жизни. В основном, эти темы освещал Илья Маркович. Так, например, сообщалось, что на выставке 1913 года «Первый немецкий Осенний салон» в берлинской галерее Der Sturm выставляются также произведения русских художников-авангарди-стов: Д.Д. и В.Д. Бурлюков, М.З. Шагала, Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ла-рионова, Г.Б. Якулова, Н.Н. Кульбина, «русских мюнхенцов» – В.В. Кан-динского, А.Г. Явленского и М.В. Веревкиной. Рассказывалось о том, что берлинский Оперхаус, готовящий постановку «Бориса Годунова», предполагает пригласить на гастроли Федора Шляпина, а в Камерном театре Макса Рейнхардта в его постановке с успехом прошла премьера последней пьесы Стриндберга.

Бросается в глаза, что из всех политических событий, которым газета уделяет внимание в горячие предвоенные месяцы 1914 года, меньше всего места отводится темам, непосредственно связанным с грядущей войной. Балканский кризис и даже сараевское убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги освещаются на удивле-ние скупо, как бы между прочим. Вероятно, политическая интуиция не входила в число сильных сторон редакции «Заграничных откли-ков». Впрочем, позднее Илья Троцкий рассказывал в своих воспомина-ниях, что русские в Германии жили уютно, безопасно, благодушно, и меньше всего ожидали, что вот-вот разразится мировая война²⁷.

С исторической точки зрения большой интерес представляют статьи Троцкого в «Заграничных откликах», касающиеся восприятия немецкими читателями и зрителями литературных и драматических произведений писателей из первого эшелона русской литературы – Достоевского, Толстого, Чехова, Горького и других. Вот, например, что он пишет в статье «Чехов в Германии» от 05/18 июля 1914 года:

На днях исполнилось десятилетие со дня смерти незабвенного Антона Павловича Чехова. Как это ни печально, но Чехова в Германии еще не пони-мают. Его пьесы терпят в большинстве фиаско, и редкий театр рискнет сей-час выступить с произведениями нашего безвременно ушедшего таланта. Спросите рядового немецкого читателя из среднего интеллигентного круга – знает ли он Чехова, и вы получите в ответ: «А как же? Знаю!» Но поговорите с ним на эту тему и вы убедитесь, что он знает не Антона Чехова, а Антошу Чехонте. Ни один писатель, за исключением Горького, Достоевского и Мережковского, не имел в Германии такого успеха, как Антоша Чехонте. <...> Чужд Чехов немцам! Чужды им его герои с их бескрылыми надеждами, дале-ка их психология и непонятны их порывы.

Об Илье Троцком-журналисте его постоянный читатель мог ска-зать: это, вне всякого сомнения, доброжелательный, очень культурный и уважаемый человек. Таким он и был на самом деле²⁸. Отсутствие в

его характере чрезмерных амбиций, претензий на «владение истиной в последней инстанции», знания «потаенных глубин», «уровней» и «граней» – всего того, что придает писаниям того или иного литератора «крайний субъективизм», – делает фигуру И.М. Троицкого своего рода «зеркалом», в котором без существенных рефлексов и искажений отразилась история начала XX века и русской эмиграции «первой волны».

В качестве примера приведем выдержки из статей Ильи Троицкого в газете «Сегодня» о его посещении Люксембурга²⁹, в которых очень многие наблюдения не потеряли своей остроты и в наши дни:

Если бы городами можно было увлекаться, как женщинами, то, несомненно, героиней моего последнего романа была бы столица люксембургского великого герцогства. Две недели живу я в этом городе, исходил и изучил его вдоль и поперек, и всё еще не могу им налюбоваться. Это не город, а сказка. Блуждая по его узким вековым улочкам и тихим, отдыхающим в тени столетних каштанов площадям, созерцая изумительной стройности виадуки и мосты, заглядывая в уютившиеся на склонах прорезающего весь город ущелья домики, порою кажется, будто всё это видишь в каком-то прекрасном сне. <...> В Люксембурге чувствуется нечто патриархальное, нечто неощутимое, такое человеческое и такое хрупкое нечто.

Буйное обилие зелени, густой аромат цветущих акаций, лип, жасмина и роз усугубляет прелесть столицы. После гиганта Берлина, с его асфальтовым благополучием, трезво-холодной архитектурой, строгой планировкой улиц, диким шумом, вонью бензина и бурным темпом жизни, Люксембург мыслится санаторием.

Здесь люди не спешат, не толкаются, не наступают друг другу на ноги, не озлоблены и не раздражены. В Берлине – существуют, тут – живут. Правда, люксембуржцы не столь интенсивны, как немцы. В этом отношении они сродни скандинавам. [Они шутят по этому поводу]: «Разница между немцами и нами та, что немцы живут, чтобы работать, а мы работаем, чтобы жить».

<...> В люксембургском герцогстве очень мало людей, скопивших чудовищные капиталы, но почти нет и бедняков. Социальные контрасты не ошутимы. В ресторанах и кафе вы видите рядом с прекрасно одетыми дамами и мужчинами в туалетах из Парижа людей в скромных люстриновых пиджаках и рабочих куртках, только что, по-видимому, оставивших свои конторки, прилавки или заводские станки. Они пьют то же вино, пиво и аперитивы, что и более имущественные классы. Удовольствия тут не дороги и всем доступны. Люксембуржцы гордятся своей скромностью, бережливостью и патриархальным укладом жизни.

Домашний быт герцогини мало чем отличается от семейного быта скромного буржуа или крестьянина. <...> Цивильный лист герцогини весьма невелик, и на его средства роскошествовать не приходится. <...> Любой директор берлинского крупного банка получает больше жалованья, нежели суверенша независимого великого герцогства. Да и многие из ее подданных могут похвастаться более значительными доходами! <...>

Люксембургская культура – это не механическая, а органическая слиянность двух культур – немецкой и французской. В то время как в соседней

Бельгии ведется исконная война за фламандское и французское преобладание, а вопрос о фламандском и французском языках не сходит с очереди дня, в люксембургском герцогстве проблема эта разрешена совершенно безболезненно. В школах люксембургский диалект не преподается, но французский и немецкий языки обязательны. Дети обучаются уже с шестилетнего возраста обоим языкам. Официальным правительственным языком считается французский. Прения в палате ведутся на французском и немецком языках. Употребление диалекта в парламентских прениях воспрещено. Судоворение ведется по-французски и по-немецки, но свидетели и стороны допрашиваются на диалекте. Приговор оглашается по-французски. <...> Люксембуржцы отлично понимают, что на родном диалекте далеко не уедешь. Им квансый патриотизм чужд. В практической жизни нужны иностранные языки, с которыми можно было бы объездить весь мир. Диалекту дети обучаются дома. Слышат его вокруг себя. Школа дает им знание двух могучих европейских языков и приобщает к двум сильным культурам.

* * *

Маленький люксембургский народ по сравнению с германским может считать себя счастливым. Он, конечно, не играет роли в судьбах Европы, но он богат и независим, не должен вооружаться и почти не платит налогов. <...> Страна не знает кризиса и безработицы и свободна от острых социальных конфликтов» <...> Не страна, а какой-то счастливый оазис среди жуткой европейской пустыни, где кроме жалоб и стонов на кризис, безработицу и банкротства ничего другого не слышишь.

* * *

Не знаю, существует ли такой уголок на земном шаре, куда бы эмиграционная волна не выбросила щепок разбитого корабля русской революции. Если какому-нибудь смельчаку удастся преодолеть стратосферу и проникнуть в межпланетное царство, то, вероятно, первое живое существо, которое ему встретится, — будет русский эмигрант.

Даже в маленьком люксембургском герцогстве имеется весьма пестрая по национальному и социальному составу эмиграция. Люксембургское правительство оказывает русским эмигрантам широкое гостеприимство, уравнивая их в правах на труд и торговлю с собственными гражданами. <...>

...пожилой рабочий в синем рабочем костюме, опоясанный кожаным передником. Знакомимся... Полковник Николай Петрович Керманов³⁰, бывший начальник Корниловского военного училища.

— Простите, руки подать не могу, вся в масле... меня оторвали от машины.

Разговорились. Полковник Керманов ведет меня знакомить со свободными от работы эмигрантами. Всё это, в большинстве, бывшие офицеры и вольноопределяющиеся Врангелевской армии. Публика молодая, крепкая и дисциплинированная. <...>

— ...рабочие отлично к нам относятся. Они знают, что мы когда-то жили в иных условиях, понимают нашу нужду, сочувствуют нашей беспочвенности. И хотя мы политически стоим с рабочими на диаметрально противоположных полюсах, тем не менее, они нас уважают и ценят, как соратников по труду. Правительство нас уравнило в правах на труд с местным населением. <...> Трудимся, работаем, учимся и живем надеждой когда-нибудь увидеть родину. Когда?³¹

В «Сегодня» Илья Троцкий напечатал две статьи о Федоре Шаляпине, с которым, будучи частым гостем берлинского салона Кузевицкого³², познакомился еще до Первой мировой войны. Одна из них – «Первые шаги Шаляпина в Берлине»³³, из жанра воспоминаний, другая – «Триумф Шаляпина в Копенгагене»³⁴, журналистский репортаж из разряда «актуальные события литературно-художественной жизни».

Шаляпина берлинская публика [в 1910-х] еще мало знала. Он находился в Берлине по пути в Москву, увенчанный лаврами во Франции. Его приезду в Берлин предшествовало первое триумфальное выступление в Монте-Карло в «Дон-Кихоте».

Внимание музыкального мира Берлина на Шаляпина обратил <...> известный публицист Фридрих Дернбург³⁵ <...>. Семидесятипятилетний старик Дернбург, случайно слышавший Шаляпина в Монте-Карло, прислал в «Бер[линер] Тагеб[латт]» специальный фельетон, посвященный Шаляпину... – сплошной гимн русскому гениальному певцу. <...> Нужно знать влияние Дернбурга в германской публицистике и критике, чтобы понять впечатление, вызванное этой статьей.

Шаляпину Дернбург оказал невольно плохую услугу. Он оказался положительно мучеником. Скрыть свое пребывание в Берлине ему было [невозможно], и его осаждали со всех сторон. Журналисты, антрепренеры, концертные агенты и всякая другая публика. Особенно [натерпелся] Шаляпин от пресловутых «почитателей таланта».

Помню, мы интимно сидели у Кузевицкого, где Шаляпин собирался рассказать нам о своем восприятии «Дон-Кихота». Вдруг ворвалась какая-то толпа американок и англичанок, требуя автографов певца. Пришлось удовлетворить их просьбу, чтобы только отвязаться. Не успела прислуга выпроводить непрошенных гостей, снова какие-то поклонники. Звонки у дверей не прекращались.

– Знаете что, – говорит Федор Иванович, – сядем в автомобиль и покажемся по Тиргартену. В автомобиле всё вам расскажу. Здесь, видимо, мне не спастись от назойливых субъектов.

Мы так и сделали. Шаляпин прочитал нам речетативом несколько мест из своей партии в «Дон-Кихоте», сопроводив их жестикულიацией. <...> Но этого достаточно было <...>, чтобы я узрел перед собой бессмертного «рыцаря печального образа». Рядом со мной в автомобиле сидел не Шаляпин, а воскресший Дон-Кихот. Никогда больше в жизни я столь явственно не ощущал близости гения, как в тот момент.

Бледный от волнения Кузевицкий мог только лепетать:

– Федя, еще немного! Ради Бога, еще!³⁶

А вот репортаж о случайной встрече в Копенгагене – уже из эмигрантской эпохи, когда России не стало, а на ее месте, за тысячу верст от европейских столиц мчалась в светлое будущее ненавистная «Триэссерия».

Провести несколько дней и вечеров в обществе Шаляпина – радость большая и редкая. Особенно, если Федор Иванович в хорошем настроении,

если подберется хорошая компания и если окружающая обстановка располагает к дружеской беседе. С Шаляпиным интимно я не встречался долгие годы. <...> И вот, после многих лет, судьба нас снова свела, но на сей раз не в Берлине и не в Москве, а в Копенгагене.

Четверо суток, проведенных в обществе Шаляпина, пролетели как сон. Засиживались до петухов, к ужасу копенгагенских ресторанных лакеев, чуждых русских понятий об интимных беседах.

Каких только волнующих и интересных вещей я не наслушался за эти вечера <...> Шаляпин не только гениальный артист и художник, он в не меньшей степени непревзойденный мастер рассказа. Его зоркая наблюдательность, умение подмечать мельчайшие черты в человеческом характере, сочность и образность речи положительно пленяют.

<...> Все рассказанное Федором Ивановичем я тщательно записал и когда-нибудь [поведаю] читателям³⁷. [Однако] сейчас мне хочется рассказать о триумфе Шаляпина в Копенгагене, случайным свидетелем которого я был. <...> датчане никогда не видели Шаляпина на сцене и <...> к его гастроли в партии Бориса Годунова Копенгаген особенно готовился. <...> Гастроль Шаляпина была не только личным триумфом певца, но и подлинным праздником русского искусства. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем восторгов слушателей, увлеченных мощью таланта, <...> виде[ть] энтузиазм людей, покоренных тем или другим артистом. Но мои переживания на постановке «Бориса Годунова» с Шаляпиным в заглавной партии останутся, вероятно, самыми сильными в моей жизни.

Шаляпин превзошел самого себя. От так спел свою партию и дал такой образ Бориса, что буквально потряс зал. Король Христиан, королева, принцы, двор, министры, цвет копенгагенского интеллектуального и художественного мира объединились вместе с энтузимированной молодежью галерки в едином порыве нескончаемых и бурных оваций. <...> режиссер королевского театра, поднося Шаляпину на сцене венок, сказал: «от имени артистов королевской труппы мысленно целую вам руку, маэстро».

Датская критика покорена Шаляпиным. «Шаляпин – гений», <...> «Его величество голос», <...> «Мы теперь понимаем, почему Шаляпина называют мировым артистом.» <...> Целые страницы посвящены Шаляпину. Даже [сам] Шаляпин, который не всегда собою доволен, на сей раз <...> сказал мне:

– Да, сегодня я своим выступлением удовлетворен. <...> Со мною это не всегда бывает...³⁸

Поскольку Илья Троцкий является единственным русским журналистом, которого удостоил личной беседы в своем доме Август Стриндберг, воспоминание об этой встрече, впервые опубликованное в «Сегодня», относится к числу уникальных культурно-исторических артефактов. В своей статье³⁹ Троцкий рисует подробный словесный портрет знаменитого шведского писателя:

И вот я в священном кабинете Стриндберга. Как сейчас, вижу массивную фигуру старика, его огромный выпуклый лоб, стальные серые глаза и нервный рот, прикрытый густыми седеющими усами. Две глубоких поперечных морщины ото лба к переносице, сходящиеся у переносицы, придавали лицу выражение усталости и трагизма.

Троцкий, выказывая явную симпатию по отношению к знаменитому писателю, который из-за своего конфликтного характера и провокативных публичных заявлений всегда находился под огнем ожесточенной критики, особо подчеркивает, что сам Стриндберг был категорически не согласен с клишированными определениями его личности как опасного смутьяна, человеконенавистника и скандалиста, сознательно очерняющего в своих писаниях образ человека. Свою самохарактеристику Стриндберг, явно учитывая национальность собеседника, выстраивает на примерах из русской литературы, не забывая – что весьма показательно! – в одном ряду с Достоевским, Толстым, Чеховым и Горьким поставить также имя своего норвежского коллеги Кнута Гамсуна:

«Достоевский, мир которого простирается между Богом и дьяволом, небом и адом, вылавливает из человеческого моря Карамазовых, Раскольниковых, Мышкиных, Свидригайловых и Смердяковых, – людей с явным психопатологическим уклоном. А, между тем, всё это живые люди. Они среди нас: на улицах, в домах, в ресторанах, в театрах, повсюду... Герои Достоевского – страдальцы. У них искаженные лица, они корчатся в судорогах мук, живут в лихорадочном бреду, губят свои и чужие жизни. Но разве кто-либо сомневается в подлинности этих людей, в их наличии в жизненном быту?

Толстой взирает с любовью на Анну Каренину, по-отечески грустит по рано погибшей маленькой княгине Болконской, недоволен Левиным, творит Нехлюдова. Чехов с сатирической улыбкой на устах зарисовывает своих обывателей и мещан. Горький устами Сатина утверждает, что ‘человек – звучит гордо’. <...> А я устами своего ‘фантастического звоняра’⁴⁰ заставляю говорить, так называемое, ‘всечеловечество’. В чем здесь усматривают ипохондрию и человеконенавистничество? Конечно, я не смотрю на мир через розовые очки и не пью подсахаренной воды. Рисую людей таковыми, каковы они суть. И если в моем изображении люди вырисовываются негодниками, лицемерами и обывателями, то такова, по-видимому, их природа».

Стриндберг говорил долго и страстно. <...> Его речь была беседою человека с самим собою, криком души в темной ночи⁴¹.

Одним из ярких свидетельских документов, в котором, с точки зрения русского очевидца событий, подробно описывается атмосфера, царившая в Германии на момент объявления Первой мировой войны, когда: «Европа, словно сорвавшись с петель, вздыбилась и понеслась с головокружительною быстротою навстречу собственной катастрофе», – является статья-воспоминание «В Берлине в дни объявления войны»⁴², написанная по случаю пятнадцатилетней годовщины этого события.

В воскресенье 15 июня 1914 года послеполуденный, изнемогающий от летней жары Берлин всколыхнула страшная новость, разносимая истошными выкриками продавцов газет:

«Покушение в Сараево... Эрцгерцог и эрцгерцогиня... Фердинанд...»

Экстренные выпуски вырываются из рук продавцов. Берлинцы, презревшей и духоту, тысячами валют к центру. К шести часам вечера кафе и рестораны на Унтер ден Линден и Фридрихштрассе запружены народом. Чуть ли не каждые четверть часа газеты, соперничая в быстроте, приносят новые сведения о трагическом убийстве⁴³ в захолустном боснийском городке, призванном сыграть историческую роль в судьбах человечества. <...> События разворачивались с молниеносным темпом. <...> Политическая атмосфера Европы с каждым днем накалялась. Газеты приносили одно известие тревожнее другого. Приближение военной угрозы становилось всё реальнее.

Европа поняла это 10 июля 1914 года, когда стало известно, что австрийский посланник в Белграде <...> вручил премьеру Пашичу⁴⁴ ультимативную ноту, грозный смысл которой исчерпывался двумя словами: «Конец Сербии!..» А еще через пять дней австрийские орудия загрохотали огненным дождем гранат по зданиям и крышам обезлюдевшего и притихшего Белграда. <...>

Русский сезон в Германии в год войны был по многолюдности совершенно исключительный. Русские приезжие положительно наводнили Германию. Берлин, Дрезден, Мюнхен, лечебные курорты, бады⁴⁵ и просто дачные места кишмя кишели русскими. Люди, никогда за границу не ездившие, по какому-то фатальному наитию понеслись в Германию. <...> Россияне, ушедшие с головой в покупки, лечение и наслаждения «за границей», слышать не хотели о войне и не верили в ее возможность.

– Какая там война?! Ерунда!.. Всё это газеты раздувают. У нас в Питере ничего про войну не слышно...

Впрочем, так рассуждали не только «наши за границей» и не одни лишь обыватели. Даже люди с политическим и общественным стажем недалеко ушли в правильной оценке момента от рядового обывателя. Вспоминаю, что дней за десять до начала войны в Берлине гостили редактор «Русского слова» Благов и сотрудники этой газеты профессор Иосиф Гольдштейн и бывший священник Григорий Петров⁴⁶. <...>

– Уезжайте, господа домой! Война неизбежна (Увещевал их И.М. Троцкий. – *М.У.*). <...> дипломатическим посредничеством катастрофы не предотвратить. Не сегодня-завтра, ружья заговорят сами!

Коллеги подтрунивали над моим преувеличенным пессимизмом, а Георгий Петров, бывший тогда в расцвете публицистической славы, побился даже со мною об заклад, что дипломатия сумеет в последний момент уладить грозный конфликт. И только когда Ф.И. Благов неожиданно получил из Москвы срочную телеграмму с просьбой прервать отпуск и вернуться немедленно <...>, им стала ясна грозность положения.

Таковой, согласно воспоминаниям И.М. Троцкого, была обстановка в столице Германской империи последние дни перед началом Первой мировой войны. По его свидетельству, русская колония в Берлине даже после объявления войны была в целом настроена весьма благодушно.

Группировалась (Колония. – *М.У.*) из людей, давно и прочно осевших в Берлине, – частью из представителей литературного, научного и художественного мира, приехавших в Германию работать и учиться. Жила она мирно, спокойно и довольно солидарно⁴⁷. Отношения ее с берлинскими вла-

стями не внушали никаких опасений за возможность осложнений. Даже небольшая группа политических эмигрантов, державшихся особняком от прочей колонии, чувствовала себя в сравнительной безопасности от поползновений царской охранки.

– Какое нам дело до войны? Пускай себе военные дерутся. Нас хорошо знают и не тронут. Да и как долго может война длиться? Повоюют три-четыре месяца и помирятся. Не бросать же дела и насиженных мест ради прихоти перессорившихся дипломатов...

Дорого поплатилась русская колония за свое легкомыслие. <...> отношение немцев к русским резко изменилось. Печать, особенно националистическая, открыла жестокую кампанию против русской колонии.

– Берегитесь русских шпионов! Следите за русскими! Выдавайте властям каждого подозрительного русского!

Этот клич печати, брошенный в наэлектризованную массу, встретил громкий отклик. А тут еще кем-то был пущен провокаторский слух, будто какой-то русский покушался на кронпринца. Паника росла. <...> говорить порусски на улицах и в общественных местах Берлина стало опасным. Кое-где русских избили и оплевали. Русское посольство в Берлине стало объектом враждебных демонстраций.

Русские аборигены Берлина начали терять головы. Их охватила паника.

– Что делать? Бросить всё и бежать, пока не поздно, или оставаться?

Никто не рисковал давать определенного ответа.

В субботу ночью стало известно, что Россия не ответила на поставленный ей Германией ультиматум. В воскресенье [1 августа 1914 года] рано утром появилось первое сообщение германского штаба о переходе русскими казаками прусской границы.

Этим был дан сигнал к началу репрессий против русских.

Русские журналисты, считавшие своим долгом оставаться на постах до последнего момента, собрались на совещание. Решено было в тот же день покинуть Берлин и перебраться в нейтральный Копенгаген. <...> Мы бросились на <...> вокзал запасаться билетами <...>. Билеты мы получили, но уехать, увы, удалось немногим.

Меня арестовали в тот же вечер, в момент, когда я собирался садиться в ждавший меня автомобиль. Арестовал меня сосед-офицер, с которым мы прожили пять лет на одной лестнице и который считался моим приятелем. <...>

– Вы арестованы. Предлагаю вам немедленно вернуться в квартиру. <...>

В руках у моего «приятеля» сверкнул матовым блеском браунинг. Пришлось подчиниться. Через четверть часа моя квартира была наводнена агентами криминальной и наружной полиции [с] собаками-ищейками, а через полчаса меня в сопровождении двух агентов на том же автомобиле везли в <...> тюрьму.

Назавтра освободили, но по истечении нескольких часов снова арестовали. На этот раз надолго. В течение двух месяцев германского плена меня четырежды арестовывали и дважды интернировали.

Так началась для меня, как и для других русских в Германии, мировая война⁴⁸.

В обширном корпусе мемуарных статей И.М. Троицкого больше всего написано им об Иване Дмитриевиче Сыгине⁴⁹ – человеке, кото-

рому он во многом обязан своей успешной журналистской карьерой. Первой по счету в его «сытинском» мемориальном цикле является статья-некролог, напечатанная в газете «Сегодня» сразу же после кончины этого выдающегося русского издателя и общественного деятеля⁵⁰.

Мое знакомство с И.Д. Сытиным началось в яркую эпоху русской журналистики, когда после октябрьской революции 1905 г. с нее спали цензурные цепи и когда в Москву и Петербург хлынула могучая волна молодежи в поисках приложения своих литературных сил. Я приехал из Вены в Петербург в качестве корреспондента «Ноес Винер Тагсблат», <...> мне пришла на мысль идея написать несколько статей о тогдашних русских настроениях [также] и в русской печати в оценке «иностранца». Поместил я несколько фельетонов и в «Русском слове» под экзотическим псевдонимом Генрих фон Дельвег.

Фельетоны «иностранца» обратили на себя внимание петербургской и московской прессы, а моей скромной персоной заинтересовался покойный писатель-священник Г.С. Петров, находившийся в зените писательской славы. Я стал частым гостем в его гостеприимном и культурном доме.

Однажды вызывает меня по телефону Г.С. Петров и говорит: «Приходите завтра, познакомитесь с интереснейшим русским человеком».

Я не заставил себя дважды просить.

(Далее идет рассказ о завтраке, во время которого Сытин «больше прислушивался» к беседе молодого заграничного журналиста с хозяином дома. – М.У.)

И только за кофе разговорился.

– Что это Вы, сударь, у австрийцев пишите, – обратился он ко мне. – Бросьте немцев, приезжайте в Москву, познакомьтесь с Дорошевичем⁵¹ и Благовым и переходите в «Русское слово».

<...> я был весьма польщен лестным предложением. Г.С. Петров горячо поддерживал Д.И. Сытина. Мне не дали срока на размышление.

– Стало быть, – заявил Сытин, – завтра вместе и катнем в Москву. Будете желанным гостем редакции.

Выбирать между австрийской и русской печатью не приходилось. Моя журналистская судьба была решена.

Без сомнения, немаловажную роль в «значимости» предложения Сытина играло и то обстоятельство, что «венские газеты <...> жалко оплачивают литературный труд»⁵². В свою очередь, согласно неоднократным замечаниям Ильи Троцкого в его «мемуарных статьях», Сытин и его правая рука в редакционно-издательских делах Ф.И. Благов ведущим журналистам и писателям, сотрудничавшим с «Русским словом», платили «истинно с московской щедростью», а в особых случаях, именитым иностранцам и русским писателям с громкими именами сулили «любой гонорар, как бы высоки его размеры не были»⁵³.

Рассказывая о своей первой встрече с Сытиным, Илья Троцкий подробно рисует его портрет, что, надо отметить, для его публицистики явление достаточно редкое, поскольку обычно в своих очерках

он дает «общие картины», без прорисовки отдельных деталей. Во всех строчках его описания этого человека чувствуется и любованиe его персоной, и теплота, и глубокая личная симпатия.

Дородный, кряжистый, с светлеющей бородой клинышком и маленькими глубоко сидящими глазами, искрящимися умом и хитростью, Иван Дмитриевич производил впечатление прасола⁵⁴. Мало говорил и внимательно слушал. И речь его была чрезвычайно своеобразна и любопытна: отрывиста, лапидарна и порой беспомощна, но столь отлична от русской интеллигентской речи, что ее хотелось бесконечно слушать.

Говоря о Сытине в контексте портретных зарисовок, даваемых И.М. Троцким, нельзя не отметить важную историческую деталь – исключительно тесную связь до Первой мировой войны русского делового мира с Германией. Иван Дмитриевич Сытин по своим вкусам тоже был выраженный германofil⁵⁵.

И.Д. Сытин любил Берлин и частенько его навещал. Ему импонировала германская организованность, упорядоченность немецкого уклада жизни, <...> коммерческая добросовестность немцев, налаженность и пунктуальность их работы. Восторгался он культурностью и чистотой германской столицы и особенной заботливостью берлинцев украшать балконы домов цветами.

– Неужели на ночь цветов с балкона не убирают? У нас бы их с корнями вырвали... Ну и немцы! Народец, что и говорить!..

[Однако] не жаловал старик немецкой кухни.

– Живут, как бары, а едят, как хамы. И что, кажись, стоит научиться лично готовить. Учимся же мы у них строить, чего бы немцам не поучиться у нас кухне.

<...> Немцы его очень уважали и ценили его издательский опыт. Всякий его приезд обставлялся с большой торжественностью, тем более, что и клиентом он был завидным и широким. Редко торговался, хотя и любил по привычке российских купцов «прибедняться». Бывало, приедешь с ним к какой-нибудь фирме, директора вокруг него увиваются, величают Хер Генерал-директор, а он усядется в передней на краешек стула и разыгрывает просителя.

– Мы – люди маленькие и тут потолковать можем. <...>

– Иван Дмитриевич, вы роняете наш престиж у немцев. И чего засели в передней?

– Ну где там. Твоего не уроню! Ты вон в цилиндре и гамахах. Тебя не посрамишь!

И действительно, немцы отлично разбирались в игре московского миллионера и ходили перед ним на задних лапках. <...> Заказчик (Сытин. – М.У.) был крупный и требования предъявлял соответствующие. Не дай Бог, ротационную машину или линотип не вовремя или в ненадлежащем состоянии доставят. Такой шум поднимал, что куда и «прибеднение» девалось! И в этом сказывалась его московская натура.

Не менее колоритной является описание поездки Троцкого вместе с Сытиным на Капри, в гости к Горькому.

Ранней осенью 1911 года И.Д. Сытин неожиданно прибыл в Берлин. Остановливался он неизменно в отеле «Монополь», где дирекция знала его привычки и причуды.

Вызвал меня по телефону и с первого абзуга ошаршил тирадой:

– Грабит меня разбойник! Разорит он меня!

– Да кто же вас собирается ограбить, Иван Дмитриевич?

– Кто, кто? Известно кто. Горький!.. <...>

Издательство [Товарищества И.Д. Сытина] вело переговоры с Максимом Горьким о приобретении издательского права на его первые произведения, написанные в первые пятнадцать лет. Горький запросил 450 тысяч рублей. Правление издательства уполномочило И.Д. Сытина съездить к Горькому и лично с ним столкнуться. По дороге из Москвы в Берлин [Сытин] взвесил все «за» и «против» и решил, что операция эта разорительна для издательства.

– Протелеграфируй, пожалуйста, Феде (Ф.И. Благову. – М.У.) и другим директорам, что не стоит ездить к Горькому. Всё равно дела я с ним не сделаю.

Я, конечно, выполнил просьбу Ивана Дмитриевича. На следующий день получили ответные депеши из Москвы, что директора присоединяются к его мнению. И.Д. Сытин выслушал содержание депеш, встал, перекрестился на угол и говорит тихим таким шепотом:

– Поедем, стало быть, к Алексею Максимовичу. Хорошо сейчас на Капри...

– А что скажут в правлении?

– Неважно! Протелеграфируй, что едем. <...> Познакомишься с Горьким, пососедействуешь мне в переговорах о цене и покатаешься по Италии. Только ты уж меня одного с Горьким не оставляй. Обернет вокруг пальца. Он – жох!..

Мы телеграфно оповестили Горького о дне приезда и получили приглашение быть его гостями. <...>

От Берлина до Рима нас сопровождал известный фильмный промышленник Ханжонков⁵⁶. Всю дорогу Сытин плакался, что Горький его разорит и что мы едем заключать явно убыточную сделку. То же самое он говорил и покойному писателю Первухину⁵⁷, корреспондировавшему из Рима в «Русское слово». Полный профан в издательском деле, я в душе решил облегчить Ивану Дмитриевичу его миссию. <...>

На пристани на Капри нас встретил личный друг Горького, бывший берлинский издатель И.П. Ладыжников. Завидев еще издали Ладыжникова⁵⁸, И.Д. заметно всполошился и, обратившись ко мне, снова повторил просьбу – не оставлять его одного. Мы остановились в каком-то чудесном отеле, из окон которого открывался чарующий вид на неаполитанский залив.

Покуда я приводил себя в порядок, Иван Дмитриевич и Ладыжников куда-то исчезли. Тщетно я их искал в гостинице, ресторане и парке отеля. <...> Загадка, впрочем, вскоре разъяснилась. <...> Для меня стало очевидным, что Сытин уже сидит у Горького и, вероятно, ведет переговоры о приобретении его произведений.

На веранде горьковской виллы я нашел большое общество. <...> Было шумно и весело, а прелестная итальянская осень и синие волны, шаловливо игравшие у близкого берега, располагали к интимности. Максим Горький находился, по-видимому, в отличном настроении и очень ярко и образно рассказывал разные эпизоды из своей скитальческой <...> жизни.

Завтрак сменился чаем, чай – обедом и время пролетало незаметно. За

ужином <...> завязался спор об индивидуализме в литературе. Один из тех специфически русских споров, когда все одновременно говорят, один старается перекричать другого, и никто никого не слушает. Д.И. Сыгин сидел всё время молча, с явным интересом прислушиваясь к спору и не проронив ни слова. <...> Начали прощаться. Мы с Иваном Дмитриевичем остались последними. И вдруг случилось нечто, что на всю жизнь запечатлелось в моей памяти.

И.Д. Сыгин походит к Горькому и, подавая ему на прощание руку, говорит:

– Итак, Алексей Максимович, по рукам. Как ты сказал, так и будет. Заплатим тебе 450 тысяч. Спасибо.

Горький смутился, а я стоял совершенно растерянный.

В отель мы возвращались молча. Я внутренне досадовал на старика. К чему вся эта комедия! Зачем он отравлял мне всю дорогу в Италию причитаниями о грозящем издательству разорением? К чему просил не оставлять его наедине с Горьким? И вообще, что это за дикий подход к делам?

Иван Дмитриевич, очевидно, понимал мое настроение и, обняв меня вокруг талии, тихо сказал:

– Чего ты, милый, сердисься. Ведь Горький твой же брат-писатель. Что тебе жалко сыгинских капиталов, что ли? Эх, и наживем мы на этом деле. Имя-то какое? Горький!

Сыгин, оставшийся после революции в Советской России, был вполне востребован у новой власти. «Сначала бесплатный консультант Госиздата, затем выполнение различных поручений советского правительства: вел переговоры в Германии о концессии бумажной промышленности для нужд советского книгоиздания, по заданию Наркоминдел ездил с группой деятелей культуры в США для организации выставки картин русских художников, руководил небольшими типографиями. Под маркой издательства Сытина книги продолжали выпускаться до 1924 года. В 1918 году под этой маркой была отпечатана первая краткая биография В.И. Ленина. Ряд документов и воспоминаний свидетельствует о том, что Ленин знал Сытина, высоко ценил его деятельность и доверял ему. Известно, что в начале 1918 года И.Д. Сыгин был на приеме у Владимира Ильича. Видимо, именно тогда – в Смольном – книгоиздатель подарил вождю революции экземпляр юбилейного издания ‘Полвека для книги’ с надписью: ‘Глубокоуважаемому Владимиру Ильичу Ленину. Ив. Сыгин’, который и теперь хранится в личной библиотеке Ленина в Кремле»⁵⁹.

Впрочем, его особо не баловали. Когда Сытину исполнилось 75 лет, ему пришлось писать унижительное письмо в Совнарком своему бывшему хорошему знакомому А.В. Луначарскому с просьбой назначить ему пенсию. В октябре 1927 года, к 10-летию революции, эту просьбу милостиво удовлетворили: памятью о прежних заслугах на ниве народного образования, бывшему миллионеру Сытину положили пенсию в 250 рублей в месяц и вдобавок разрешили проживать с семьей в «отдельной» (sic!) пятикомнатной квартире.

Хотя для И.М. Троцкого – эмигранта и непримиримого противника советской власти – любого рода прислуживание большевикам являлось несомненным показателем морального падения личности, он ни разу не бросил камня в сторону своего бывшего работодателя и покровителя. Лишь только слова сочувствия и скорбного сожаления: «В последний раз я встретился с И.Д. Сытином несколько лет назад в Берлине. Но это уже был иной Иван Дмитриевич: подавленный, замкнутый, озлобленный. Сломали злые силы большевизма и этот могучий русский дуб. И вот нет уже больше старого Сытина»⁶⁰.

В 1934 г. на Введенском кладбище И.Д. Сытина – человека, которого не так давно величали «русским колоссом-просветителем», – в последний путь провожали лишь родные да немногие из бывших служащих. О том, чтобы публично почтить его память, уже не могло быть и речи. А вскоре – вплоть до 1960-х годов – он и вовсе стал именоваться не иначе как «царским агентом, который ради собственного обогащения эксплуатировал рабочих и читателей». Только в конце 1950-х гг. младший сын книгоиздателя, разыскав в семейном архиве рукопись отца, отнес ее в Политиздат, где в 1960 году появилось первое издание воспоминаний И.Д. Сытина «Жизнь для книги»⁶¹.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Уральский, М.* Неизвестный Троцкий: Илья Троцкий, Бунин и эмиграция первой волны. Москва–Иерусалим: Мосты культуры – Гешарим, 2017.
2. *Флейшман, Л.* Рижская газета «Сегодня» и культура русского зарубежья 1930-х гг. См.: *Флейшман, Л., Абызов, Ю., Равдин, Б.* Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов; *Абызов, Ю.* Рижская газета «Сегодня» – кто ее делал, кто в ней печатался и кто ее читал. В сб. Евреи в культуре русского зарубежья. Т. 2. Иерусалим: 1993. С. 221-239.
3. К триаде наиболее авторитетных газет Русского Зарубежья довоенной эпохи помимо «Последних новостей» и «Сегодня» относится «орган русской национальной мысли» газета «Возрождение» (с 1936 г. – еженедельник), издававшаяся в 1925–1940 годах. Ее владельцем был нефтепромышленник А.О. Гукасов, а первым редактором – П.Б. Струве (до 1927 года).
4. *Шаховская, З.* Отражения. Париж: YMCA-PRESS, 1975. С. 9.
5. Седых Андрей (Цвибак Яков Моисеевич; 1902, Феодосия – 1994, Нью-Йорк), литератор и публицист, в 1933 г. – секретарь И.А. Бунина, один из издателей и редакторов (с 1967) газеты «Новое русское слово». В эмиграции с 1921 года, жил в Берлине, Париже (до 1940) и с 1942 года – в Нью-Йорке.
6. Харитон, Борис Осипович (1876–1942), издатель и журналист. Окончил юридический факультет Киевского университета. Выслан из Советской России в 1922 г. вместе с группой писателей и философов; с 1924 г. жил в Риге, был редактором еврейской русскоязычной газеты «Народная мысль» и газеты «Сегодня вечером» (вечерний выпуск «Сегодня»). Участвовал в работе рижского изд-ва «Жизнь и культура» (при редакции газеты «Сегодня»). В 1940 г. арестован советскими властями и осужден на семь лет, умер в ГУЛАГе.

Был отцом Ю.Б. Харитона – знаменитого советского физика-ядерщика, трижды Героя Социалистического Труда.

7. Аргус (Железнов, наст. Айзенштадт) Михаил Константинович (1900–1970). Поэт-сатирик. В 1922 г. эмигрировал из Латвии в США. Работал в «Новом русском слове» – вел еженедельную рубрику «О чем говорят слухи-факты».

8. Лоло (Мунштейн), Леонид Григорьевич (Леон Гершкович; 1866–1947), поэт-сатирик, драматург, журналист, переводчик, издатель, театральный деятель. Окончил юридический факультет Киевского университета. Сотрудник газеты «Новости дня», опубликовал в ней свыше тысячи фельетонов в стихах. С 1908 г. постоянный автор театра-кабаре Н. Балиева «Летучая мышь». В 1909–1918 гг. редактор московского журнала «Рампа и жизнь». В эмиграции с 1920 г., жил в Париже, с 1926 г. – в Ницце. Публиковался в газетах «Последние новости», «Возрождение», «Русская газета» и др.

9. Свет, Гершом (Герман) Маркович (1893–1968), публицист, журналист, общественный деятель, оратор. С начала 1920-х гг. в эмиграции в Берлине, с 1933 года – во Франции, затем в Иерусалиме, с 1948 г. – в США. Сотрудничал с газетами «Дни», «Руль», «Сегодня», «Русская мысль», «Новое русское слово» и др.

10. Волковысский, Николай Моисеевич (1881– после 1940), журналист. В 1922 г. выслан большевиками в Германию. В эмиграции был сотрудником газет «Сегодня», «Дни» и др. После прихода Гитлера к власти переехал сначала в Прагу, затем – в Варшаву, где, по всей видимости, погиб после оккупации города немцами.

11. Неманов, Лев Моисеевич (1871/1872 –1952), юрист, общественный деятель, публицист. После 1917 г. в эмиграции. Жил в Германии и во Франции. Состоял членом Республиканско-демократического объединения, ряда творческих и научных обществ. Считался одним из лучших специалистов по политической ситуации на Балканском полуострове. Во время Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления, за что был в 1947 г. награжден орденом Почетного легиона, медалью Сопротивления и Военным крестом «За исключительные военные заслуги».

12. Бикерман, Иосиф Манасевич (1867–1942), журналист, публицист, преподаватель. Печатался в «Русском богатстве» и эсеровских изданиях. Один из ведущих сотрудников петербургской газеты «День». Эмигрировал в 1921-м, с 1922 г. жил в Берлине. Публиковался в газете «Руль». В 1936 г. поселился во Франции, с 1937 г. жил в Ницце. Оставил воспоминания, напечатанные в журнале «Возрождение» (1951, 1952, 1964).

13. *Седых, Андрей*. Русские евреи в эмигрантской литературе. В сб.: Книга о русском еврействе (1917–1966). Нью-Йорк: Союз русских евреев, 1967. С.431-432.

14. *Троцкий, И.* Город-сказка (Путевые наброски); В стране, не знающей кризисов и безработицы (Путевые наброски). «Сегодня», 26.06.1931 и 07.07.1931.

15. *Троцкий, И.* Как была присуждена Бунину Нобелевская премия. «Сегодня», № 318, 17.11.1933. С. 3; И.А. Бунина ждут в Швеции, № 318, 17.11.1933. С. 2; Шведский король вручил вчера И.А.Бунину Нобелевскую премию, № 324, 11.12.1933. С.1; На нобелевских торжествах в центре внимания будет Бунин, № 329, 28.11.1933. С. 3; Присуждением премии Бунину шведская академия испустила грех перед русской литературой, № 337, 6.12.1933. С.2; Встреча И.А. Бунина в Стокгольме, № 341, 10.12.1933. С. 1; И.А. Бунин в центре внимания на нобелевских торжествах, № 346, 15.12.1933. С. 3; Бунин на

- обеде у короля, № 349, 18.12.1933. С. 5; Чествование И.А.Бунина на празднике св. Люции, № 350, 19.12.1933. С. 3; Последние бунинские дни в Стокгольме, № 353, 22.12.1933 С. 2 и др. См. так же: *Уральский М.* Память сердца: «буниниана» Ильи Троцкого. «Вопросы литературы», 2014 (в печати).
16. *Троцкий, И.* Встреча с Синклером Льюисом (Дорожные наброски). «Сегодня», № 352, 21.12.1930. С. 2.
17. *Троцкий И.* Пиранделло о себе, обилии чествований, навязанном ему «пиранделлизме», русской литературе и советских экспериментах (Письмо из Стокгольма). «Сегодня», 12.1934. С. 3.
18. *Троцкий И.* Страничка истории (Из воспоминаний журналиста). «Сегодня», № 116, 01.05.1928. С.3; Первые шаги Шаляпина в Берлине (Из воспоминаний), № 130, 15.05.1928, С. 3; Мадам полпред, № 235, 31.08.1928. С.2; Зудерман и Толстой (Из воспоминаний журналиста), № 328, 1928. С.4; Фюрстенберг-Ганецкий – военный контрабандист, № 20, 20.01.1929. С.3; Встреча со Стриндбергом, 20.02.1929, № 179. С. 3; Встречи с Вильгельмом II, № 28, 29.01.1934. С. 4; Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сыгина, 07.12. 1934. и др.
19. Бюлов (Bülów), Бернгард фон (1849–1929), германский государственный и политический деятель, рейхсканцлер Германской империи (1900–1909); Бетман Гольвег (Bethmann Hollweg), Теобальд фон (1856–1921), канцлер Германской империи (1909–1917), сыгравший немалую роль в развязывании Первой мировой войны; Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, 1859–1941), последний император Германской империи и король Пруссии с 15 июня 1888 г. по 9 ноября 1918 года. Сын принца и впоследствии императора Германии Фридриха Прусского и Виктории Великобританской.
20. *Седых, А.* Памяти И.М. Троцкого. «Новое русское слово». 07.02.1969. С. 1.
21. *Троцкий, И.* Страничка истории (Из воспоминаний журналиста). «Сегодня». 01.05.1928. (№ 116). С. 3.
22. *Троцкий, И.* Накануне Первой мировой войны (Из личных воспоминаний). «Новое русское слово». № 18751. 1964.
23. Осип Дымов (Иосиф Исидорович Перельман, 1878–1959, Нью-Йорк), русский и еврейский (на идише) писатель и драматург. В России публиковал свои произведения только по-русски. Был сотрудником журналов «Театр и Искусство», «Сатирикон», «Аполлон» и др. Первую пьесу написал в 1903 г. Проза Дымова пользовалась широкой популярностью, особенно роман «Томление духа» (1912). Его пьесы ставил В. Мейерхольд. Псевдоним «Осип Дымов» взят из рассказа А. Чехова «Попрыгунья». В 1913 году эмигрировал, жил в Европе, в т.ч. в Берлине, где приобрел известность благодаря переводу нескольких своих произведений на немецкий язык. В середине 1930-х гг. уехал в США, где заявлял себя только как еврейский писатель.
24. *Дымов, Осип.* Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия. Под общ. ред., вступ. статья и ком. В. Хазана. Т. 2. Jerusalem: Hebrew University, 2011. С. 504. «Заграничные отклики» – воскресная общественно-политическая, литературная и экономическая газета; выходила в Берлине с июня 1912 по август 1914 года.
25. Бунин, И.А. Из записей: URL: <http://www.mirrelia.ru/memoirs/?l=memoirs-1>
26. Дело Бейлиса – судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса (1874–1934) в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приговорительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. 12 марта 1911 года Бейлис был оправдан.

27. *Троцкий, И. С.Ю.* Витте и мировая война. «Дни». 27.07.1924 (№522). С.2; Накануне Первой мировой войны; Со ступеньки на ступеньку (Из записных книжек журналиста). «Новое русское слово». 1964. № 18751. С.4; 03.07.1967. С.5.
28. Автор настоящей статьи является внучатым племянником И.М. Троцкого по отцовской линии.
29. *Троцкий, И.* Город-сказка (Путевые наброски); В стране, не знающей кризисов и безработицы (Путевые наброски); Русские в Люксембурге (Путевые наброски). «Сегодня». 26.06.1931; 07.07 и 14.07. С. 3.
30. Керманов Николай Петрович (1881–1959), полковник, служил в Корниловских частях Белой армии до эвакуации Крыма, галлиполиец, командир 4-й роты Корниловского военного училища. Осенью 1925 г. в составе училища перебрался в Болгарию, затем жил в Люксембурге, в 1931 г. возглавлял группу 1-го армейского корпуса и Общества галлиполийцев, затем жил в Парагвае, служил в парагвайской армии. С сентября 1958 г. снова в Люксембурге, где и умер 1 января 1959 года. Похоронен на кладбище Мертерт (Mertert). URL: <http://voldrozd.narod.ru/proekt/mainnov.html>
31. *Троцкий И.* Русские в Люксембурге.
32. Кусевитский (Koussevitzky), Сергей Александрович (1874–1951), русский и американский музыкант-исполнитель (контрабас), дирижер (в 1909–1920 гг. руководил российским, а в 1924–1949 Бостонским симфоническим оркестром) и композитор. В эмиграции с 1920 года. О нем и о его берлинском салоне см. *Троцкий, И.* Венок на могилу Кусевитского. «Новое русское слово». 1951. № 14290. С. 2.
33. *Троцкий, И.* Первые шаги Шалаяпина в Берлине (Из воспоминаний). «Сегодня». 1928. № 130. 15.05. С. 3.
34. *Троцкий И.* Триумф Шалаяпина в Копенгагене (Дорожные наброски) «Сегодня». № 128. 09.05.1930. С.3.
35. Дербург Фридрих (Dernburg, 1833–1911), немецкий публицист и политический деятель либерального направления.
36. *Троцкий, И.* Первые шаги Шалаяпина в Берлине. Указ. источник.
37. К сожалению, это свое намерение И.М. Троцкий не осуществил, в его последующих многочисленных воспоминаниях истории Шалаяпина не фигурируют.
38. *Троцкий, И.* Триумф Шалаяпина в Копенгагене. Указ. издание.
39. *Троцкий, И.М.* Встреча со Стриндбергом. «Сегодня», № 179, 20.02.1929. С.3.
40. По-видимому, имеется в виду герой повести А. Стриндберга «Романтический пономарь», которая впервые была опубликована по-русски в 1910 году (перевод Елены Благовещенской).
41. *Троцкий, И.М.* Встреча со Стриндбергом. «Сегодня», 1929.
42. *Троцкий, И.М.* В Берлине в дни объявления войны. «Сегодня», № 207, 28.07.1929. С.4.
43. Т. н. «Сараевское убийство»: 28 июня 1917 года в тогдашней столице австрийской провинции Босния и Герцеговина г. Сараево были убиты наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд (1863–1914) и его жена герцогиня София Гогенберг (1868–1914). Стрелял в коронованных особ серб, гимназист Гаврила Принцип (1894–1918), член террористической организации сербских радикалов-националистов. Это убийство стало поводом для начала Первой мировой войны.
44. Пашич (Пашић) Никола (1845–1926), сербский государственный деятель, дипломат, идеолог «Великой Сербии». Был бессменным премьер-министром

королевства Сербии (1891–1918) и Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918–1926).

45. Бад (Bad) – нарицательное обозначение водолечебного курорта, частая приставка в наименованиях многих курортных немецких городов.

46. Благов Федор Иванович (1866–1934), врач-ординатор, журналист, редактор, член Правления Товарищества И.Д. Сытина, один из редакторов газеты «Русское слово». В 1919 г. эмигрировал в Румынию, в 1922 г. уехал в Чехословакию, затем – во Францию. Гольдштейн (Goldstein) Иосиф Маркович (1868–1939), крупный русско-немецко-швейцарский экономист и политэконом. В 1919 г. эмигрировал в США. Петров Григорий Спиридонович (1966–1925), священник, общественный деятель, журналист, публицист и проповедник, широко известный в дореволюционной России. С 1920 г. жил в эмиграции в Сербии, где в 1923 г. им была закончена публицистическая книга «Финляндия, страна белых лилий», которая в том же году была издана на сербском языке, а уже после смерти Петрова в Париже много раз переиздавалась на разных языках. И.М. Троцкий был дружен с о. Григорием Петровым, который и порекомендовал его Сытину в качестве зарубежного корреспондента для газеты «Русское слово».

47. Насчет «солидарности» Илья Троцкий явно преувеличивает. Выказываемые им в печати либерально-демократические взгляды часто задевали представителей «охранительного» правого лагеря. Так, например, в 1911 г. российское посольство подало на него в суд, обвинив в клевете и оскорблении. Истца возмутило, что в своих корреспонденциях журналист назвал «Землячество русских студентов» в Берлине «черносотенным землячеством» и вдобавок утверждал, что его деятельность финансово поддерживается посольством. На суде защитником И. Троцкого выступал Карл Либкнехт. Процесс был проигран, и Илья Троцкий уплатил штраф. – См.: *Heidborn Tina Russländische Studierende an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität und der Technischen Hochschule Berlin 1880–1914. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde/Bonn: Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 2009. S. 418, 419: <http://hss.ulb.unibonn.de/2009/1641/1641.pdf>*

48. *Троцкий, И.М.* В Берлине в дни объявления войны. Указ. источник.

49. *Троцкий, И.М.* Иван Дмитриевич Сытин. К столетию со дня рождения. «Новое русское слово». № 14318, 1951. С. 5; И.Д. Сытин (Из личных воспоминаний). Там же, № 19612, 11.11.1966. С.4. Сытин, Иван Дмитриевич (1851–1934), российский предприниматель, книгоиздатель, просветитель, владелец газеты «Русское слово», журнала «Нива» и др. печатных изданий.

50. *Троцкий, И.* Гениальный самородок. Памяти И.Д.Сытина. «Сегодня», 07.12. 1934. С. 2.

51. Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922), журналист, публицист, театральный критик, один из самых известных фельетонистов своего времени, редактор газеты «Русское слово».

52. См.: *Хазан, В.* Миры и маски Осипа Дымова. В кн.: *Дымов, Осип.* Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия. С. 67.

53. *Троцкий, И.М.* Зудерман и Толстой (Из воспоминаний журналиста). «Сегодня». 1928. № 328. С.4.

54. Прасол – скупщик мяса и рыбы (обычно для соления) для розничной, мелочной торговли.

55. *Троцкий, И.М.* Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина. Указ. источник.
56. О нем см.: *Кузнецова, М.* Александр Ханжонков. Жизнь за кадром. М.: «Профиль», № 29, 1997; *Янгиров, Р.* К биографии А.А. Ханжонкова: Новый ракурс. «Киноведческие записки», № 55, 2001.
57. Первухин, Михаил Константинович (1870–1928), писатель, журналист и переводчик. В 1906 г. уехал из России, с 1907 г. жил в Италии, являлся иностранным корреспондентом «Сегодня». О нем см.: *Гардзонио, Стефано.* Михаил Первухин – летописец русской революции и итальянского фашизма. Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация. Тарту: Tartu lükoooli Riirjastus, 1997. С. 48-53.
58. Ладыжников, Иван Павлович (1874–1945), издатель, участник революционного движения конца 1890-х – нач. 1900-х гг. В 1905 г. по поручению ЦК РСДРП и при содействии М. Горького организовал в Женеве издательство «Demos», в том же году перенесенное в Берлин под названием «Издательство И.П. Ладыжникова», которое выпускало марксистскую литературу, сочинения Горького и писателей группы «Знание». После ликвидации издательства (1913) работал с Горьким в издательстве «Парус» и журнале «Летопись». После революции занимался в СССР книгоиздательским делом, а в 1937–1943 гг. – научный консультант архива М. Горького.
59. Музей Ивана Дмитриевича Сытина. Биография. URL: <http://www.muzei-sitina.ru/index.php?page=bio2>
60. *Троцкий, И.* Гениальный самородок. Памяти И.Д. Сытина. Указ. источник.
61. На основе этой книги была издана тщательно отредактированная и дополненная «Жизнь для книги: И. Д. Сытин. Страницы пережитого: Современники о И.Д. Сытине». М.: Книга, 1978. В 1973 г. в Москве на доме № 18 по Тверской улице была установлена мемориальная доска в память И.Д. Сытина; в 1974 г. на его могиле установлен памятник с барельефом, а с 1989 г. в квартире на Тверской, где он прожил последние семь лет, открыт музей.

Брюль, Германия

ОЧЕРКИ. ЭССЕ

Сергей Манукян

Очерки подлых времен*

Очерк 3. «ОБИДА» ЦЕНОЙ В МИЛЛИОНЫ

Он был выдающейся личностью,
импонирующей нашему жестокому времени,
в котором протекала его жизнь.

У. Черчилль, Речь в Парламенте, 23.12.1959

«Многие исследователи не подтверждают, что У. Черчилль говорил это в парламенте и именно в это время. Он понимал, как никто, что государство можно потерять, если слово не так скажешь, человека вовремя не убьешь», – писал Семен Липкин в повести «Декада». Сталин был внимателен ко всем необычным контактам, репликам и даже движениям союзников по отношению к его военачальникам. Ухо было чутким, а глаз зорким. Так, как это было, к примеру, на Потсдамской конференции, когда президент США Г. Трумэн как бы невзначай обмолвился об атомной бомбе, новом сверхоружии, а Сталин и ухом не повел, чем ошеломил своего американского коллегу. Но, как оказалось, вождь и слышал, и видел. И разбирался. Поведение американцев и англичан в Ялте на конференции в феврале могло натолкнуть Сталина на мысль о том, что иностранцы ищут выходы на Худякова, маршала авиации, начальника штаба ВВС, его эксперта по авиации.

Круто изменилась судьба маршала авиации Сергея Худякова¹ не в декабре 1945 года, когда он был арестован (фактически – так), а через полгода после Крымской конференции, где в Ливадии маршал был активным консультантом. «За ряд допущенных ошибок при служебных переговорах по вопросам внешних сношений во время Ялтинской конференции» 25 июня 1945 года Худяков был освобожден от должностей и направлен на Дальний Восток на приближающуюся новую войну. Что за «допущенные ошибки при служебных переговорах...» – об этом долгие годы не было известно, да и сегодня с точностью в деталях сказать трудно.

В 1947 году, когда Худяков уже второй год был подследственным, адмирал Иван Исаков позвонил Вере Николаевне Кузнецовой, жене главнокомандующего Военно-Морским флотом СССР адмирала

* Окончание. Начало см.: НЖ, № 311–312, 2023.

Николая Кузнецова, сидящего на скамье подсудимых, и предупредил, что в деле Худякова каким-то образом фигурируют фотографии с Ялтинской конференции; он предложил немедленно уничтожить подобные фотографии, имеющиеся в семье Кузнецова. Исаков – первый заместитель главкома Кузнецова, у них были хорошие отношения, и он посчитал долгом предупредить. Исаков не вдавался в детали, потому что сам их не знал, просто попросил супругу своего шефа и товарища поверить ему... Вера Кузнецова ялтинские фотографии не сожгла (по-женски, по-хозяйски пожалела, спрятала), а адмирала Кузнецова Сталин пощадил. Но что за фотографии, и какое отношение они имели к следственному делу Худякова?

После Ялтинской конференции 1945 года сын Рузвельта Элиот прислал Сталину в подарок альбомы цветных фотографий с интересными эпизодами – с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля. Просматривая альбомы, вождь обратил внимание, что на нескольких снимках за его спиной стоит, сияя улыбкой, невысокий военный. А на одном из снимков – даже положив руки на спинку его кресла... С неудовольствием спросил у начальника охраны генерала Власика, кто это? Тот ответил, что маршал Худяков. «Протоколы не соблюдаются?» – чертыхнулся вождь, откинув альбом.

Тогда в Ялте было много съемок, групповых и по отдельности, «Большой тройки» и тех, кто рядом, было много незапланированных контактов, как бы они ни предотвращались, особенно со стороны уполномоченных НКГБ. Конечно, не подаренный Рузвельтом самолет повлиял на судьбу Худякова², но эпизод мог запустить механизм недоверия у мнительного вождя. Рассмотрим фотографии ялтинской «тройки», внимательнее. Среди них есть и такая, где Худяков кладет руки на спинку кресла, – «сияющий военный» за спиной у Сталина (вождь чаще хмурый) на нескольких фото. Вот он с руками за спиной, как и английский офицер, а вот с рукой, вернее с большим пальцем, заложенной за петлицу мундира, как у Наполеона.

Вероятно, разговоры Худякова со Сталиным по поводу безобразного поведения его сына, полковника авиации Василия, проходили не единожды, включая и тот эпизод, когда Василий надругался над женой одного из офицеров. «Он неисправим». Сталин не был «мягким папочкой» – все-таки отдал старшего сына на смерть, не обменял, да и других родственников казнил, послал на эшафот брата первой жены Александра Сванидзе, родственников Нади, второй жены, близких друзей молодости – сотни имен. Жалобы начальника штаба ВВС и самого главкома авиации на сына говорили не только о честности службистов, но и «слабости» самих жалобщиков. Ни одному отцу не понравятся такие осечки в воспитании детей. Теперь Худяков сидел в Сухановской тюрьме, а главком ВВС маршал Новиков с министром авиапромышленности Шахуриным – в другой.

Когда генералиссимусу доложили о «показаниях» бывшего маршала, его удивила и даже ошарашила, кроме протоколов о вредительстве в авиации, информация о биографии-легенде арестованного.

– Не полугрузин, не русский, не сын паровозника с берегов Волги, а сто-процентный армянин, притом карабахский. И всё это, как его там... Ханферянц скрыл, обманул. Дальше еще хуже – завербован англичанами, 26 бакинских комиссаров расстреливал. По заданию английской разведки он будто бы поступил под чужим именем на службу в Красную Армию и сделал карьеру... Не тот ли это абрек-подросток, что помогал мне с «Искрой» в Баку? Время совпадает. Как можно доверять... – размышлял Сталин. – А можно ли верить абакумовским костоломам с Сухановки, ведь, наверное, хорошо отделали молодца (45 лет еще нет). Надо Лаврентия послать поговорить с земляком по бакинским делам... Даже если не всё показанное в протоколах правда...

Национальный вопрос был краеугольным вопросом, вопросом существования государства. Кто-кто, а он это знал. Первый наркомнац первого советского государства, консультант Ленина в начале века по национальному вопросу – по Кавказу. За что он, в конце концов, отторгнул великого режиссера и писателя Александра Довженко: сперва принял, приветил, часами слушал воодушевленные речи мастера об Украине, ее освобождении и языке, а потом понял, что это приведет к катастрофе, – национальная самостоятельность, сепаратизм. И Довженко был бит, и «изрублен на куски и выкинут», как писал сам. За то же обругал «хохла Хрущева», когда тот в 1944 году предложил учредить медаль «За освобождение Украины», и рассказал, почему это опасно. (Медаль «За оборону Киева» учредили уже при Хрущеве, руководителе СССР, и намного позже – в 1965 году.)

Поэтому выселил кавказских горцев и крымчан в разгар войны, после войны почуял опасность от евреев с их уже нескрываемым желанием получить Крым и жестоко им начал мстить, начав с убийства С. Михоэлса, арестов других и, наконец, планирования «коренного решения» вопроса. Космополитизм – опасная штука, но и шовинизм не лучше. В конце 1940-х Сталина напугал именно «русский вопрос». В 1945 году на приеме в честь Дня победы он неожиданно провозгласил тост в честь русского народа, за его терпение. Но это не означало, что речь шла о росте «самосознания русского народа», что приведет к его самоизоляции и развалу государства. Такое он почувствовал, когда возвысил Жданова и «ленинградцев». Ему казалось, что они начали продвигать национальную идеологию русского государства. После страха потери власти страх разрушительной самоизоляции республик был наиболее острым. Генеральный секретарь партии вернулся к коммунистической аксиоме: если какая-то республика вдруг захочет отделиться, то созданная им империя рухнет незамедлительно.

Анастас Микоян вспоминал, что Сталин в послевоенной деятель-

ности А. Жданова, Н. Вознесенского, А. Кузнецова, П. Попкова и других «ленинградцев» стал видеть проявление такого роста самосознания, и это его сильно насторожило: он понимал, что если РСФСР обособится и начнет ставить на первое место свои национальные и хозяйственные интересы, без поддержки союзные республики отпрянут, и СССР распадется. (Так именно и случилось с Перестройкой.) Сталин безжалостно ликвидировал «сепаратистов-ленинградцев»; то, что он «русскую партию» уничтожит, было предreshено задолго до судебного процесса, прошедшего в конце сентября 1950-го в северной столице в Доме офицеров на Литейном, – и предreshено именно *им*, а не «интернационалами» Маленковым, Берией и другими. После чего *он* затеял новые национальные дела – «врачей», «мингрелов». Очередной опасностью стало «влияние Запада» – и взялись за космополитов.

К началу 1950-го года органы стали работать аккуратнее; МГБ, в отличие от НКВД довоенного, действовало «культурно» и днем. Так был, к примеру, с «игрой» арестован на улице морской офицер, капитан второго ранга Борис Бурковский и осужден на срок 25 лет по статье 44 пункт В, «за преступную связь с американскими моряками во время Ялтинской конференции». (Четыре года назад он был офицером связи на кораблях и общался с американскими офицерами, с адмиралом, и – да, танцевал с Катлин Гарриман, дочерью посла США в Москве.) А.Солженицын «В круге первом» описывает послепобедный мрак атмосферы и тягучую деятельность ГБ.

«Повинуйтесь! – говорил своим поданным король Пруссии Фридрих II Великий и призывал: – Рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь!» О чем угодно и сколько угодно! В советской стране говорить свободно нельзя было уже в первые мирные годы после Гражданской войны, с 1922 года: в этот год Генеральным секретарем партии стал Сталин-Джугашвили, с подачи лидера партии Ленина, между прочим; ушел, вытолкнутый из страны, большой пароход с любителями порассуждать «о чем угодно» – философами, писателями и учеными. Инициатором их высылки тоже был Ленин, – перед своим первым инсультом он просто неистовствовал: «Выкинуть, отправить вон!» Иосиф Виссарионович такого никогда не делал – никого не высылал, никого не отправлял за пределы родины (только одного своего личного и самого большого врага Троцкого и пожалел), – он их убивал здесь.

Он «проявил необычайную силу воли, стойкость и хладнокровие», – пишет о Сталине «Британская энциклопедия» (Т. 21). Так, проявил. Он уничтожил (не выслал) всех самых близких соратников, «старую гвардию» своего учителя Ленина – Каменева, Зиновьева, Рыкова, Томского, Бухарина – и Троцкого, и многих других. Не оставил и их детей: были убиты сыновья Троцкого (два), Каменева (два), Рютина (два), единственный сын Зиновьева, друга Лакобы. Среди них были и школьники. По его формуле, озвученной в феврале 1937 г., «об обострении классовой борьбы» при продвижении к светлomu

будущему завертелась мясорубка репрессий – более 700 тысяч расстрелянных только в 1937–1938 годах. Созданная им машина «законно» казнила (1-я категория) и заключала в лагеря (2-я категория) миллионы невинных людей. Он «был создателем плановой экономики», точно так, – при невероятно ускоренном («а то сомнут») ее возведении погибло сотни тысяч рядовых копающих, таскающих и махающих (киркой) и тысячи директоров индустрий и инженеров.

Странно: под руководством крупного организатора завода или стройки в два-три года (!) возводился гигант индустрии, а после торжественного перерезания ленточки и вручения ордена Ленина или Трудового Красного Знамени почетного «именинника» вводили под руки. Поэтому Британская энциклопедия отмечает, что «в основе странного культа были несомненные достижения Сталина». И продолжает: «он был ‘отцом победы’», – несомненно, был!

Уникальный расстрел произошел 28 октября 1941 года: идет война, полный разгром, а тут расстреливают высших офицеров, генералов – без какого-либо судебного решения. «Приводят в исполнение» по предписанию Народного комиссара внутренних дел СССР Генерального комиссара государственной безопасности тов. Берия Л.П. от 18 октября 1941 г. за № 2756/6». Не приехавшие из Москвы в далекий Куйбышев (сюда привезли, чтобы расстрелять) старший майор госбезопасности Баштаков, майор ГБ Родос и старший лейтенант ГБ Семенихин так решили, а САМ (и Берия на допросе 31.07.1953 г. признал этот факт). Двадцать человек, не рядовых, нужных фронту. Паника, измена? Тогда возьмем 1942 год. Еще два десятка военных – опять генералы, можно вернуть их фронту. Однако «странный» Сталин надписал кратко: «Расстрелять всех поименованных в списке». Расстреляли. 23 февраля 1942 года. Британская энциклопедия про этот день ничего не сказала, а то «странность» обострилась бы. Генералов Красной армии расстреляли в День Красной армии. «Бить, бить и бить», – требовал он от дознавателей во время следствия над его личным врагом, то есть «врагом народа», зная, что последнему пощады не будет. «Перед тем как идти ему на тот свет – набей ему морду!» – желая потрафить вождю, говорил палачам у плахи генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия.

Но ко всем ли он был жесток? А как же женщины, жены, любовь, наконец, которая всё может простить, всё отогреть? Первая жена умерла, может, от своего одиночества и его скитаний, вторая погибла. Больше не женился, но любил ли, нравились ли женщины, от которых радости большие и беды? Исследователи его личности, желая окончательно понять причины «триумфов и трагедий», обращают внимание на его жестокость (природную или нажитую), болезненность (мнительность, паранойя и т.д.), свехувлеченность Идеей – объясняют этим его решения и действия, приведшие к многочислен-

ным смертям. Я бы добавил или даже переставил в первый ряд, где уже числятся страх и месть, такую категорию – *обида*, почти физиологическая, но не совсем. Или совсем не. Его обижал отец, бил (но он уже в зрелости не признавал это), «обижали» царские сатрапы, жандармы – арестовывавая, высылая и издеваясь (но совсем не так, как позже он и его карательная машина), обижал Троцкий, презирая его (он это видел и знал), другие «интеллектуалы», великий Ленин обидел своей заветной «выпиской» и другой, «болезненной» запиской о разрыве и склоке по союзному вопросу; потом «обидела» жена, Надежда – самый родной, единственный любимый человек (как он думал) – ушла от него в тридцать втором (застрелилась), «ушла как враг, изуродовала его» (по его словам), бросила не только его, но и детей, не дала возможности ответить³. Это был самый жестокий удар, почти смертельный, когда нельзя исправить и поправить. (Так чуть позже и было: крупные деятели-партийцы в себя стреляли – скажем, первый украинский нарком Н. Скрипник, уже через год, в 1933 году).

Могла ли его спасти любовь? Возможно. Я думаю, он пытался и даже любил. Своим соратникам советовал, оберегал по женской части. Сажал жен, невест, воровал даже. В июле 1939 года молоденькая жена маршала Григория Кулика, Кира Симонич-Кулик, вышла из своего дома в центре Москвы и исчезла; десять лет «искали», потом бросили: Киру Кулик с его вedomо выкрали, помучили немного и тайно застрелили. Не понимал он Кулика в последние годы, расстрелял бывшего маршала.

Была ли другая Надежда? Взгляните на картину «Портрет Н.А. Пешковой» (1940) кисти художника П. Корина. Надежда Алексеевна Пешкова (Введенская)⁴. Ее дочь Дарья Пешкова, внучка Максима Горького рассказывала:

«После смерти отца и деда любой мужчина, который приближался к ней, был обречен... Мать при этом не трогали, зато вокруг нее оставляли 'выжженную землю'. У мамы была приятельница, которая была вхожа в высшие круги власти, и перед самой смертью, уже в наше время, она рассказала, что Сталин сам имел виды на мать и предлагал ей соединить судьбы (он действительно часто приезжал к Горькому в Горки, и всегда с букетом цветов). И потому убивал любого, кто к ней приближался».

Другая дочь, Марфа Пешкова, утверждала:

«Все разговоры, что за мамой ухаживал Ягода, просто домыслы. Его посылал сам Сталин. Ему хотелось, чтобы мама о нем хорошо думала, и Ягода должен был ее подготовить... Сталин положил на нее глаз еще тогда, когда впервые привез к нам Светлану. Он всегда приезжал с цветами. Но мама в очередной их разговор на даче твердо сказала 'нет'. После этого всех, кто приближался к маме, сажали».

Даже в год его смерти в 1953-м расстроился ее брак с инженером Владимиром Поповым...

Но главной его любовью была и оставалась власть. Сталин – «одна из самых сложных, могущественных и противоречивых фигур мировой истории», – считает уже не только Британская энциклопедия. «Он дал свое имя системе кровавой единоличной диктатуры. Он знал, что делал, он не был ни душевнобольным, ни заблуждавшимся. С холодной расчетливостью утверждал он свою власть и больше всего на свете боялся ее потерять. Поэтому первым делом всей его жизни стало устранение противников и соперников», – писала его дочь Светлана (С. Алшлуева. «Всего один год». 1970)

«Они думают, почему я так поступаю с Жуковым, Георгием Победоносцем? Сегодня простой народный маршал, победитель, а завтра – из одного из трех коридоров явится с компанией меня арестовывать... Или сразу прибить?.. Они думают: почему я Деревянко назначил принять капитуляцию Японии, генерал-лейтенанта, а не маршала Василевского? Не потому, что японский с английским знает и 1904 года рождения (напомнить японцам о русском поражении 40 лет назад), – это не главное. Не нужно делать еще одного Наполеона из Василевского. Хватит Жукова – в Берлине. В Токио будет украинец Деревянко Кузьма Николаевич. И когда он поставит последнюю точку во Второй мировой войне, у меня будет еще один аргумент о праве вхождения Украины и Белоруссии в состав стран-основательниц ООН...»

15 августа 1945 года комендант маленькой железнодорожной станции передал генералу Деревянко⁵, украинцу по национальности, приказ Москвы сойти в Чите, а дальше – инструкции, американский крейсер в токийском заливе и его подпись на Акте капитуляции Японии в 1945 году. УССР и БССР оказались среди членов-основателей ООН и оставались с таким статусом еще 45 лет, до падения СССР⁶.

...Целых четыре года, в первое время с бесконечными допросами, с целью выведать «тайну», которая взбесила генералиссимуса, Сталин не давал разрешения покончить с Худяковым. Трагедия завершилась 18 апреля 1950 года.

Из-за репрессий в 1930-х годах погибло больше высших командиров, чем за все годы войны. Если во время террора 1937–1939 гг. из пяти маршалов погибли трое, а из четырнадцати командармов расстреляли тринадцать, то в годы двух войн – Советско-финской и Великой Отечественной – из тринадцати маршалов не погиб ни один, а из командармов (генералов армии) – только четверо: И. Апанасенко, М. Вагутин, И. Черняховский и Д. Павлов, – последнего расстреляли «за трусость и потерю управления фронтом» в июле 1941 года, остальные погибли на поле боя после 1943 года. Однако в войну и после, как видим, репрессии не прекращались. По данным исследовательского коллектива под руководством генерал-полковника Кривошеева, за все годы войны 1941–1945 гг. расстреляны и впоследствии реабилитированы 18 советских генералов и адмиралов. В реальности, только за первый военный год, с 22 июня 1941-го по 21 июня 1942-го, было аресто-

вано 107 высших офицеров (1 маршал, 72 генерала, 6 адмиралов, остальные – командиры дивизий и высший политсостав); из них 45 человек приговорили к расстрелу, в том числе 34 генералов, 10 человек умерли в заключении; сюда не вошли генералы, арестованные до войны и осужденные во время войны, в том числе заочно (данные юриста-исследователя В. Звягинцева, «Война на весах Фемиды», 2017). По данным доктора исторических наук А. Печенкина (Вятский государственный университет), в период Великой Отечественной войны погибли и умерли от различных причин 458 генералов и адмиралов. Были репрессированы свыше 90 генералов и адмиралов, из них 54 погибли (48 расстреляли, 6 умерли в тюремных камерах) – это составляет 12% от общих потерь советского генералитета за всю войну.

К этим процентам Сталин имел прямое отношение. Огромное количество сталинских военачальников попало в плен и большое их количество погибло там, потому что «у нас нет пленных, у нас есть предатели». Старший лейтенант Яков Джугашвили, старший сын Сталина, был в их числе. За годы войны советскими военными трибуналами было осуждено 2530663 человека (в т.ч. 47000 – за контрреволюционные преступления). Из них смертный приговор получили 28344. Расстреляли 157593 (данные генерал-полковника юстиции А.Муранова⁷. Это пятнадцать укомплектованных дивизий. Война – страшное дело, особенно когда армия отступает, особенно когда потеряны огромные территории и богатства... но 157 тысяч убито (35,7 тысяч за победную половину 1945 год) не в бою! Расстреляны немецким командованием, с 1 сентября 1939-го по 1 сентября 1944-й, – 7810 военных вермахта, три страны-союзницы осудили и расстреляли 200 солдат и офицеров. Советские потери в 157593 – это те, чью судьбу решили военные трибуналы. А еще судили и приводили в исполнение приговоры судов общей юрисдикции, ОСО при НКВД, органы СМЕРШ и сами командиры...

Почему Сталин убил, скажем, Худякова? Может, тот изжил себя? В 1923 году Генеральный секретарь коммунистической партии Иосиф Сталин при живом еще ее лидере Владимире Ленине, писал о дипломате Льве Карахане (Караханяне): «*Он изжил себя*, (Курсив мой. – С.М.) ибо он был и остался полпредом первой стадии китайской революции и совершенно не годен как руководитель в нынешней новой обстановке, китайской и международной, как руководитель при новых событиях, которые он не понимает и не поймет самостоятельно, как человек страшно легкомысленный и ограниченный (в смысле революционного кругозора). А смелости и нахальства, самоуверенности и гонора – хоть отбавляй...» Карахан, советский полпред в Китае, был знаком со Сталиным, доверял ему. 15 февраля 1925 года он пишет из Пекина Сталину: «Видел твой портрет в 'Огоньке', по-видимому, последний. Немного постарел, дорогой Сталин. Трудные

полтора года были! Но теперь, надеюсь, будет немного легче. Я поражаюсь, как спокойно партия приняла решение о Тр.» (Имеется в виду снятие Троцкого. – С. М.). Через 12 лет «дорогой Сталин» «спокойно решит» судьбу Карахана.

Эрих Фромм в книге «Анатомия человеческой деструктивности» считал, что отношение Сталина к своим соратникам было откровенно садистским. Известный искусствовед Е. Громов считает, что «Сталин любил изуверски играть со своей жертвой, как кот с мышью. Так он вел себя по отношению к Бухарину. Однако аресту Кольцова не предшествовали никакие угрозы и преследования. Он даже в намеке не являлся противником Сталина. Не исключено, что была не столько игра, сколько какие-то колебания кремлевского правителя»⁸. Михаил Кольцов, который «искренне, глубоко фанатически верил в мудрость Сталина», за две недели до своего ареста станет с подачи Сталина членом-корреспондентом Академии наук СССР (журналист!), получит из рук вождя орден и через несколько дней – пулю от него же. Французскому писателю Луи Арагону перед отъездом из Парижа Кольцов сказал буквально следующее: «Запомните последние слова, которые вы слышали от меня. Запомните, что Сталин всегда прав». (*Л. Арагон*. «Гибель всерьез»). «Самое главное: Сталин – это непрерывное, систематическое понижение человеческой жизни – до нуля, понижение цены личности – до отрицательной величины: личность – вот главный враг, вот что всего подозрительнее, всего опаснее... А уж абсолютная аморальность его политическая – лишь одно из следствий определяемой мотивом абсолютного самовластия», – писал Юрий Карякин⁹. «А ведь пройдет каких-нибудь 50 лет, и люди удивятся, как это были какие-то споры о Сталине, когда очевидно, что он великий человек. Мне посчастливилось работать с великим, величайшим человеком, для которого выше интересов государства, выше интересов нашего народа ничего не было...», – так говорил в 1971 году главный маршал авиации Александр Голованов, видевший Сталина много раз и в рабочем кабинете, и дома – и которого тоже не миновал 1937 год. Полвека прошло. Загадочный и великий Сталин...

Какое ему было дело, что в тюрьме в разгар войны в мае 1943 года гибнет преподаватель Военной академии Генерального Штаба, профессор кафедры оперативного искусства, генштабовец и военспец, генерал-майор Иван Паука, или что в том же году в саратовской тюрьме от голода или холеры умер академик Николай Вавилов; что расстреляют генерал-майора авиации Алексея Ионова, в начале войны – командующего ВВС Северо-Западного фронта, которого царское правительство наградило четырьмя «Георгиями», в том числе золотым оружием «За храбрость», а его советское правительство – орденом и наградными часами. Маршал Сталин дал в феврале 1942 года санкцию на расстрел генерал-майора авиации Николая

Алексеевича Ласкина. Оставил в живых другого Ласкина – Ивана Андреевича, генерал-лейтенанта, участника обороны Крыма и Сталинградской битвы, лично пленившего фельдмаршала Ф. Паулоса. Правда, кавалеру ордена Ленина, Кутузова 1-й степени, трех орденов Красного Знамени и Креста «За боевые заслуги», врученного послом от имени президента США «в признание его исключительного героизма и храбрости», пришлось отсидеть девять лет под следствием в мрачной Сухановке, с декабря 1943 по 1952 год. Военная коллегия Верховного Суда СССР отвела его от смерти, но присудила 15 лет по другой статье; вышел по сталинской амнистии.

К некоторым людям Сталин был непонятно нейтрален, что ли, а к другим – даже благосклонен. Таких немного. Например, маршал Борис Шапошников. Среди них и генерал Алексей Алексеевич Игнатьев (1877–1954), бывший генерал-майор Русской армии¹⁰.

Выжил в сталинских репрессиях и генерал Михаил Федорович Лукин (1892–1970), хотя почти четыре долгих года провел в немецком плену. В сентябре 1941 г. под Вязьмой были окружены соединения 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий – командовал окруженными командарм 19-й армии генерал-лейтенант Лукин¹¹, при выходе из окружения 14 октября он был тяжело ранен и без сознания попал в плен. В лагере генералу ампутировали ногу, с немцами на сотрудничество он не пошел, был освобожден американцами в апреле 1945 года. Лукина, бывшего царского поручика, проверял СМЕРШ. Его выпустили, вернули звание. То, что за генералом «висело» (плен, передача неких карт немцам, опасные высказывания по поводу русского «свободного» государства, личное участие в его судьбе командующего группой армией «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока), вполне хватило бы на «вышку» – так поступили с абсолютным большинством плененных генералов, но Лукина не тронули. Сталинская резолюция при освобождении генерала: «Преданный человек... По службе не ущемлять». Загадка? Так. То, что отпустили Лукина, – редчайший случай, генералов Понеделина и Кирилова, также освобожденных союзниками, расстреляли, ведь по Сталину «пленные – это изменники».

В сентябре 1945 года на линкоре «Миссури», находившемся на рейде вблизи Токио, в ряду американской делегации стояли бывшие пленные – американский генерал-лейтенант Джонатан Уэйнрайт, капитулировавший на Филиппинах, и генерал-лейтенант Артур Персиваль, который сдался в плен японским войскам в Сингапуре. Изможденных генералов недавно освободили из лагеря для военнопленных в Маньчжурии советские солдаты. Американский командующий Дуглас Мак-Артур в знак уважения подарил им по ручке, которыми подписывал документ о капитуляции. В советских газетах была эта фотография с палубы крейсера, ударение делалось на то, кто

их освободил. Этот факт натолкнул Александра Довженко на размышления; в своем дневнике в сентябре 1945 г. он записал:

«...не могу только простить генералу МакАртуру, что, подписывая капитуляцию Японии, он взял за этот исторический стол двух своих генералов, побывавших в плену. Ох и влетит ему от Трумена! <...> Вместо того, чтобы разжаловать их, отправить в концлагерь и проработать так, чтобы знали до четвертого колена, как попадать в плен. <...> Не понимаю... Почему мне стало так завидно?... радостно, что есть на свете гордые люди, все помыслы которых направлены на жизнь и на доверие к людям...»¹²

Еще один загадочный феномен. В годы массовых репрессий жены «врагов народа» обычно привлекались за недоносительство об изменнической деятельности мужей – что, как правило, влекло за собой отправку в лагеря или расстрел. Однако в одном случае Сталин давал санкцию на арест неповинных супружниц, а в другом – нет. Жену маршала Тухачевского расстреляли, мать и сестер сослали, так же сослали жену с детьми маршала Худякова, однако ни одну из трех жен Льва Карахана не тронули.

Многие хотели бы узнать: «как», «за что» и «почему», возможно – даже спросить у самого «товарища Сталина». Вот и герой трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые» журналист Синцов мечтал «поговорить с товарищем Сталиным и спросить его, как всё это вышло перед началом войны», и генерал Серпилин тоже: Сталин посмотрел ему в глаза особым взглядом и стало не по себе от «этого пристального, привычно и холодно сознающего свою силу и власть взгляда. И, почувствовав, что ему страшно... Сталин посмотрел на него с каким-то странным выражением лица – как будто его удивило, что люди еще способны так говорить с ним... спросить, узнать... как было на самом деле...»

...В 1919 году в Ясной Поляне, имении своего отца Льва Толстого, Татьяна Сухотина-Толстая принимала главу ВЦИК советского государства Михаила Калинина.

– Я говорила очень горячо, но вполне дружелюбно и уважительно всё то, что мой отец говорил против войны и убийств, и Калинин так же возражал. Расстались мы с ним дружелюбно.

– А ведь вот мне приходится подписывать смертные приговоры, – сказал он мне несколько робко.

– А вы не делайте этого. Никто вас не обязал этого делать.

– А как же быть, когда, например, узнаешь о целой организации шпионов?

– Не знаю. Вероятно, главе правительства надо приговаривать их к смерти. Но ведь вы можете не быть главой правительства.

Его все торопили ехать, т.к. он назначил сход в волости и несколько сот человек его ждало. Но он всё спорил, то сидя за столом, то встав, то уже на крыльце.

– Погодите, погодите! А вот вы говорите...

...Еще фехтовали и пытались простить друг другу.¹³

«Можно не быть главой правительства» – чтобы не убивать. Могли на такое пойти Сталин-Коба-Джугашвили? – «Эх, Бедный Сосо, лучше бы ты стал священником», – говорила ему мать в последнюю встречу, когда уже великий и могучий сын приехал в 1936 году к ней, больной, в Грузию, в последний раз виделся с нею. Не послушался – взялся быть царем в самой большой стране на земле...

В романе Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» (рассказ «Пиры Валтасара») есть такой эпизод:

...день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давилню... Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей... Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахети... Селянин отвечает гостю, узнав человека, но не поверившему своим глазам, что да, тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина, потому что посчитал что хлопот много и крови много пришлось бы пролить. <...> Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина...

«Человеку дано стать палачом так же, как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами», – продолжает писатель, родом из тех мест, где прошло детство и молодость Сосо Джугашвили.

В этом человеке, которого в Тифлисской семинарии прозвали Чепур – Рябой, воплотился рок, враждебный провидению, рок мирового правопорядка... Не случайно то, что властелином империи стал сын Востока... В Ленине, хотя и текла в его жилах кровь еврея Бланка и бабушки-калмычки, был керженский дух, игуменский окрик в декретах. А что было в Сталине? <...> Среди многих его черт, еще до конца не познанных, была одна очень важная <...> бесчеловечность, не забывающая, однако, о существовании человечности. Сталин убил своего друга Кирова, приревновав его к внутрипартийной славе. Поступок бесчеловечный, но именем Кирова он назвал улицы, города, заводы, корабли, – и не только ради своей выгоды, чтобы обелить себя, а и вследствие своей принадлежности к человеческой натуре... Но, оживи Киров, он бы его убил во второй раз... убивая, он свои жертвы не ненавидел, некоторые из них не переставали ему нравиться... Сталин убивал человека, потому что ему было необходимо уничтожить действия, характер, связи человека, а не самого человека. Поэтому Сталин никогда не считал себя убийцей. Его неслыханная подозрительность была обычной подозрительностью племени, рода, колена: в другом племени, роде, колене всегда таится опасность!..¹⁴ (*Семен Липкин*)

Писатель Юрий Домбровский, «уцелевший свидетель трагедии тридцать седьмого года», писавший свою главную книгу «Факультет ненужных вещей» с 1964-го по 1975-й, закончив ее, в своеобразном комментарии «К истории» отмечал:

Во всей нашей печальной истории нет ничего более страшного, чем

лишить человека его естественного убежища – закона и права. Падут они и нас унесут с собою. Мы сами себя слопаем. Нет в мире более чреватого будущими катастрофами преступления, чем распространить на право теорию морально-политической и социальной относительности... Пало право, и настал 37-й год. Он и не мог не настать. Сталинский конвейер – это сфинкс без загадки. Если уничтожать не за что-то, а во имя чего-то – то остановиться нельзя... Врагами становятся жены, дети, друзья, а такие ценности, как свобода, добро, совесть, милосердие, становятся «ненужными вещами».

6 сентября 1941 г. нарком Л. Берия направил Сталину письмо с прилагаемым списком из 170 узников Орловской политической тюрьмы с ходатайством о применении к ним расстрела, так как эти заключенные опасны пораженческой позицией. Большинство из узников были из старой революционной гвардии, большевики. Сталин в тот же день подписал распоряжение ГКО №634сс, и уже 8-го числа Военная Коллегия, без дополнительного судебного разбирательства (узники уже имели приговоры), – приговорила почти всех, 161 человека, за контрреволюционную пропаганду по статье 58/10 часть вторая УК РСФСР к высшей мере. Добавлю: таким образом решать проблемы с «подозрительными» предлагали не только нарком, а и его подчиненные рангом ниже, а несколько лет ранее о революционной справедливости с трибун и газетных полос кричали многие – от академиков и писателей до ткачих и кондитеров. Было бы глупо обвинять одного Сталина за эту страшную треть века. Кто писал доносы, кто допрашивал, кто обвинял и судил, кто расстреливал?

Сталин – грешник № 1; оставляя за ним его злой гений, замечу, что все *злое* было возможно потому, что участвовали многие. Мудрейший Блез Паскаль, математик и философ, писал о вине полугрешников: «все эти полугрешники, которые питают некоторую любовь к добродетели, они все будут осуждены». А для «грешников закоренелых и открытых», которых ад не принимает, есть, вероятно, особый суд.

Некоторым *государственным* судам удалось судить Его, мертвого, – заочно. Но, думается, им – государственным – такое не под силу, и земным судьям это не по плечу. Гротескный и точный Ф. Искандер считал «что Бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью». Интересно, на какой стадии дело...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Худяков Сергей Александрович (1900–1950), советский военачальник, маршал авиации. В 1941-м – начальник штаба ВВС Западного военного округа. За время войны сделал карьеру от полковника до маршала, начальника штаба ВВС Красной Армии. Арестован в декабре 1945 года. На следствии выяснилось его армянское происхождение (до этого по документам был «русским»). См.: *Манукян, С.* Полет и Кара. История одного падения. Харьков. 2023.
2. Черчиллю и Рузвельту понравился этот авиационный маршал; американ-

ский президент подарил Худякову спортивный самолет, который Худяков незамедлительно передал в спортивный клуб, от греха подальше.

3. Надежда Аллилуева (1901–1932) – вторая жена Сталина, мать его детей Светланы и Василия.

4. Надежда Пешкова (в девичестве Введенская, 1901–1971) – роковая московская красавица, художница, невестка, жена сына Максима Горького. Одна из ее дочерей, Марфа, вышла замуж за Серго Берия, сына Л. Берия.

5. Кузьма Николаевич Деревянко (1904–1954), советский военачальник, генерал-лейтенант, подписал в 1945 г. Акт о капитуляции Японии. Первым из советских военачальников видел результаты бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Герой Украины (2007; посмертно).

6. Трюк с «декоративными» атрибутами государственности для союзных республик был задуман для того, чтобы СССР не остался в меньшинстве в созданной ООН. 28 января 1944 года было объявлено об очередном Пленуме ЦК ВКП(б), который рассмотрел предложения Совнаркома СССР по «расширению прав» союзных республик в сфере обороны и внешней политики. В тот же день сессия Верховного Совета СССР на основе доклада председателя Совнаркома и министра иностранных дел В.М. Молотова приняла два закона: «Об образовании воинских формирований союзных республик» и «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних отношений». Законы касались только БССР и УССР, ставшие «государствами на бумаге».

7. Муранов, А. Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны. «Государство и право», 1995, № 8.

8. Громов, Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998.

9. Карякин, Ю. «Ждановская жидкость» или Против очернительства. «Новая газета», 21 августа 2011. <https://novayagazeta.ru/articles/2011/08/22/45547-yuriy-karyakin-171-zhdanovskaya-zhidkost-187-ili-protiv-ochernitelstva>

10. Игнатъев Алексей Алексеевич, граф (1877–1954), участник Русско-японской войны. Октябрьский переворот застал Игнатъева во Франции, где он служил военным агентом. В 1924 году передал советскому торгпреду Л. Красину 225 миллионов рублей золотом со счета в «Банк де Франс», принадлежащие Российской империи. Русская эмиграция объявила Игнатъеву бойкот. Получил советский паспорт. Числился на службе в советском торгпредстве. Уехал в СССР в 1937 году. Игнатъеву присвоили звание комбрига, в 1940 г. – генерал-майора, в 1943 г. по личному указанию Сталина Игнатъеву – генерал-лейтенанта. Был членом СП СССР, автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю». В 1947-м генерал А. Игнатъев вышел в отставку, умер в ноябре 1954 года.

11. Михаил Федорович Лукин (1892–1970), генерал-лейтенант. Как участник Первой мировой войны заслужил три ордена. В июне 1941 г. – командующий 16-й армией, задержал продвижение немцев в ходе Смоленского сражения, имел три ордена Боевого Красного Знамени. С октября 1941-го по апрель 1945-го находился в немецком плену. После освобождения восстановлен в звании, в 1946 г. награжден Орденом Ленина. В том же году вышел в отставку. Герой Российской Федерации (1993, посмертно).

12. Довженко, А. Записи дневников. 1939–1956. Харьков. «Фолио» 2013. Записи в Дневнике делались на русском и украинском языках. Оригинальная запись от сентября 1945-го сделана на украинском языке.

13. Сухотина-Толстая, Т.Л. Дневник. М.: Современник, 1979.

14. Липкин, С. Декада. М.: Книжная палата, 1990.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Ирина Муравьева

Про Людю Штерн

Памяти Л.Я. Штерн (1935–2023)

11 июня 2023 года в Майами скончалась Людмила Яковлевна Штерн – известный журналист, писатель, мемуарист, переводчик, общественный деятель. В СССР она участвовала в правозащитном движении, подписывала письма в защиту Синявского и Даниэля, академика Сахарова. В 1976 году она эмигрировала и с тех пор жила в США, продолжив общественную и литературную деятельность. Среди ее друзей и единомышленников были Иосиф Бродский и Сергей Довлатов, о которых она оставила книги воспоминаний.

Вечер был, поздний вечер, за пару дней до Рождества. На елочном базаре пусто. Шел мелкий и редкий снег, пахло лесом. Выбрали две елки: большую для меня и маленькую – для Людю. «Он большую не позовет», – сказала она, имея в виду Витю Штерна.

Поднялись на третий этаж с маленькой, робкой елочкой, вошли в квартиру, где было темно и тихо.

– Витя! – сказала она.

Тишина.

– Витя-я! – она закричала. – Что с тобой?

И бросилась в темноту, не сняв шубы.

Она бросилась с таким отчаянным, с таким громким криком, что я перепугалась. Витя Штерн недавно перенес операцию и еще не выходил на улицу. Через несколько секунд послышался его заспанный кашель.

– Ты почему не отвечаешь? – она уже не кричала, голос ее упал до шепота. – Что значит: заснул? Ты не знаешь, **как** я боюсь?

Я никогда не забуду этот вечер. Я увидела другую Людю Штерн, беззащитную и любящую. Я увидела ее: настоящую. Без Бродского, без Довлатова, без знаменитых друзей и приятелей, без микрофона в кулачке. Людю, Людку, – как я называла ее, хотя мы всегда были на «вы», и никакой фамильярности не допускалось. Пришла доверительность, которая и стала основой будущей нашей жизни. И теперь, когда оборвалась *ее* жизнь, оборвалась и *наша*. Я не любила ее – выступающей, внешней, ищущей чужого внимания. Это была та сторона ее души, которая ничего во мне не затрагивала. Но родственно, нежно, преданно любила ее – домашнюю, заботливую, смешную, испуганную.

Она никогда не называла Надежду Филипповну «мамой», только «мамочкой». «Мамулечкой».

«У мамочки сегодня дамы, – говорила она. – Я накрою на стол и уйду. По магазинам проедемся?»

Это значило, что сегодня для «дам», пожилых приятельниц Надежды Филипповны, будет устроено чаепитие на террасе. Я помню – нет, вижу сквозь вспыхивающую цветную пленку памяти, – маленькую, всю залитую светом террасу их дачного дома на Кейпе; стол, застеленный желтой клеенкой, красивые парадные чашки, букет цветов в центре, пирожные, конфеты, печенье, фрукты, я чувствую запах свежесваренного чая, слышу старческий, громкий голос Надежды Филипповны, смех и скороговорку «дам», пришедших в нарядных платьях, с подкрашенными губами...

– Мамулечка! – говорила она, в последний раз оглядывая красоту на желтой клеенке. – Я приеду часа через полтора.

– Не спеши, – царственно кивала Надежда Филипповна. – Через полтора часа рановато. Что ты нас торопишь?

И смеялась своим столетним приветливым смехом.

Мне хочется не то чтобы вернуть то счастливое время – его не вернешь, – мне хочется полюбоваться им издали, замахать ему вслед обеими руками, как радостно, со слезами, машут вслед поезду.

Мы приехали с ней в Ленинград. Конференция, посвященная Бродскому. Все, кто знали его, собрались, все хотели выступить. И Люда хотела. Я Бродского почти не знала, но пристроилась к ней, и полетели мы вместе. Это было время белых ночей. Она, окунувшаяся с головой в родной город, молодела на глазах. Гордин поселил нас в гостиницу неподалеку от Казанского собора. В соседней комнате жила секретарша Бродского Энн, молодая, застенчивая, светловолосая. Гордин и Казаков пригласили нас в ресторан. Ей они были родными, хорошо знакомыми людьми, она знала их характеры и повадки. Сидим в ресторане. Мальчик-официант мгновенно узнает Казакова.

– Я извиняюсь, – говорит он и багрово вспыхивает. – Вы случайно не артист Казаков?

– Я – артист Казаков. – отвечает Казаков. – И у меня сегодня день рождения.

– Врет, – объясняет мне Люда. – Нету у него никакого дня рождения. Всё врет. Всегда.

В ресторане начинается небольшой переполох. Вместо одного мальчика нас обслуживают уже двое.

– Ну, вы принесите, что у вас там фирменное, – снисходительно роняет Казаков. – Проголодались мы.

Стол наш дымится и ломится. Казаков явно доволен. Но и те, кто сидят в ресторане, – а народу было немного, – довольны. И те, которые мечутся в кухне, желая как можно лучше угостить артиста в его день рождения, тоже довольны. С заблестевшими выпуклыми глазами Казаков наклоняется к Люде.

– Людка, – говорит он немного пьяным, хорошо поставленным голосом. – А вот я тебя сколько лет знаю?

Люда машет рукой.

– Правильно, – кивает головой Казаков. – Я тебя знаю двести лет. А скажи мне, Людка, почему я тебя за все эти годы ни разу не позвал на свидание?

– Ты, Мишаня, других звал.

– Но я исправлюсь. Людка, приходи ко мне на свидание. Сегодня. Попозже.

– А Витьке что скажем?

– Витьке? – удивляется он. – А ничего не скажем. Откуда он, Витька, узнает?

На этом ужин заканчивается, и мы расстаемся. Уже засыпая, я слышу ее смех с соседней кровати.

– А ведь так и не пригласил! – смеется она. – Вот ведь почти пригласил, а так и не пригласил!

И мы засыпаем, счастливые.

Я помню так много, что моих благодарных воспоминаний хватило бы на целую библиотеку, но надо выбрать то, что отозвалось бы и в ее душе, что она разделила бы сейчас со мною.

Надежду Филипповну похоронили на Кейп-Коде. Каждую годовщину я приезжала утром к Люде, и мы вместе ехали на это тихое деревенское кладбище. Она подходила к могиле и начинала заботливо убирать ее, словно это комната, в которой Надежда Филипповна еще живет, в которой ей должно быть уютно.

– Вот смотрите, – говорит она, – я эту пихточку посадила два года назад. Вы помните? А как она выросла! Видишь, мамулечка?

И поливает подростковую пихточку.

– Желтые сюда поставим, – она опускается на колени и распределяет цветы по банкам, – а синие сюда. Ирочка, наберите еще воды, пожалуйста.

Я иду за водой и, оглянувшись, вижу, как она обеими ладонями пригладивает землю, потом берет бумажное полотенце, протирает камень.

– Вот так, мамулечка, – бормочет она. – Я в середину два этих красных посажу. Нравится вам, Ирочка?

Я киваю. Мне нравится не могила – я не люблю и не понимаю могил – мне нравится она, Люда, стоящая сейчас на коленях и втыкающая два красных цветка в ярко-черную землю. Она поднимается, собирает остатки бумажного полотенца, засохшие и выдернутые стебли.

– Мамулечка, – говорит она совершенно естественно, как будто Надежда Филипповна остается, а мы ненадолго уходим. – Я завтра вернусь, надо всё-таки розовый куст посадить. Такой же, как у Симановских.

Ее любопытство к другим, ее умение приоткрыть раковину чужого «я» было неслыханным. Каждый таксист рассказывал ей свою жизнь. В Нью-Йорке она раскрутила немолодого редкозубого кенийца, а поскольку ехали мы долго, я узнала не только про его многочисленную бедовую семью, но и любопытные факты о флоре и фауне далекой Кении. Еще был чудесный Новый год, который мы встречали в Майями. Люда была в чем-то сверкающем, серебристом, что на любой другой женщине выглядело бы слегка вульгарно, но ей шло и точно соответствовало существу праздника: Новый год. Кажется, нас куда-то не туда посадили или что-то не то принесли. И опять, как тогда, в Ленинграде, мальчик-официант, на этот раз не белобрысый и бледный, а ярко обугленный щедрым солнцем, крепкий, в нарядной красной курточке, терпел ее упреки.

– И это по-вашему хлеб? – она возмущенно отодвигала корзинку. – Это сухарь для тех, кто на диете! Нормального, белого нет?

Она шутила. Она ни за что не стала бы портить ему вечер, даже если бы он не принес на наш столик ничего, кроме миски соленых огурцов. Она умело и весело сводила каждый свой упрек и каждое приказание к шутке, и малый в красной курточке, наконец, догадался, что эта серебристая, по виду требовательная, дама превратит его сегоднешнюю хлопотливую работу в приятное событие. Потом были танцы. Пока рядом дергались и подпрыгивали, эти двое – Люда и Витя – двигались медленно и ритмично, глазами и усмешками подтрунивая над собою, словно в этом медленном ритме им вспоминалось, какие танцы были тогда, когда малого в красной курточке еще не было на свете.

Она была очень умна. И испугалась наступающей немощи, как очень умный человек. Когда она сказала мне, что *не может* жить слепой, это не было преувеличением: она *не могла*. То, с чем художбно справляются другие, приравливаясь к грустной необходимости возраста, – ослаблению зрения, потере слуха, снижению подвижности – оказалось невыносимым для нее. Она слишком привыкла к ощущению полноты жизни и остроте собственного воображения. Помню, мы входим в океан, раздвигая руками волны, и она вдруг произносит:

– Маленькие люди говорят о вещах, средние – о людях, и только самые крупные – о мыслях.

– Что это: *говорить* о мыслях?» – и я отплываю.

– Это значит: говорить о том, что в тебе есть. – она *требует*, чтобы я поняла. – Вы этого не знали?

Та сильная и несомневающаяся вера в Бога, которая придавала особый смысл жизни ее мужа, не была разделена ею. Но такт и бережное отношение к тому, чем дышит самый близкий ей человек, оказались на высоте.

«Вдвоем с Витюнчиком будем на Пасху, – вздыхала она. – Нашу Пасху никто больше не выдержит: пять часов стоять!»

Но стояла, и стол накрывала по правилам, и одевалась во всё праздничное. Всё как положено.

Изредка мы ездили в Нью-Йорк. Всегда на поезде, потому что в автобусе нельзя было так разговаривать, как в поезде. Рассказывала она, я только слушала. Ее короткие зарисовки, сценки, карикатуры переливались так же, как длинные и серьезные истории. Она могла повториться, могла рассказать мне то, что уже рассказывала, но – удивительная вещь: каждый новый рассказ немного отличался от прежнего, словно она нащупывала в устоявшемся содержании новые формы.

И вот еще одно, самое, наверное, драгоценное мое воспоминание. Была зима, на улицах горели фонари, и в их свете медленно ползущие на землю снежинки казались какими-то скорбными. Мы сидим в крошечной, очень теплой комнате в подвале того дома, в котором она живет. Вдоль стены проходят толстые трубы отопления. Мы – это Люда, я, радостно улыбающийся старик и худая, до слез трогательная своею ласковостью беспородная собака. Старик – то ли смотритель всего хозяйства, то ли просто отвечает за отопление. Он живет здесь, вдвоем с когда-то подобранным и выросшим щенком, и никому – вот это я почувствовала сразу – не делает зла. Может быть, оттого и нет на его лице следов неправильных мыслей и глупых амбиций. И он, и собака – светлы и чисты. Посреди комнаты стоит детская железная дорога, но какая! Она сделана его руками, им продумана, им раскрашена. И это не игрушка, это маленький живой, обособленный ото всего остального космос, райский островок благополучия и разумности, окруженный в кроткую разумность существования этих двоих: тихого и радостного старика, тихой остролицей собаки. Он гордо, подобно ребенку, объясняет нам, как устроена его дорога, сколько на ней станций, сколько будок, слагбаумов, поездов и вагонов.

– А на прошлой неделе я докупил еще немного людей. Вот этих.

И показывает дам, крошечных, как в путешествии Гулливера, и таких же господ в старомодных плащах и цилиндрах, которые ждут подходящего поезда. Собака ставит лапы на Людины колени, лижет ее щеку, и Люда целует ее в сморщенный шелковистый лоб.

– Ну, сласть ведь? – говорит она мне. – Ведь сласть настоящая!

Старик нажимает кнопку, и медленно трогается поезд. Колеса его постукивают так же мелодично, как мелодичен звук потрескивающих в печке дров.

Спросите меня сейчас: чего ты хочешь? Да только этого вечера. Этого старика, его поезда, его собаки, снежинок за окном и главное: Люды, Люды, обернувшей ко мне раздумянившееся лицо:

– Ну, сласть ведь? Ведь сласть настоящая!

БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Кабанов. The Age of Vengeance: Wartime Verses from Kyiv / Время возмездия. Военные строфы из Киева. (На англ.) – Independently published, USA. 97 с.

«Трагический тенор эпохи» – так сто лет назад сказала Анна Ахматова об Александре Блоке. Никто сегодня не заслуживает этого высокого титула больше, чем Александр Кабанов. Его стихи, написанные в военном Киеве, становятся поэтической хроникой русско-украинской трагедии. Когда-нибудь их включат в школьные программы. Сперва в Украине. Потом в России.

Сдержанный трагизм стихов Кабанова, написанных в украинской столице, подвергающейся регулярным обстрелам с 2022-го, вызывает в памяти Седьмую симфонию Шостаковича. Эта музыка, исполненная в блокадном Ленинграде в 1942-м, стала символом Культуры, противостоящей Злу. Поэзия Кабанова – высокий пример того же противостояния.

Важная часть поэтической силы Кабанова в том, что эти стихи написаны на русском, «На языке врага», как он отважно назвал свой одиннадцатый сборник (стихи 2014–2022 гг.). «У России нет монополии на русский язык. Отдать наш украинский русский язык Путину было бы всё равно, что отдать немецкий язык Гитлеру», – это слова Кабанова из интервью, записанного для нашего фильма «Военные строфы из Киева», посвященного его творчеству.

Как много в воздухе свинца,
и с кем воюет Украина:
а это родина отца,
а это родина отца –
пришла за родиною сына.

Так заканчивается стихотворение об Александрове, о родном городе покойного отца поэта. В этом подмосковном городке Марина Цветаева провела счастливое и плодотворное лето 1916-го. Здесь она написала свои знаменитые стихи, посвященные Анне Ахматовой. Земля Цветаевой и Ахматовой, место рождения отца и идиллический край детства самого Кабанова превращается в стихотворении в «страну пошитых в дурни»:

А папа мой лежит в земле,
он – пепел в погребальной урне,
он – память о добре и зле,
и о стране пошитых в дурни.

Скорбь о потере отца и его потерянной родине, обо всех жизнях, загубленных и исковерканных войной, отчаянный поиск и победное

обретение надежды, душевной опоры, мужества пронизывает новую книгу Кабанова «Время возмездия», вышедшую в США. Всё это собрано в последней строфе стихотворения, открывающего сборник: «Голод, разруха, смерть, страх, первородный грех – / непобедимы все, нет на них топора, / и только любовь – сосет, хакает грязь – за всех, / но только она – спасет, и только она – твой смех, / а вот теперь, мой милый, плакать пора, пора». Искусство не может победить Зло. Но оно может помочь Добру уцелеть. Достоевский имел в виду именно это, когда сказал устами своего героя: «Красота спасет мир». Еще Искусство может Зло разоблачить, назвав его по имени. В этом отношении литература, особенно поэзия, как ее наиболее насыщенная форма, оказывается мощным оружием:

...И я хожу среди людей,
не уставая, удивленно,
и знаю, кто убил детей, –
побуквенно и поименно.

«Сын снеговика»

* * *

Теперь неважно: крестные объятия,
бордель в Брюсселе или черный схим,
вам не сбежать от нашего проклятия –
мы отомстим – хорошим и плохим.

В одном флаконе: гений и посредственность –
вы все с мечом пришли в мою страну,
и ваша коллективная ответственность
впадает в коллективную вину.

«Время возмездия»

* * *

Кто пойдет против нас – пусть уроет его земля,
у Венеры Милосской отсохла рука Кремля,
от чего нас так типает, что же нас так трясет:
потому что вложили всё и просрали всё.

* * *

Я вас прощаю, слепые глупцы, творцы
новой истории, ряженные скопцы,
тех, кто травил и сегодня травить привык –
мой украинский русский родной язык.

«Почему нельзя признаться в конце концов...»

Александр Кабанов – выдающийся украинский поэт и патриот, борющийся за независимость страны своим самым сильным оружием –

словами и рифмами, своим даром. В то же время он – русский поэт, продолжающий долгую и славную традицию своих великих предшественников – Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Ахматовой, Бродского, которые словами и рифмами противостояли жестоким тираниям и несправедливым войнам своей истерзанной родины. И наконец, он – европейский поэт, чьи стихи переведены на многие языки. Он – гражданин мира, поэтическая вселенная которого населена красотою и страданиями западной цивилизации; здесь и осажденные Троя и Ленинград, Гёте и гетто, Сикстинская капелла, брюссельский бордель, Гомер, Шекспир, Бах, Венера Милосская, небо Барселоны, виноградники Тосканы...

А помнишь, мы мечтали приодеться
в той юности, где воля за углом,
теперь мне будет в старости хотеться:
свой виноградник и в Тоскане – дом.

«Замок»

Его любимая Италия стала первой страной, где перевели и опубликовали сборник «На языке врага» – *Nella Lingua Del Nemi*. Его последняя международная награда тоже получена в Италии – в 2022-м, на Международном фестивале гражданской поэзии в Верчелли.

И вот, наконец, первая книга стихов Кабанова вышла в США. Это произошло благодаря активной поддержке Victoria Zhang, основательницы издательства KunLun Press, и легендарного китайского поэта и активиста Huang Xiang. Основная миссия KunLun Press – способствовать продвижению талантливых писателей, художников, противостоящих репрессивным режимам.

Книга появилась и благодаря долгим часам труда многих одаренных переводчиков. Перевод стихов – тяжелая работа не только в силу очевидных лингвистических компромиссов, но, главным образом, потому что уникальная связь читателя с поэтическим оригиналом не трансформируется в другую культуру. «Переводчик морщится, жарит красное, пьет сухое,» – написал Кабанов в стихотворении, посвященном одному из своих переводчиков, Филиппу Николаеву. Несмотря на неизбежные компромиссы и ограничения, поэтический голос Кабанова в переводах узнаваем. И англоязычный читатель имеет возможность ощутить всю красоту и боль его стихов.

Евгений Киперман

Борис Фабрикант. Ты меня обними. – Киев: «Друкарський двір Олега Федорова». 2022. 56 с.

Я не смотрю новости из зоны боевых действий в Украине – читаю стихи Бориса Фабриканта. Мне кажется, в новостях правды меньше, чем в стихах Бориса. Вот и со страниц его новой книги с

нами разговаривает Совесть. Поэт-гуманист, Борис начинает книгу военных стихов воспоминаниями о своем счастливом детстве. «Как хорошо всё это начиналось», – говорит поэт. Дети всегда любили играть в войну, но теперь они видят ее своими глазами, и это уже не развлечение, а суровая действительность.

Этот сборник стихов по своей структуре – двухголосная fuga. Голос счастья переплетается с голосом горя. Поэт строит книгу на контрасте счастья и несчастья, мира и войны, черного и белого, холодного и теплого.

Какую строчку ни начну,
Всё кажется пустой
Сквозь эту черную войну
И черный дым густой.

Растает черный снегопад
В огне, не от весны,
Там не подснежники видны,
А мертвые лежат.

Запомнит этот урожай
Земля на много лет,
Ведь уезжай, не уезжай,
А жизни будто нет.

И надо заново учить
Детей, что белый снег,
И что не хочет их убить
Пришедший человек.

Военные стихи Бориса Фабриканта очень просты. Сложно *вокруг* войны. Стихи как бы отстраняют нас от военных сводок, заставляя задуматься о главном. Что поражает в книге? – Она написана так, как будто сам поэт прошел через ад войны, столь достоверна она в его стихах. Но стихи Бориса Фабриканта в этом плане очень целомудренны, гуманны. И тем значительнее звучит в них протест против насилия. «Ты меня обними» – это молитва о мире.

Все стихотворения – молитва,
Даже если просьбы нет прямой.
В древности так начиналась битва,
Выходили двое, свой – чужой.

Позади войска им в спину дышат,
Страшная горячая волна.

И они могучим телом слышат –
Дети спят, и молится жена. <...>

Нет, не остановишь словом битву,
Шум сраженья не перекричать.
Здесь слова слагаются в молитву.
Там, на поле, рубятся с плеча.

Эта доля, тяжкая неволя,
Чтобы жить, пробейся сквозь других.
Чье теперь по праву это поле,
На котором больше нет живых?

К сожалению, в военное время идеология доминирует над человечностью. Трудно быть выше войны, быть над войной. Война разделяет и властвует. «Война – отец и царь всего», – писал еще Гераклит. Война – это всеобщая шизофрения. Что происходит с гуманизмом?

Военная лирика Бориса Фабриканта – совесть нашего времени. Борис – человек, который видит войну и со стороны, и изнутри. Осевое время этой поэзии проходит через две войны – Великую Отечественную и украинскую, но трансцендентно стихи Фабриканта охватывают всю мировую историю:

Жизнь застыла стеною плача,
Помолись, прижимаясь лбом.
Это крепче камней, тем паче,
Видишь, сколько записок кругом.

В дымном городе, взрытом поле
Не стихает погром вековой.
И сростаются камни из боли
Для защиты твоей круговой.

Тут не кущи из райского сада
И не место небесным хорам.
Здесь не гаснет без масла лампада,
И в душе поднимается храм

Борис Фабрикант говорит о непрочности бытия: «Мир устроен давно и непрочно». «Всё, что может, горит... Не составляй горящих планов», – посыл поэта понятен. «Наше время под корень срубили», «Проявляется чувство пролитого времени»... В поисках ёмкого образа он многократно возвращается к теме загубленного времени. Как будто его лирический герой жил в своем времени, а потом его резко, помимо воли, швырнули в безвременье. Читая Фабриканта, у меня возникают аллюзии с ощущением времени в «Гамлете»: время вышло

из пазов, из позвонков... Мир изменился так, что жить по-прежнему нельзя. Война же запускает процесс необратимости, и эта необратимость довлеет над людьми. «Стоит ком в горле у Вселенной, / Ребенок малый не кричит»... Три ударных слога подряд – *сто́ит ко́м в го́рле* – хорошо передают это ощущение.

Во время кровавого противостояния человечество выглядит беспомощным. Герой Бориса – «человек растерянный, выпавший из сказки». Хочется, чтобы пришел добрый волшебник и всё выправил: «Увидать – вся цветными полями / Так красиво покрыта земля, / Что по ней бьют цветными огнями / Самолет, вертолет, с корабля. / Мне б сестру, что крапивной рубахой / Превратила друзей в лебедей. / Мы б летали по небу без страха / И спасали убитых людей». Само название книги Бориса Фабриканта не только человечно, но и символично: теплота объятий противостоит холоду и агрессии разъединения.

В наше драматичное время, когда кипят политические страсти, равнодушному автору сложно бывает удержаться в рамках искусства. Одним из немногих мастеров слова, сумевших остаться в своей военной лирике в рамках поэзии, и стал Борис Фабрикант. «Всё, что может, горит, / И чего уже проще, / Не горят фонари, / Пламя стены полощет. / Снова сизые дни, / Как из круглой конфорки, / Словно это они / Погибают на фронте. / Над воронками дым, / По военной погоде, / Жизнь стекает по ним / И уходит, уходит. / Молча молится Бог, / Горло ждало и сушит, / Чтобы смог, чтобы смог / Опознать эти души».

Во время войны всегда обостряется философский вопрос о бытии Бога: если Он существует, как Он это всё допускает? Борис Фабрикант чутко улавливает эти регистры. Бог у него молится за человека, а «человек воюющий» рискует потерять лучшее в своей душе. Вот несколько цитат из книги Бориса. «Ты б смог, Господь, глаза не отводить?», «Бог выбирает глину, будет еще лепить», «Бог опустил растерянные руки», «Бог открыл таблицу, чтоб заново пересчитать людей», «Я молитву шепчу, но не слышно Ему». С кем Бог? – С нами Бог! – говорят и агрессоры, и их жертвы. Бог для людей становится на войне разменной монетой.

Один из постоянных образов военной лирики Фабриканта – дети. «Живой войны бессмертный полк детей, / Смешной, плаксивый, нежный, золотой, / Без маршей, флагов, лозунгов, властей / Идет, невинный, за другой чертой. / Не вырастут, одежда не нужна. / Лишь песня колыбельная слышна, / В ней вой сирен и самолетный гул, / Под эту песню смертный полк уснул. / Им жизнь и смерть уже не различить, / Не знать судьбу, ушедшую на слом. / Ты б смог, Господь, глаза не отводить, / Встречая их за взорванным углом?»

Писать о войне сложно, куда ни глянешь – всюду «срочница смерть»; пули и снаряды становятся героями стихотворений: «Летит, озирается по сторонам / И видит дома и деревья, воронки, / И стаи сры-

ваются в крик, птичий гам, / Девчонки, мальчишки, мальчишки, девчонки». И опять жертвы, жертвы... – «Жизнь застыла стеною плача».

Сейчас, во время украинской войны, мы живем словно на страницах истории. «Поправить немного историю, / Как юбку, чтоб видеть колени, / И лучшую нашу викторию / Для новых найти поколений. / Теперь что ни день, то победа, / Она не приходит без стука, / Немного войны до обеда, / На ужин враньё и разлука». Можно, конечно, писать и о постороннем, не связанном с военными действиями, но эта украинская война проходит по душе Бориса Фабриканта. Стилистически Фабрикант уже был «подготовлен» к украинской лирике своими прежними стихами об Отечественной войне и о Холокосте. Войну в Украине он словно предчувствовал. Читаем у Бориса в прошлых стихах: «Придет гражданская война, / Без окрика стреляя в спину, / И мусть поднимется со дна, / Кромсая воздух гражданину. / И не спастись и не дышать. / Жизнь состоит из старых правил, / Где снег и дождь, любовь и мать, / Но только смерть сегодня правит. / Опять гражданская война / На грани памяти и бреда, / Еще победа не видна, / Но жуткой может быть победа». Особенно удивительным кажется здесь слово «сегодня» – стихи написаны в июне 2021-го. Откуда же взялись эти строчки? «Окна чувствуют беду» – говорит поэт в другом своем стихотворении: «Внутри, где колоколом сердце / Считает время на ходу, / В душе сквозит, летают дверцы / И окна чувствуют беду». Душа поэта – сверхчуткое окно, распахнутое в мир». Что и делает человека – поэтом.

Но самое поразительное в военной лирике Фабриканта – это, пожалуй, проекция в будущее: «Когда закончится война, и он вернется / Домой, со смертью спавший, как с женой, / Мальчишка, он вернется, не очнется, / Ее всё время чувствуя спиной. / Он жив, его признали как героя, / Как всем, вкрутили ордена в пиджак. / Но та, в его крови, земля сырая / Не отпускает от себя никак».

Судьба Бориса сложилась так, что он родился во Львове, потом долго жил в России. Дочь поэта и сейчас живет в Украине, в зоне боевых действий. «Это не съемки кино, / Фильм о войне нетленный, / Это стучится в окно / Дочери моей, Лены», – с болью в сердце пишет Борис. Широкая география судьбы позволяет ему быть объективным в отражении происходящих событий. Поэт понимает, что небо над враждующими странами одно, на небе отсутствуют границы: «А небо над одной страной / Перетекает на другую, / Где свет и цвет, и час иной / Над их землёю дорогою. / Не развести по сторонам, / Не перекрасить, не разметить. / У каждого своя страна / И облака, и сны, и дети». Стихи Бориса Фабриканта пронизаны горячей и искренней любовью поэта к родной земле: «Песен не слышать на Украине, / А не петь на Украине – не дышать, / Вот она и спрашивает: сыне, / Как же можно песне помешать? / Дым лежит на неньке Украине, / Надо пога-

силь и разогнать, / Чтоб засеять землю, слышишь, сыне? / Снова сына спрашивает мать».

Как подлинный художник, Фабрикант часто использует в своих произведениях принцип контраста. Например, война – и светлый образ Пасхи: «Сдувает праздничный настрой / Тяжелый дымный ветер, / И воздух темный и сырой, / И скудно солнце светит. / И сквозь несчастье и пальбу / Пасхальные обряды/ Как Божий поцелуй ко лбу/ Весомее награды. / В краю живого места несть, / А помнишь, пели песни. / Вступают под церковный крест / И знают, что воскреснет».

Далеко не всё из написанного о войне Фабрикантом – зарисовки с места боевых действий. Есть в сборнике и любовная лирика.

Снова холод, стрельба как плохая погода,
Будто солнце убили, засыпав землей.
Мы обнимемся там, от весны до восхода,
Ты налей мне любви, не осыпав золой.

Мы живем в этой жизни, где нет больше жизни,
И с тобой согреваем подвальную тьму,
Дуют ветры чужие по нашей отчизне,
Ты меня обними, я тебя обниму.

Вспоминаются строки другого поэта, фронтовика иной войны, – Юрия Левитанского: «Я не участвую в войне – война участвует во мне». Да, война неизбежно делит нашу жизнь на «до» и «после». Но Борис Фабрикант, несмотря ни на что, не теряет уверенности в будущем. Главное – и в жизни, и в поэзии, сквозь боль потерь, «дотянуться до любви»: «Как не верить, что расцветая, / Всё дотянется до любви, / И останется жизнь святая, / Жизнь святая – храм на крови».

Александр Карпенко

Андрей Грицман. Далее – везде. Сборник прозы и эссе. Киев: «Друкарський двір Олега Федорова». 2022.

«И вот, в конце концов, я снова оказался там, где и был: ветер шелестит пустыми листками бумаги, журчит проточная вода, и остался один не съеденный мной помидор, и свет из окна на том же месте на стене. Зато теперь я точно знаю, где я хотел бы быть. Вот я и говорю, что всегда лучше сделать, чем не сделать, попробовать, а не сидеть, как болван, и мечтать о том, где я хотел бы быть.» (Андрей Грицман) О чем бы ни писал поэт-лирик, он всегда пишет о себе. Всегда проговаривается о главном. Никогда не сможет утаить то, что у него болит, что его по-настоящему волнует и тревожит, о чем мечтает. И не важен жанр, в котором самоутверждается поэт. Однако эссе дает большую свободу для проявления собственного «я»; личность автора открывается в достаточно полной степени, потому что он может договорить то, что недосказал, лишь намекнув или обозначив, в стихах.

В последние годы эссе стало довольно популярным жанром среди поэтов. Как известно, проза поэта всегда вызывала и продолжает вызывать интерес у читателей. В этом смысле показательны прозаические произведения Марины Цветаевой, в которых ее поэтический дар проявился самым неожиданным и парадоксальным образом и без которых невозможно изучение ее творчества и ее вклада в русскую литературу.

Андрей Грицман – признанный поэт, автор ряда поэтических книг и публикаций в авторитетных литературных изданиях России и США на русском и английском языках. Новая книга Грицмана откроет для читателей с неожиданной стороны одного из заметных литераторов современного Русского Зарубежья. В нее вошли эссе, короткие рассказы и интервью. Это его третья книга прозаических и литературно-критических произведений. В 2005-м и 2014-м в Москве вышли сборники «Поэт в межкультурном пространстве» и «Поэт и город». Грицман является также основателем и главным редактором журнала «Интерпоэзия», входящего в портал «Журнальный зал». И эта ремарка существенна. Она означает, что такая позиция «внутринаходимости» дает ему возможность рассмотреть литературный процесс не просто с близкого расстояния, а изнутри.

Поэтому многие его эссе о литературе написаны со знанием специфики художественного творчества и с профессиональным погружением в поэтическое пространство. Немаловажно и то, что поэзия и эссеистика Андрея Грицмана на английском языке выходят в американской, британской, ирландской, новозеландской периодике; его творчество вписано в мировой литературный контекст, что редко происходит с русскими поэтами, как настоящего, так и прошлого.

В книге два больших раздела – «Короткая проза» и «Эссе и интервью». Короткая проза Грицмана действительно короткая: от нескольких предложений до пары страниц. На таком пяточке не разгуляешься, каждое слово приобретает вес и особую значимость. На мой взгляд, эти произведения больше тяготеют к эссе, нежели к жанру рассказа, настолько сильно в них субъективное авторское начало. Но если автор дал им такое название, примем это к сведению и будем анализировать с контексте жанра рассказа. Интервью же, данные автором для разных изданий и в разные периоды жизни, представляют интерес и для исследователей творчества поэта, и для широкого круга читателей.

Отмечу, что в книге нет предисловия и послесловия. Грицман сознательно отказался от разъяснения своих текстов коллегами. Он и сам не объясняет, по какому принципу были включены в этот сборник те или иные произведения, каков его основной замысел. Читателю самому придется разобраться в этих вопросах. «Однажды я оказался там, где всегда хотел быть. Вернее, я туда собирался, так как понял, где я хотел бы быть. Вернее, я представил, что теперь я знаю где. Но

раз наконец-то я понял, где я хотел быть, не с пустыми же руками туда являться. Там меня наверняка ждут все, с кем я хотел бы быть, – в нужном месте, в нужное время, то есть всегда.» Так витиевато и интригующе начинается один из рассказов Грицмана. На мой взгляд, это ключ к его творчеству вообще. Тоска по несбыточному. Желание трансформировать свою жизнь и даже себя. То, что удастся немногим. Забегая вперед, скажу, что Андрею Грицману, как поэту и человеку, это удалось. В рассказе открытый финал, как и должно быть. Автор не дает однозначного ответа о судьбе героев, оставляя читателям возможность самим додумать и почувствовать.

В рассказе «Shakespear and C^o» оживают известные писатели прошлого – Хемингуэй и Джойс, Эзра Паунд и Сартр... Фантастический сюжет обрастает реальными подробностями из жизни знаменитостей и, в то же время, современными реалиями. Написанное в жанре магического реализма, произведение много дает и для понимания личности самого автора, его литературных и жизненных пристрастий.

А рассказ «Случайная встреча» повествует о встрече с несуществовавшей женщиной, хотя воспоминания лирического героя о ней весьма отчетливы и реальны. В этом рассказе много поэзии, грусти и ощущения конечности жизни. В процессе чтения мне вспомнился цикл рассказов Владимира Набокова «Весна в Фиальте», главная героиня которого схожа с героиней рассказа Грицмана своей неуловимостью и непредсказуемостью. И как эхо: в конце рассказа главный герой садится в машину «Фиат». До странности близкое звучание названия машины и рассказа Набокова, вероятно, здесь не случайно.

«Богатая полнота жизни, рельефность материи, переливы линий и красок, пестрое разнообразие явлений – всё, чем красна и полна наша жизнь, стало казаться Платону злом, ширмою, за которою насильно скрыта, как красавица в заколдованном тереме, истина мира, нетленная, неизменная, вечная красота» – эта цитата из статьи известного русского критика XIX века Дмитрия Писарева «Идеализм Платона» в полной мере отражает самоощущение Андрея Грицмана. Он находится в вечном поиске красоты и истины. Иногда это одно и то же.

Главный герой рассказа «Фосфены» узнаёт о существовании научного термина «фосфены». Загадочное звучание слова, его значение («круги, которые возникают в глазах без воздействия света») так поразило лирического героя, что он «понял, откуда стихи появляются. Они и есть фосфены. Даже и глаза закрывать не надо. Надавишь на внутренний глаз, и фосфены появляются»... Женщины также «вызывают фосфены, и потом ты от них никуда не денешься. В смысле, от фосфенов». Автор примечает необычное в обычных вещах и допридумывает новые смыслы и значения, талантливо облекая в них знакомые всем слова и понятия.

Часто в рассказах грань между автором и лирическим героем

настолько тонкая, что она не ощутима, – как, например, в рассказе «Поезд No.1»: «Меня там нет, но я обо всем знаю. Я иду по поезду, извиняясь перед застывшими фигурами в коридорах, мимо темнеющих пустых полей, и только мое собственное отражение в обморочных темных окнах подразумевает, что я иду в каком-то направлении». Духовный и душевный опыт автора явственно проявляется в таких описаниях.

Его рассказы, проникнутые особой лирической интонацией, имеют часто и социальный подтекст, который идет вторым планом, незримо оставаясь за кадром. Но описанные реалии не дадут ошибиться: дело происходит в России. Порой – в самые драматичные моменты ее истории последних лет. Рассказ «Транслингвальная поэзия» состоит из нескольких предложений. Приведу его целиком: «Табакерка. Алюминий от Мессера, впаянная красная звезда из цветного стекла. ‘Полковнику Я.А. Грицману от бойцов 222-й стрелковой дивизии, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт. Под Оршей.’ Местоположение: книжная полка Restoration Hardware, между Кафкой и Целаном. A.Y. Gritsman, M.D. 210 Riverside Drive, 7D New York, NY 10025 Rauchen nicht verboten». Этот фрагмент представляет собой оригинальное лирическое воплощение взглядов автора на мифологема, известную со времен Вавилона: транслингвальная литература (иногда ее называют транскультурной) – литература, «раскрывающая сущность творчества поэтов и писателей, пишущих на языке, который не является для них ‘материнским’», она «предъявляет увлекательное место встречи таких понятий, как язык, иммиграция и идеология». (M. Tannenbaum) В России эта концепция, по понятным причинам, малоизвестна и не популярна. В США, в этом многонациональном «котле», имеется множество людей, пишущих на неродном языке (см. вышедшую несколько лет назад антологию *Stranger at Home* («Чужой дома. Американская поэзия с акцентом»). При этом транскультурализация не означает стирания границ между этносами. Напротив, она создает диалог и прокладывает коммуникативный мост через культуры. Она соединяет не только этнически, но и территориально и лингвально далекие друг от друга народы. Таким образом возникает перенос разнообразных культурных элементов из одного пространства в другое. В результате этого взаимного процесса видоизменяется также культурный ландшафт обоих пространств.

Можно сделать вывод, что Андрей Грицман – человек семиотического «пограничья». Его тесты вбирают в себя черты нескольких культур, при этом не соответствуя ни одной из них полностью. Рамки одной культуры тесны для него. Кстати, Грицман в течение многих лет ведет в Нью-Йорке серию поэтических чтений «Межкультурная поэзия», где выступают многие известные транслингвальные поэты.

В книге есть эссе, в которых поэт рассуждает о проблемах и возможностях транслингвальной поэзии. Особую ценность им придает

личный опыт автора. Как пишет Грицман, «стихотворение существует изначально в виде мысли, звука, некоей субстанции, которая связана с эмоциональным событием, происходящим с поэтом, и позднее это выливается в произведение в рамках определенного языка».

Важное значение для поэтики Андрея Грицмана имеют топонимы. Наиболее часто у него встречаются топонимы «Москва» и «Нью-Йорк». Например, в стихотворении «Прогулка по родному городу» Грицман живописует одно из самых примечательных мест Москвы:

У трех вокзалов, у трамвайных линий
коростой покрывал чернильный иней
у тени Косарева грудь и козырек,
лахудру пьяную, и Ленина висок,
суконного прохожего мешок,
транзитного, из Харькова в Калинин.

Автор родился и вырос на 2-й Мещанской, на углу Садового кольца, хорошо знает Москву. Московские детали то и дело мелькают в его эссе и рассказах. Лирический герой Грицмана – типичный городской житель с его любовью к площадям и улицам, к архитектуре, паркам и скверам; его Город – неисчерпаемый источник вдохновения. «Город – это организм, утроба детства поэта. И эта пуповина навсегда остается, питает фантазии, ностальгию, реальную жизнь художника, которая, конечно же, течет и переливается внутри, в примордиальной памяти, в снах и в полусне». С 1981 года вторым домом поэта стал Нью-Йорк – город, который «никому не принадлежит и принадлежит лично тебе». Два мегаполиса, два города с их невероятной историей и харизмой навсегда поселились в произведениях поэта.

Возвращаясь домой до конца в долину Гудзона,
к ар-деко среди скал ледникового века,
знать, что жизнь, пролетев сквозь ничейную зону,
оставляет в душе легкий тающий слепок.

При этом, «уехав, русский поэт ощущает, что увез с собой самое главное – свой язык, но оставил дома другое главное – своего читателя. Чужая страна, даже осознанно выбранная, всё равно некоторое время будет чужой, и никуда от этого не денешься» (*Вера Калмыкова*. «Поэзия с акцентом»). Тем не менее, Андрей Грицман стал успешным американским поэтом со множеством публикацией на английском языке.

Врач в третьем поколении, ученый, эмигрант, Андрей Грицман пришел в литературу зрелым человеком, прожившим и много понявшим про жизнь. О сложностях эмиграции и поисках себя в новых условиях он повествует в эссе «Между поэзией и медициной». Принадлежность к наигуманнейшей профессии на земле придала поэ-

зии и прозе Грицмана сострадательный характер. Любовь к человеку, ближнему и дальнему, пронизывает всё его творчество. «Ностальгическая тема перерастает в космополитический взгляд на судьбы мира и живущего в нем человека», – пишет о феномене русской зарубежной словесности поэт Алексей Алёхин. В своих эссе Грицман сравнивает Москву и Нью-Йорк, Рим и Венецию; размышляет об авторском переводе и билингвальном творчестве, о своем подходе к художественному переводу, о феномене Пауля Целана, о встречах с Эдгаром По, о «нескольких поэтах» Бродских. И везде автор проявляет нешуточные познания в истории, поэзии и психологии творчества.

Эссе Грицмана поэтичны и достоверны. В них есть пульс. Не об этом ли слова Виктора Сосноры: «Если поэт интересен ритмически, значит, им пойман ритм своего организма. Ритм, а не ‘мысль’ – мысль оставим философам. И истинная проза должна быть ритмична». Текст Грицмана ритмичен и убедителен. Свой подход к переводу он называет «эмоциональным и ритмическим» и считает, что «создание поэзии на двух поэтических языках возможно, если оба стихотворения на разных языках созданы на одной эмоциональной волне, одним художником, но на самом деле являются двумя оригинальными произведениями».

Заканчивается книга оммажем Андрея Грицмана недавно ушедшему выдающемуся поэту современности Алексею Цветкову, который очень много значил и для всей русской поэзии, и для русского Нью-Йорка, и лично для Андрея Грицмана. Он находит самые точные и самые теплые слова для своего друга.

Эта книга написана напряженно думающим и глубоко чувствующим человеком, которому грустно жить, но который бесстрашно открывает себя в своем творчестве.

Многие проводят жизнь на чужбине в этническом и культурном гетто, не вживаясь в новую среду. Андрей Грицман стал «своим» в Америке. Не забыв при этом Россию. Он живет на две родины всеми проблемами обеих стран. И жизнь эта органична. Как отметил Евгений Рейн, «нас разделяет океан, но сближает его талант и общий поток творческих поисков». Андрей Грицман стал действительно человеком мира. Его книги издаются на разных языках в разных странах. Он выступает на многих российских, европейских и американских фестивалях. Его читатели разбросаны по всему миру. А его поэтический язык понятен всем, кто любит жизнь во всех ее странных и невероятных проявлениях. «...Мой поэтический язык появился одновременно с ощущением способности слышать шорох листвы других деревьев на американской почве, отдаленный звук полицейской сирены, призывы разносчика на улице, разговор в баре, офисе, шум машин, проносащихся по хайвею, звуки нью-йоркской улицы, саксофониста, играющего на углу Lexington Avenue...»

Лилия Газизова

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Russian Nobility Association in America;

Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin; Mr. Alexandr Neratov;

Sponsors: American-Russian Aid Association “Otrada”; Mr. Vitaliy Pavlyuk;

Fellows: Mr. A. Nemirovsky; Mr. A. Moussaian;

Friends: Ms. C. Raeff; Ms. P. Breyter; Mr. G. Mesniaeff; Mr. V. Lvoff.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2024:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2024 году можно купить:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;
+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION 2023

- 1.Publication title – The New Review Inc. /The New Review
- 2.Publication No. – 596680
- 3.Filing date – [as published]
- 4.Issue frequency – Quarterly
- 5.Number of issues published annually – 4
- 6.Annual subscription price – \$ 80.00
- 7.Complete mailing address of known office of publication – 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001-4482
- 8.Complete mailing address of headquarters or general business office of the publishers – 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
- 9.Names and complete address of publisher, editor, managing editor:
 Publisher – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001-4482
 Editor/Managing Editor: Marina Adamovitch, 1216 Broadway Fl.2, New York, NY 10001-4482
10. Owner – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
11. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1% or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities – None
12. Tax status (For completion by nonprofit organization authorized to mail at nonprofit rates). The purpose, function, nonprofit status of this organization and the exempt status for federal income tax purposes: Has not changed during preceding 12 months
- 13-14. Issue date for circulation data: The New Review; September issue (09/25/2023)
15. Extent and nature of circulation

	Average # copies each issue during preceding 12 months	#Copies of Single Issue Published Nearest of Filing Date
a/ Total number of copies	400	400
b/ Paid circulation (by mail and outside)		
(1) Mailed Outside County Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541 (incl. paid distribution above nominal rate, advertiser's proof copies, and exchange copies)	94	97
(2) Mailed In-County Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541	13	13
(3) Paid Distribution Outside the Mails (Incl. Sales Through Dealers and Carriers, Street Vendors, Counter Sales, and Other Paid Distribution Outside USPS)	137	135
(4) Paid Distribution by Other Classes of Mail Through the USPS (e.g. First-Class Mail)	60	58
c/ Total Paid Distribution (Sum of 15b (1, 2, 3, 4)	304	303
d/ Free or Nominal Rate Distribution (by mail and outside)		
(1) Free or Nominal Rate Outside County Copies included on PS Form 3541	0	0
(2) Free or Nominal Rate In-County Copies included on PS Form 3541	0	0
(3) Free or Nominal Rate Copies Mailed at Other Classes (USPS /e.g. First-Class Mail)	28	27
(4) Free or Nominal Rate Distribution Outside the Mail (Carriers or other means)	15	18
e/ Total Free or Nominal Rate Distribution (Sum of 15d (1, 2, 3, 4)	43	45
f/ Total Distribution (Sum of 15c and 15e)	347	348
g/ Copies not Distributed	53	52
h/ Total (Sum of 15f and 15g)	400	400
i/ Percent Paid ((15c / 15f) times 100)	87.61%	87.07%
16.Total circulation of electronic copies		
a/ Paid Electronic Copies	47	52
b/Total Paid Print Copies (15C+Paid Electronic)	351	355
c/ Total Print Distribution (15F+Paid Electronic)	394	400
d/ Percent Paid (Print+Electronic Copies)	89%	88%

I Certify that 50% of all distributed copies (Electronic and Print) are paid above a nominal price: **Yes**.

17. Publication of Statement of Ownership

If the publication is a general publication, publication of this statement is required. Will be printed in the 12/31/2023 issue of this publication: **Yes**.

Signature/Title of Editor, Publisher, Business Manager, Owner – Marina Adamovitch, Editor / Business manager 09/27/2023 19:19:03 PM